

ками в руках, легко можно было принять за участниц античного хора.

До чего ж неустойчива жизненная сила этих армянских вестулей! Как выносливы их сердца! Ведь ни одна из них не запыхалась, когда после тяжелого восхождения по Дубовому ущелью они прибыли на кладбище лагеря. Эти лиловые чудища были полны сил и поспешили приступить к делу. Нуник, Вартук, Манушак и остальные старухи опустились рядом с телами убитых, откинули покров с их узкие застывших лиц, и полилась их песня, жемчужил более древняя, чем самые древние песни человечества. Одно за другим, нараспев, без перерыва, повторялись имена убитых, откуда последняя звезда не растаяла из бледно-зеленого небосвода. И насколько беден был текст, настолько богата была мелодия. То она лилась подобно нескончаемому стону, то звенела трелями. Иногда казалось, что это какое-то сонно-болезненное колебание двух одинаковых звуков, внезапно прерываемое визгливым вскриком. Один звук вертелся в другой, но не прозвонливо, а согласно строгой закономерности, диктуемой давними традициями.

Не каждая из плакальщиц владела этим старинным искусством, как Нуник. Попадались среди этой братии и посредственные, и зарыстолобные актрисы, чьи мысли во время всего обряда были заняты исключительно содержимым кошелька наследников. А какой прок даже самому богатому человеку здесь, наверху, от его фунтов и пиастров! Если он щедрой рукой одарит нищенский люд, то совершит и благое и полезное дело.

Плакальщицы, слезли и прочие отверженные всегда могут обменять звонкие пиастры на еду в мусульманских деревнях, не подвергаясь при этом никакой опасности. Так что армянские деньги не пропадут даром, ну а жертвователь-благотель довольно дешево обретет милость господню.

Между отдельными песнопениями коллеги уговаривали Нуник пустить в ход все красноречие и во что бы то ни стало повесить цену за принятие.

На рассвете пришли родные и принесли с собой длинные тонкотканые саваны — семейная драгоценность, которую нельзя оставлять, куда бы семья ни переезжала. Саван этот, в коем человек в свое время воскреснет, был некоей праздничной одеждой: членим семья дарила его друг другу в самые торжественные дни своей жизни. Заказ выткать такой саван почитался особой честью, которой удостаивалась достойнейшая женщина в роду.

Постепенно завывание плакальщиц становилось все тише и тише, пока не превратилось в прочувствованный шепот. Он же сопровождал и церемонно обмыивания, как некое беззвучное утешение. В конце концов длинные саваны были завязаны ниже ног двойным узлом — так кости не рассыпаются и последняя буря, та, что сочленяет кости осужденного человечества, не сможет перепутать их, собирая.

К полудню могилы были вырыты и к погребению все готово. Тела погибших на шестнадцать носилок, сооруженных из толстых веток, три раза обнесли вокруг алтаря. Тер-Айказун в это время вел заупокойную. Затем обратился к собравшимся со следующими словами:

— Кровавая смерть вырвала из наших рядов дорогих нашему сердцу братьев. И все же мы должны быть искренно и страстно благодарны богу-отцу, богу-сыну и святому духу за эту незаслуженную милость, ибо он дал нашим братьям умереть в бою в состоянии полной свободы, они будут покоиться в этой родной земле, среди высшей свободы, они будут покоиться в этой родной земле, среди высшей свободы. Да, нам дарована благодать свободной смерти. И посему, дабы правильно воспринять благодать эту, мы должны вновь и вновь думать о тех сотнях тысяч, кои не дарована такая благодать. — Они умирают в позорнейшем рабстве, гибнут без погребения в пустыне, а казнах, их пожирают стервятники и гиены. Стоят нам подыграть на гору, что справа от меня, и обратить свой взор на восток, как перед нами откроется бесконечное поле, засеянное телами сынов нашего народа, и нет там ни священной земли, ни могил, ни священника, нет благословения, а есть одна надежда на день Страшного суда. Да будет этот час, когда мы предаем земле наших счастливых, часом осознания великого несчастья нашего народа, ибо оно не здесь — оно там!

Это краткое обращение вызвало вздох-стон, вырвавшийся из груди собравшихся. И лишь тогда Тер-Айказун подошел к корзинам с родной землей. Шестнадцать раз опускал он туда руку и посыпал горстью земли голову каждого павшего. И было приметно по его раздумчивой руке, как он с каждым разом все скунее посыпал погребемых этой драгоценной землей.

## Глава третья

### ШЕСТВИЕ ОГНЯ

И Нуник, и Вартук, и Манушак — всем плакальщицам еще раз улыбнулось счастье. Не успели они стереть с лица латуком краску печали, как их призвал другой долг, противоположного порядка. И если роды будут трудными, из что они твердо надеялись, им удастся победить на горе дважды. Справедливо полагаю, что среди пяти тысяч человек может случиться все что угодно, они всегда держали в складах платяи черное укропное семя, ласточкин помет, конский волос (из хвоста гнедой лошади) и прочие слабоды.

Схватки у Овсаньи начались еще до того, как земля Дамладжак укрыла тела убитых. В палатке с Овсаньей была толстая Искуи — все уши на похороны. Искалеченная рука мешала девушке помочь вештке. Да и не нашлось в палатке ничего, во что бы роженица могла опереться. Подложенные подушки слишком мягки, а кро-

вать — одна железная рама. Искуи села спиной к спине Овсания, чтобы измученная женщина оперлась на нее, но была чересчур хрупка — схватившись за кровать, Искуи пыталась задержаться, но не выдержала мощных толчков роженничи и соскользнула на пол. Овсания Товмасын громко вскрикнула. Это и послужило сигналом для Нуник.

Безошибочный инстинкт привел плакальщиц к палатке роженничи: на похоронах они свое дело сделали, получив даже более крупное вознаграждение, чем ожидали. Должно быть, слова Нуник действовали на родственников убитых. Да не заржавеют благотворные монетки здесь, на Дамладжке, да пойдут они на пользу бедным и страдающим! Правда, кое-кто из дарителей, слушая стенания Нуник, лукаво подмигивал ей. Ходила молва, будто и Нуник с изысканным волчанкой носом, и маленькая толстуха Манушак — миллионщица. Будто бы обе притворщицы закопали на постеле целый клад из лекастров, парь да еще горшки, набитые доверху талерами, и даже толстые пачки банкнот фунтового достоинства. Время от времени из-за этих таинственных капиталов на йогонолукском кладбище всплывали подлинные сражения нищих, которые Тер-Айказун обычно усмирля угрозы, что не пощадит никого из разбушевавшихся, прогонит всех с оскверненного места последнего успокоения. А миллионщицы, как и подобает таковым, при всяком удобном случае плакались, что вынуждены неустанно нести тяжелую службу, дабы обеспечить свою старость. А старость эта, равно как и сопряженный с нею заслуженный отдых, были у них, как видно, бесконечны... В отличие от толстухи Манушак и сварливой Вартук, Нуник поражала тем, что, помимо корысти, поклонялась и другим духам... Вот она втянула своим изуродованным носом воздух — в шалашах нет ничего! Час разрешения от бремени еще не настал. То из одного, то из другого шалаша слышится только детский плач. Перед лазаретом, вытянувшись, часто и прерывисто дыша, лежат раненые. Однако теплый прозрачный воздух подчас пронизывает дрожь, так хорошо знакомая Нуник, — она всегда улавливала ее там, где должна была явиться на свет душа человека. Предводительница повела своих спутниц в этом направлении, и очень скоро все трое очутились на площадке Трех шатров.

Раздалась крики Овсания Товмасын, подруги понимающе переглянулись и кивнули. И так же, как волдиничи знаток музыки никогда не ошибется, сумеет по мелодии определить композитора, так и они безошибочно распознавали эти крики. Ведь вопли у роженничи имеют свои законы: они нарастают по-особому и падают и затухают у них свои. Крик человека, который обожгся, и крик насмерть перепуганного беглеца — совсем разные. Ухо не обманет старух плакальщиц. Не обманет и нос. Скорее способен обмануться глаз.

Искуи собиралась уже бежать за Майрик Антарам, как три паркя\*, не испросив разрешения, протиснулись в палатку. Из темноты

выпрыгнули застывшие лиловые маски. Искуи и Овсания потеряли дар речи. Но не сами старые утешительницы — кто их не знал в Йогонолуке! — а их похорошний убор так напугал молодых женщин. Нуник сразу поняла, откуда этот суеверный страх, и спешила успокоить девушку и роженницу:

— Доченька, то добрый знак, что мы такими к тебе пришла. Стало быть, смерть осталась позади.

Достав зис — железный прут, которым шуруют огонь в томдире, Нуник принялась рисовать им большие кресты на внутренней стене палатки. В этом, должно быть, заключалось первое ее врачевательское действие. Ошеломленная Искуи спросила:

— Зачем ты рисуешь кресты?  
Не прерывая своих занятий, Нуник объяснила назначение крестов.

Вокруг лежащей в родовых муках женщины собираются все духи мира, и злых всегда больше, чем добрых. Как только ребенок является на свет и даже как только он покажет головку из материнского ложа, злые духи набрасываются на него, дабы завладеть им. И каждый человек обречен что-то от них воспринять. Потому-то в душе каждого человека таится бесовщина. Так что дьявол имеет свою долю в душах всех людей. И лишь один Иисус Христос, спаситель наш, свободен от всякой дьявольщины.

По мнению Нуник, высшее искусство помощницы при родах в том и состоит, чтобы уменьшать долю дьявола. Кресты — ограды от него, некий мистический карантин. Искуи сразу вспомнила да от него, некий преследовавшие ее во время бегства из Зей-туна, из ночи в ночь преследовавшие как в калейдоскопе, личины все ближе, ближе... Тогда она тоже все открывала от него здоровой рукой, и с особым усердием, когда тело было готово поддаться его власти... Христос спаситель, сколько же страха ты должен отвести!

На этом мудрые речи Нуник не оборвались. Завороженным Овсание и Искуи она поведала, что некоторые внутренние органы, особенно сердце, легкие и печень, подвластны дэмонам, и дэмоны, зная это, стремятся целиком овладеть этими органами. Рожа же по сути своей не что иное, как борьба сверхъестественных сил за будущую принадлежность ребенка к той или иной партии демонов. Чем ожесточеннее эта борьба, тем тяжелей и длительней роды. Поэтому умная мать должна прибегнуть ко всем испытанным средствам и уловкам, какие ей передает Нуник. Тогда и новорожденным и уловкам, какие ей передает Нуник. Тогда и новорожденным и уловкам, какие ей передает Нуник. И, став взрослым, встретит хорошо перенесет первые дни жизни. И, став взрослым, встретит великие повороты своей судьбы во всеоружия, а в них всегда повторяется все то же, что происходит во время родов.

Свои наставления Нуник произносила напевно, перемежая речь древнесармянскими словами. Искуи не понимала ее, хотя и



миссионерской школе в Мараше учила классический армянский язык.

Первый страх миновал, и присутствие трех размалеванных повитух стало действовать на удаление благотворно, даже убавляющую. Осваивая и впрямую уснула и, казалось, не заметила, что Варту повязала кисти ее рук длинной шелковой ниткой, а другой переязала шкелотки. Нуника же, подойдя к кровати роженницы, изставляла ее:

— Чем дольше ты закрыта, тем дольше и силы твои закрыты. Чем позднее ты откроешься, тем больше благодати войдет в тебя и выйдет из тебя.

Маленькая, неуклюжая толстуха Манушак выбрала тем временем хворост и развела перед палаткой небольшой костер. Потом нагрела на нем два плоских камня, похожих на хлебный каравай.

Это-то представлялось весьма понятным волшебным действием — горячие камни, предварительно завернутые в пологенце, должны были согреть обесиленную роженницу. С этой самой деловой частью магического знахарства, включая укропное семя, которое Манушак успела заварить и подогреть на костре, наверно, согласился бы и сам доктор Петрос. И все же редкие волосы Алтуни встали дыбом, когда он, войдя, застал своих закормленных врагов у овра роженницы. С ювешеской ловкостью размахивая палкой, он выпроводил кликуш, провожая их хриплыми выкриками и комплиментами, среди которых «стервы» был самым безобидным.

Это еще раз убеждает нас в том, что доктор Петрос Алтуни был весьма страстным приверженцем западной науки. Недаром Аветис Багратян, меценат, послал его учиться и дал возможность на протяжении пяти лет слушать лекции в Венском университете, дабы высоко поднять светоч знаний и разума среди темного народа. И Петрос Алтуни вышолдина с честью завет благодетеля: он до преклонного возраста врачевал жителей Погонодука, ни разу не покинув семи несчастных деревень близ Суэдии. Быть может, кто-нибудь подумает, что выполнение этого завета и непоколебимая верность ему были делом легким и не требующим жертв? Не десять — тридцать раз переманивала его! Городское правление Алтакке неоднократно подступало к нему с самыми заманчивыми предложениями. Приглашали из Александрии. Даже большой город Алеппо не прочь был иметь такого врача. Эти письма хранились у доктора — письма, в которых валя и каймаками предлагала Петросу Алтуни возглавить врачебную управу области.

Во всей Османской империи нигде так не жаловались, как врачам с европейским дипломом. Такие люди ценились на вес золота. Эким Петрос давно мог бы стать богачом, домовладельцем в Алеппо или Мараше, облаканным почестями от Стамбула до Дейр-эль-Зора. Он мог бы быть главным врачом Оттоманской ар-

мии. Тогда бы имело бы значения, что он армянин, никто и не поглядывал бы его высматывать. А каково ему пришлось? Какова благодарность судьбы за верность благодетелю, за то, что он сдержал слово? Не будем пытаться ответить на этот вопрос. Возьмем же себя крест служения идеалу нечего ожидать иного. Возможно, старика утешало сознание «высоко поднятого свечока»? Но как раз по поводу этой столь же мало почетной, сколь и обременительной деятельности доктор горько смеялся.

— Вагляните на них! Сорок лет я лечу этих людей здесь, в Погонодуке. А чему они научились? Нет, к «визуму-франку» они всегда будут относиться с недоверием, хотя и будут прикидываться бог весть какими просвещенными. Впрочем, труды мои даром не пропали. Смертность у нас, возможно, ниже, чем в соседних общинах, не говоря уже о мусульманском населении. Однако подпольных этих акушеров и доморощенных знахарок с их предводительницей Нуник и так и не одолею! Дием их прогоняю — ночью родственники опять позовут. И как прикажете в этом болоте существовать высоко держать свечок науки или, что еще труднее, привертывать людей к гигиене?

Такие речи частенько можно было слышать от дипломированного экима Алтуни. Но то, что досаждало ему более всего, он хранил про себя. За все эти годы, что он объезжал на своем смиренном оселике окрестности (и не только армянские деревни — во всей мусульманской казе нуждались в его советах), эким Алтуни сделал удивительное открытие. Сколько ни восставало против всего этого существо, твердо веровавшее в силу знаний, ему приходилось признавать успехи, которых добивались самые грязные знахарки при помощи отвратительных снадобий, да таких, что попирали все правила асептики. В восьмидесяти из ста случаев их диагноз глаголю: «Сглазили». Противоядие состояло из слюны, овечьей мочи, жженого конского волоса, птичьего помета и еще более аппетитных лекарств. И тем не менее не раз случалось, что больной, на котором он, доктор, уже поставил крест, проглотил бумажку с речением из Ветхого завета или Корана, неправдоподобно скоро выздоравливал. Алтуни был не из тех, кто, поверив в чудодейственность, алал бы в сомнении. Но что из этого? Большой-то выздоравливал! Время от времени в армянских деревнях распространялась весть о подобной всемогущей терапии, и тогда пациенты Алтуни толпами устремлялись к арабским экимам или шли за советом к Нуник и ее подружкам. Нередко среди этих вероотступников попадались и занятые поборники просвещения, полагавшие, будто они высоко держат этот самый свечок, — тот или иной учитель, к примеру. От этого, разумеется, у доктора не становилось светлее на душе.

И если это было одной из причин горестных размышлений Пет-





Однако значение этого нового действия он до конца так и не понял. Возможно, что это было действительно демонстративное заселение исламским народом христианских деревень. Перед церковным порталом Багратия различил группу мужчин в европейской одежде, должно быть, это мюдрир со своими подчиненными, — решил он и обрадовался, что среди них не обнаружил офицеров. Тем не менее он тут же отдал приказ объявить боевую готовность. На наблюдательные посты он распорядился удвоить и выслал разведгруппы до самых виноградников и фруктовых садов — враг не должен ночью застать лагерь врасплох.

Багратия Багратия оценил обстановку правильно. На церковной площади Погонолука действительно находился вслушавший мюдрир. Но там был и некто чином повыше. Каймакам. Самолично. Тот самый, с большой печенюй. И был он здесь не без причины. Дело в том, что после второго, еще более позорного поражения регулярных частей в Антиохии произошло кое-что гораздо более значительным последствием. Между каймакамом и беднягой бинбаша с пушистыми щеками сразу же разгорелась борьба не за жизнь, а за смерть. Скромный герой на казарменном плацу давно ушедших времен, старый бинбаша так и не узнал нового стиля тонкоостей политики Иттихата. Только теперь ему открылось, почему его смертельный враг и заместитель, этот пряткий не в меру юзбаша именно сейчас взял отпуск. Отпустив его, он попался на удочку. Юзбаша скоро и впрямь заменит бинбаша на его посту.

Началось все с того, что каймакам очень ловко сумел настроить население против старого бинбаша. В Антиохии имелась только одна гражданская больница. При легком заболевании солдаты не покидали казармы. А когда возникала необходимость во врачебной помощи, командование вынуждено было просить гражданское ведомство принять тяжелобольного в больницу. Этой бюрократической системой коварно воспользовался каймакам. Хотя бинбаша и был человек колючий, но все же дело его будет тянуться многие недели, последуют бесконечные расследования, доклады, отчеты и т. п., прежде чем его окончательно снимут. А каймакму и его казе нужны надежные иттихатисты, а не ленивые старшие бородачи времен Абдул-Гамида. Вместе с юзбаша они довольно точно предвидели будущие события — они-то свои ходы согласовали.

За несколько часов до того, как бинбаша привез в Антаке весть о собственном поражении, еще глубокой ночью, в город потянулись бесконечные обозы с ранеными и убитыми — жертвами самого сражения и горного обвала, устроенного Киликяном. В хокмете свет не зажигали, хотя там было все известно. Когда раненые потребовали пустить их в больницу, управляющий изобрел отказал им. Без письменного разрешения каймакама он, мол, никого сюда не выпустит. Ни просьбы, ни брань не помогли. Вышел

дежурный врач и прямо на улице, при свете луны и керосиновой лампы, принялся накладывать повязки. У него и впрямь не было ни места, ни желания положить в жалком и тесном бараке бое-же двухсот нуждающихся в помощи. В полном отчаянии врач отправил своего помощника к каймакаму. Прошло довольно много времени, и помощник вернулся ни с чем. Начальник провинции так крепко спал, что разбудить его не было никакой возможности. Тогда раненых решили отправить в казарму, чтобы у них была хотя бы крыша над головой. Скоро вошло солнце, день разгорался. Трудно описать, какое впечатление произвели окровавленные повозки на жителей Антиохии. И когда, уже ближе к полудню, на мосту через Оронт показался столь сильно обдианный старший бинбаша со своим штабом, его встретили камнями. Пришлось тому бесславно добираться до своей канцелярии теми же закоулками. И только теперь — в городе уже царил сумат и толкотня базарного дня — каймакам, чей сон, очевидно, был на зависть крепок, отправил письменное распоряжение разместить раненых. Длинные колонны несчастных снова потянулись к больнице со строящимся приказом держать путь непременно через базарную площадь.

Вид желтых страдальческих лиц и кровавых повязок вызвал у людей бурное возмущение. Толпа кинулась в казарме и прежде всего выбила стекла в окнах бедняги бинбаша, а стекло в этой стране почитается драгоценностью. Мало того! Остатки вооруженных сил были настолько подавлены, что посленные покрепче запелить казарменные ворота, то есть поступили как переугнанные обыватели. В каждой толпе скрыта легко вспыхивающая ненависть к исполнителям государственной власти. Люди восприняли мертвую тишину за стенами казармы как знак своего торжества и вновь взяли за камни. Офицеры умоляли бинбаша разрешить им очистить глаза, выслать солдат с прижатыми штанами. Но старик лежал на диване, советов не слушал и только стонал:

— Я не виноват! Я не виноват!

Доведенный до отчаяния всем пережитым, он то рыдал, то спал, то спал, то рыдал. А командантская рота совсем опозорилась — от разбушевавшейся толпы ее освободила гражданская власть — полиция и запяли.

В то время как происходили столь отрадные для него события, каймакам вместе с мюдрином из Салоник — тем самым, у которого были такие ухаженные ногти, — отправился на городской телеграф. Эти два господина составили вдвоем телеграмму его превосходительству вали Алеппо, свидетельствующую об их блестящем политическом чутье. Телеграмма эта была противополоственной длины — на десять мелко исписанных бланках она содержала одну тысячу сто пятьдесят слов! Своим крохотворством она напоминала

речь безвестного, однако одержимого честолюбием адвоката, а стилем — передовицу радикальной газеты. Для начала в самых ярких красках была расписана неудачная попытка ликвидации лагеря непокорных армян, затем приводились цифры тяжелых и бесмысленных потерь, и в довершение всего захват бунтовщиками необеспеченных прикрытием орудий был охарактеризован как чудовищный промах командования, каким он и был на самом деле. Оставив эту печальную тему, каймакам с грустью отмечал, что все его предложения постоянно отвергаются военными инстанциями. Он-де считает себя обязанным самым решительным образом указать, что душа народа раскалена до предела и в настоящую минуту народ все более в гневе требует снять бибашси с поста командующего и подкрепляет свои требования бунтарскими выступлениями на улицах. Наличных сил полиции и жандармерии недостаточно, чтобы справиться с подобными беспорядками. Посему следует пойти на уступки и ходатайствовать перед военными инстанциями о немедленном снятии и отдале под военный суд этого бибашси. В заключение каймакам утверждал, что во всем виновата «двойная власть» — сирийские вилаяеты подчинены одновременно и политическим наместникам и командованию Четвертой армии. И до тех пор, пока существует это двойное подчинение, каймакам не может гарантировать ни спокойствия, ни порядка в своей казе, ни столь желаемой быстрой депортации армян. Рассуждая с государственно-юридической точки зрения, он яснее ясного доказал, что выселение армянского меньшинства — задача управления внутренних дел. В решении ее не вмешивается даже верхнее командование. Роль военных ясно определяется словом «содействие». В то же время «содействие» войсковых подразделений, согласно закону, зависит единственно от решений гражданской власти. А посему именная практика незаконна, так как территориальное командование действует по собственному произволу и в «содействие», как правило, отказывает, всячески стремится навести провинциальное управление, распоряжается, имея на то права, даже жандармерией, то есть органом гражданской власти. Такое опасное положение дает армянам повод к сопротивлению, а это, если оно наберет силу, будет иметь неизбежные последствия для всей империи. Закончил каймакам свою необыкновенную государственную депешу чуть не угрозой. Он берет ликвидировать вооруженный армянский лагерь на Муса-даге только при условии, если вся власть будет сосредоточена в его руках. Для этого необходимо «содействие» военных в таком размере и вооружении, которые обеспечили бы окончательную и решительную очистку горы. Немыслимо также, чтобы эта операция производилась офицером, не знакомым с местными условиями, а потому каймакам настоятельно просит поручить это дело заместителю команданта Айтакхе — юзбашси, однако при проведении операции юзбашси должен быть подчинен

ему, каймакаму. Если же эти столь бесспорные предложения будут сочтены неприемлемыми, то он, каймакам, осмелится предложить следующее: вышеописанный позорный провал оставить без последствий, а восставших на Муса-даге армян предоставить самим себе.

С политической и психологической точек зрения рапорт каймака надо признать шедевром. Исполнил хоть часть его пожеланий — он стал бы самым незанятым правителем провинции в Сирии. Хорошо натасканный чиновник старого покроя был бы, пожалуй, завет самоуверенным тоном гигантской депеши. На самом же деле как раз этот лживый и прозительный стиль был рассчитан на млатотурецких правителей. Они молдились на Запад и потому испытывали суеверный трепет перед такими словами, как «инициатива», «энергия» и т. п., даже если в них содержался протест.

В это же время вконец уничтоженный бибашси, щечки которого навсего утратили румянец, написал длинную телеграмму своему начальнику, генералу, командующему тылом. Он долго и нудно жаловался на каймакама, который будто бы вынудил его пойти на это жеудачное предприятие, не дав ему достаточно времени на подготовку. Тон телеграммы был жалостным, напыщенным и одновременно ирешительным, тем самым уже обреченным на неудачу. Беднягу в двадцать четыре часа сняли с должности и вызвали в суд. Со своего за долгие годы насиженого местечка он исчез в ночной час — невиннейшая жертва армянского военного счастья! А его превосходительство вали Алеппо нашел формулировку каймакама Антохки столь важной и значительной, что немедленно направил его телеграмму господину министру внутренних дел с некоторыми усливляющими дополнениями. Подчиненный искусно нашувал большое место своего начальника! Ведь с тех пор как великий Джемаль-паша, наделенный неограниченной властью римского проконсула, командовал в Сирии, Джемаль-паша обращался с этими великими мужиками как с интендантами своего армейского тыла. На них так и сыпались строжайшие приказы — выслать туда-то столько-то тысяч окая ишеними или к такому-то сроку привести в надлежащий вид такую-то дорогу. Казалось, полководец видит в гражданском населении только сборище назойливых бездельников, а гражданские власти считают совершенно неприемлемым злом. Потому-то его превосходительство в Алеппо так охотно воспользовался случаем прочувствовать железного дашу — повторившись сообщить в Стамбул о позорной неудаче надменных военных.

Талаат-бей прочитал шедевр антохийского каймакама со смешанными чувствами. Ему-то как раз надлежало нечься об интересах управления внутренних дел, отстаивать их перед зарвавшимися военными. К тому же депортация армян была для него гораздо важнее, чем неудовлетворенное честолюбие надоевших бахвалов. Огромной лапшей он примичиво погладил свой белоснежный жилет. Про-

ворные пальцы бывшего телеграфиста скрепили бланки телеграммы скрепкой и присовокупили к ним записку следующего содержания: «Прошу дело решить срочно и положительно».

Бумаги были немедленно переправлены и в тот же день леги на стол военного министра.

Энвер-паша никогда ни в чем не отказывал Талаату. Когда эти господа тем же вечером встретились на заседании эджиджюна<sup>1</sup>, Энвер подошел к своему другу. Хлопая длинными девичьими ресницами, юный бог войны улыбнулся:

— Я телеграфировал Джемалю о Мусадаге в весьма решительных выражениях.

Не дожидаясь благодарности Талаата, он изложил сыронизированно: — Вы все должны меня благодарить за то, что я отправил этого сумасшедшего в Сиврию, а заодно и обезвредил.

Перед Яффскими воротами Иерусалима есть арабская гостиница. Окнами она выходит на цитадель Давида с ее высоким минаретом. В этой гостинице командующий армией Джемаль-паша и расположил свою временную ставку. Сюда же ему доставили телеграммы Энвера, вали Алеппо и других чиновников — все они просили о быстрой ликвидации затянувшегося армянского дела. В те дни влиятельные Османской империи передавали друг другу по телеграфу тома сочинений. И прибегали они к этому вовсе не срочности ради, они испытывали неподдельную языческую радость от того, что могут передать слова на расстояние, — это и толкало их на такую велеличность.

Джемаль-паша находился в своих апартаментах один. И Али Фуад бей, и немец фон Франкштейн — его начальник штаба — отсутствовали. Это и позволило Джемалю-паше дать волю своим чувствам. У двери стоял Осман — начальник личной охраны, огромной роста горец, обещанное оружием чучело, экспонат оружейной палаты. Заведя себе такого телохранителя, Джемаль-паша преследовал две цели. Во-первых, такое романтическое одяние давало его азиатскому пристрастию ко всему пышному и роскошному, которое не могло быть удовлетворено будничной деловитостью современной армии. И во-вторых, тем самым он успокаивал себя, отгоняя вечную тревогу, испокон веков терзавшую диктаторов, а именно — страх перед покушением. Осману не разрешалось отходить от пашы ни на шаг, особенно когда являлся кто-нибудь из Стамбула. Джемаль не исключал возможности, что его милые братья Энвер и Талаат способны подослать к нему ловкого посланца смерти, снабдив его надухачами рекомендациями. Он внимательно ознакомился с телеграммами, особенно с той, что была от Энвера. Хотя случай, в котором шла речь, не имел особого значения, желтое лицо Джемала

прозеленело, а толстые губы под черными усами даже побелели от пуга. Такой же низкорослый, как Энвер, он не был хрупким, а, скорее, крикливо-мускулистым. Левое плечо он имел привычку приподнимать, и люди, видя знавшие его, думали, что он кривобокий. Из рукавов расшитого золотом генеральского мундира торчали тяжелые красивые руки. Опито и дали повод для молвы, будто он ввук стамбульского палача. Если об Энвер-паше можно было сказать, что он скроен из самой легкой материи, то Джемаль-паша был изготовлен из самой плотной. И если Энвер был мечтательно обаятельным любимым страстно неистовым Джемаль-паша ненавидел обаятельного любимца богов неистребимой ненавистью неудачника. Ему все доставалось только великим трудом, а на братца все незаслуженно сыпалось с небом — и военная слава, и счастье в игре, и успех у женщин...

Еще раз взяв со стола девушку, Джемаль попытался уловить меж официальной строк кокетливую интонацию Энвера.

В эту минуту, как никогда, судьба армянских общин Мусадага висела на волоске. Достаточно было служебной записки Джемала — и на Дамладж были бы брошены два батальона пехоты, батареи горных орудий и несколько пулеметов. И тут уж не помогло бы ни искусство Габриэля Багратяна, ни отчаянная отвага мусадагцев, один час — и дело было бы кончено. Но, прочитав во второй раз телеграмму, Джемаль рассвирепел не на шутку. Он накричал на она-рашенного Османа, велел ему немедленно убраться и под страхом смертной казни никого не впускать. Затем подбежал к окну и тут же отпрыгнул: вдруг кто-нибудь подсмотрит наготу его души! Проклятого Энвера надо в порошок стереть! Этакая салонная дамочка на войне! Чванливый любимица высшего света! Этакий пустозвон — не совершил ни одного мужественного поступка, присвоил себе славу по-вершился при Адрианопле, а сам прискакал с конницей, когда все давно уже было сделано! И это тщеславное ничтожество, этот «мальчик для удовольствия» Османского государства поставлен выше его, Джемала! Этот проворливый хлыщ хочет расправиться с Джемалем, выставив его сюда, в Сиврию!

Генерал совсем разъярился на стамбульского Марса, ярость всколыхнула его душу до самой глубины. А буря возникла по самому пустяковому поводу. Телеграмма Энвера начиналась словами: «Прошу Вас принять срочные меры...» Отсутствовало обращение «Ваше превосходительство». Даже простого «паша» не было! А Джемаль слыл фанатиком формальности, особенно в отношениях с Энвером. Даже при дружеских встречах он важно соблюдал все формальности и с особой тщательностью следил за тем, чтобы и Энвер отдавал ему должное, чтобы тот и ни на йоту не умалял его достоинства. Телеграмма, в которой столь пренебрежительно было опущено обращение, оказалась каплей, переполнившей чашу ненависти Джемала-пашы.

<sup>1</sup> Эджиджюен (турецк.) — комитет, комиссия, совет.



Все последние месяцы Энвер-паша донимал Джемаль самым невероятным требованиям, которые сирийский военачальник всегда выполнял. Сначала его вынудили отправить в Стамбул восьмую и десятую дивизии, потом еще и двадцать пятую и, в конце концов, передислоцировали в Багдад и Битлис весь тринадцатый армейский корпус. В настоящее время военный диктатор Сирии располагал всего шестнадцатую-восемнадцатую жалкими батальонами, к тому же разбросанными по огромной территории от вершин Тавра до Суэцкого канала. И все это было делом рук Энвера, а все же не диктовалось военной обстановкой! Уж в этом то скрежетавший зубами Джемаль был твердо убежден. Генералиссимус своим трикостом совсем его обезоружил, обезвредил и лишил всякой возможности добиться успеха.

В сознании Джемали, просветленном ненавистью, возникли тысячи разоблачительных подробностей, в которых как нельзя ярче отражалось пренебрежительное отношение Энвера. Это Энвер, вкупе со своей кликой, никогда не допускал его близко, не сообщал о важных решениях, не привлекал к совещаниям в узком кругу. С самого начала их отношения были сплошной цепью нарочно подстроенных унижений, и величайшее из них заключалось в том, что он не мог противостоять Энверу, что самым своим существованием, своими действиями Энвер обрел его на вторые роли, а ведь Джемаль был убежден в своем превосходстве и как правитель и как солдат.

Вздергивая левым плечом, Джемаль все еще бегал вокруг стола. Нет, он совершенно бессилен что-либо сделать! Мальчишеские планы места вспыхивали в его разгоряченном мозгу: вот он во главе новой армии захватывает Стамбул. Берет в плен этого наглого пубриха. Открывает Босфор союзническим флотам. Заключает с ними, вышескими своими врагами, союз...

В третий раз берет Джемаль телеграмму в руки, но тут же швыряет ее на стол. Как же лучше всего досадить этому Энверу и всем, кто с ним заодно? Джемаль хорошо знает, что вступление армян для них святое патриотическое дело, да он и сам не раз высказывался в том же духе. Но он никогда не потерял бы такого поистине змеиного дилетантизма, превратившего Сирию в какую-то клоаку смерти. На совещании о планах депортации военных министр предупредительно не приглашал Джемали, иначе от затем сладяного Энвера не осталось бы и камня на камне. И это тоже одна из причин, из-за которой красавчик Энвер загалгал его на юго-восток. Охваченный дикой жадной мести, Джемаль уже раздумывал закрыть границы Сирии, все депортационные колонны повернуть обратно в Анатолию, полностью провалить великое дело...

В эту минуту дверь постучал начальник штаба, полковник фон Франкенштейн. Джемаль отбросил пустые мечты, плод разгоряченного воображения, и сразу же превратился в уравновешенного, до-

тошно аккуратного, почтенного генерала, каким его знали подчиненные. Его чувственные азиатские губы скрылись под черными усами. При немецком полковнике он старался выглядеть человеком суровым, однако обладающим неотразимой логикой. И действительно, перед Франкенштейном предстал предельно собранный, хладнокровный полковник.

Они сели за стол, немец открыл портфель, достал записки, чтобы доложить о дислокации новых континентов в Сирии, и тут заметил перед собой стонку телеграмм и лежавший сверху приказ Энвера-паши.

— Ваше превосходительство получили важные известия?  
— Не обращайтесь внимания, полковник, — отрезал Джемаль, — все, что здесь действительно важно, зависит не от военного министра, а только от меня.

Взяв красивыми ладонями телеграмму Энвера, он разорвал ее на мелкие клочки и выбросил в окно — то самое, что было обращено к итадеде Давида. Так щепетильная чувствительность оттоманского клановителя обернулась союзницей Габриэла Багратяна. Ибо Джемаль-паша предпочел вовсе не отвечать на телеграмму и не выслать в Антаке для разгрома армян на Муса-даге ни единого солдата, ни одного орудия.

Бездеятельность Джемали-паши спасла горцев-армян от быстрой гибели, но не избавила их от медленно стигавшихся телет смерти. Пусть диктатор Сирии и Палестины сам ничего не предпринимал, но имелось еще немало нижестоящих штабов, которые вполне могли принимать самостоятельные решения. Так, например, напористый юзбашин, преемник неудачливого биябаши, добился от тылового генерала в Алеппо присылки нескольких рот из местного гарнизона. Кроме того, вали письменно обещал каймаку выделить крупный отряд захватив. Из этого видно, что каймакам кое-чего добился от своего начальства в Алеппо. А успех подстегнул его честолюбие.

Часто, когда Габриэл Багратян сидел на своем наблюдательном пункте, его охватывало ощущение, будто Дамладж — какая-то мертвая точка в бесконечно вращающейся системе, точка абсолютного покоя внутри вандимого, но бесенного вихря смертельной ярости. Но сегодня движение вокруг мертвой точки было вполне зримо: со всех сторон к деревням тянулись волонеры упряжки, навьюченные ослы, толпы людей. Почему же вдруг хлынул этот потоп? А вот почему: каймакам понял, что настал его час решительными шагами достичь первых рядов своей партии. Проведя эту образцовую политическую операцию, он тем самым ввел в тевета смерти армии новую и очень крепкую нить. Речь идет об арабском национальном движении, с некоторых пор оно причисляло сирийским властям немалого хлопот. Довольно широко распространенные тайные союзы, такие

как «Эль Ад» («Клятва»), «Арабские братья», вели весьма успешную поджигательскую пропаганду против Стамбула, стремясь в будущем объединить арабские племена в самостоятельное и независимое государство. Здесь, как и всюду в мире, расцветал национализм, разлагая на жалкие биологические составные части религиозные, объединенные одной идеей государственные образования. В калифате заключена идея божественная, а существование турок, арабов, курдов, арабов—это, так сказать, воплоте земной факт. Паши прежних времен превосходно понимали, что мысль о высшем духовном единстве, идея калифата благородней, возвышенней, чем магия прогресса, свойственная некоторым карьеристам. В не раз ошельмованной, ленивой инертности, царившей в старой империи, в этом «спуске» все идет, как идет», в сонной этой продолжительности крылась мудрая государственная политика, которую близорукий западник — смутьяны результаты поскорей подавай! — и постигнуть был не в силах. А старые паши тонко чувствовали, что благородней, но запущенный дворец не выдержит излишних реставраций. Однако младотуркам удалось все-таки разрушить созданное столетиями. Младотурки сделали то, чего они, как правители многонационального государства, ни в коем случае не должны были делать! Их неволеерный национализм пробудил этот же национализм у поработанных народов. Впрочем, судьбы народов вернутся не на землю. Ибо мутен взор, не видящий за движением героев на сцене автора драмы! Люди хотят того, что им абложно хотеть. Неестественно большие имперские образования распались. Означает же это только, что всевышний опрокинул шахматную доску, на которой играл сам с собой, и намерен заново расставить фигуры.

Как бы то ни было, арабский национализм наступал. Двигаясь с юга, он проник в турецкую империю до линии Мосул—Мерси — Алаиа. В сирийских вилайетах уж приходилось с ним считаться, ибо тылу и на флагах Четвертой армии распространилась какая-то волгудная строптивость — весьма опасная для вооруженных сил, ведущих боевые действия. Выступления против вилайетов в Антаке были, безусловно, связаны, если и не открыто, с подобными настроениями. Каймакаму, таким образом, пришла на ум счастливая мысль — привлечь на свою сторону местных арабов, все более выходявших из подчинения, — разумеется, за счет армян. Он задумал добиться своего, разжигая еще и исламский фанатизм. По закону о депортации вся собственность армян переходила в руки государства. Так по крайней мере значилось на бумаге. На самом же деле местным властям предоставлялось поступать в этом случае как им заблагорассудится.

Уже на следующий день после поражения каймакам Антаке разослал чиновников в не столь далекие от Муса-дага районы с дреобладающим арабским населением. Там посланцы каймакама объявляли, что самая плодородная часть Сирии между Суэдией и Рас-эль-

Ханзимом с ее виноградниками и фруктовыми садами, шелководством и пчеловодством, богатыми водными источниками и лесами, со всеми усадьбами и домами будет безвозмездно распределена среди тех, кто не позднее чем через два дня явится в армянскую долину. Мудире не без коварства намекнули, что при разделе земель старательным арабским крестьянам отдадут предпочтение перед турками.

Оттого-то возникло это неожиданное переселение народов. Каймакам не преминул явиться лично и остался в Погинолуке присматривать за разделом да и свисать симпатично арабских иотаблей. Он поселился на вилле Багратян, разумеется после того, как оттуда выптали мухаджире с его семейством.

Через каких-нибудь двое суток деревни были заселены столь же пусто, как до исхода. Неожиданно разбогатевшие арабы и турки спешили брататься. В жизни они не видели таких просторных усадеб! Жить в них и то было жаль! Все церкви тотчас превратили в мечети, и в первый же вечер муллы совершили моление. Они благодарили, и в первый же вечер муллы совершили моление. Они благодарили аллаха за новые прекрасные дома и земли. Одно омрачало их радость — нагие и грязные свиньи христиане там, на горе! Долг каждого правоверного уничтожить их! Ибо только тогда можно будет благоговешно пользоваться всеми богатствами.

Мужчины выходили из мечети сверкая глазами. Они горели желанием скорее избавиться от ограбленных хозяев домов, дабы утихало не то чтобы очень сильное, но все же неприятное чувство в их входе добрых крестьянских душ.

Утром, но и равнодушно наблюдали защитники Муса-дага гибель своей родины.

Что сталося со временем? Сколько безмерной вечности нужно для, чтобы долазны до ночи? И до чего же быстроног дель рядом с ночью-улиткой! И где Жюльетта? Давно она живет в этой палатке? А в доме она разве когда-нибудь жила? И была ль она когда-ни в Европе? Да и кто такая эта Жюльетта? Нет, это не она, что пленницей живет здесь среди горного народа! Не она, проснувшись поутру, дивится: куда это я поехала?

С кровати соскользнула белая усталая женщина, ступила на ковер, нагнула на себя халат и села на маленький складной стульчик перед зеркалом. Рада чего? Ради того, чтобы посмотреть на землестое и все же обожженное солонцем лицо. Зачем? Разве это лицо с такими тусклыми глазами, загорелой кожей, сухими волосами может привлечь молодого мужчину?

С некоторых пор Жюльетта отпускает своих девушек спозаранку. Боязливыми руками, будто совершая преступление, она остатками эссенции и притираний пытается привести себя в порядок. Потом одевается, надевает большой фарук, повязывает голову белой косынкой — какое-то подобие чепца. С тех пор как она работает в ла-

зарете, она иначе не одевается. Чепец и фартук — ее моральная поддержка. Это ее униформа, внешне более всего соответствующая ее положению на Дамладдже.

Перед уходом она бросается на колени подле кровати, обхватывает подушку, будто хочет спастись, спрятаться от пробуждающегося дня. Когда-то раньше, много дней (или лет?) тому назад она чувствовала себя покинутой, несчастной, а теперь мечтает вернуться в это несчастье, не отягощенное ее виной. Сколько свет стоит — так дошло, как она, ни одна женщина не поступала! И какая женщина! Достойная, гордая, за все годы своего замужества ни разу не помянувшая о каком-либо «приключении». Но разве сотни парижских «приключений», любовных авантур не сушили пухом с ее величайшим предательством в разгар отчаянной борьбы перед лицом неминуемой смерти? Слово девочка, Жюльетта шептала: «Я не виновата!» Но разве это помогает? Властью, ей неведомой, она была отдана на этой беспощадной чужбине тому, что ей казалось роком. Быть может, ради того, чтобы пробудить в себе противоборствующую силу, она вскрикнула: «Габриэль!» Но Габриэла не было, как не было и Жюльетты. Ей все реже удавалось поскрестать в полюбившемся альбоме памяти его истинный образ. А чужой бородатый армянин, что время от времени подсаживается к ней, — разве это Габриэль? Жюльетта испугалась своих слез. Она долго витирала глаза. Ждал, пока не пропала краснота.

Всех не слишком тяжело раненных Петрос Алтуни велел перенести «домой», в шалаши. Хотя он ничем своих распоряжений не обосновал, повод для этого был. Вести о победе армии четырнадцати того августа облетели горы и долины северной Сирии. Особою в душе она пришла к десертным, притаившимся в окрестных горах. И впрямь, уже на другой день у выдвинутых вперед постов появились двадцать два десертника и попросили, чтобы их приняли в ряды бойцов. Боясь измены и шпионов, Багратин сам лично проверял каждого. А так как все они выдавали себя за армян и у каждого была маузеровская винтовка и патроны, он в конце концов принял всех и винков.

Среди них был молодой мужчина, какой-то странный, словно оцепенелый. Он говорил, будто четыре дня назад бежал из пехотных казарм в Алеппо и долгие переход отнял у него все силы. Вечером человек этот, бледный как смерть, явился в лазарет к доктору Петросу и, разобмотав что-то испонятое, потерял сознание. Врач велел его раздеть. Несчастного парня был озноб. Грудь была усеяна красными точками, за ночь их стало больше. Петрос Алтуни после очень длительного перебива все же обратился к своему заброшенному справочнику. Но буквы не поддавались расшифровке. Тогда он попросил француженку:

— Взгляните-ка, милая, как по-вашему — что это такое?

Жюльетта за все это время так и не привыкла к виду крови, к повседневным ужасам лазарета. Всякий раз, когда она переступала его порог, к горлу подступала тошнота. Она очень старалась, помогла встать, где только могла, но отращивание и страх не проходили, шла встать, где только могла. Но отращивание и страх не проходили, шла встать, где только могла. Однако в эту минуту ее охватил какой-то страшный восторг. Показалось: вот сейчас и именно здесь должна она испытать свое предательство. Покрытый сильно несчастий в судорогах встает у ее ног, от него душно пахнет, он пышет жаром, на губах встал, и почему-то ей почувдился в нем сразу и Габриэль и Стефан в одном лице. Жюльетта встала на колени и, сама уже теряя сознание, закрыла глаза. Уронила голову на валавую грудь больного.

Голос Гонзаго заставил ее вскинуться:

— Что вы делаете? Это безумие!

Тут и в старом враче, видно, заговорила совесть, и он сказал женщинам:

— Пожалуй, вам лучше пореже у нас бывать.

Гонзаго украдкой подмигнул ей. Она послушно пошла за ним. Для нее сейчас и Гонзаго выпал из времени. Когда ж это случилось? В какие прошедшие времена? С каких это пор она безвольно идет за ним, едва он кинется? Как тяжело и как огромно ее предательство и это молчание! А Гонзаго ничуть не изменился. Все то же неопытное внимание — от его глаз, от его мыслей нискогда не свалилось. Жизнь в лагере ничуть не отразилась на его внешности. Его пробор всегда безупречен, сюртук тщательно вычищен, сам он чист, кожа бела, дыхание приятное. Любит ли она его? Нет, это другое, гораздо страшней. Даже несчастная любовь всегда найдет выход, хотя бы в мечтах. А тут выхода нет...

Часто бывало и так: нет Габриэла, но нет и Гонзаго! Вначале во всем этом было что-то приятное, по-домашнему родное, словно бы что-то, нечаянно попавшее в этот мир, рождая отклик в душе, а теперь оно превратилось в чудовищную неоправданность, и нет от нее спасения! Когда Гонзаго прикасался к ней, Жюльетта чувствовала нечто никогда ранее не испытанное. Но вместе с этим росла и ненависть к себе — предательнице. Многие скрытые за кустами и деревьями уголки на приморских склонах горы стали местом их встреч. Первой в ней вспыхивали остатки гордости, и она сиранивала себя: «Неужели это я? Здесь, прямо на земле?» Но Гонзаго пренебрежительно ушел, исключать все безобразное. Быть может, только в этом устранять, исключать все безобразное. Быть может, только в этом, одним он был одарен: таковы игроки, коллекционеры, охотники, развившие в себе только одну какую-то способность, зато уж сверх всякой меры. С такими людьми его роднили целеустремленность и неустойчивое терпение. Это оно привело Гонзаго на Дамладджу, оно помогало ему сдерживать, но уверенно ждать своего часа. Но эта «сдерживанность» его собранность вызвала у Жюльетты нечто противоположное — рассеянность и полный паралич воли. Часто на нее нава-

для какой-то светлая растрепанность, что-то творилось внутри, какие-то отвратительные мохлатые дымки закрывали доступ свету.

Они сидели в укромном уголке Дамладжга, который между собой называли «Ривьерой». Гонзаго разломил сигарету пополам и одну половину бережно закурил.

— У меня осталось только пятьдесят штук, — сказал он и прибавил, словно пытаясь успокоить тревогу из-за того, что табак на исходе: — Но ведь нам уже недалеко здесь сидеть...

Она посмотрела на него невидящими глазами. Голос его был все так же рассудительно спокоен:

— Думаю, что мы уйдем отсюда, ты и я. Пора уже!

Она, как видно, все еще не понимала, о чем это он.

И тогда Гонзаго хладнокровно, в подробностях, рассказал ей о своем плане. Трудно будет только первые два часа. Небольшая прогулка в горах, ничего страшного. Необходимо пробраться по гребню в южном направлении и выйти правее небольшой деревушки Хабасти в долину Оронта, а затем на дорогу в Суздио. Прошлой ночью он проделал этот путь и, не встретив ни души, добрался до винокурного завода. Зашел к директору, который, как Жюльетта хорошо знает, грек и человек весьма влиятельный.

— До чего же все просто! — удивился он. — Директор отдает себя полностью в наше распоряжение. А двадцать шестого августа маленький каботажный пароход с грузом продукции завода отплывает в Бейрут. Две промежуточные остановки в Латакия и Триполи, и двадцать девятого он прибывает в Бейрут. Пароход плавает под американским флагом, да и завод принадлежит ведь американской компании. Директор говорит — полная безопасность обеспечена, так как кипрский флот на этих днях тоже выходит в море. У тебя будет отдельная каюта, Жюльетта, а в Бейруте ты — свободный человек. Все дальнейшее — вопрос денег. А деньги у тебя есть...

Глаза ее стали совсем черными.

— А Габриэл и Стефан?

Гонзаго аккуратно сдул пепел с рукава.

— Габриэл и Стефан? Так ведь сразу видно, что они армяне. Я говорил с директором и о них. Он набрызг отказался. Он, видишь ли, ладит с турецкими властями и не хочет вмешиваться. Все это он очень откровенно объяснил. Да, Габриэлу и Стефану, к сожалению, помочь нельзя...

Жюльетта отодвинулась.

— А мне — можно?.. И ты готов...

Гонзаго покачал головой — шепетливость Жюльетты он явно считал чрезмерной.

— Габриэл же сам хотел тебя отравить. Помнишь? Кстати, со мной.

Она стиснула виски ладонями.

— Да, он хотел отправить меня и Стефана... А я так с ним пошутила... Я его обманываю...

— Ничего подобного! Тебе вовсе не надо его обманывать. Мне ли требовать этого от тебя? Напротив, скажи ему все. Сегодня же.

Жюльетта вскоčila. Кровь бросилась ей в лицо.

— Что? Ты предлагаешь мне убить его? В его руках судьба пяти тысяч человек! И мне его убивать?

— К чему эти громкие слова! — не вставая, бесстрастно сказал Гонзаго.

— Так мы только все перепутаем. Убивают обычно совсем чужих и незнакомых людей. И это случается каждый день. Но бывает так, что надо решать: или наша собственная жизнь — или наша близость... Да разве Габриэл тебе все еще близок? Убьешь ли ты его, если сама спасешься, Жюльетта?

Его спокойствие, его уверенный взгляд вновь привлекли Жюльетту к нему. Взяв ее за руку, Гонзаго отчетливо, вразумительно привнес излагать свою философию. У каждого человека есть одна не повторимая жизнь. И если есть у него обязательства, то только перед этой единственной жизнью, и больше ни перед чем. Из чего же она состоит, эта самая жизнь, по природе, по самой своей сути? Из длинной вереницы желаний и страстей. И пусть они по-настоящему существуют лишь в воображении, важно одно — они должны быть сильными. Эти желания и эти страсти нужно утолить не считаясь ни с чем. В этом весь смысл жизни. Потому-то идешь навстречу опасности, даже навстречу смерти, ибо вне стремления утолить наши желания жизни нет.

Пример столь логичной и искренней позиции? Сам Гонзаго. Ни минуты он не колебался ради своей любви пойти навстречу любой опасности, даже обрек себя на весьма неудобное существование. Под ковер он сказал презрительно:

— Все, что ты считаешь любовью, заботой, самопожертвованьем, — просто-напросто душевная лень и страх.

Голова Жюльетты упала ему на плечо. Опять этот неслышимый гул. Опять ее куда-то уносит...

— У тебя все уж до того взвешено и измерено, Гонзаго! Не будь таким ужасающе рассудительным. Я этого не вынесу. Почему ты так переменялся?..

Его легкая рука, чье прикосновение было чудом нежного искусства будить страсть, скользнула по ее плечу, бедру. Жюльетта зарыдала. Гонзаго утешал:

— У тебя есть еще время решать, Жюльетта. Семь долгих дней. Кто знает, что может случиться за эти дни...

После довольно долгого перерыва Тер-Айвазун созвал большую совет. Члены его сидели на длинных скамьях в правительственном бараке. Сидя в своей каморке, как это уже вошло у него в привычку

ку, безучастно слушал их Григор. Так и казалось, что мудрец, что бы обрести духовное совершенство, полностью отказался от общения с людьми. Почти ни с кем он уже не разговаривал, разве что с самим собой. Правда, тут уж он бывал многословен, — случалось это в самые одинокие ночные часы. Нечаянный прохожий, услышавший его, ничего бы не понял. Григор задумчиво расставлял в ряд короткие фразы, ничем друг с другом не связанные, например: «Расплавленное ядро планеты... небесная ось... россыпи планет... описание цветка...» Слова эти возвышали душу Григора, приближали к первопричине всякой сути. Взмнет горсть таких слов, и они как бы парят в воздухе! Вот так собирал он из них огромный купол, весь сотканный из сверкающей научной мозаики, и восседал под ним посредине, отрешенно улыбаясь, точно буддийский свистеник. Существует ведь ступень совершенства, аскетического богатства, которое уже ни высказать, ни сообщить людям нельзя, ибо все подлинно возвышающее — асоциально. На эту ступень, возможно, и поднялся аптекарь Григор. Людей он давно уже перестал поучать. Преподание его ученики не навещали его, да он о них и не спрашивал. Прошли времена бывшего величия, когда он во время ночных прогулок показывал Восканяну, Шатахяну, Асану и прочим звездные миры, давая им самые невероятные названия, приводя неслыханные цифры, повернутые из его лучшего бесконечности воображения. Теперь огромные звезды и слова кружили внутри него и не возникало уже жгучей потребности радостно поведать о них другим. Аптекарь Григор спал не более часа в сутки. С каждым днем чудовищная боль все алее сводила его сухожилия и суставы. А когда Петрос Алтуни, заметив состояние друга, задал ему обычный вопрос, Григор торжественно ответил на латыни: «Rheumatismus articulorum et musculorum». Ни разу ни одного слова жалобы не слетело с его уст. Болезнь была непослушна ему, дабы утвердилось всемогущество духа. Однажды она повлекла за собою кое-что другое; все вокруг словно померкло. Вихрем уносился от него весь мир. Вот и сегодня, когда заседали члены совета, он следил за ними напряженным взглядом и шевелил губами, повторяя их слова и не понимая, будто глухонемой. Казалось, он уже не воспринимает обыкновенную человеческую речь.

Совещание на сей раз затнулось. В стороне сидели Авакия и общинный писарь Йотоголука, они вели протокол и оформляли резолюции. По особому распоряжению Тер-Айказуна перед баракком выстроилась охрана лагеря.

Вардавет не был склонен к пышности, поэтому, надо думать, потребовав этой меры безопасности, он преследовал некую цель. И если сейчас охрана должна была всего лишь обеспечить спокойную работу совета, не допускать посторонних, то ведь в будущем, при более напряженной обстановке, возможно, и напрямую возникнет под-

данная необходимость охранять порядок и руководящий орган.

Как обычно, Тер-Айказуна председательствовал прикрыл глаза, да как всегда, казалось, что его познabalывает. Доклад о положении с продовольствием, который председатель поставил первым, сделал пастор Арам Товмасян — как лицо, ведающее порядком в лагере. Он обрисовал истинное положение дел. После стихийного бедствия — динва с градом, сгорел еще и амбар, положенный прямым попаданием снаряда. Он уничтожил как остатки муки, так и особенно ценные продукты: масло, вино, сахар, мед. Без кофе и табака обойтись невозможно, но без соли не обойдешься, а ее осталось только на три дня. Любо да вытаетесь одним мясом. Почти всем это претит, да и запасы мяса тают с ужасающей быстротой. Мухтарм пересчитали скот и установили, что со времени исхода стадо уменьшилось на треть. Дальше так хозяйство вести невозможно. Иначе очень скоро не останется ничего, а это — конец.

Затем пастор уступил место Товмасу Кебусяну — как человек сведущий, тот должен был определить состояние стада. Кебусян подвинулся, покачал головой и закосячил своими неодинаковыми глазами на всех сразу и ни на кого в отдельности. Начал он с жалоб по поводу потери своих превосходных овец. Он выращивал их столько лет, что стада сил. Теперь его милых овец не узнать. В добрые старые времена упитанный баран весил от сорока до пятидесяти ова. А ныне — вдвое меньше. По мнению мухтарм, тут две причины. Первая, пожалуй, — обычное ведение хозяйства, будь оно плохо... Овцы, конечно, понимают — иначе сейчас нельзя. Но это дурно отражается на скотине. Кому как не ему знать своих баранов. Они томятся потому, что нет у них хозяина, некому о них заботиться. Вторая причина не имела такой политической окраски, но звучала более убедительно. Лучшие пастбищные делянки внутри оборонительного пояса отравлены не только овцами и козами, но и ослами. А от влового корма мясо жесткое, жира скотина совсем не пагуливает. Да и с молоком обстоит не лучше, содержание в нем жира быстро уменьшается. О масле и сыре вообще ничего говорить!

И Кебусян жалобно закончил:

— Единственный выход — новые пастбища, тогда и мясо будет другое.

Габриэла Багратян решительно возразил: нам не дано жить в докатоестве и мире, мы точно в Новом ковчеге среди кровавого потопа. О свободном передвижении людей и скота ничего и поминывать. Турецкие разведчики обложили оборонительное кольцо со всех сторон. Выгонять скот за пределы лагеря, да еще на северные склоны Мусалага, означает идти на такой риск, за который никто не может взять на себя ответственность.

— Какого дьявола! — воскликнул он. — Неужели нельзя найти новые пастбища внутри кольца? Выгоняйте скот на вершины!





— Не вижу оснований щадить членов совета, Тер-Айказун. Я убежден, что положение наше отчаянное...

Минуту подумав, он в нескольких словах обосновал эту свою уверенность. До сих пор армянам удалось успешно отбить два штурма. Но именно в этом успехе и заложена гибель. Несомненно, турецкие власти взбешены. Весть о сокрушительном разгроме разнесется по всей империи, и это будет тяжелым ударом для авторитета военной машины. Османская воищина не может отмахнуться от подобного урока, как это было прежде. Как знать, возможно, и сам командующий армией Джемаль-паша уже взялся руководить операцией против Дамладжака. Он, Багратян, склонен опасаться этого. Во всяком случае третий штурм ничуть не будет походить на первые два. Вероятней всего, турки уже стянули мощные пехотные части, подвели горную артиллерию, а быть может, выслали и пулеметные роты, чтобы взять Дамладжак штурмом. Правда, у армянской обороны есть кое-какие преимущества: получен боевой опыт, в последние дни усилены и улучшены оборонительные позиции и сооружения. Наличие гаубиц — не только моральная поддержка. Но главное — дружинами теперь обстреливая, это уже подлинное преимущество.

— Потому-то я вовсе не исключаю, что с божьей помощью мы можем отбить еще один штурм. — закончил Багратян.

Затем он сделал одно чрезвычайное важное предложение:

— Как ни безумна мысль о спасении, совет не имеет права корчиться неумолимой судьбе и ждать сложа руки. Все, все надо испробовать! Море, правда, так ужасно пустынно, будто мореходство еще не изобретено. И все же, хоть это маловероятно, хоть надежды почти нет, бог ведь, быть может, в Александrette на рейде стоит миноносец союзников. Наш долг обдумать и такую возможность. Наш долг не упустить ее. Ну а американский генеральный консул в Алеппо, мистер Джексон? Известно ли ему о смертной борьбе христиан? Знает ли он о бедственном положении на Муса-даге? Наш долг сообщить ему об этом, потребовать защиты у американского правительства.

И Габриэл изложил свой план. Надо послать две группы гонцов, одну — в Александретту, другую — в Алеппо. В Александретту — лучших пловцов, в Алеппо — лучших ходоков. Задачу пловца можно считать более легкой: ведь до Александреттской бухты всего тридцать пять английских миль на север и добраться туда можно пустынными горами, минуя населенные пункты. Однако главная задача этого плана — впасть достичь борта корабля — потребует большой физической силы и решительности. От тех, кто пойдет в Алеппо, не потребуется такого напряжения, но зато им предстоит преодолеть расстояние в восемьдесят пять миль, причем только ночными пе-

реводами, избегая больших дорог и селений и все-таки постоянно подвергаясь смертельной опасности. Но если курьеры сумеют добраться до дома мистера Джексона, они сами, что и говорить, будут спасены.

План Багратяна подвергся бурному обсуждению: ведь он позволял сохранить хоть малую искру самой безумной надежды, а стало быть, и позволял не поддаваться сознанию обреченности. Шлово назначили двоих. В качестве гонца в Алеппо достаточно будет послать одного юношу. Нет никакого смысла подвергать опасности нескольких двоих. Судите сами: двое пройдут незаметной тропой, а один проскользнет мимо таможенников и заплывет в море, а гонца из добровольцев. Гонимы — один или два, еще не решили окончательно — захватит с собой письмо американскому консулу, а пловца — капитану корабля. Чтобы в случае ареста письма не попали в руки турок, их можно защитить в посыле.

Тер-Айказун предложил выбрать пловцов и гонца из добровольцев. Гонимы — один или два, еще не решили окончательно — захватит с собой письмо американскому консулу, а пловца — капитану корабля. Чтобы в случае ареста письма не попали в руки турок, их можно защитить в посыле.

Тер-Айказун назначил день и час для сбора добровольцев. Он, не откладывая, проинтоваль общинному пасару обращение к жителям Города. Мюдир и глашатай должны были в тот же вечер охватить его. Сам Габриэл Багратян взялся написать письмо консулу Джексону. Арам Товмасян взялся составить послание капитану военного корабля. Он сел в сторонке и, пока члены совета шумно обсуждали следующий пункт повестки дня, составил послание, которое должны были передать пловца. Работа эта глубоко измучивала его — порой он вскакивал и, размахивая руками, с жаром прочитывал какой-нибудь отрывок. При этом он оставался собой: почти в-точь протестантский пастор, который готовит воскресную проповедь. Послание свое он очень быстро закончил. Оно сохранилось, это свидетельство сорока дней Муса-дага.

«Любому — английскому, американскому, французскому, русскому, итальянскому — адмиралу, капитану или старшему командиру, коего достигнет мое прошение.

Сэр! Во имя господина бога и человеческого братства мы вызываем к Вам. Мы, жители семи армянских деревень, около пяти тысяч душ, бежали на плоскогорье Муса-дага, называемое Дамладжак, расположенное в трех часах ходьбы северо-западнее Суэдия, на морской стороне горы.

Мы бежали сюда спасаясь от варварства и жестокости турок. Мы защищаемся, дабы отвратить бесчестие и позор, которые грозят нашим жезлам.

Сэр! Вы, несомненно, знаете о проводимой младотурками политике уничтожения нашего народа. Под видом переселения и под лживым предлогом необходимости предотвратить мнимый бунт они выгоняют наших людей из домов, грабят поля, сады, виноградники, всякое движимое и недвижимое имущество. По нашим сведениям, так было,

вомно других поселков, в городе Зейтуне и тридцати двух окрестных деревнях...»

Затем Арам Товмасян рассказал о том, что он пережил, когда они гнали по этапу из Зейтуна в Мараши. Потом описал исход семьи деревню и в ярких красках обрисовал бедственное положение народа на Дамладжике. Обращение заканчивалось призывом о помощи:

«Сэр! Мы умоляем Вас во имя Иисуса Христа! Перевезите нас на Кипр или в другую свободную страну. Мы народ не ленивый. Мы щадя себя будем зарабатывать свой хлеб, если нам дадут работу».

Но если Вы сочтете просьбу нашу нескромной и невыполнимой, то возьмите хотя бы наших женщин, наших детей, наших стариков. А нас, мужчин, снабдите владостя оружием, патронами и провиантом, дабы могли мы защищаться от войск врага до последнего вздоха.

Мы умолим Вас, сэр, посещите, пока не поздно!

От имени всех христиан здесь наверно  
Ваш покорный слуга пастор А. Т.

Обращение это было составлено на двух языках: на одной стороне листа — на французском, на другой — по-английски. Оба текста тщательно отредактировали под наблюдением стилиста и лингвиста Алета Шатахияна. Однако переписать текст мелкими буквами на узеньком листе бумаги неожиданно поручили не учителю Восканину, прославленному каллиграфу, а Самвелу Авакяну, который был далеко не такой мастер этого дела. Грант Восканин вскочил и так устоялся на Тер-Айказуна, будто намеревался вызвать на дуэль не только вардапета, но и весь совет. Губы его беззвучно шевелились.

Его заклятый враг Тер-Айказун в ответ только снисходительно улыбнулся:

— Садись, учитель Восканин. Успокойся! Твой почерк чересчур красив. Кто увидит его, не поверит в нашу беду, раз мы способны водить такие завитушки.

Черный гном, подняв голову, шагнул к Тер-Айказуну:

— Вардапет! Ты ошибаешься во мне! Видит бог, к этой глупой мази я не ревную.

И воинственно потрясая кулаками перед лицом Тер-Айказуна, выкрикнул дрожащим от гнева голосом:

— Эти руки, вардапет, давно уже не держат ни пера, ни кисти, во они уже доказали, что способны держать и кое-что другое!

Если не считать этой смешной стычки, важное совещание прошло мирно, решения принимались единодушно. Остался доволен даже скептик Тер-Айказун: он надеялся, что, как бы ни сложились обстоятельства в будущем, этого согласия избранных не расторгнуть, не сломить.

И на этот раз Габриэл не застал жены ни в шатре, ни на площадке среди миртовых кустов, где она обычно принимала гостей. Но там оказались учителя Восканин и Шатахян — в последнее время они несколько раз заходили сюда отдать дань восхищения мадам Багратян, однако тиетно. Особенно зол был Грант Восканин: ни одна из его многочисленных попыток явиться пред Жюльеттой в роли льва-победителя Южного бастиона не увенчалась успехом. Вне себя от бешенства, он вынужден был признать, что элегантный манекен, каким он считал мось Гонзаго, как видно, затмевает здесь обожженного порохом воина. Но как ни был подозрителен Молчун, ни единая нечаянная мысль не закралась ему в голову. Мадам Багратян была так недостижима в своей звездной высоте, что никакие недостойные образы не смели его смутить. В этом отношении несносный каранк был целомудрен, как ашуг.

Увидев учителей, Багратян круто повернул и ушел. В некоторой нерешительности он шагал по тропинке от площадки Трех шатров в сторону «Ривьеры». Куда бы в этот час могла уйти Жюльетта, думал он. Он направился было к Городу, но тут увидел сына. Как всегда, Стефан был с ватагой Гайка. Сам Гайк мрачно шагал впереди, как бы демонстрируя, что он воjak, а может, просто желая подчеркнуть свою независимость. Несчастный Аюк с отчаянной готовностью скакал подле Стефана, остальные ребята шли как попола. Сато крадучься следовала за мальчишками.

Мальчишки притворились, будто не заметили командующего, — не приветствовали его, не отдали честь и явно собирались прошмыгнуть мимо. Но Габриэл резко окликнул Стефана. Герой захвата таубин отделился от застигнутой врасплох ватаги и подбежал к отцу. В его повадке появилась какая-то нечаянная важность и что-то дикое, неприятное у приятелей. Волосчатые волосы свисали на лоб. Лицо красное, потное. Глаза заволочка пелена хмельной одержимости. Одежда рваная, грязная. Раздолованный, Багратян строго спросил:

— Скажи, пожалуйста, чем ты, собственно, занят?

Стефан поперхнулся, неопределенно помаhal рукой и сказал зашпаясь:

— Бегаем, играем... Мы сейчас свободны от службы.

— Играете? Такие большие парни? Во что же вы играете?

— Ни во что... просто так... папа...

Он говорил отрывисто и как-то странно снизу вверх смотрел на отца, словно спрашивал: «Папа, зачем ты разрушаешь все, чего я с таким трудом достиг у ребят? Если ты сейчас будешь говорить со мной как с маленькими, они поднимут меня на смех».

Но Габриэл не разобрал, что говорил глаза сына.

— Да ты на человека не похож, Стефан! Неужели ты в таком виде покажешься маме?



невной, ожесточенной замкнутости. Исчезли все приметы молодости, пруступада незаметная прежде резкость.

Едва Габриэл подошел к кровати, пасторша обнажила грудь младенца и с укором показала на дилуювую родинку у сердца, разросшуюся уже до величины монеты.

— Все больше становится... — сказала она странно торжественным тоном, словно пророчица, предвещающая кару небесную.

— Тебе бы радоваться, пасторша, бога благодарить, что у ребенка знак на груди, а не на лице, — не вытерпев, с досадой упрекнула ее Майрик Антарам. — Чего тебе еще надо?

Овсанина сердито закрывала глаза, будто устала слушать пустые утешения, — она-то лучше знала.

— А почему он так плохо сосет? Почему не плачет?

Антарам грела пеленки на раскаленном камне. Не оборачиваясь, она отозвалась:

— Погоди до крещения! Два дня еще. Бывает ведь, что дети только после крещения начинают кричать.

Лицо Овсанины скривилось в упрямой гримасе.

— Если только он доживет до крещения...

Докторша совсем рассердилась:

— Всех ты замучила — и себя и других. Да кто тут знает, что через два дня будет: крещение или смерть? Сам господин Баграман и тот не знает, будем ли мы живы через два дня.

— Но пока мы живы, — улыбнулся Габриэл. — И раз так — в честь крестинки и его матери мы здесь, прямо перед палаткой, устроим небольшой праздник. Я уже говорил с пастором, Госпожа Товмассян, назовите, кого вы хотите пригласить.

— Я незнаюция. У меня и знакомых тут нет... — ответила Овсанина и отвернулась.

Искуи сидела в стороне на своей кровати и не сводила глаз с гостя. Да и Габриэл то и дело на нее оглядывался. Ему показалось, что Искуи гораздо больше изнурена и больше нуждается в помощи, чем Овсанина, — у той еще хватает сил на непонятную враждебность, да и вообще она явно пользуется своим состоянием. А юная ее золовка сидит в палатке точно пленница...

— Не хотите ли вы меня немного провондир, Искуи? — спросил Габриэл, окинув ее ласковым взглядом. — Жена у меня пропала, яду ее искать.

Искуи посмотрела на Овсанину, будто спрашивая позволения. И та, плаксиво, давая понять, что обижена, разрешила.

— Конечно же, Искуи, иди! Ты мне не нужна. Пеленать ты все равно не можешь. Тебе полезно погулять.

Искуи колебалась. Она почувствовала в ответе Овсанины коварство. Но тут вступилась Майрик Антарам:

— Ступай, ступай, голубка. И до вечера не возвращайся. Нечего тебе здесь делать.

Выйдя из палатки, Габриэл спросил:

— Что случилось с вашей невесткой, Искуи?

— Девушка остановилась и, не глядя ему в глаза, ответила:

— Ребенок очень плох. Овсанина боится, что он умрет.

Когда они отошли подальше, Искуи, наконец, посмотрела на него с прищипыванием:

— А может быть, тут и другое... Может быть, только теперь, после родов, проявляется ее подлинная натура.

— А раньше вы за нее ничего такого не замечали?

Ей вспомнилась жизнь в Зейтуне, в приюте. Споры из-за мелочей. Искуи всегда ощущала в Овсанине упрямство и строптивость. Но зачем ей сейчас говорить об Овсанине? И она только уклончиво заметила:

— Случалось иногда...

Габриэл и Искуи шли во направлении к Городу, хотя едва ли можно было встретить там Жюльетту.

Люди сидели перед шалашами. Здесь, на горе, воздух был приятней и прохладней, чем внизу, в долине. С моря веял ласковый ветерок. Все было чем-то занято. Женщины чинили белье в одежку. Мужчины — кто латаал обувь, кто строгал доски, а кто обрабатывал кожи и овечьи шкуры. Полным ходом работали кузница Нурхана Эллеона, его шорные и патронные мастерские. Все это было вынесено за пределы Города, чтобы обезопасить его от возможного пожара. Сейчас там трудялись Нурхан с двадцатью своими подмастерьями. Стук молотов и шипенье пара не смолкали ни на миг. Ведь годили в штифты нужны всем. У Нурхана чинили поломавшийся инвентарь, во главным образом неисправное оружие. Как часто в такие свободные дни от мирного трудового шума рождалась иллюзия, что на выне дни от мирного трудового шума рождалась иллюзия, что на Дамладжике живут и трудятся колонисты и не висит над ними угроза смерти! Человек не осознает юности времени, — в этом его детская сила, она помогает преодолевать и вчерашний день, и завтрашний. Правда, лица у всех осунулись от усталости, недоедания и недосыпания, но все же люди улыбались, приветливо кланялись Баграману и Искуи.

И вот эти двое вышли из Города. Говорили односложно. Вопросы ни о чем — ответы ни о чем. Казалось, каждый кладет на чашу весов другого крохотную гирьку, гранатопое зернышко души — только бы не нарушилось дивное равновесие. Они шли на запад, над ними высились вершины гор. Кругом все было голо. Милый ландшафт высохла, выжогого плато осталось позади. Перед ними раскрылась пустота без лишнего гомона. Лишь порой прощелестит ветерок — все для того, чтобы этим двоим лучше слышать друг друга...

Габриэл не смотрел на Искуи. Так хорошо было, даже не видя, чувствовать, что она рядом. Лишь изредка на каменных россыпях он

с восхищением следил, как ее ножки с очаровательной робостью выбирали, где ступить. Разговор оборвался. Да и что говорить другу? И отчего-то Габриэлу представилось, будто хрупкая фигура рядом с ним становится все тяжелее, весомей. Нет, не девичье тело становится весомей—но что же тогда? Ему казалось, будто рядом идет не только сегодняшняя Иску — зримая и незримая, но и Искух, вечно появляющаяся и вечно исчезающая. Не юное и прелестное создание, а изумительно воплотившаяся душа во всем своем вневременном совершенстве, низомелшая от бога и уходящая к нему. Но как облек в слова самый редкий и самый хрупкий миг, когда человеку дано, пройдя через мгновенный соблазн пола, соприкоснуться с другим существом в его богоданной неповторимости — и он в едином вздохе вбирает в себя всю историю этой сестринской души от сотворения мира до конца его.

Габриэл взял правую руку Иску — из-за парализованной левой она шла слева. И пока они шли, она безмолвно предалась ему всей душой, без остатка, ничего не навязывая. Они не говорили о чувствах, что расцвело так внезапно, так естественно. Они не поцеловали друг друга. Просто шли рядом и принадлежали друг другу.

Иску проводила Габриэла до северного седла. А когда престилась, он долго смотрел ей вслед. И не возникало в нем ни желаний, ни темного волнения, ничего корыстного, никакой оглядки на будущее. Будущее? Смешно! Все в нем было невесомой радостью. И так тихо Иску ушла, что ему не мешали даже мысли о ней, когда он привлекся обдумывать новый план обороны... А когда позже явился Стефан, Габриэл забыл наказать сына за непослушание.

Новая жизнь на Муса-даге переменяла и религиозный уклад его обитателей. За последние десятилетия в армянском народе стало чуть ли не модой сменить вероисповедание. С середины прошлого века, благодаря деятельности американских и немецких миссионеров, особенно распространилось протестанство. Достаточно упомянуть превосходных священнослужителей Мараша, чьи заслуги перед армянами Киликии, Сирии и семи мусадатских деревень огромны, ибо столько труда они положили на образование, строительство. Надо признать счастливым то обстоятельство, что различие вероисповеданий не раскололо душу нации. Христианство вело здесь постоянную борьбу, и поэтому его служители не допускали зависти и высокомерия по отношению друг к другу. Пастор Арутюн Нохудян из Битваса был помех выполнял свои пасторские обязанности во всех семи общинах, но, когда рожались важные для всех вопросы, подчинялся авторитету вардапета Тер-Айказуна. Здесь же, на Давладдже, Арам Товмасян, подчиняясь во всем вардапету, как преемник старого пастора Нохудяна, опекал души протестантов. Каждое воскресенье, после обедни, Тер-Айказуни предоставлял алтарь в распоряжение

пастора Арама, и проповедям пастора внимали не только протестанты, обычно и все население лагеря. Отличия в обрядах потерели всякое значение. Тер-Айказуни был высшим по чину священнослужителем горы и руководил не только делами женатых сельских священников, но, как верховный пастыр, опекал бессмертную душу всего народа. И само собой разумелось, что Арам Товмасян попросил его избрать своего преемника.

Обряд был назначен на следующее воскресенье — четвертый день августа и двадцать третий день Муса-дага. Однако из-за утраты и дневных богослужений, а также других обязанностей Тер-Айказуна крещение могло состояться только в послеполуденные часы. А так как Овсания еще недостаточно окрепла и вряд ли смогла бы пойти до Алтарной площади, Арам Товмасян попросил вардапета самого прийти на площадку Трех шатров и там совершить обряд крещения, — тогда и мать сможет присутствовать. Заранее уговорившись, что Багратян распределит около тридцати пяти приглашенных среди знатных людей и командиров важнейших секторов. Принимая иренида Муса-дага в общину во Христе, очень удобно было собрать руководителей на праздник и тем самым укрепит общие связи. У ирениды еще оставалось десять десятилитровых кувшинов крепкого вина. Он поручил Кристофору выделит два кувшина для торжества да в придачу выставит четверть тутовой водки. Правда, закуски гостям он предложить не мог. Продовольствия у Трех шатров почти не осталось.

В четвертом часу полудни гости собрались на площадке. Для колоды матери и пожилых гостей принесли стулья. Старинная, динь работы мраморная кувель вместе с другими сокровищами осталась в церкви Потонулука. Тер-Айказуни надел свое облачение в шейском шатре. Церковный слуга установил на низеньком столике жестяную ванночку. По желанию Арама крестным отцом был Габриэл Багратян.

Церковный хор, возглавляемый тощим Асаняном, выстроился позади стола, на котором было укреплено распятие и стояла ванночка. Теплою воду осыпали еще у алтаря. Под хоровое пение один из младших священников накапал в нее капли священного мира.

Немного конфузясь, крестный Багратян принял младенца из рук Майира Антарам.

Ради торжественности обряда женщины завернули желтое, сморщенное существо, так и не набравшее сил, в зарадную пеленку, кокетливо, если учесть обстоятельства, влодье можно было назвать невинною, если широко раскрытые глаза ребенка по-прежнему неведомою. Широко раскрытые глаза ребенка, в водоворот событий которой он был брошен без всякой вины. Он и голоса не подавал, будто решил, что не стоит приветствовать хотя бы низким богий свет, столь милостиво осенявший эти чудовищные законы рода людского,

Габриэл, как положено, передал священнику злосчастный сверток, который в своей странной отчужденности, казалось, противился религиозному обряду и всему тому, что он влечет за собой. Отнюдь не смиренный, на удивление холодный взгляд Тер-Айказуна словно не узнавал Багратяна. Во всяком случае, он видел в нем не человека, а лишь исполнителя роли, отведенной ему в таинстве крещения. И так бывало всякий раз, когда вардапет стоял у алтаря или облачался в рясу. Тогда из глаз его исчезало всякое сочувствие и всякое воспоминание, уступая место строгому сочувствию, подобающему его сану. Низким звучным голосом он задал крестному отцу вопрос: — Чего просит младенец?

И Габриэл, казавшийся себе очень неловким, ответил, как полагалось:

— Веры, надежды, любви!

Так повторилось трижды. И только после этого прозвучал вот ро:

— Какое имя дадите младенцу?

Имя ему решили дать по деду, мастеру Микаэлу Товмасяну. И тут старик, как это ни смешно, счел своим долгом подняться и ответить небольшой поклоном, словно и он, вместе с потомком, вступал в будущее. Но что до будущего, все здесь думали о нем одинаково. Даже если забыть, что все они на Мусадате обречены, и поверить в чудо спасения, невероятно, чтобы такое жалкое, вялое тельце дожило до него.

Теперь к Габриэлу подошли Майрик Антарам, Искуни и Арам Товмасян. Младенца освободили от пеленок. Руки Искуни и Габриэла не раз касались одна другой. Люди смотрели скорбно, затанув отчаяние. Овсання с кислой миной пуританки усталилась за гостей. В душе ее росла смертельная печаль и смертельная вражда. Объяснялось это, быть может, тем, что Овсання чувствовала между Арамом и Искуни, между братом и сестрой, глубокою душевную общность, от которой и в эти минуты она была отстранена.

Тер-Айказун усердным движением принял от крестного голенишко ребенка, и руки его, окрестившие уже тысячи младенцев, трудялись с той пеземной легкостью и изнечеством, которые отличают всех пастырей милостью божией в этой обыденной части действа. На несколько секунд он воднял младенца повыше и показал его собравшимся. И тут все увидели большую родинку на его груди. Потом вардапет быстро три раза окунул младенца в воду, описывая всякий раз тельцем его знак креста.

— Крещается раб божий во имя отца и сына и святого духа...

Варуд Овсання Товмасян порывисто вскочила и с искаженным лицом вся поддалась вперед. Настал решающий миг: закатытся ли дитя долгим обжиженным плачем в купели, как обещала Майрик Антарам?

Тер-Айказун проткнул младенца крестному отцу. Но не Габриэл, а Майрик Антарам принял его, нежно вытерла тельце мягкой палью. Малыш так и не закричал. Закричала пасторша. Дважды она истерически что-то крикнула. Стул позади нее упал. Она закрыла лицо руками и шатаясь ушла в палатку. Жюльетта, сидевшая рядом, же же разобрала слово, которое она выкрикнула:

— Грех!.. Грех!..

Немного погодя бледный, с вымученной улыбкой, из палатки вышел Арам Товмасян.

— Простите ее, Тер-Айказун. Это еще с Зейтуна, хотя до сих пор и не проявлялось. Душа ее совсем расстроена.

И дал знак Искуни пойти к Овсання. Девушка огорченно и растерянно посмотрела на Габриэла Багратяна. Тот попросил пастора:

— Может быть, вы позволите сестре остаться с нами? Майрик Антарам уже с Овсанняю.

Товмасян заглянул в палатку.

— Моя жена требует, чтобы Искуни пришла. Вот когда Овсання уйдет, тогда, пожалуйста...

А Искуни уже исчезла. Габриэл догадался: пасторша не хочет отпускать золовку, пусть будет прикована к ней, раз сама она так жестоко мучается.

После обряда начался праздник. Но люди так и не избавились от тягостного впечатления, какое оставили крестины.

Рядом со столом, за которым Жюльетта обычно принимала гостей, Габриэл велел поставить еще один длинный стол и скамьи. Но от этого возникла некая разница — гость гостю рознь, многих чувствительных людей она обидела. Им казалось, что за столом Жюльетты восседают «благородные», а «плебей» вынуждены довольствоваться местом за насеп сколоченным столом. Это был, разумеется, сущий вздор. Не было такого разделения. За столом «благородных» сидели не только Тер-Айказун, супруги Багратяны, пастор Товмасян, витекеры Григор, Гонзак Марис, — туда нахально, как всем казалось, пристроился и Саркис Киликия. Но Саркиса пригласил Габриэл Багратян: он решил отличить десертира и даже посадил его рядом с собой. Зато госпоже Кебусян, сколько она ни старалась, так и не нашлось места среди знати, и она вынуждена была сесть вместе с оставшимися мухтарями, а ведь она, благодаря несравненно большому, хотя и навеки утраченному богатству своего супруга, считала себя намного выше их. И учителю Восканяну не вышло чести зазвать местечко за почетным столом, в отличие от его коллег Шатахяна. Но он, схватив свой карабин, решительно опустился на землю у ног Жюльетты, сидевшей на самом углу. Сурово и строго смотрел он снизу вверх на обожаемую французку. Его алчный взгляд как бы требовал: да спросите же о моих подвигах, чтобы я мог с нату-



ской скромностью презрительно отшутиться. Но Жюльетта и не думала раздражать его о чем бы то ни было. Напротив, Восканини то и дело приходилось вскакивать и пропускать ее. С необыкновенным усердием играла она роль хозяйки — каждые пять минут обходила большой стол, смотрела, наполнены ли стаканы, заговаривала с гостями на своем домашнем армянском языке, угощала музтарта сладкими сухариками и шоколадом. Никто никогда еще не видел эту чужестранку такой доброй, чуткой ли не кроткой. Этим неустанно пристылившим ралушнем Жюльетта, казалось, молчала о понятии и участии.

Тер-Айказун с удивлением следил за нею из-под полуопущенных век. Но Габриэл Багратян, которого такая перемена в жене довольно была бы ослеплять, словно и не замечал ее. Он был занят лишь своим соседом по столу — Саркисом Киликяном. Поминутно позивал он Кристофора или Мисака и приказывал подливать вина в стаканы Киликяна. Но Киликян пил только из своей фляги. Ставок, стоявший перед ним, он отодвинул. Из упрямства? Или это было глубокое недоверие, таившееся в душе вечно гонимого? Этого Габриэл не знал. Он страстно, но безуспешно старался разгадать душу Киликяна. Скужающее лицо живого трупа с агатовыми глазами оставалось безучастным, и отвечал он односторонне. А Габриэлу непременно хотелось заставить Киликяна забыть тот день, когда Габриэл одержал над ним победу и подчинил себе. Он был убежден, что в этом человеке скрыто что-то необычное. Возможно заблуждаясь, как бывает с иными людьми, живущими в достатке, он полагал, будто человек страдающий — всегда существо достойное. Однако все вошедшие десертيرا, начиная со дня его унижения, и талант комедира, который с таким блеском проявился четырнадцатого августа, казалось бы, давали повод Габриэлу так думать. Крайне сложное чувство вымывал у него этот человек. Габриэл понимал, что Саркис Киликян, получивший некоторое образование — все-таки три года семинарии в Эчмиадзине, — отнюдь не пролетарий и не просто азиат. Притом он знал, какая у этого человека чудовищная судьба. Это она еще в юности исказила его черты и потасила взгляд. Судьба так уверно его преследовала, что перед его муками бледнели даже всеобщие страдания. Но этот человек ододел судьбу или, по крайней мере, выстоял, и уже одно это было для Багратяна доказательством, что это личность необыкновенная и достойная уважения. Но кроме этих, можно сказать, положительных чувств, Киликян внушал ему и печальные опасения и, вожака, неприязнь. Несомненно, Киликян ворой и в целом и характером походил на завязатого преступника, должно быть, не всегда его преследовали напрасно, что-то в его характере заслуживало это. Трудно было сказать — каторга ли сделала его преступником или же что-то преступное в самой его натуре околкими путем, через политику, привело его на каторку. Впрочем, ничего от

революционера социалистического или анархического толка в нем не было. По-видимому, никаких идеалов он не знал, никаких общих целей не признавал. Он был не злой, хотя некоторые женщины в лагере прозвали его дьяволом. Но то, что он не был злым, вовсе не означало, что он не способен в любую минуту не моргнув глазом совершить убийство. Вся тайна его заключалась в том, что он не был ничем определенным, ни с кем и ни с чем он не был связан и жил в крайней неопределимости, предельно безразличную позицию. Среди людей Дамладжика Киликян наряду с аптекарем Григором был, конечно, самым асоциальным. Этот Саркис Киликян угнетал Габриэла как раз тем, что странно привлекал его. Все эти смешанные чувства сались во что-то похожее на любовь.

Багратян-моралист, во всяком случае, думал, что может дезертира сделать человеком, — так иной мужчина возомнит, будто должен «спасти» уличную свалку. И грубую ошибку совершил командующий на Дамладжке, стараясь расположить к себе Киликяна, вместо того чтобы постоянно сохранять должную дистанцию и строго следить за ним.

Разговаривая с Киликяном, Габриэл, к своей досаде, подмечал в себе какую-то скованность. Никак не удавалось ему найти нужной нити. Неодолимая апатия собеседника лишала его уверенности. Как всякий говоривший, он проигрывал тому, кто молчит. Так движение уступает покою, жизнь — смерти, вернее сказать, они всегда помогают друг друга.

— Я рад, что не ошиба в тебе, Киликян. Наш успех четырнадцатого в немалой степени зависел от тебя. Твоя крепостная машина — великолепная идея. Не зря ты учился в семинарии. Осадная тактика римлян, а?

— Ничего этого я знать не знаю, — усмехнулся Саркис.

— Если турки теперь не посмеют штурмовать южный участок, — это ведь тоже благодаря тебе, Киликян?

Похвала, должно быть, произвела на Киликяна некоторое впечатление, даже чем-то приятно. Его тусклый взгляд скользнул по лицу Габриэла.

— Можно было сделать лучше...

Габриэл чувствовал в Киликяне внутренний отпор и злился на себя за слабость. Почему он не может ответить Киликяну тем же?

— Ты, наверно, на нефтяных вышках в Баку инженерному делу научился...

Сковис насмешливый взгляд на свою флягу, дезертир сказал:

— Я там даже десятником не был. Подсобный рабочий — и все...

— Габриэл придвинул ему сигарету.

— Я позвал тебя сюда, Киликян, чтобы сказать о своих намерениях, они, между прочим, касаются и тебя. Видимо, несколько дней нас еще оставит в покое. Но рано или поздно турки войдут на твой

штурм, по сравнению с которым оба предыдущих были детской забавой. И в этом будущем сражении я хочу доверить тебе важный пост, друг мой.

Осушив флягу до последней капли, Саркис решительно поставил ее на стол.

— Это уж твоё дело, твоя забота. Ты тут командуешь.

Тем временем за длинным «дубейским» столом стало шумно. Люди отвыкли от вина, и теперь оно оказывало свое действие. Да еще Жюльетта велела подать третий кушанье. Образовались две обширные партии — оптимисты и пессимисты. Чауш Нурхан Эздеон встал на скамью. Его седые щетинистые усы вздрагивали. Ворочая белками, он кричал сорванным фельдфебельским голосом:

— Кто надеется, что враг больше не пойдет на штурм, — труса предать! Я, Нурхан, жду не дожусь нового штурма. И лучше сегодня, чем завтра. Да и что за жизнь здесь, на Дамладжике? Говяд да хворь! Не по нуру мне это. И вообще, где радости в жизни? Мне уже пятьдесят, и я сыт по горло. А кто считает по-другому — тот дурак!

Но такие дураки нашлись и напустились на Нурхана за его сумасбродство. Старик Товмасян, взвидевший захмелевший, побагровев от гнева, «Богохульник этот Нурхан!» — кричал он. Здесь праздники, крестины его внука, и он не потерпит таких речей. Он, как дедушка, молит спасителя, чтобы его внучек, хоть сейчас это еще жалкий червь, однажды узнал бы беззаботные золотые дни в долине, в Йогонолуке как сам пожелает, а не по призову какого-то кровожадного ошкниши. Сам-то он твердо уверен, что турки скоро придут в себя.

Эти его речи дали повод выступить мухтару Кебусяну. Пошатываясь, он взгромоздился на скамью, покачал плешивой головой, велело посмотрел по сторонам и с таинственно хитрой ужимкой засипел:

— Надо уметь со всеми ладить. Двенадцать лет я был мухтаром в Йогонолуке. С кем хочешь умею договориться — и с турками, и с каймаками, и с мюдиром... Каймакам всегда меня уважал, потому как в общинный сбор сдавал в срок. И в канцелярию к нему меня всегда пускали, все меня звали — и каймакам, и мутесариф, и вали, и визирь, и сам султан. Да, все знают Товмаса Кебусяна! И ничего мне не будет, если я приду к ним переговорить вести, потому как и больше всех платил налога... А вы тут все малый налог платили, вам со мной не тягаться...

Оскорбленные в лучших чувствах старости мелких деревень, платившие малые налоги, тут же стащили Кебусяна с его трибуны. Чауш Нурхан кричал, что не потерпит больше таких, которые даром провиант жрут, всех под ружье поставят! Будь им хоть семьдесят лет, хоть больше.

Общий хохот. Пьяный спор грозил принять скверный оборот.

По счастью, Багратян, прежде чем уйти, велел не подавать больше вина. Он поспешно ушел с Авакяном, который тихо сообщил ему что-то.

Стол «благородных» пустел. Тер-Айказун покинул его, не просидев и часу. Вскоре после него Арам Товмасян скрылся в палатке жени. Когда за длинным столом разгорелся спор, туда перешел Саркис Киликян со своей флягой и, не показывая виду, что старые босяге пугают его веселят, долго смотрел на них агатовыми глазами. Гонзаго и Жюльетта тихо сидели рядом, а учитель Восканян по-прежнему восседал у ног мадам. Он пренебрег возможностью занять освободившееся место. И вдруг, будто ужаленный, Молчуноу вскопал. Опершись на карабин, несколько секунд он с ужасом смотрел на Жюльетту, потом круто повернулся и деревянной походкой зашагал прочь. Пля Восканян мало и, однако, отойдя немного, решил, будто все, что он увидел, примерещилось ему под влиянием винных паров. Нет, невозможно! Немыслимо! Неужели его белокурая, белокожая богиня прижималась коленкой к колену этого искателя приключений, о котором никто не знает, откуда он родом!

И хотя Восканян решительно приписал безумное видение действию вина, сердце его бешено колотилось, даже когда он дошел до Алтарной площади.

Неожиданно что-то встревожило Жюльетту, она поднялась и простояла — ей давно пора к Овсанне.

Под конец за столом остались сидеть друг против друга аптекарь Грикор и Гонзаго Марис. Гонзаго рассматривал своего гостеприимного хозяина с нескрываемым страхом. Просто не перится, что человек всего за несколько недель мог так измениться! Был крепкий мужчина среднего роста, а теперь — высохший карлик. Опухшая от водянки голова вяло мотается из стороны в сторону на тонком шейном черенке. Плечи вздернуты, перекосились, суставы пальцев распухли. Только маска мандарина почти не изменилась, разве что кожа еще больше потемнела, стала серо-коричневой. К надменному хладнокровию в лице прибавилось что-то новое, какой-то световой стрих, какая-то лукавая потусторонняя улыбка. Грикор усердно пил вино из чашки, большая рука его тряслась, и он расплескивал драгоценную влагу.

— Вам не следовало бы так много пить, господин Грикор, — предостерег его Гонзаго.

Покачав отяжелевшей головой, которая за последние недели стала совсем огромной, Грикор возражал:

— Я ничего больше не ем... А винопитие есть служба духовная, учит нас великий персидский философ Ферхад аль Катиб.

— Вам надо беречь себя. Соблюдать постельный режим.

— Я только-только почувствовал себя здоровым человеком, — заявил больной аптекарь, и это прозвучало как парадокс.

Хотя вина больше не подавали, спор за длинным столом все разгорался, слышался громкий смех, оскорбительные выкрики. На аренах скандал. К званым гостям подсади несколько незваных, в большинстве своем молодые люди. Это, несомненно, подлило масла в огонь.

Солнце уже скрылось за горизонт. Спускался вечер. Дню пляшущие тени на земле повторяли перепалку за столом, будто некое призрачное сражение. Казалось, драки не миновать. Вдруг со стороны Города раздалась резкая барабанная дробь. Мгновенно все умолкло.

— Глашатай, — сказал кто-то.

Другой крикнул:

— Тревога!

И стар и млад стянулись с себя драчливость, разом всемогния о действительности и кинулись к своим секторам обороны. Видно было, как пастор Томасия бежит в сторону Города.

В считанные минуты на площадке никого не осталось.

— Тревога, — задумчиво повторил Гонзаго, и в его спокойных карих глазах сверкнули золотистые искорки.

Атака турок опередила его планы. На этот раз бой едва ли кончится благополучно. Что ж, может быть, уже этой ночью? А Жюльетта?

Аптекарь Грикор не в силах был подняться из-за стола. Гонзаго помог ему. Оказалось, и ноги уже не слушаются старика, пожалуй, он не добрался бы до дома, если бы Гонзаго не проводил его. Сам Грикор смотрел на свою немощь как бы со стороны, словно это был какой-то не касающийся его пустяк. Но путешествие до дома тивулось бесконечно.

— Тревога? — как-то легкомысленно переспросил он. Обстоятельство это, казалось, не очень его занимало.

— Тревога! — повторил Гонзаго внушительно. — Да такая, что нам не поздоровится.

Аптекарь через каждые пять шагов останавливался, чтобы отдышаться.

— Какое мне дело до тревоги, — переводя дух, проговорил он. — Разве я с вами? Нет, я не с вами. Я — это я. Я сам по себе.

Трусушейся рукой он повел вокруг себя, словно обозначил размер и границы мира своего «я».

— Если я сказал — нет зла, то зла нет. Если я сказал — нет смерти, то нет и смерти. Пусть меня убьют — я этого не замечу. Кто разумом постиг эту истину, тот вновь построит целый мир из духа своего.

И он попытался поднять руки над головой. Однако это ему не удалось. Гонзаго, всегда считавший, что распознать беду лучше прежде, чем она нагрянет, нежели потом ее не замечать, ничего не понял

из его слов. Но чтобы доставить старику удовольствие, он вежливо спросил:

— Кого из древних философов вы только что цитировали?

Маска мандарина оставалась безучастной. Козлиная бородака вздрагивала. Высокий и какой-то пустой голос прозвучал в сгущающихся сумерках:

— Это сказал философ, коего никто, кроме меня, никогда не цитировал и цитировать не будет. Грикор Погонулукский.

Габриэл Багратян приказал объявить боевую тревогу, хотя еще не вполне был уверен, что опасность близка. Странно, почему-то лишь после захода солнца стало ясно, что на равнине Оронта и в армянской долине турки сосредоточили необозримое количество войск. И регулярных и добровольных частей собралось так много, что не хватало квартир в деревнях и солдаты расположились на ночлег под открытым небом. Огромный полукруг костров брал начало у развалин Селевкии и тянулся на север, к самой далекой армянской деревне — Кебуше.

Одна за другой возвращались группы разведчиков и докладывали совершенно невероятные вещи. Турецкие солдаты являлись вдруг словно из-под земли. И не только солдаты, залпни и четники — все мусульмане неожиданно оказались вооруженными маузеровскими винтовками и штыками. Офицеры разбивают их на подразделения. Невозможно даже подсчитать, сколько там вооруженных людей. Назывались фантастические цифры. Но когда Багратян окинул взглядом полукруглые лагерных костров, растянувшиеся на несколько миль, цифры эти не показались ему такими фантастическими.

Два вывода можно было сделать из всех этих наблюдений. Во-первых, в распоряжении турецкого командования находилось достаточно сил для осады Дамладжика от Южного бастиона до северной седловины и ваятия его штурмом. И во-вторых, турки так уверенно в своем превосходстве, что отбросили тактику скрытого сосредоточения и внезапной атаки. Подобная открытая подготовка рассчитана была на то, чтобы ошеломить армию, и действительно ошеломила их. Но она же подказала Багратяну и вариант обороны, предусмотрительный и проанализированный им под кодовым названием «генеральное наступление». В былые мирные дни его неоднократно разыгрывали на учениях.

На этот раз Габриэл Багратян был много спокойней, чем перед предыдущими сражениями, хотя армянам, укрывшимся на горе, теперь надеяться было не на что.

Отдав приказ о боевой тревоге, Багратян разослал своих связных по отдельным секторам с приказом всем командирам участков и свободным дружинникам собраться в командном пункте. Тем временем его отсутствовали члены совета уполномоченных. Испуг сигнал

с них лишь всякие следы прерванных крестин. На период боевых действий Багратян брал на себя, как это и было предусмотрено, также и верховное командование лагерем. Он тут же распорядился, чтобы в течение ночи приготовили завтрак для бойска, используя все свежее мясо. За два часа до восхода солнца еду надо доставить на позицию. Все вино и водку, какие еще остались, раздать дружинникам. Сам он отдал бойцам все, кроме одного кувшина с вином. Этот дар и породил позднее легенду о неисчерпаемых запасах Багратянов. Скоро командиры групп и секторов, а также прибывшие на командный пункт дружинники построились, к ним прикнули резервисты и ковшеский отряд. Габриэл Багратян обратился ко всем с краткой речью:

— Насколько способен преданить ум человеческий, нам осталось лишь выбрать между двумя смертями: легкой и честной в бою или подлой и страшной в резне. Если каждый из нас представит это себе и если мы с непоколебимой решимостью выберем первую, честную смерть, то может случиться чудо и мы выживем! Да, только так, братья мои!

Затем, согласно варианту «генеральное наступление», Багратян перераспределил командование. Чаушу Нурхану он поручил командовать сектором северного седла и внес еще одно изменение — поручил Киликяну важный участок, расположенный выше Дубового ущелья. Были также сформированы две новые боевые группы: Летучая гвардия и отряд вольных стрелков. Для последнего Нурхан и Багратян, учитывая опыт партизанской войны на Балканах, отбрали из дружин около сотни лучших стрелков и самых ловких лазутчиков. Они должны были взять под свой контроль весь сектор Дамладжа, обращенный к долине, и, затаившись в складках местности, в ямках и кронах деревьев, в кустах, подстергать врага. Приказ гласил: пропустить наступающие турецкие колонны, а затем с тыла и с флангов внезапно обрушить на них сильный огонь. Патроны не жалеть! Каждый волучил по двенадцать магазинов, то есть шестьдесят патронов — в условиях Муса-дага огромное количество! Багратян проявил непривычную щедрость. Предстоящее сражение безусловно станет решающим, теперь уж не до бережливости. Вот почему он приказал из трофейных и прочих запасов оставить лишь малую часть. Вольным стрелкам он, как всегда, четко и ясно поставил задачу: сбить наступательный яростный врага, не давая ему ни минуты покоя, все время тревожить его тылы, особенно когда он готовится перейти в атаку. И пусть все запомнит: каждый выстрел — убийственный враг!

Вслед за отрядом вольных стрелков составил отряд Летучей гвардии. Габриэл уменьшил до предела гарнизон Южного бастиона, ставший благодаря мощным укреплениям почти неприступным. А образовавшиеся брешь заполнили резервистами. Так для его Летучей

гвардии высвободилось около ста пятидесяти штыков. Командование гвардией он взял на себя, намереваясь использовать ее там, где дела будут оборачиваться худо. Большую часть этого отряда удалось посадить на верховых ослов. Верховые ослы в этом краю не те животные: всем упрямые и медлительные твари — они обучены всем аллограм. Оба отряда юношеской когорты — связанные и разведчики — получили приказ: держаться непосредственно в аррьергарде Летучей гвардии, чтобы ни на миг не обрывалась связь главного командования со всеми участками обороны.

Таков в основных чертах был *Ordre de bataille*, который Габриэл Багратян разработал на случай «генерального наступления» и подготовку к которому он хладнокровно провел в первые часы спускавшейся ночи. Под конец он сделал смотр резервистам. Им было приказано выйти из Города до восхода солнца. Половина их предназначалась для пополнения в ходе боя гарнизонов отдельных позиций, другая должна была занять длинную полосу склона между восточным краем горы и лагерем. Полоса эта местами, например на участке Дубового ущелья шириной всего в тысячу шагов, оказалась под серьезной угрозой. Только редкие земляные укрепления, а вернее, беспорядочные кучи камней можно было здесь использовать, отражая вражескую атаку на Город.

Габриэл Багратян напомнил резервистам об их великом долге. Они — последние линия обороны, сказал он, а у врага одна цель — обезопасить наших жен и сестер и перерезать всех детей!

После этого Нурхан Элзеон протрубил на рожке сигнал турецкой вечерней зори. Прозвучал он как-то ожесточенно, с завыванием, и означал отбой.

Габриэл отправился к гаубицам, где собирался провести остаток ночи. С помощью Нурхана он кое-как обучил нескольких молодых дружинников артиллерийской службе. Незадолго до полуночи вернулось последний разведывательный дозор. Ничего неожиданного в его сообщении не оказалось. Единственная новость: на крыше виллы Багратянов развевается знамя с полумесяцем, во дворе много лошадей, офицеры входят и выходят из дома. Очевидно, там обосновался главный штаб турок.

Дождя было восхода луны, Габриэл спокойно измерил на карте широкое расстояние и произвел все необходимые расчеты. Полная, будто раздувшаяся луна дарила много света, и ему удалось засечь дополнительный прицел, а уже затем получить и все данные для траекторий. Снарядные ящики он приказал подтащить поближе. В них лежало пять шрапнелей и двадцать три гранаты. Половину всего запаса Габриэл велел разложить сразу же за сошником. Потом прочел все рилы и установил взрыватели, света себе карманным фонариком.

За этим его и застала Искун. Сначала он даже не заметил ее.

Она тихо позвала. Он взял ее за руку, отошел с ней подальше от орудий — там они остались одни. В мертвенном свете дуны красные ягоды на кусте, под которым они сидели, потускнели, словно капли сургуча. Голос Искуна казался сдвинутым. Она была смущена.

— Я хотела только спросить: я не помешаю, если завтра утром буду рядом с тобой?

— Для меня самая большая радость — знать, что ты рядом. — Он замолчал, подумал и прижал ее руку к своей щеке. — И все же... Нет, это будет не только мешать, меня все время будет мучить мысль, что ты в опасности.

— Опасность всюду, где бы мы ни были, Габриэл. Часом раньше или позже — не все ли равно...

— А разве ты не должна завтра дежурить при Овсание и младенце? Это твой долг, и кто скажет, что случится здесь до завтрашнего вечера...

Хрупкая Искуна вся выпрямилась и с какой-то особенной решимостью произнесла:

— Да, кто скажет, что случится здесь до завтрашнего вечера! Потому я не признаю теперь никакого долга, кроме... Ни Овсания, ни ее младенец тут ни при чем. Мне они безразличны.

Габриэл нагнулся совсем близко к Искуне, посмотрел в ее огромные глаза, устремленные на него. Они словно таили. Странная мысль мелькнула у Габриэла. Вдруг то, что сейчас так влечет его к ней, не есть обычная любовь, не то чувство, которое еще связывает его с Жюльеттой, а что-то гораздо большее и в то же время меньшее, чем любовь? Все силы ума и души будто прояснились и направили его блаженством, никакое вождение не отвлекало... Быть может, то была неведомая любовь кровного родства, дарившая ему во взгляде Искуны упоение таинственного родника? Нет, не желание сдвинуть воедино в будущем, но уверенность, что они были едины в прошлом, владела им. Он улыбнулся ей.

— Я не думаю о смерти, Искуна. Это безумие, но я никак не представляю себе, что завтра меня не будет в живых. Я считаю, это неплохое предзнаменование. А ты как думаешь?

— Смерть придет, Габриэл. Другого исхода для нас нет...

Двойного звучания ее слов он не расслышал. В нем родилась странная радостная уверенность.

— Не надо нам задумываться о будущем, Искуна. Я дальше завтрашнего дня не загадываю. Даже о завтрашнем вечере не думаю. И знаешь, я даже рад завтрашнему дню.

Искуна повялась, собираясь домой.

— Обещай мне, Габриэл, сделать что-то очень для тебя нелегкое: если уж не останется никакой надежды, прошу тебя, очень прошу, застрели меня и себя. Так будет лучше всего. Я не могу без те-

бя жить, ни минуты не могу. И не хочу, чтобы ты жил без меня хотя бы одно мгновение. Позволь мне завтра быть рядом с тобой!

Нет! Он заставлял ее дать слово, что весь день она не покинет палатки. И сам дал слово, что позвонит ей или придет за ней в палатку, если увидит, что все погибло, — и они вместе умрут.

Давая ей это обещание, он улыбался. В душе он не был уверен, что это конец. И потому не было в нем страха ни за Жюльетту, ни за Стефана. Но когда он снова подошел к орудийному дворику и занялся подготовкой к стрельбе, его самого изумила эта уверенность в жизни, ибо чудовищная действительность опровергала ее, со всех сторон охватывая грозным полужурищем костров.

Каймакам, юзбаша из Антакье, рыжий мюдляр, командир батальона — четырех рот, присланных из Алеппо, и два других офицера сразу после захода солнца собрались в селамлике виллы Багратинца на военный совет. Все свечи были зажжены, и приемная зала сияла, как в дни званых вечеров Жюльетты. Денщики собирали со стола — господа только что откушали. Через открытые окна слышались звуки трубы и шум, какой неизбежно производит разбивающееся бивак войска. Так как от этих оставшихся армий всего можно было ждать, каймакам затребовал для ставки солидную охрану. Она-то теперь и крушила сад, огород и парк, ставя палаточный лагерь.

Совет затянулся. Никак не удавалось прийти к единому мнению. Речь шла о том, штурмовать на рассвете Дамладж или нет. Каймакам с черно-коричневыми мешками под глазами и постоянным выражением досады на лице был нерешителен и поминутно всхливал. Обосновывая он свою нерешительность тем, что хотя по настоянию вали генерал-интендант в Алеппо и прислал целый батальон пехоты, однако обещанные пулеметы и горные орудия до сих пор не прибыли. Колагазы (штабе-капитан) из Алеппо объяснил упущение тем, что эти виды вооружения все до последнего исчезли вместе с отозванными из Сирии дивизиями. Во всем Алеппо не найти ни одного пулемета! Каймакам призвал господ членов совета подумать, не разумнее ли будет отложить операцию на несколько дней и по телеграфу запросить его превосходительство Джемаля-пашу срочно выслать необходимое вооружение. Однако офицеры не согласились. — Это значило бы нарушить субординацию, а тем самым вызвать гнев Джемаля и даже спровоцировать его на противодействие. Юзбаша из Антакье отодвинул стул, взял со стола записку. Руки его дрожали, но объяснять это следовало не тем, что он волновался, а тем, что курил сигарету за сигаретой.

— Эфенди, — негромко заговорил он слабым голосом, — если мы решим дожидаться артиллерии и пулеметов, нам придется здесь зимовать. В действительной армии с этими видами вооружения дело обстоит так плохо, что нас просто подымут на смех. Я позволю себе на-

помнить каймакаму состав имеющихся в нашем распоряжении сил. Не повышая голоса, он прочитал подряд цифры, значившиеся на небольшом листке.

— Четыре роты из Алеппо — круглым счетом тысяча штыков. Две роты из Александретты — пятьсот штыков. Пополненный гарнизон Антакье — четыреста пятьдесят человек. Вместе — почти две тысячи штыков регулярной пехоты. Полк на фронте и то не имеет такого состава. Второй шелок: четыре сотни запятив из Алеппо, триста из нашей казны и четыреста четников с севера, — это еще тысяча сто человек! И еще, так сказать, третий шелок: две тысячи мусульман из окрестных деревень, которым мы раздали оружие. В шломе мы атакуем силами в пять тысяч штыков!

Юзбаша умолк, залпом выпил чашечку кофе и закурил новую сигарету. Кто-то воспользовался паузой для реплики:

— Как-никак, а у армии две гаубицы.

Впалые щеки юзбаша дрогнули, желтый лоб покрылся испариной.

— Эти гаубицы можно не принимать в расчет. Во-первых, к ним нет снарядов, во-вторых, нет прислуги, а в третьих, они очень скоро снова будут в наших руках.

Усталый, а может быть, и скучающий каймакам откинулся в кресле, подняв глаза:

— Не следует недооценивать этого Багратяна, юзбаша. Я видел его только один раз, и не где-нибудь, а в бане. И надо сказать, он вел себя наглейшим образом...

Молодой мюдир — веселущий, холерные ноги! — с упреком сказал: — Военные власти допустили большую ошибку: надо было призвать этого армянского офицера из запаса. Насколько мне известно, Багратян несколько раз просил об этом. Не будь его, на всем побережье шарило бы полнейшее спокойствие.

Юзбаша резко оборвал мюдиря:

— Багратян или кто другой! Все эти штатские грош ломаного не стоят. Вчера я сам побывал наверху и кое-что увидел. Один сброд! Окны примитивные. У них и штыков-то от четырехсот до пятисот, не больше. Нам впору плюнуть себе в лицо, если мы до обеда с ними не расправимся.

— Все это верно, юзбаша, — подхватил каймакам, быстро взглянув на юзбашу, — однако я самая малая тварь, защищая жизнь, становится чудовищем.

Алеппский колаган решительно поддержал юзбашу. Он-де имеет самое твердое намерение не позднее чем через двое суток покинуть эти не очень благоустроенные места и вернуться в прекрасный город Алеппо.

Столь единодушная уверенность офицеров в скорой победе заставила каймакама, зевнуя, заявить:

— Итак, вы гарантируете успех, юзбаша?

Юзбаша, словно дракон, выпустил две струи дыма из ноздрей. — В военном деле ничего гарантировать нельзя. А потому и отчаянно это понятие. Одно могу сказать — если до завтрашнего вечера армянский лагерь не будет ликвидирован, я покину с собой!

— Тогда пойдемте спать, — предложил усталый каймакам, мучительно потягиваясь.

Впрочем, высвататься как следует сему владыке не удалось. В помещении все еще витал запах от разбитых флаконов духов Жюльетты, и сои большого каймакама сопровождался какими-то угнетающими и терзающими видениями, он то и дело просыпался и с трудом после этого засыпал.

Пробуждение было не лучшее сна. Едва забрезжил рассвет, как каймакама разбудили страшнейшие взрывы. Полураздетый, он выскочил на веранду. Всюду видны были разрушения. Граната разорвалась перед самым подъездом. Всю землю усматили осколки стекла. Воздушной волной выбило дверь, она валялась на лестнице. Во многих местах оссыпалась штукатурка. Вывороченные камни и искорененные железные балки. Но более всего ужасал вид штаб-квартиры в Алеппо. Должно быть, судьба заставила несчастного выйти из дома в тот самый момент, когда разорвалась граната. Теперь он сидит, прислонившись к стене. Синие глаза были младенчески пусты. Базальто, он замечтался о далеком прошлом. Осколок разворотил ему правое плечо, другой — пробил бедро.

Возле него хлопотал юзбаша из Антакье и, казалось, выговаривал ему — не стой, мол, отчаиваться. Но колаган, видя не вина по составу, стал медленно вальсировать из бок Гвезно обернувшись, юзбаша закричал на остолбеневших солдат: что они тут торчат! Пускай бегут за фельдшером и санитарями! Но это было не так просто. Фельдшер находился в расположении третьей роты в Битвасе. Юзбаша приказал нести раненого в дом. Его положили на кровать в комнате Стефана. Придя в сознание, колаган стал умолять юзбашу не уходить, покада ему не наложат повязки. А каймакам, по приходе своей истинный штатский — один вид крови приводил его в ужас, хотя в теории он воспринимал это невозмутимо, — стал молча спускаться по темной лестнице в подвал.

Канонада Багратяна продолжалась. Со стороны Погонулука доносился разрыв очередной гранаты.

Должно быть, насмешливый случай направил гранату на дом Багратяна и вывел из строя командира батальона вражеских войск. А быть может, то был вовсе не случай, а доказательство, что господь отнюдь не всегда на стороне мощных батальонов. Покамест командование оправилось, прошел час, отчего и наступление началось часом позднее намеченного. Турецкие подразделения, развернутые у водножи Дамладжжа в садах и виноградниках, тоже на час задержались.



— Эти армянские свиньи каждой гранатой накрывают цель. Должно быть, у них хорошо обученные наводчики.

И пусть следующие восемь случаев оказались не столь блестящими, все же турецкие войска были разбиты достаточно широко, и каждая граната, упавшая в их расположение, наводила ужас. В Битнасе, Азире и Потоволуке горели три дома. В одном из отрядов захвачены, расположенных в лагере и занятых кофетчией из походных флагов, разрыв гранаты произвел немалое опустошение. Остатки троих убитых и много раненых, эти благодетели порядка, так и не сделав ни одного выстрела, покинули театр военных действий... навсегда.

Гаубичным огнем Багратия достиг примерно того, на что рассчитывал, хотя сам так и не узнал об успехе. План вражеской операции был сорван, а мусульмане-новоселы так напуганы, что женщины толпами обратились в бегство, направляясь к долине Оронта. Турецкое командование оказалось на время парализовано. Уже значительно позже, когда прекратился артиллерийский обстрел, стрелками цепи турок поднялись и вошли в леса предгорий Муса-дага.

На мгновение Габриэль упрекнул себя за то, что у него недостало смелости выслать четыреста человек первого эшелона — половину всех дружин — наперерез туркам. Таким образом можно было повлиять на наступление, не дать туркам развернуться. Однако и тут оказался его характер: он никогда не доверял всему импульсивному, не продуманному до конца. Все же сотня вольных стрелков, хитро умно укрывшись на подступах к подножью, отчаянно смелым вздвижением нанесла врагу большой урон и вызвала такую переправку и переполох, каких ничем бы не удалось добиться добовой атакой. Независимо откуда взвывший трижды перекрестный огонь разогнал с трудом карабкавшихся вверх задыхающихся солдат. Оторванные от командования отдельные группы турок, которым со всех сторон грозила смерть, откатились по склону вниз. И это нельзя было даже назвать трусостью, ведь отбиваться было не от кого.

После нескольких напрасных попыток юзбаша только и оставалось собрать роты у подножия горы и приказывать развести огонь под котлами.

Тем временем вольные стрелки собирали винтовки и патроны убитых и переправляли все наверх.

Каймакам, находившийся при командовании и предельно раздосадованный, обратился к юзбаше с вопросом:

— Вы и впредь намерены придерживаться вашей тактики? Полагаю, что таким образом мы никогда не поднимемся на гору.

Юзбаша, став чернее кофейной гущи, наскочил на начальника провинции:

— Если угодно, я немедленно передаю вам командование и отстраняюсь. Все это скорее ваше дело, а не мое.

Каймакам понял, что с честолюбивым офицером надо обращаться с осторожностью. Он уклонился от конфликта и с сонным видом пожал плечами:

— Вы правы. Ответственность на мне. Однако прошу вас не забывать, юзбаша, что я вы ответственны передо мной. И если операция сорвется, отвечать придется нам обоим в равной степени.

Безусловно, это была правда. И столь убедительная, что юзбаша сразу умолк. Вышние инстанции, вали да и самого военного министра лично уже один раз порекомендовали Муса-дагом. Новая неудача вначале бы для юзбаша одно — военно-полевой суд. А суд будет правдою менее милостив к нему, чем к его предшественнику, старому юзбаше с пушечными щеками. Да, они с каймакамом связаны не за жизнь, а за смерть, и потому должны держаться заодно. И юзбаша, сделав какое-то миролюбивое замечание, перешел к делу. Он отдал приказ роте на северном фланге немедленно начать наступление на армянские позиции у селюкчины. От мысли атаковать южные позиции армии пришлось отказаться: юзбаша не хотел, чтобы его поддаты попали под каменную лавину.

Собрав офицеров, юзбаша приказал объявить во взводах, что каждого солдата, который повернет назад и побегит с поля боя, ждет неминуемый расстрел. Специально для этой цели он широкой линией расставил у подножия горы захвачен и четников. Они получили приказ немедленно открыть огонь по отступающей пехоте. От подобной палаческой задачи ни захвачен, ни добровольцами не отказались. Одновременно для расправы с отступающими юзбаша приказал выстрелить по садам и виноградникам еще одну линию — из вооруженных турецких крестьян, к некоторым из них затем присоединились захваченные.

Страх перед приказом юзбаша не замедлил оказать свое действие. Гонимые им солдаты бегом поднимались по крутой горе и даже дух перевести не останавливались. Закрыв глаза, они преодолевали участки, простреливаемые вольными стрелками. Полдень давно уже миновал, когда трем взводам под ураганным огнем оборонявшихся все же удалось закрепиться в четырех пунктах перед армянскими позициями. Кое-как окопавшись заступом, а где и просто укрывшись за деревом, валуном или бугром, солдаты залегли. Это поистине героическое достижение, рожденное страхом, оказалось первым значительным успехом юзбаша, и он, охваченный воинственным пылом, высоко подняв над головой саблю, повел солдат на новый штурм. Им удалось захватить чуть пониже армянских окопов, расширяя тем самым фронт атаки. Успех воодушевил турок. Со всех достигнутых точек они открыли бешеный огонь. Юзбаша сейчас было безразлично, попадают ли выстрелы в цель. За два часа армяне будут настолько оглушены и измотаны, что от наглости их не останется и следа. К тому же они увидят, что у государственной машины вдоволь бое-

запасов и она способна поддерживать такой плотный огонь ход трое суток.

Защитники горы не смели и головы поднять — над ними нависла смертоносная сеть. Но что самое ужасное — от боевых порядков турок, расположенных ближе всех к Городу, сотни пуль долетали до шалашей и рикошетом поражали жителей, нанося им тяжелые рваные раны. Тер-Айказун приказал немедленно очистить Город и всех, кто не способен носить оружие, перейти на морскую сторону горы.

Покуда пехота вела непрерывный огонь по армянским окопам, юзбашин успел подтянуть резервы — и солдат и заптив, а под конец и вооруженных крестьян новоселов: волна за волной поднимавшиеся в атаку части лучше всего продемонстрируют превосходство турецких сил. Второй, третий и четвертый эшелоны заняли позиции сразу же за передовыми частями на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга. Когда эти исхлестанные коварными огнями вольных стрелков разозленные люди с диким ревом добрались в конец до верха, юзбашин поднял первый эшелон в атаку.

Армяне уже имели опыт отражения подобных атак, к тому же они стреляли по атакующим сверху и потому отбили эту первую волну. И как ни быстро поднимались турки в атаку, все они, не достигнув цели, были прикаты к земле довольно далеко от армянских окопов. Несмотря на огромное численное превосходство и мощь огня, турецкие солдаты до самого вечера почти не продвинулись вперед ни на одном из участков. И при этом сыны Армении, благодаря прищипанному устройству своих оборонительных сооружений, не понесли значительных потерь. В плане окопы были расположены зигзагообразно, и турецкие солдаты попадали под фланговым обстрел. То тут, то там вольные стрелки обрушивали свой смертоносный огонь на резервы второго и третьего эшелонов турок.

Во время этих многочисленных безуспешных атак юзбашин потерял столько же людей, сколько бедняга бинбашин, которого называли и прогнали с позором. Но юзбашин был скроен из более прочного материала, он и не думал отступать. Несколько раз он ставился во главе атакующих и только чудом уцелел, провалив подлинную отвагу, достойную командующего. Больше всего внимания он уделял участку Дубового ущелья, так как ему очень скоро стало ясно, что это самое слабое место обороны. Но пока что, умело вводя в бой свою Летучую гвардию, Габриэл прочно держал инициативу в своих руках.

«Еще три часа продержаться — и наступит ночь», — думал он. Там, где сгущались тучи, его Летучая гвардия несколько раз спасла положение: поддерживала дрогнувший окоп, то укрепляла стыки между позициями, а то и сменяла на время потрепанные дружины. Совершенно вымотанный и смертельно бледный лежал сейчас Габриэл на земле и лишь с великим трудом время от времени

открывал глаза. Рядом сидел Авакян, около дюжины связных юндеской когорты стояли наготове, ожидая приказов. Среди них находился и Гайк, но Стефана не было видно. Каждую минуту поступали новые рапорты. В основном от северного седла, где пока что не чувствовалось особого давления врага. Но вскоре положение изменилось. Должно быть, турки готовились нанести главный удар на севере. Донесения Чауша Нурхана делались все тревожней. Не только сам юзбашин, но и целый штаб высоких чинов собрались за закрытыми на противоположном крыле седла, в бинокль их хорошо было видно. Багратян решил не поддаваться нервозности младших командиров и выслал им в подкрепление свою Летучую гвардию, то считался наиболее укрепленным, и не было никаких оснований фронту туда подкрепление еще до того, как там разгорится бой. Гораздо важнее Габриэлу представлялся участок у Дубового ущелья. Если он не уходил оттуда, чтобы предотвратить там возможную беду. Лежа на спине с закрытыми глазами, он, казалось, не слышал участвовавших донесений с северного седла. «Еще два с половиной часа», — сказал он сам себе.

Наступило недолгое затишье. Габриэл уже не противился усталости. И возможно, что именно этот приступ духовной и физической немощи оказался причиной того, что он все же попался в ловушку, расставленную ему юзбашин.

Эхо боя с грохотом вторгалось в заповедную тишину «Ривьеры». Какой-то акустический эффект настолько приблизил треск выстрелов, что Жюльетта и Гонзаго казались: свистящая сеть пуль раскинутой прямо над ними, хотя на самом деле сражение разыгрывалось довольно далеко. Жюльетта крепко держалась за руку Гонзаго. А он, весь обратившись в слух, сидел совершенно неподвижно.

— Со всех сторон надвигается... все ближе. Такое, во всяком случае, создается впечатление...

Жюльетта промолчала. Этот стучащий и свистящий шум был таким невероятно чужим, что она не понимала и не страшилась его. Гонзаго чуть подался вперед, чтобы лучше рассмотреть прибор, в далекой глубине разбивавшийся о скалы. Море было беспокоебно — его гневный голос то и дело сливался с гулом ружейной пальбы. Гонзаго указал на юг, на побережье.

— Нам давно уже следовало решиться, Жюльетта, и ты ждала бы сейчас в прекрасном доме директора винокуренного завода в тишине и мире.

Она содрогнулась. Приоткрыла губы, во голос ее не слушался, и она долго искала его, как нечто утерянное.

— Пароход уходит двадцать шестого... Сегодня двадцать третье... У меня еще три дня...



какие потери, намерены осуществить прорыв именно здесь, наверху, на этой ключевой позиции обороны: дальше перед Городом для турок уже не было никаких препятствий.

В первые часы боя Габриэл Багратян, не вполне доверяя поддержке Киликяна, держался вблизи участка над Дубовым ущельем. Несколько раз он вводил в бой свою Летучую гвардию, тревожа фланги врага. Задача, стоявшая перед Киликяном, была не из простых. Главный окоп прикрывал лишь небольшое пространство. Флаговые окопы были устроены не бог весть как, к тому же расстояние до следующих укрепленных позиций составляло несколько сот шагов и эти бреши не были прикрыты ни крутыми спадом, как на остальных участках, ни скалами, ни зарослями. Под командованием Саркиса Киликяна находились довольно скромные силы — восемь дружин. Из-за рельефа местности они оказались сильно растянутыми. И тем не менее дружин Киликяна продержались почти весь день, не понеся значительных потерь — двое убитых и шестеро раненых. Кажалося, мертвенным спокойствием командира, его равнодушным равнодушием и его бойцы. Сколько враг ни предпринимал атак, дружинники стреляли с такой — иначе это не назывешь — скрутою точностью, будто и жизнь и смерть — их родные дома и им совершенно безразлично, в каком из них они поселятся. Киликян держал винтовку на бруствере и курил не переставая — Багратян подарили ему целую пачку сигарет. Сейчас, когда прошло уже столько напряженных часов кровавого боя, он прислонился к стенке окопа и не отрывал глаз от кишевших врагами подступов к горловине Дубового ущелья. Впереди все было усеяно поваленными деревьями, кустами и редкими сосенками. Еще в первые дни Багратян приказал вырвать этот участок.

Голова мертвеца была недвижима. В агатовых глазах Киликяна можно было прочитать, что он в совершенстве владеет искусством выключать жизнедеятельность до предела. В трофейном мундире Киликян с его покатыми плечами и девичьей талией, еще более подчеркнутой туго затянутым ремнем, был похож на эlegantного офицера. С бойцами, стоявшими рядом, он не обмолвился ни единым словом, да и они все время молчали, поглядывая на разрастающиеся тени деревьев и кустов, которые, будто какие-то таинственные живые существа, с каждой минутой делались и длиннее и золотистей.

В этот час в Дамладже все силы Армении, да и дочери, за исключением разве что Григора и Киликяна, думали о том же, чем думал Багратян: еще шестьдесят минут — и солнце скроется. Со стороны северного сектора обороны доносились ружейные залпы. А здесь, внизу, и лес и горы, казалось, погрузились в глубокий мрак. Люди закрывали глаза, силась хоть немного поспать стоя. При этом их не покидало ощущение, что этот украденный сон таинственным образом гонит время вперед, в объятия спасительной ночи. Дру-

жинников, спавших стоя, делалось все больше. Под конец спала уже вся команда, расположившаяся в трех окопах. И только отпугиванные каменные глаза Саркиса Киликяна, глаза командира, были прикованы к черной опушке Дубового ущелья.

События, развернувшиеся в следующие минуты, если придерживаться правды, ничем нельзя объяснить. На худой конец, конечно, можно все взвалить на летаргию, свойственную Киликяну и зародившуюся, как немая самозащита от безмерных мук, еще у одиннадцатилетнего мальчика, когда он лежал под истекающей кровью матерью. Во всяком случае, он не двинулся с места и глаза его не изменили выражения, когда снизу, из леса, выплыли сначала несколько пехотинцев, а за ними высыпали на склон несколько взводов, сотни солдат. Ни единый выстрел не возвестил начала этой атаки. Казалось, турки, ожидая выстрелов со стороны оборонившихся, не желали отрываться от последовало, то более трехсот солдат бросились вперед и быстро залегли, используя любые укрытия, любую ямку, выжидая, когда же армяне откроют огонь. А защитники все еще дремали, кто-то, встревоженный, хватал ружье, люди шуршали следя за мельканием каких-то фигурок вперед. На мгновение золотого закатного солнца задло весь склон и вдруг раскололось на тысячи слепящих осколков. Вспыхнули полумесяцы на офицерских головных уборах. Удивительно, но ни на ком в этом боевом походе не было походных шапок.

Ослепленные сверкающей слюдой заходящего солнца армяне ожидали приказа и не сводили глаз с Киликяна. И тогда случилось необъяснимое. Вместо того чтобы, как уже не раз было в этот день, указать цель, выкрикнуть дистанцию и затянуться сигаретой, Киликян с какой-то задумчивой медлительностью поднялся из окопа. Дружинники восприняли это движение как приказ. Кто от усталого непонимания, кто из слепого доверия к намерениям командира, дружинники — один за другим выскочили из укрытий и встали на бруствер...

Солдаты противника, подобравшиеся уже на пятьдесят шагов к переднему краю армян, в удивлении остановились и бросились на землю. Контратака! Но Саркис Киликян, засунув руки в карманы, спокойно стоял примерно в середине линии окопов. Он не двинулся с места, не кричал, не отдавал приказа, не подавал никакого сигнала. Прежде чем несчастные защитники пришли в себя, внизу прозвучала громкая команда и три сотни маузеровских винтовок разом открыли бешеный огонь по пылавшему закатному небосводу. Несколько мгновений — и более трети дружинников уже корчились на окрашенной земле Муса-дага.

Саркис Киликян, словно чему-то удивляясь, стоял, по-прежнему засунув руки в карманы. Турецкие пули шадяли его, как будто фи-

вал этой неповторимо страшной судьбы в открытом поле был бы чресчур уж прост и лишен должного стиля.

Когда, наконец, Калкиан поднял руку и что-то крикнул своим бойцам, было уже поздно. Начавшееся бегство увлекло и его. Оставались они только у каменных баррикад. Это были сложенные трапециев кучи камней в непосредственной близости от Города. Прежде чем укрыться за последней преградой, армяне потеряли двадцать три человека убитыми и много ранеными. С диким ревом турецкая пехота занимала покинутые окопы. За ней уже подходили резервы и запяни, а за ними — добровольцы и вооруженные новоселы. Пребежали сюда за своими мужьями и турчанки. Прятывшиеся за деревьями в Дубовом ущелье, эти обезумевшие менады, увидев успех мужей, высочили из укрытий и, схватившись за руки, образовали длинную цепь. При этом они кричали «Зилгит! Зилгит!» — то был древний боевой клич исламских женщин. Сам дьявол проснулся в их мужьях от этого крика, и они, как и велит отважная их вера, не думая ни о жизни, ни о смерти, рванулись вперед на каменные баррикады. Никто не стрелял, они шли на штурм с выкатками наперевес.

Однако здесь армянам, попавшим в такую тяжкую беду, кое-что и помогло. Видя, как враги закалывают штыками раненых, как давят их солдатскими сапогами, сыны Армении поняли: такова их судьба во всей ее ледяной наготы! Они снова обрели мужество и хладнокровие. Укрывшись за каменными баррикадами, они спокойно, выстрел за выстрелом, посылали врагу смерть. И очень скоро оказались в выигрыше — прежде всего во времени. К тому же в глаза врагу било щедрое солнце, а армянам оно освещало неприятеля. И еще: среди напавших возникла суматоха, оттого что на соседних участках солдаты, охваченные победным угаром, ринулись в образовавшуюся брешь. А это заставило и армян покинуть свои позиции и устремиться в самое легкое. Бой перешел в рукопашную: ни враг, ни друг уже не различали один другого, тем более что на многих армянах была трофейная турецкая форма. Долго длилась кровавая схватка, и много людей погибло, прежде чем превосходящим силам неприятеля удалось снова потеснить армян в направлении к Городу. Буквально в последнюю минуту Багратян успел прислать на помощь измотанную Летучую гвардию, и ему удалось отартировать от лагеря смертельную угрозу. Турок отбросили, но только до верхней линии окопов, которые так и остались в них в руках.

Однако самым благоприятным обстоятельством оказалось быстро опустившаяся ночь. Юзбачи так и не удалось нанести еще один решающий удар. В темноте все преимущества были на стороне армян — они-то знали Дамладж как свои пять пальцев и, несмотря на большое число убитых, справились бы с целой дивизией.

Каймакам, удрученный колоссальными потерями, не мог понять,

как ему оценивать эту неиспользованную победу. Юзбачи клаясь, что на следующее утро он за каких-нибудь три часа положит всему войску. Затем он изложил свой новый план. Для прикрытия, скорее даже для маскировки, на захваченных армянских позициях будут оставлены незначительные силы, а все остальные солдаты будут отведены назад. Ночь войско проведет возле устья Дубового ущелья и на рассвете, опираясь на захваченную линию окопов, словно могучим тараном сокрушит последнее незначительное препятствие.

Впрочем, вооруженных крестьян-новоселов в расположении удерживать не удалось: они предпочли вместо ночевки под открытым небом возвратиться в свои новые дома.

Около шести часов вечера пастор Арам Товмасьян, обливаясь потом, ввалился в женскую палатку, единым духом выпил три стакана воды и прокричал:

— Искуи! Овсания! Скорее собирайтесь! Плохо дело! Сейчас вернусь за вами. Надо спрятаться внизу, в скалах... Я пошел искать отца.

Так и не отдышавшись, пастор Арам выбежал из палатки. Искуян, выполняя обещание, весь день провела здесь. Она помогла поднять стонущей Овсание, подала младенцу бутылочку с разведенным водой молоком и вытатила здоровой правой рукой несколько ишей из-под кровати. Но вдруг она остановилась и, не говоря ни слова, не взглянув на Овсанию, выбежала из палатки...

Прошел час после захода солнца. Большая Алтарная площадь. Трава вытоптана. Неподалеку от правительственного барака собрались члены совета удаломоченных. Они сидели прямо на земле перед священным помостом. Вокруг в густой тишине — жарод. Прорудки между шашаши вымерли. Порой со стороны лазарета доносился крик тяжелораненого. Часть убитых после последней атаки удалось подтащить сюда. Прикрытые чем попало, они рядами лежали на деревянном настиле тащевальной площадки. Нигде ни огня, ни костра. Совет запретил громкие разговоры. Молчание толпы было таким густым, что даже шепот казался громким. Единственный, кто не потерял присутствия духа, был Тер-Айказун. Голос его звучал спокойно и рассудительно:

— У нас только одна ночь. Я хочу сказать — восемь часов темноты.

Его не поняли. Даже Арам Товмасьян, чье сердце разрывалось при мысли об Овсание, Искуян и ребенке, строил самые невероятные планы. Самым серьезнейшим образом он говорил о том, что, пожалуй, следует оставить лагерь и искать защиты среди скал, в гротах и пещерах с мощной стороны горы. Но это предложение, нужно сказать, не нашло поддержки. Оказалось, люди полюбили свое новое жилище и, хотя это и было чистейшим безумием, намерены были защищать

его до последнего. Разгорелся спор. В бессмысленных разговорах терялись драгоценные минуты. Время от времени в толпе, окружавшей плотным кольцом членов совета, раздавалось судорожное рыдание. В этот день смерть вошла в более чем сто семей, если не считать раненых, попавших в руки врага. Никто не знал, сколько еще тяжело раненых лежит на поле боя. Опустившаяся на Мусадаг ночь давила, как низкий потолок. Шепот становился все неразборчивей. Но вот в темноте четко и ясно прозвучал голос Тер-Айказуна:

— Нам осталось эта одна-единственная ночь, господа Багратян. Не следует ли использовать эти короткие восемь часов?

Подложив руки под голову, Габриэл Багратян лежал на земле и смотрел в черную бездну. Он сражался со сном. Все куда-то уплывало. Какие-то обрывки слов доносились до его слуха. У него не достало сил что-либо ответить вардапету. Он пробормотал что-то невнятное. Внезапно он почувствовал, как маленькая, холодная как лед рука пробегает по его лицу. Кругом стояла такая темнота, что он не видел Искуна. Она долго искала его и наконец нашла. А теперь, как будто это само собой разумелось, села рядом с ним, прямо здесь, среди членов совета. В эту последнюю ночь она не чувствовала никакого стыда даже перед братом. А на Габриэла Багратяна прикосновение руки Искуна действовало словно родниковая вода. Оцененные медленно покидало его. Он приводился. Сел. Взял ее руки в свои, не думая о том, заметит ли кто-нибудь эту ласку. Казалось, рука Искуна освободила его от вун усталости и смутнения и вернула самому себе. Он глубоко вздохнул. Возникло ощущение бодрости, словно он, ачущий, припал к воде. Члены совета умолкли. Послышались незнакомые голоса. Все испуганно всколыхи. Турки? Из темноты вынырнули качающиеся пятна света. Это вернулся дозор волевых стрелков. За приказом на завтра. Доложили — у них убит один человек, двое попали в плен, а волевые стрелки по-прежнему на своих местах. Кроме того, они сообщили, что вражеские подразделения, за исключением небольшого прикрытия, оставляют захваченные позиции и стекаются в Дубовое ущелье. Связь между занятыми врагом окопами и главными его силами поддерживается цепочкой постов и патрулями. Намерения неприятеля очевидны.

— Да, Тер-Айказун. Эту ночь мы используем! — воскликнул Багратян так громко, что его услышали все вокруг.

В ту же минуту словно очнулись и остальные члены совета. Всех будоражила одна и та же мысль, хотя Багратян еще ничего не сказал. Массированная ночная атака! Только она способна выдохнуть неминуемую гибель. Но для этого одних измотанных и выдохшихся за день бойцов недостаточно. Весь народ — и женщины и дети — должен принять участие в этой атаке, дабы придать мощь общему наступлению. Перебивая друг друга, все заговорили в полный голос. Каждый мухтар, каждый учитель торопился изложить свой план.

В конце концов вмешался Багратян и прекратил разногласия. Не надо кричать так громко. Не исключено, что турецкие шпионы пробрались в лагерь.

Чауша Нурхана Багратян отправил назад к своим понесшим сравнительно малые потери дружинам, приказав ему взять полтора-два бойцов и без шума подвести сюда, на Алтарную площадь. Оставшихся сил хватит, чтобы в случае контратаки удержать окопы и скальные баррикады. Южный бастион и южный сектор должны выделить в общей сложности двадцать дружин. Вместе с волевыми стрелками и Летучей гвардией Багратян собрал таким образом более пятисот бойцов.

Однако все эти необходимые передвижения заняли довольно много времени, так как нельзя было производить их малейшего шума, нельзя было даже громко отдавать приказы. Кроме того, формирование и распределение подразделений в кромешной тьме сильно затянулось. И лишь знакомство чуть ли не с каждым из младших командиров позволило Багратяну организовать из валившихся от усталости людей две боевые группы. Первая и более мощная была подчинена командиру волевых стрелков. Сразу после того, как ее бойцы запаслись провиантом и пополнили боезапас — в темноте это тоже заняло немало времени, — группа, отступив несколько южнее, вышла на старую, скрытую тропу. Соблюдая предельную осторожность, стрелки пробрались через лес и заросли, через поляны и каменные осмики к ночному лагерю врага, и помогало им не только зернистое знание местности, но и костры неприятельского бивака, по приказу избушки зажженные на подступах к Дубовому ущелью. Костры были разведены преимущественно на открытых местах или на скальных площадках, так как в противном случае, хотя в самом ущелье было сыро и душно, из-за стоявшей сухоты там легко мог испыхнуть пожар. И однако же костры эти не помешали волевым стрелкам окружить все эллипсоидное ущелье. Мусадагиан затаились в высоких деревьях, в густом кустарнике, а то и без всякого прикрытия залегли, прижавшись к земле, разве что их скрывали корни старых деревьев. Они неотрывно следили за постепенно утихавшим лагерьем врага. Винтовки лежали наготове, хотя залп наверху, вознецавший о начале общей атаки, должен был прозвучать не раньше чем через час.

Нурхану Элеону Багратян приказал во главе другой группы, состоявшей из ста пятидесяти бойцов, атаковать и отбить у врага потерянные вечером окопы. Нурхан вывел бойцов за каменные баррикады и подтянул их к главному окопу, не забывая и о флангах. Не только темнота, но и ласковый ветерок скрыли этот маневр от врага. Кто položок, кто короткими перебежками — армия продвигалась вперед, и вскоре им удалось зайти во фланг участка, который предстояло отбить, и тем самым взять его в клещи. Кое-что помогало



им при этом. Турецкие солдаты — это была одна из сильно потрепанных рот — зажгли несколько карбинных ламп, своим резким светом превосходно осветивших пехотинцев, а все остальное погрузивших в глубочайшую темноту. Армия и здесь преспокойно могли выбрать себе цель. Наступила такая тишина, что, казалось, никто из них даже не дышал, будто жизнь в этом глубоком ночном руднике, где нет ни шахт, ни штолен, была засыпана.

Там, где тропа между руинами покидает отрог и поднимается по широкому подножию ущелья, у нижней границы ночного лагеря стояли каймакам и юзбаша. Несколько солдат, держа в стороне, светили им факелами и фонарями. Взглянув на модные, со светящимися цифрами ручные часы, юзбаша промолвил:

— Пора... Я намерен за час до восхода солнца поднять людей.

— Не следует ли вам переночевать на нашей квартире, юзбаша? Позади нелегкий день. Сон на мягкой кровати вам поможет.

Очевидно, каймакам был весьма озабочен состоянием юзбаша.

— Нет, нет! Спать я не могу.

В сопровождении факелососцев каймакам стал спускаться вниз. Но неожиданно возвратился.

— Не поймите меня превратно, юзбаша. Могу я быть уверен, что в ближайшие часы нам не грозят никакие неожиданности?

Юзбаша не сделал навстречу каймакаму ни одного шага и так и застыл в полуобороте, подавив в себе желание ответить резко. Как невыносимы эти бесконечные вмешательства штатских! С укоризной он объяснял:

— Разумеется, я принял все необходимые меры. Хотя люди измотаны, я выставил дозорных по всей высоте. Вам не следовало утруждать себя и возвращаться. К тому же я только что приказал выслать наверх патрули и тщательно обследовать всю площадь лагеря.

Так оно и было на самом деле. Но патрули, смертельно усталые унтер-офицеры и солдаты, так и прошли мимо пританцовывавшей армией — одни глаза их сверкали среди дубовых листьев — и, возвратившись, доложили дежурному офицеру: все в порядке, местность проверена.

Габриэль Багратян бросил зажженную спичку, которой он только что зажег сигарету. На земле вспыхнул огонь и выжег кружок травы. Искусу, не отходявшей от Габриэля ни на шаг, затоптала огонь.

— Как сухо все! — сказала она.

Огонь этот как бы зажег в мозгу Багратяна дерзкую мысль. Несколько минут он словно потерявший молчал. Мысль была двоякая: осуществление ее могло собственному народу нанести столько же вреда, сколько и врагу. Подняв над головой носовой платок, Багра-

тя определил направление довольно сильно дувшего порой ветра. Западный. Морской. И ветки клонятся к долине. Нет, такое решение Габриэль один принять не мог, не мог его принять и совет.

Пусть Тер-Айказун, верховный глава народа, скажет — да или нет. После минуты тягостного молчания бардавет сказал:

— Да!

Тем временем все войско покинуло Алтарную площадь и Город. Затаив дыхание обе боевые группы ждали сигнала. Между занятыми врагом окопами и каменными баррикадами залегло еще несколько дружин, а за каменными баррикадами залег весь народ. Но это было еще не все.

Несмотря на близящуюся катастрофу, Стефан находился в чрезвычайной приподнятом настроении. Он вновь удрал от матери. В темноте кто-то что-то шептал... Близость напряженных от страха тел... внезапно всматривающиеся и тут же гаснущие фонари... ожидание самых невероятных приключений — все это рождало представление, будто вокруг дарит мир необычайных снов и видений. К этому прибавилось и то обстоятельство, что юношеская когорта получила какой-то странный приказ, и всех ее членов охватила гордость. Они легко поняли, каким образом усталость Стефана и его товарищей обратилась в ожидание, полное самых тревожных предположений.

А особый приказ касался керосина. Все бочки керосина, имевшиеся на Дамаладже, в том числе и две багратяновские, выкатили на Алтарную площадь. Туда же поднесли все оставшиеся от погасших костров ветки, палки, дрова. Сначала мальчики и пожилые люди, затем женщины и дети старше восьми лет подходили и выбирали себе палки. Учителям и Самвелу Авакяну, присматривавшим за распределением, лишь с трудом удавалось подавить возникавшие споры и шум. Приходилось пускать в ход и кулаки.

— Тише, дьяволята!

То же самое происходило и у бочек с керосином. Надо было окутывать палку до середины в жидкость и хорошенько покрутить ее. А людей было около трех тысяч, и времени это заняло тоже много. Давно уже прозвучал сигнальный свист и выстрелы сверкали молниями в направлении занятых турками окопов, а люди все еще толпились вокруг бочек с керосином. Из ущелья заступало тысячекратное эхо, с ним смешался крик ужаса, такой хриплый и жуткий, что его уже нельзя было назвать человеческим.

Габриэль Багратян стоял на небольшом каменном выступе между окопами и каменными баррикадами. Неожиданно зарохотавший бой, совсем не похожий на преддущие, застал командующего в каком-то странном, мечтательно отрешенном состоянии. Он так ничего и не сказал бойцам, ожидавшим позади него. Прошло несколько минут.

Пальба стала удаляться. Габриэл и представить себе не мог, что фаза наступления могла столь быстро завершиться. Несколько резких взмахов зажженным фонарем, — это Нурхан подал условленный знак: окоп вновь в руках защитников! Дружинники, преследуя врага, перескочили через него и скоро уже остались далеко позади. Часть турешких пехотинцев в темноте заблудилась и попала в руки напавших дружинников. Другая часть солдат, спотыкаясь, бросилась вниз, к решающему ущелью, а преследователи штыками и прикладами сбивали их с ног.

Габриэл отослал Авакяна к резерву с приказом: «Приготовиться и — вперед!» Затем он выждал, пока шаркающая и шепчущаяся толпа приблизится, и возглавил ее. Медленно вся масса людей двинулась вниз, через кустарник, мимо убитых — туда, в бующее ущелье!

А там — как на облавной охоте! Правда, храбрейшие из офицеров, обаши и солдат пытались пробиться к кострам, разведенным на границе bivака, и погасить, уничтожить их, но при этом они уничтожали самих себя. Плотный концентрический огонь вольтных стрелков сгонял всех к подножию ущелья. Офицеры выкрикивали противоречащие друг другу приказы. Никто их не слушал. С диким ревом пехотинцы и заштыки бросались из стороны в сторону — они несли свое оружие, но даже если бы нашли его, ничего уже нельзя было предпринять: каждый выстрел убил бы товарища или брата. Многие доброслали выстрелы — они только мешали бежать в этом коллече-коварном хаосе. Казалось, сама армянская гора участвует в чудовищном разгроме: хитрая чаща делалась все выше и гуще, деревья разрастались. Хлещущие ветки и ползучие растения обвивали сынов пророка, и они падали. А кто падал, тот уже не поднимался. Равнодушные к смерти, свойственные этому народу, все больше охватывало его, и он только глубже зарывался в колючие листья.

В приступе бесстрашия юзбачи, размахивая саблей, сигналом кучу растерявшихся пехотинцев. А офицеры, унтеры и старослужащие солдаты, узнавая в свете доргорающих костров своих старших командиров, примыкали к ним. Постепенно образовалось ядро сопротивления, вернее сказать, ядро нового наступления. Размахивая саблей над головой, юзбачи кричали:

— Вперед! За мной!

Странное возбуждение охватило его, когда он взглянул на форсеспирующие часы: ему вспомнились слова, сказанные им так недавно каймакху: «Если до завтрашнего вечера армянский лагерь не будет ликвидирован, я покину с собой!» И действительно, в это мгновение он не хотел больше жить.

— За мной! За мной! — уже хрипел он, чувствуя, что у него одного достанет воли и сил превратить катастрофу в прорыв.

Его пример подбуждал. Да и желание вырваться из этого ле-

гало солдат вперед. Сбросив с себя апатию, они с криком последовали за командующим. Так и не понеся потерь, они добрались до первого выхода из ущелья. Совершенно обессиленные, потеряв всякое чувство реального, они брели навстречу бликам фонарей и ружейному огню армянских дружин и тут же падали, сраженные меткой пулей. Юзбачи даже не заметил, что ранен. Он только удивился, обнаружив, что остался совсем один. Внезапно правая рука отяжелела. Заметив кровь и почувствовав боль, он даже обрадовался. Теперь вздох и повеселенный урон представились ему не такими уж страшными. С закрытыми глазами, еле передвигая ноги, он пошел вниз. Близко бы где-нибудь и ничего больше не звать! — думал он.

Когда шум боя стал перемещаться вниз, в Героде вспыхнула первая зажигалка. Трещая загорелся и первый факел, а за несколько минут воспламенились тысячи. Большинство жителей лагеря по примеру Гайка и Стефана держали в каждой руке по факелу. Широочевым фронтом пламенная шеренга медленно двигалась вниз. Подобное шествие огня земля еще не видывала! И каждый несший перед собой потрескивающий факел содрогался от неизяснимого ощущения святости. Не единичные пятна света, только углубляющие вазонную ночь, а светоч целого народа пробил сияющую брешь вромешной тьме. Торжеством и очень медленно длинные тени двигались вперед, будто шли они не на поле боя, а к месту моления.

Далеко внизу, в Йоговолуке, Битинасе, Абябля, Азире, в Вакефе и Кеде-беге, даже далеко на севере — в Кебусе, деревне пасечников, никто из мусульман-новоселов, проживавших чужой землей, не спал. Когда грохот боя достиг деревень, все, кто был в состоянии, встали за оружие, заняли подступы к Муса-дагу. Правда, к ущелью никто не смел приблизиться. А в садах, на крышах домов зашмыгали женщины и, объятые страхом, жадно взирали тивному над выстрелом. И вдруг, примерно через час после полночи, за Симадджем взойшло солнце! Черным силуэтом обозначился гребень горы, а за ним разгорелось нежно-розовое зарево.

Это небесное знамение, а вместе с тем и чудо, предвещало приход Страшного суда — и все женщины бросились наземь. А когда стало позже сам гребень горы вспыхнул и запылал, то дать этому какое-то естественное объяснение было уже поздно. То Иисус Христос, пророк неверных, даже солнце своего могущества на горе, и армянские джинны Муса-дага в союзе с Павлом, Петром, Фомой и другими святыми встали на защиту своего народа. Древняя легенда о сверхсиле, всегда помогавших армянам, получила в эту минуту вещное подтверждение. И так думали не только невежественные крестьянки, но и мудлые, наблюдавшие это чудо с йоговолуцкой колокольни и дерковной галереи. — в поспешном бегстве они покинули депрессивную в мечте христианскую святину.

Однако менее чудотворно, но гораздо ужаснее действовала не-

удержимая стена огня на турецких солдат, еще оставшихся на склонах горы. Непостижимая сила и превосходство исходили от этой пылающей стихии. Как будто в этот час объединилась вся армянская нация, депортационные транспорты со всей империи, дабы обрушиться на кучку сынов пророка и огнем и свином отомстить страшной мстостью!

Небольшие турецкие команды, залегшие перед отдельными участками армянской обороны, ринулись вниз. Офицеры уже не могли никого остановить. Все, кто еще был жив в этом смертоносном котле ущелья, ничего не видя и не слыша, пробивались через заросли виноградных лоз и в конце концов достигали подошвы горы. У Багратяна водосток сил плотно закрыть выход из ущелья.

Несколько достойнейших офицеров и солдат, недосчитавшись своего изюбашки, вновь с боем поднялись в ущелье и унесли лежавшего без сознания раненого командира, спасая его от плена. Там изюбашки снова очутился на вилле Багратянов — турецком командном пункте. По дороге он очутился от боли и тут же с ужасом подумал: все потеряно, христиане поголову разбили все турецкое войско! Новому наступлению уже не может быть и речи. Поняв это, он прикинул ту пулю, которая разорвала ему правую руку, но так и не довела дела до конца. Лишь одно желание владело им: скорее бы вновь потерять сознание! Но этому не дано было осуществиться — напротив, он как-то особенно четко и ясно, даже хладнокровно представил себе всю картину случившегося.

Шестая уже не застала перед собой врага. Шаг за шагом алмешные шеренги приближались к Дубовому ущелью, его склоны поросшим лесом. Примерно на половине пути Тер-Айказун пикам поросли, последовала команда (перебегавшая от одного коши шеренги к другому) — бросать горящие палки в кусты и быстро отбегать назад. Факелы погружались в разгоравшийся хворост. Он прошёл и нескольких минут, как затрещало и загудело все вокруг. Казалось, весь Дамладжик вот-вот взорвется. Кое-где пламя уже змилало валом вниз. Горе, если ветер в ближайшие часы или дни изменит направление! Тогда и Город, раскинувшийся ближе всего к ущелью, идет жертвой огня. Какое счастье, что Багратян приказал вырубать все предполье. Огонь распространялся с такой быстротой и вспылывал одновременно в стольких местах на высушенной летней жарой гряде Дамладжика, будто эти неземные силы разожгли и питали его. У вольных стрелков и дружинников, находившихся внизу, едва хватало времени собрать трофеи — более двухсот маузеровских винтовок, боеприпасы в избытке, две походные кухни, пять выючных ослов: провиантом, палатки, одеяла, фонари и прочее снаряжение.

Когда взошло настоящее солнце, весь Дамладжик лежал под жареным в каменный сон. Бойцы спали там, где их сразила усталость

и немногим удалось добрести до ночлега. Мальчишки спали стелами прямо на земле. Женщины как вошли в шалаши, так и ушли из них, и спали расстрепанные, не умывшись, и даже не подошли к изюбашкам, а те плакали теперь уже от голода. Спал Багратян, спали все стрелки. Даже у Тер-Айказуна не хватило сил докончить благодарственный молебен. В конце священнодействия он рухнул на спину и остался лежать. Спали мухтары, не отобрав овец для забоя. Спали мясники, и спали доярки. Никто, ни один человек не приступил к ежедневным обязанностям. Очагов никто не разжигал, воду из родников никто не носил, никто не заботился ни о равных, ни о тех, кто кое-как дотопился до лазарета. Лица без волос, челюсти — кровавое месиво, разорванные пулями «дум-дум» тела, стонущие и умирающие от жажды равенные в живот — всем этим несчастным доктор Петрос уже не мог помочь, им могла помочь только смерть. Они ждали в каком-то оцепенении, которое, может быть, помогло бы преодолеть последние, столь медленно текущие часы, а доктор Петрос только подходил к каждому и ласково наклонялся к нему.

Внизу, в долине, спали вехотиям, завтши, четинки — все, кому удалось унести ноги. Офицеры спали на вилле Багратянов. Бравую жертву вчерашнего дня — колаган из Алепо — еще несколько часов назад отправляли на санитарном фургоне в Антакье. Теперь на кровати Стефана спал другой раненый — изюбашки.

И каймакама тоже в жолетивной комнате свалил сон. Он до сих пор сидел над рапортом для вали Алепо, втом уронил голову на стол и заснул. Но в его сонной голове, не прясаясь и не уверываясь, так наяву, мысль и совесть продолжали беспощадную работу. Каймакам только что пережил самую большую неудачу в своей жизни. Но в каждой неудаче сокрыта и доля благополучия, ибо она обязывает тишью и смелотворность человеческого посвящения на раздачу оценок. И чего только не пришлось пережить сейчас этому каймакаму, чиновнику высокого ранга, вядному члену Иттихата, высокомерному корейному осману, глубоко убежденному в превосходстве своей воинственной расы, расы господ! Увы, слабые оказались сильными, а сильные поистине не стояли ничего. Да, они не стояли ничего даже в тех героических делах, где считали себя сильнейшими и из-за чего так презирали слабым! Однако озарения, посетившие каймакама во сне, проникли еще дальше. До сих пор он никогда не сомневался в правоте Энвера и Талаата, более того, он считал, что они действительно по отношению к армянскому меньшинству как гениальные государственные мужи. А теперь в этом сне всплыло давнее недоверие к Энверу-паше и Талаату-бюю, ибо неудача всегда явная справедливая мать истины. Да и имеют ли право люди заманивать «мудрецы» планы, цель которых уничтожение другого народа? Существуют ли достаточно веские причины для таких планов? А ведь сто раз утверждал сам каймакам. Кто решает, что один на

род лучше другого народа? Нет, людям не дано решать это! А сегодня на Дамладжке аллах вынес строго однозначное решение. И каймакам видел себя самого в самых различных, весьма определенных ситуациях и всякий раз жалел себя, бывал расстроган: вот он сидит и пишет его превосходительству вали Алеппо прошение об отставке и добровольно рушит всю свою жизнь! Вот предлагает армянам в лице Габриэла Багратяна, который почему-то кутаецся кулальный халат, мир и дружбу. А то он выступает в центральной комиссии Иттихата и ратует за немедленное возвращение всех депортационных колонн и добивается принятия закона о налоге, благодаря которому можно будет возместить весь нанесенный армянам ущерб. Впрочем, на подобную этическую высоту его души поднимались только в глубочайшем из самых глубоких снов. Чем более трудным делался его сон, чем больше он приближался к осознанию реальности, тем хитроумнее его мысли ускользали от столь смелых решений. А уж под конец, когда он пребывает лишь в легкой дремле, он намислил себе весьма подходящий выход: не к чему отправлять высшие инстанции самобичующий рапорт.

Каймакам проснал до самого обеда.

И спали мертвые — и христиане и мусульмане — в чащобах Дубового ущелья и в лесах на горных склонах... Облизываясь, превращая поживу, подбирались к ним огненные языки. А наступит мертвецов, огонь смело пробуждал их: они вздымались, как бы теплея от ужаса, тела их лопались и погружались во всеочищающий костер.

С каждым часом пожар разгорался, сползая с Дамладжки, распространяясь на север и на юг. Он придерживал свой бег лишь перед каменными россыпями под Южным бастионом и каменной впадиной, защитившей от него северную седловину. Зеленые богатства щедрых на розники альпийских угодий, это чудо Сирийского полумесяца, торжествуя запыливали в последний раз пламенными языками и так полыхали много дней, покамест от всей красы осталось лишь огромное поле, усыпанное тлевыми углями, да кое-где догорали пни. То Муса даг огнем и догоравшими завалами, словно непроступимым ландшафтом, ограждал своих смертельно уставших детей, в глгбине своего сна и не подозревавших, что теперь они надолго освободены от своих преследователей. Никто из них не знал, что дружелюбный ветер отарвал от Города угрозу и погнал языки пламени и искры в долину.

Боины и весь лагерь спали далеко за полдень. Только уже значительно поздней совет уполномоченных распорядился вырубить угрожаемые участки горного склона и очистить их от хвороста и дров. Тем самым было положено начало новой необычной работе.

Все спали в этот день, не спала только одна, одна-единственная. Неподвижно сидела она на кровати в своей палатке. И как ей и

стелось стать маленькой-маленькой в этой грохочущей раковине этой крайней отчужденности и неизбежной вины, ничто не могло ей помочь.

## Глава четвертая

### ПУТИ САТО

Хотя благоприятное направление ветра не менялось, десьной, ярке, горный пожар угнетало действие на людей. Сутками было светло как днем. Красноватым хищным оком ночь подмигивала и косилась, обезумевшие тени кружились в дикой пляске. Небо заволокло вышкой пелены. Стояла невообразимая жара: и в полдень, и в полночь ни одного свежего дуновения! От едкого дыма захватывающего дух, воспалялась слизистая оболочка носа и горла. Весь лагерь чинал, страшный этот насморк порождал коварную раздраженность.

Ни радости по поводу победы, ни ликования, напротив, в людях обнаружались признаки духовного упадка, опасного внутреннего процесса, грозившего подорвать порядок и дисциплину и выразившегося в своеволии и буйстве. Прежде всего здесь следует назвать обратительную историю с Саркисом Килкином, которая произошла, к сожалению, в первый же вечер после победы и послужила одной из причин новых тревог и забот Тер-Айказуна и Габриэла Багратяна, хотя, казалось, можно было с божьей помощью надеяться на длительный перерыв в боях. Правда, сама смелая идея лесного пожара и огромные боевые трофеи в значительной мере улучшили всю оборону. Уже не представлялась безумной мысль о том, что враг и несе откажется от штурма. Однако следовало учитывать, что огнем была охвачена лишь самая грудь Дамладжки, а его бока — каменные осыпи выше Суэди и северное седло, как и прежде представляли опасность. Ни в коем случае нельзя было допускать ослабления дисциплины на позициях. Столь же строго следовало поддерживать авторитет руководства. Не менее важно было установить полное согласие среди населения лагеря. То, что Тер-Айказун называл «будничью», надо было, наперекор всем проискам дьявола, восстановить и вести в колено. Это и побудило большой совет, собравшийся вечером двадцати четвертого августа, отказаться от торжественного погребения погибших, дабы лишний раз не будоражить народ.

В тот вечер специальные команды уже обнаружили шестьдесят семь трупов из ста тринадцати считавшихся пропавшими без вести. Смех этого, в ту ночь скончались тяжелораненые, которым не удалось своевременно оказать помощь. Об этих печальных событиях доложил совету доктор Петрос Алтун. Своим скрипучим голосом, шлошь не созданным для надгробных речей, он поведал собравшимся

родным и близким, что из-за чудовищной жары крайне необходимо срочно похоронить павших. Всякое промедление грозит эпидемией. Ой, Петрос Алтуни, не хотел бы говорить об этом в присутствии скорбящих родственников, но в конце то концов каждому из них это скажет собственное обоняние. Итак, не теряя времени, за дело! Пусть каждая из пострадавших семей немедленно приступит к погребению павших на отведенном для этого месте. Сей труд любви и забота зачтется исбом куда выше, нежели долгие молитвы и причитания. Правда, Алтуни добавил, что совет поступил бы мудрее, если бы предал тела героев сожжению. Сам он не решается на такой шаг, щадя чувства родных. Да послужит утешением вдовам и сиротам то, что родные и близкие их будут погребены в саванах и изголовьям им будет служить родная земля.

— А теперь за дело! — прокричал доктор Петрос; в эту минуту походил он на семидесятилетнего, а на девятилетнего старца. За несколько часов все должно быть закончено. На помощь вам придет люди из резерва.

Приказ этот в народе не вызвал, как опасались, ни ропота, ни противодействия. Угроза здоровью была таким всяким аргументом, что перед ним отступили все возражения. Да и усилившийся трудный запах давал о себе знать.

В три часа утра все работы были закончены. И тяжкий труд этот заглушал скорбь. Лишь очень немногие родственники стояли у свечами у разверстных могил. Но отблески полахавшей горы потешали скудные эти блики. Нуник и ее подруги на этот раз отсутствовали. С тех пор как загнили поймали в кукурузе и забили насмерть двух старух из нищей братии, они больше не осмеливались вылазить из своих нор.

На другое утро, то есть двадцать пятого августа и на двадцать шестой день лагеря, должны были состояться два чрезвычайно важных события общественной жизни. Первое — торжественный выбор вдовцов и холоков, которым предстояло незамедлительно отправиться в Александретту и Алеппо. Второе — судебное разбирательство преступлений, совершенного Саркисом Киликином. До этого Тер-Айказун, в соответствии с обязанностями, наложенными на него законом о мировом и третейском суде, улаживал лишь простейшие конфликты. В этих не столь важных делах он без всяких формальностей быстро выносил безапелляционное решение. Обычно это же терпящее промедления судебное действие происходило в пятницу. А сегодня, в среду, Тер-Айказун впервые выступал на Дамладжке из судья по уголовному делу. Коротко суть дела заключалась в следующем: главная ответственность за большие потери, понесенные защитниками во время штурма, вие всяких сомнений ложилась на Саркиса Киликиана и его необъяснимое поведение. Но Габриэл Бартян и не собирался привлекать его к ответственности, но первым

этому, что Киликиян проявил отвагу и немалую сметку во всех предшествующих боях, и во-вторых, Габриэлу хорошо было известно, что человек способен на необдуманные поступки; к тому же он по опыту знал, что по прошествии некоторого времени совершенно невозможно точно воспроизвести какой-нибудь эпизод боя. Однако не все думали, как командующий, например некоторые командиры дружины, рядовые бойцы и жители лагеря.

Когда вражеский штурм был отражен, на Алтарную площадь бежался народ. Бойцы гарнизона Саркиса Киликиана теснили своего командира, требуя, чтобы он объяснил свое поведение во время атаки врага и защищался. А он ничего не объяснял и защищаться так же, по-видимому, не собирался. И сколько на него ни сыпалось яростных обвинений и всевозможных вопросов, он молчал, а его безучастный взгляд и высохший череп ничего не выражали. Возможно, молчание это вовсе не свидетельствовало о его наглости, злости или самоуверенности, но впечатление это производило именно такое. Ведь может быть — да скорее всего так оно и было, — Киликиян действительно не мог бы объяснить, почему на него нашел вдруг столбняк, а также отговорки, как «внезапный приступ усталости» или «не понятие никем измерения командира», о с презрением отел. Позднее он и Тер-Айказуну не сумел дать вразумительного объяснения. Однако совершенно естественно, что молчание Киликиана только разозлило обвинителей. Его начали толкать, перед носом его мелькали кулаки. Суд вражеских, возможно, согласился бы, что он действовал в пределах необходимой самообороны, не ударю он первым и не будь этот удар столь свиреп. Пребывая в своем обычном состоянии апатии, Киликиян некоторое время позволял себя толкать, казалось даже, что он даже зашатал от напавших обвинителей вообще не намерен ничего предпринимать, более того — он даже не замечает, что происходит вокруг него. Но вдруг он вырвал свой костлявый кулак из кармана и нанес одному из молодых своих притеснителей такой удар в лицо, что тот, обливаясь кровью, с выбитым глазом и сломанной переносицей свалился наземь. И произошло все это с молниеносной быстротой на какую-то долю секунды вылое тело Киликиана напряглось, глаза сверкнули, но тут же погасли, и снова взгляд его стал тушим, как прежде. В эту минуту никто не взялся бы утверждать, что это именно он только что чуть не убил человека. К его счастью, сначала в толпе никто не понял, как все это произошло, просто люди, отпрянув, понаблюдали назад. Но затем, когда толпа с криками возмущения вновь забросилась на него, ему бы не поздоровилось, если бы не появилась полиция Города и не взяла его под стражу.

Наутро, во время разбирательства в правительственном бараке, он невозмутимо признал, что удар нанес первым и отлочно предвидел его последствия. И в дальнейшем он не ссылался на необходимость самозащиты. То ли он был чересчур ленив, то ли слишком

устал, чтобы давать убедительные ответы. Но возможно, что этот человек относился к самому себе, к своей жизни или смерти с таким равнодушным безучастием, какое постигнуть никому другому не дано!

Багратян сидел и молча слушал. Он не произнес ни слова ни в обмание, ни в защиту подсудимого. Но разгневанный народ требовал кары.

Выслушав показания свидетелей, Тер-Айказун вздохнул и сказал: — Что мне с тобой делать, Киликия? По тебе же сразу видно: ни один монастырский устав для тебя не писан. Надо бы тебя изгнать из лагеря...

Однако никакого изгнания Тер-Айказун, разумеется, не объявил, а вынес следующее решение: пять дней тюрьмы в кандалах и трехдневный пост. Наказание было гораздо тяжелее, чем могло показаться на первый взгляд. Из-за простой потасовки, где он не был даже вачишиком, Киликия лишила высокого звания боевого командира и вновь низвели в преступный мир. А это было тяжелым оскорблением, запятнавшим его честь. Однако, глядя на него, нельзя было даже предположить, способен ли он что-нибудь воспринимать как оскорбление.

По окончании судебного разбирательства ему связали руки и ноги и заперли в камере, то есть в третьей комнате правительственного барака. И вновь Киликия стал похож на того Киликия, каких он уже не раз бывал в своей непостижимой жизни, — кара обрушивалась на него, когда за ним или вовсе не было никакой вины, или же она лишь предполагалась. Он и на сей раз принял эту кару не моргнув глазом, как неизбежность столь хорошо знакомой и невратимой судьбы. Нынешняя же тюрьма его весьма отличалась от подобных заведений, которых Киликия немало повидал на своем веку. Ведь за стеной жил человек таких возвышенных мыслей, каким был аптекарь Григор. Справа и слева — две невзрачные камерки, возле одной на другую как пара сапог, но одна была камерой позора, другая же вмещала вселенную!

Габриэла преследовало предчувствие, что вот-вот произойдет какое-то событие, назвать которое он не умел, но которое может в речеркнуть решительную победу позавчерашнего дня. Потому он и настоял на отправке гонцов сегодня же, в среду. Необходимо было как можно скорее что-то предпринять! И пусть это ничего не даст — такой шаг породит напряженное ожидание.

Добровольцы собрались, как и решил совет, на Алтарной площади. Сюда сбегалось все население лагеря, ибо избрание гонцов было делом народным.

Габриэла как раз вернулся после проверки дружин. Он хорошо сознавал опасность ослабления дисциплины и раздраженной дра-

вости людей, поэтому назвала учения уже на вторую половину дня. Благодаря захваченным в боях двумстам маузеровским винтовкам весь первый эшелон был теперь хорошо вооружен. Поредешние дружин пополнились лучшими бойцами резерва. Над лагерем разносились звонкошумящие звуки трубы Чауша Нурхана, который приступал к муштре новичков.

Искуну встретила Габриэла на полпути. После столь внезапно открывшегося родства душ она с детской прямотой искала с ним встреч. Почти ничего не говоря, они вместе прошли до самой площади. Когда она была с ним рядом, им овладевала кавым-то особенная уверенность. Его не покидало ощущение, что юная Искуна — самое близкое существо, какое он знал в жизни. Своей благостной прязмотой она заполнила все, зайдя далеко за пределы сокровенных воспоминаний.

На Алтарной площади она не отходила от него, хотя и была единственной женщиной, без всяких на то оснований оказавшейся среди высшего руководства. Неужели она совсем не боялась, что изведение ее будет замечено и у брата возникнут подозрения? Или была прямота души человека необыкновенного, действующего в своем первом чувстве без оглядки и без всяких сомнений?

Добровольцы — десятка два юношей — ожидали решения совета. Среди них были и пять подростков — старшими из юношеской когорты также разрешали выступать добровольцами. Со страхом и гневом в душе Габриэла обнаружил рядом с Гайком Стефаном Тер-Айказун, коротко посоветовавшись с членами совета, выбрал гонцов. Имя Тер-Айказун, надлежало творить суд над людьми, определять их силу и возможность. Что касалось пловоцев, то здесь решение было одно, и никто его не оспаривал. В Вакфе — южной деревне армянского поселения, расположенной на самой границе долин Ороната, то есть уже на морском побережье, — жили два знаменитых пловоца, одному было девятнадцать лет, другому двадцать. Имя Тер-Айказун и передал ремеш сшитым письмом, содержащим призыв о помощи к капитану лютого — американского, английского, французского, русского или итальянского военного корабля. Попрошавшись с родными, юношам предстояло пуститься в путь от северного седла сразу после захода солнца.

Выбор холода в Алеппо потребовал обсуждения. Довольно скоро все согласились послать не двух, а только одного гонца, — так хоть огромному риску будет подвергнута жизнь только одного человека. Пастор Арам Товмасян сказал, и вполне резонно, что, пожалуй, у взрослого армянина меньше шансов живым добраться до столичной вилаета, чем у мальчишки, который даже одетый мало чем отличается от мусульманских ребят в котором вообще легче где угодно проскользнуть. Разумные эти доводы были всеми признаны, кто-то тут же предложил:



— Гайк!

Этот угрюмый решительный паренек с твердыми как камень мускулами скважочно ловок — самый подходящий, иного другого и не надо! Никто из местных крестьян во всем лагере не был так тесно связан с родной землей! У кого еще такой зоркий ястребинный глаз! Нюх как у барсука, слух как у крысы и изворотливость змеи! Если кому и удастся преодолеть все смертельно опасные преграды на пути в Алеппо, то только Гайку.

Но когда Тер-Айказун, стоя на нижней ступени алтаря, объявил о решении совета послать Гайку, вперед вышел Стефан — поступил поистине недостойный! Лицо Габриэла Багратяна передернулось от гнева, когда он увидел, как сын выскокил из шережи и дерзко встал впереди всех. Николада еще его так неприятно не поражали заносчивость и внутренняя и внешняя одичалость сына. Чумазый, смуглый как негр, Стефан сперкнул зубами:

— Почему Гайк? Я тоже хочу в Алеппо...

Ни слова не говоря, Габриэл Багратян взмахнул рукой — жест, приказывающий молчать. Но невооруженный сын будто взорвался, его срывающийся голос разнесся по всей площади:

— Почему Гайк, а не я, папа? В Алеппо пойду я!

Подобный сыновий бунт был чем-то неслыханным среди армян, ничем не оправданным — ни исключительными обстоятельствами, ни героическим честолюбием. Лицо Тер-Айказуна выразило нетерпение, он резко поднял голову:

— Укажите своему сыну, Багратян!

А пастор Арам, имевший некоторый опыт в обращении с трудными подростками, попытался успокоить Стефана.

— Совет уполномоченных решил, что только один гонец пойдет в Алеппо. Ты же взрослый, толковый парень и сам понимаешь, что значит для нас приказ совета. Беспрекословное повиновение! Правильно я говорю?

Однако героя захвата турецких гаубиц нельзя было пропнуть ссылками на закон, приказы и уставы. К тому же он совсем не представлял себе ни самой задачи, ни полной своей непригодности для выполнения ее. Стоя рядом со своим соперником, он испытывал только унижение и обиду. Присутствие большого количества взрослых и почтенных людей ничуть не сдерживало его. Он дерзко заявил отцу:

— Гайк только на три месяца старше меня. Он и по-французски не умеет говорить. Мистер Джексон не поймет его. А что Гайк может, то могу и я.

У Габриэла допонуло терпение. Он сделал решительный шаг к сыну.

— Что ты можешь? Ничего ты не можешь! Ты изнеженный европеец. Избалованный городской ребенок — вот ты кто! Тебя тут же воймают, как слепого котенка. Уходи! Ступай к матери! Чтоб я тебя здесь больше не видел!..

Эта жестокая выволочка отнюдь не отличалась мудростью. Отец видел самое больное место Стефана. При всем честном народе его сбросили со столь дорого доставшейся ему высоты. Значит, все сделанное им до сих пор было напрасно? И что он выкрал Библию Искуи, а что героически захватил гаубицы, за что чуть не удостоился звания «Залеон»?.. Уж очень скоро жизнь показала Стефану, что подвиг и слава не даются вечно! Что в славе всегда таится мстительная ит-женность и что все-все надо начинать сначала! Внезапно он утях. Его смуглое лицо залилось краской, которая делалась все гуще. Огромными своими глазами он смотрел на Искуи, будто впервые видел его. И ему показалось, что ова строго и неприветливо отвечает на его взгляд. Искуи в роли враждебно настроенного свидетеля его поражения?.. Это было уже чересчур. Невольно и совсем неожиданно для себя он расслабился, и в эту минуту он не был ни отчаянным смельчаком, ни отважным завоевателем вражеских гаубиц — нет, он владал совсем как маленький мальчик, которого несправедливо обидели. Однако этот детский плач не вызвал сочувствия у присутствующих. Напротив — что-то похожее на злорадство. И это труднообъяснимое злорадство было всеобщим: испытывали его не только приятели Стефана, но и взрослые, и распространялось оно по каким-то скрытым причинам и на самого Габриэла Багратяна. Глубинные отношения между людьми почти никогда не меняются. А отношения между Багратяном и местным населением, несмотря на все одержанные победы, все восхищение, почитание и благодарность, можно выразить в одной фразе: «Он не наш!» И нужен был только повод, чтобы чувство это выразилось наружу, как это и произошло сейчас. Стефан довольно скоро подавил свой недостойный реф. Но и многолетняя слабость выжила среди товарищей из ватаги Гайка и других ребят глумление, настроила их издевательски. Послышались изнеженные выкрики, настроила их издевательски. Послышались изнеженные выкрики. Даже колоченгой Аюп смеялся как-то особенно громко и вызывающе. Только Гайк стоял серьезный и углубленный в себя, будто все происходившее никакого отношения к нему не имело, оно даже не вызвало у него улыбки. Стефану же не оставалось ничего другого, как уйти, и хотя он и вытался своей походкой выразить пренебрежение к равнодушные, влечи его предательски подергивались.

Габриэл молча смотрел ему вслед. От досады и злости не осталось и следа. Его смущала мысль о старом письме мальчика из Мон-трё. Он так и видел: Стефан сидит в хорошем пальто, в костюме, в шляпе. Он так и видел: Стефан сидит в хорошем пальто, в костюме, в шляпе. И детски склонив голову над письмом, выводит огромные буквы... И Габриэла снова потрясли душераздирающие воспоминания о давнишней отживших мелочах. Он вспомнил, что Стефан уже большой, в ноябре ему исполнится четырнадцать лет... И тут же его озадачил: «исполнится четырнадцать», «в ноябре» — какая чудовищная утопия! Ледяное предчувствие нахлынуло и исчезло: исправить уже ничего нельзя!

Он поспешил на площадку Трех шатров, намереваясь еще раз поговорить с сыном. Но ни Стефана, ни Жюльетты дома не застал. В швейском шатре Габриэла светила белая. При этом он заметил, что одной из двух монет, подаренных ему агой Рифаатом Берекетом, нет на месте. Это была золотая монета с четко выгравированным профилем Ашота Вагратуни, великого царя армянского. Габриэла несколько раз вывернул все карманы. Золотая монета исчезла.

Заселение турками и арабами армянских земель, к несчастью, положило конец бродяжничеству и двойной жизни Сато. Когда она в последний раз отважилась спуститься в долину, ее чуть не поймали оказывается, и там уже образовались шайки мусульманских подростков, которые, завидев подобную дичь, тут же бросались в погоню. А теперь еще и пожар перекрыл все ее тропки-дорожки. И Сато ничего другого не оставалось, как довольствоваться Дамладжком, ушельями и гротами на его морском склоне. Но вся эта вытоптанная людьми и скотом местность, эти исхоженные подъемы и спуски между Южным бастионом и Городом до самого северного седла, разве этого достаточно для Сато — этого олицетворения непосредственности? С деревенскими ребятами она была теперь в полном разладе. Несколько дней назад Тер-Айказун, вопреки сопротивлению учителей, приказал вновь открыть классы. Однако даже такому тирану, как Грант Восканян, не под силу было водворить тишину, когда Сато сидела в классе. «Вонючка! Вонючка!» — заводил жестокий хор, как только бедняжка показывалась на школьной площадке. Постоянные нестремима в человеке его вечная жажда самоутверждения, причем за счет социально ниже стоящих, более бедных, или искалеченных, или просто чужих. И эта потребность увидеть, а также мстительный отпор, порождаемый ею, веляют собой весьма мощные рычаги земной истории, лишь скудно прикрываемые затасканным плащом политических идеалов. И даже здесь, на горе, в последнем приближении изгнанников, прибывшая сирота Сато служила детворе желанным поводом утвердить себя чем-то выше стоящим и благороднейшим рожденным. На одном уроке, который проводила Искуи, наделательские выкрики стали так оглушительны, что, не скрывая своего отращения, учительница выгнала отверженную:

— Уйди, Сато, и, пожалуйста, больше не приходи!

С цепким упорством, не ведая ни чести, ни стыда, Сато обычно отставляла себя против всей ватаги. Но сейчас, когда обожаемая ею «барышня», ее «Кючук-ханум» сама перебежала к врагам, сама выгнала ее, Сато вынуждена была подчиниться. И она ползла прочь в своем европейском платье с рукавчиками бабочкой, рваным и грязным, придававшим ей такой эксцентрический вид. Но добрая она только до ближайших кустов, откуда, как шанал, подкарауливающий караван путников, пожирала алчным взором своих недругов.

Сато вовсе не была такой жалкой, как это может показаться. Нет, и у нее была свой собственный мир. Она, например, превосходно знала и понимала всех зверюшек, попадавших ей на тропках-дорожках. Наверное, Искуи да и многие другие поклонялись бы, что Сато мучает животных. И преле бы все говорило за это. На самом же деле как раз напротив — это недоразвитое существо вовсе не калечило и не мучило животных. Она обращалась с ними ласково, напевала им что-то, как будто на их языке. Слово не ощущая укулов, она той рукой брала свернувшегося ужа и так долго ему что-то наговаривала, покуда он не разворачивался и, высунув мордочку, не принимался оценивать ее своими острыми глазками, словно мелкий базарный торговец. Сато, сама говорившая так, как будто жевала собственный язык, знала все призывные крики и мелодии птиц. Однако все это она тщательно скрывала, хотя такие познания могли бы завоевать ей уважение. Но она боялась, что близкие и вовсе прикинут ее за улюду. Как с животными, она умела говорить и с выжившими из ума старухами, ютившимися вокруг Боговолукского кладбища. Она и не замечала, что эти без умолку болтающие старухи поют почти совсем иначе, чем разумные люди. Ей бывало приятно участвовать в их словопроениях, требовавших лишь малючу малость умственного напряжения и приличия. Мелкие зверьки, обиженные богом люди, нищие слепцы и были тем миром, из которого Сато черпала то чувство превосходства, без которого не может существовать ни один человек. Правда, что касается Нуник, Вартук и Манушак, то она была их почитательнейшей и прислужницей. Однако развитие событий рассеяло это сообщество. Ей было скучно рыскать внутри кольца обороны. Молодежь решительно не принимала ее. И бездельное ее беспокойство мало-помалу перешло в шпионство за взрослыми. Тончайшим чутьем, несколько не облегчающим ей постижение школьных премудростей, она улавливала, что именно в этих взрослых оборачивалась распушенностью, животностью, корыстью, похотью, а то и просто безумием. Она словно слышала, как произрастают те опасные чувства, о существовании которых она вообще не имела никакого понятия. Как сладострастным шпионским магнитом, хотя она этого и не сознавала, ее притягивало все, что было не вполне в норме.

Потому и неудивительно, что Сато очень скоро поняла по Жюльетте и Гонзаго, что с ними происходит. Щекочущее предчувствие большой катастрофы охватило ее. Всем отверженным знаком эта радость по поводу грядущей беды, эта сладостная надежда на гибель всего и вся — немаловажная пружина маленьких скандалов и великих переворотов.

Сато неотступно выслеживала парочку. Жюльетта и мось Гонзаго вместе с самим Габриэлом были самыми влиятельными людьми,

каких она когда-либо встречала. Ненависти, какую подчас дурные слуги испытывают к своим господам, они ей не внушали, — ист, это было жадное любопытство принитивного существа к тому, что представляется ему уже почти неземным. А перед Гонзаго, который когда-то так напугал ее, исполняя бравурные эстрадные песни на фортепиано, она ощущала болезненный страх побитой собаки.

Сато очень скоро высмотрела все укромные местечки, все тайные рододендроновые и миртовые уголки «Ривьеры». Купался в блаженстве, она просовывала свою мордочку сквозь листья и ветки. Ее ослепленные глаза улавливали представление, которым ее потчевали сами боги. Эта благородная женщина, ханум из страны франков, так чудесно благоухающая, эта великанина, и вдруг — волосы распухшие, принакает всем своим угасающим лицом со вспухшими алчными губами к такому спокойному и сдержанному мужчине, который из-под опущенных век, предельно настороженный, предвкушает даримое прежде, чем завладеть им. Вся дрожь, Сато следила, как длинные тонкие пальцы Гонзаго, словно умелые пальцы слепцов, перебирающих струны тара, скользят по белым плечам и груди ханум.

Сато видела, что можно было увидеть. Но она видела и то, чего нельзя было видеть. Учителя давно уже поставили на Сато крест. В голову этого бессвязно лепечущего существа, воспринимающего мир только в образах, никакими силами не удавалось вдолбить ни алфавит, ни таблицу умножения. Сато отстала от ровесников потому, что ее сверхчеловеческое чутье развивалось за счет интеллекта. Следя из-за миртов и рододендронов, она впитывала в себя не только жгучую сладость самого зрелища, но и смятение ханум и самонадеянную неустрашимость Гонзаго. Разум Сато ничего не знал, чутье — знало все!

У Сато не было никаких оснований отказываться от этого сладострастного подсматривания, но тут амешалось нечто, ударившее ее по единственному нежному чувству, которое у нее было. От ее чутящего носика не могла укрыться и другая пара. Эта, правда, не разыгрывала спектаклей да и не нуждалась в укромных местечках, чтобы прятать свои страсти. Никогда — она не исчезала в лабиринтах кустарника, опоясывавшего взморье, напротив, предпочитала открытые возвышенности и просторы горного плато! Эту пару трудно было преследовать не выдав себя. Но к счастью, или, вернее, к несчастью Сато обладала способностью быть незаметной. В этом она превзошла даже такого искусника маскировки, как Гайк. И эта вторая пара все больше отвлекала ее от первой, дарившей столь богатые впечатления. Здесь она не видела ни одного поцелуя, но даже самое отсутствие их жадно Сато глубже, чем полнота объятий Гонзаго и Жюльетты. Стояло Габриэлу и Искуи коснуться друг друга, встретиться глазами и сразу же отвести их, будто обоих ударило током, как Сато клялась, что это нежное слияние будоражит

ее больше, чем полная плотская близость той пары. Но главное, ее особенно бесила и печалила гармония между Габриэлом и Искуи. Впрочем, память Сато все перенимала по-своему. Разве воспитательница зейтунского приюта не была всегда ласкова и щедра к Сато? Называла же Искуи ее «моя Сато»? И разве маленькая ханум не разрешала Сато сидеть у ее ног, гладить и даскать их? И кто, как не эфеда, виноват, что Искуи, как раз когда Сато открыла ей свое сердце, крикнула: «Уйди и больше не приходи!»

В унынии сложившаяся бродяжка, ниша место, где бы подумать. Но ведь думать и строить планы Сато не умела. Она была способна лишь создавать зыбкие образы и тут же забывать о них под натиском новых ощущений. Впрочем, эти образы и чувства Сато вовсе не нуждались в содействии и упорядочении разумным началом. Они жили сами по себе. Они трудялись целеустремленно: поднимали пелену, спускали их и вновь подхватывали, и так сплетали сеть мести, о которой ее создательница, по сути, ничего не знала.

Жюльетта шла к Габриэлу.

Габриэл шел к Жюльетте.

Они встретились между площадкой Трех шатров и северным седлом.

— Я иду к тебе, Габриэл, — сказала она.

— А я к тебе, — сказал он.

Смущение и потеряность, давно уже державшие в плену Жюльетту, завершили дело. Куда девалась «искриющаяся походка» Жюльетты, завершая она шла будто не по своей охоте, но принуждению. Да так оно и было. Гонзаго послал ее, чтобы она наконец сказала правду, объявила, что настал день расставания. «Что это со мной? Неужели я стала так близорука?» — подумала Жюльетта. — «Почему я так плохо вижу?» И изумилась: летний день — и вдруг сумрачно, как в ноябре! Но может быть, это дымная пелена стелется от пожара? Или пелена, что туманила сознание изо дня в день, так стусилась?

Удивительно, право: когда она стоит перед Габриэлом, Гонзаго кажется ей нереальным. И зачем это Гонзаго издумалось осложнять себе жизнь? Все вдруг представилось ей невероятно далеким и удивительно странным. У нее отступилась подвизка, чулок спустился ниже колена. «До чего же прогибно!» Однако Жюльетта не подвинула чулок. «Сил нет нагнуться!» — вдруг подумала она. — А ведь сегодня вечером надо карабкаться по горам. Идти в Суздуню.

Между супругами произошел несколько странный разговор, разговор в пустоте, так ни к чему и не приведший.

Жюльетта заговорила первая:

— Я все корю себя, что не была с тобой эти дни... Ты пережил так много страшного, ты совершил великое... Ты был все время в опасности... О, друг мой, и веду себя постыдно...

Подобное признание всего несколько дней назад произвело бы на него впечатление. Сейчас его ответ прозвучал почти формально:

— И я не раз упрекал себя, Жюльетта. Мне следовало больше заботиться о тебе. Но поверь, даже сейчас, в эту минуту, я не могу о тебе думать.

И это была чистая правда. Она должна была бы придать Жюльетте мужества тоже сказать правду. Но она только поспешила согласиться:

— Ну разумеется. Я вполне понимаю, что тебе приходилось думать совсем о других вещах, Габриэл.

Он сделал еще шаг по этому опасному пути:

— К счастью, я радовался, что ты не одна и не чувствуешь себя брошенной...

В этом холодном, словно нарочно неодушевленным, мертвом обмеле слов была достигнута ступень, открывавшая самые различные возможности для Жюльетты сказать всю правду: «Я здесь чужая, Габриэл. Армянская судьба оказалась сильнее нашего брака. И вот мне дан шанс, последний выход — избежать этой судьбы. Ты сам желал этого, много раз предлагал мне спастись. Я надеялась, что выдержу, но не достало сил. Да и не могло бы достать, ведь твоя борьба — не моя борьба, мой друг. Я уже и так много сделала. Поверь, я терпела эту страшную жизнь до этой самой минуты. Но теперь довольно. Отпусти меня! Я уже не твоя, я принадлежу другому...»

Но ни одно из таких простых и естественных слов не было сказано. Жюльетта все еще тщеславно полагала, что в браке с Габриэлом это она обогащает, стоит выше, и потому воображала, будто такое признание убьет Габриэла. Ведь он мог бы ей ласково ответить: «Я хорошо понимаю тебя, cherie. И даже если это погубит меня... я не смею тебя удерживать. Я сделаю для тебя все, что в моей власти. Ради тебя я расстанусь со Стефаном, и ты спасешь его. Это даже лучше, что я, взяв на себя руководство и ответственность перед народом, разрываю последние связи с моей частной жизнью. И вот что еще, Жюльетта: я люблю тебя, но перестану любить до последнего вздоха, хотя не принадлежу тебе более, я принадлежу другой...»

Так легко и просто, с помощью открытого слова мог разрываться все узел, не будь все так безнадежно запутано: Жюльетта знала о Габриэле столь же мало, сколь знал о ней он. Но она и не знала, любит ли она по-настоящему Гонзаго. Да и Габриэл не ведал, любит ли соединяет его с Искусу. Все религиозное и буржуазное прошлое Жюльетты восставало против греховного счастья. По многим причинам она не доверяла этому столь непроходимому Гонзаго, и не в последнюю очередь потому, что он был моложе нее на три года. В Париже все это, конечно же, приняло бы традиционные формы. Однако здесь, в этой фантастической обстановке на Дамладжке, соз-

дание греховности угнетало ее. Но и это была лишь малая часть путаницы. Бывали минуты, когда она уже совсем решалась вместе с Гонзаго тут же покинуть Муса-даг и дожидаться парохода на винокуренном заводе. Но через мгновение мысль эта казалась до смешного немыслимой. Она не обладала отвагой и решимостью, для того чтобы бездумно довериться авантюристу, даже если такой ценой можно было бы спастись от смерти. А не разумней ли сидеть и ждать своей участи на Дамладжке, чем быть похищенной в Бейруте? И мысль о ночном походе по горам, об опасном пересечении мусульманской долины Оронта, о плавании по морю в трюме между бочками со спиртом, страх перед торпедами — мысль обо всех этих предостережениях смешалась с ощущением своей неуместности в столь неподобающей обстановке: «Нет, это не для меня!» Но что это по сравнению с той мукой, какую она терпела из-за Стефана! Она же была зрелого родного сына! Не заботилась о том, сыт ли он, чисто ли одет. И даже вечером — о святое материнство! — не подходила к его койке в шейхском шатре взглянуть, хорошо ли он спит. Все это вместе взятое сложилось у нее в единое чувство вины перед Стефаном. С таким бременем на сердце она пришла к Габриэлу, намереваясь быть с ним открытой, сказать ему «прощай навсегда».

Они смотрели друг на друга, муж и жена. Муж смотрел и видел перед собой лицо постаревшей, как ему казалось, бледной от недосыпания женщины. Он даже подметил проседь у нее на висках. Но не мог понять, откуда этот лихорадочный взгляд, отчего рот у нее стал таким большим и так распухшим, потрескались губы. «Она погибла здесь!» — подумал он. — Да иначе и не может быть! И если минуту назад в нем еще теплилось желание сказать Жюльетте об Искусу, то теперь он подавил его. Зачем? Сколько им еще осталось дней?

А жена видела перед собой изборожденное морщинами лицо, словно стиснутое круглой щетинистой бородой, которую она так не любила. Всякий раз, когда она смотрела на это лицо, она невольно спрашивала себя: неужели этот одичавший вожак горной банды — Габриэл Багратян? И вдруг она слышит голос, прежний голос Габриэла! И из-за одного этого голоса она не может сказать ему правду. В ушах гудит: «Останусь! — Уйду!» В мозгу стучит: «Только покой бы все это кончилось!»

Разговор соскользнул с опасной стези. Габриэл рассказывал, что в ближайшие дни им ничто не грозит. По всей видимости, они могут наслаждаться длительной передышкой, отдохнуть. Он напомнил ей совет доктора Алтуни: лежать в постели и — читать, читать и читать!

Перед глазами медленно плыло облако дыма. Их окутал приятный запах смолы. Габриэл останавливался:

— Как сильно пахнет смолой!.. В каком-то смысле этот пожар

нам на руку. Из-за дыма тоже: дым дезинфицирует. К несчастью, в карантинной роще лежат уже двадцать больных — проклятый дезертир из Алеппо их заразил...

Он уже ни о чем, кроме общественных дел, не способен был говорить. Равнодушный, он так и не уловил то, о чем она умолчала. А у нее в ушах звенело: «Уйду... Уйду...»

Но едва они дошли до середины дымного облака, Жюльетта побледила, зашаталась, — он успел ее подхватить. Эти тысячекратно испытанные объятия усилили ее муку. Она порывисто высвободилась.

— Габриэл, прости... мне кажется, я заболела... Или уже больна...

Гонзаго Марис ждал в условленном месте «Ривьеры», бережно докуривая половину сигареты. У него оставалось еще двадцать две. Окурки он не выбрасывал — берег табак для трубки. Как и большинство людей, вышедших из приютов и познавших нужду, он, несмотря на желание выглядеть изысканно, никогда не имел больше двух костюмов и в фанатически берет все, что имело хоть какую-нибудь цену, используя всякую вещь до последнего.

Когда Жюльетта какой-то странной, неуверенной походкой вошла к нему, он вскочил. Он не стал менее галантен с возлюбленной и после того, как овладел ею. Да и присущий ему подчеркнуто предупредительный взгляд из-под бровей, сросшихся под тупым углом, был все тот же, хотя в глазах мелькал огонек критического отношения к ней. Он сразу понял, что она потерпела поражение.

— Ты опять не сказала ему?

— Не ответив, она опустила рядом.

И что же такое у нее с глазами? В самой близи все качается, будто в безмолвный шторм. Или это все вокруг окутано дымкой дождя? А как только туман разрывается, из моря вырастают пальмы... С обижено поднятыми головами по волнам шагают верблюды... Никогда еще грохот приборов снизу не доносился так громко, не казался таким близким. Сама себя не слышишь! А голос Гонзаго доносится откуда-то издалека...

— Нет, так нельзя, Жюльетта! У тебя было столько времени... Пароход ждать не будет, да и директор второй раз нам не поможет. Этой же ночью мы должны тронуться в путь. Пора тебе обраться.

Она прижала кулаки к груди и наклонилась вперед, словно преодолевая приступ боли.

— Почему ты так говоришь со мной, Гонзаго? И почему не смотришь мне в глаза? Взгляни на меня!

Он поступил совсем иначе. Он упрямо смотрел вдаль... хотел дать почувствовать свое недовольство.

— Я всегда думал, что ты волевая, смелая женщина, ничуть не сентиментальна...

— Я? Я уже не та, что прежде. Я уже умерла. Оставь меня здесь. Уходи один!

Она думала, что он станет возражать. А он молчал. И это молчание, которым с ней так легко расставались, Жюльетта не смогла вынести. Смирившись, она шепнула:

— Я пойду с тобой... Ночью... Сегодня.

Только теперь он ласково положил руку ей на колено.

— Соберись с духом, Жюльетта. Преодолей чувство вины и все другие сомнения. Отруби все разом. Это лучше всего. Мы с тобой хотим ясности, но будем себя обманывать. Иначе нельзя. Каким-то образом надо сообщить Габриэлу Багратяну. Тебе вовсе не надо исповедоваться. Я этого и не говорю. Нам открылся путь к спасению. Такая возможность не повторится. Но просто так исчезнуть нельзя. Уже не говоря о том, что это было бы немисливо подло, ты подумала, как будешь жить дальше?

Уверенным, спокойным голосом да и всем своим видом он пытался убедить ее, что Багратян должен устроить все наилучшим образом, обеспечить ее на ближайшее время. В словах его не было и намека на грубость или себялюбивую корысть. Хотя в своих рассуждениях он и принимал в расчет гибель Габриэла, а возможно, и Стефана. Что до Стефана, то Гонзаго, между прочим, был готов ради Жюльетты взять и это бремя на себя. Правда, это чрезвычайно усложнит побег. Под конец он стал проявлять признаки нетерпения — ведь сколько раз уже говорилось об этом, а возможность спасения тем временем ускользает! Если бы Жюльетта сейчас была способна логически мыслить, она согласилась бы с его разумными и такими убедительными доводами. Но вот уже несколько дней, как с ней происходит что-то странное: застрienет какое-нибудь услышанное слово в мозгу и она уже не может от него отвязаться. Сейчас у нее не выходило из головы: «Но как ты будешь дальше жить?» Одно-сложное «жить» с жестяным дребезжанием кружило у нее в голове, точно заигранная пластинка, на которой застрела игла. — с ума сойти можно! Какая-то дрожь поднималась от земли и передавалась ей, как будто она сидела у болота. И вдруг она сама стала механически повторять:

— Как я буду жить?.. Как я буду жить?.. В Бефруте? А зачем?

Гонзаго стало жаль Жюльетту — он решил, что ее мучает совесть. Он старался ей помочь:

— Не мучай себя, Жюльетта! Думай только о спасении. Если ты захочешь, я буду с тобой, но если ты этого не пожелаешь...

В это мгновение она увидела перед собой больного дезертира. Это к его груди, покрытой струями и красными точками, она припала в припадке отчаянной экзальтации... А потом она решила на-

вестить маму... Мама ведь живет в гостинице... Длинный-предлинный коридор и сотни дверей... И она не знает, какую ей отворить. А голос Гонзаго такой ласковый... милый. Доставил ей радость, сказал:

— Я буду с тобой...

— Ты будешь со мной?.. А сейчас ты со мной?

Он мягко перевел разговор на нужную тему:

— Слушай внимательно, Жюльетта! Сегодня ночью я буду ждать тебя здесь. К десяти ты должна быть готова. Если я тебе понадобится равнение, если Багратия решит со мной переговорить, а я этого не исключаю, пришли кого-нибудь за мной. Я тебе помогу. Возьми большой саквояж. Нести буду я. Будь внимательна, когда станешь собираться. Кстати, в Бейруте ты можешь достать все, что тебе понадобится...

Она очень старалась следить за ходом его мыслей. Словно ребенок повторял за ним:

— Сегодня ночью... в десять... готова... захватить саквояж... В Бейруте все необходимое... А ты? Как долго ты будешь со мной?

Ее бессвязная речь в этот решающий час вывела его из себя.

— Жюльетта, я ненавижу такие слова, как «навсегда», «навек».

Она восторженно смотрела на него. Лицо ее пылало, полуоткрытые губы тянулись к нему. Ей казалось, что теперь она нашла нужную дверь. Гонзаго сидел у рояля и играл ей матчинс... В ночь накануне прихода затвора. Он тогда сам сказал: «На свете есть только мгновение...» Великая радость захлестнула ее.

— И не надо! Не говори «навсегда», не говори «навек». Думай о мгновении!

Сейчас она поняла предельно ясно: на свете есть только мгновение... И ночь, и парокондук, и дорожная сумка, Бейрут и само решение уже не имеют никакого значения для нее. Ей суждено непреступное одиночество, куда нет пути ни Гонзаго, ни Габриэлу. Одиночество, исполненное сознанием возвращения домой, — туда, где все уже решено. Ощущение счастья пронизало ее всю.

Гонзаго удивился: перед ним была не растерянная женщина, вагантина в тупик, а снова логондукская госпожа, еще прекрасней, чем тогда. Желанный плод, созревания которого он так терпеливо дождался, презирая смерть, приобрел прелесть новизны, стал дороже, чем прежде. Он обнял ее будто впервые. Голова Жюльетты как-то странно покакала то на одно, то на другое плечо, но Гонзаго не задумывался над этим. Да и бессмысленные слова, которые она лепетала, будто упоенная страстью, скользили мимо его слуха.

Пока группа мужчин не поравнялась с ней, Сато не представляла себе, что произойдет. Спрятавшись поодаль, она караулила предубодействующих, но была чересчур печально. Даже мрачно настро-

ва, чтобы наблюдать за ними из-за кустов. Если бы она могла что-нибудь выколотить из этого возмущающего открытия! Вот старуха Нуник — та была бы довольна. Как бы она хвалила Сато, да и оларилла бы шедро! Но Сато была теперь пленницей и не могла больше передавать выгодные новости с горы в долину или же с долины на гору. Тем жгучей терзало ее одно постоянное чувство: ревность! Надо разулчить Нескуи с эфенди! Сделать больно этому эфенди...

Сато обхватила колени и уставилась на затянтое дымом небо. Случилось так, что к этому месту как раз в эту минуту подходили несколько человек. Сато по голосам узнала Тер-Айкасу, Габриэлу Багратия, вастора Арама. За ними шли учитель Восканян с мухтаром Товмасом Кебусяном. Упомянутые, должно быть, только что окончили важное обсуждение и казались озабоченными. Да и причины были у них для этого. Продовольствие — имелось в виду стадо — уменьшалось непредусмотренным образом и по неизвестным законам какой-то дикой прогрессии. Совет изю дня в день урезывал рацион, но сдержат спад, вызванный дурным кормом, не мог. К тому же, как ни старался Арам Товмасыя, лов рыбы тоже никак не клеился. Положение с продовольствием было удручающим. Да и эпидемия принимала угрожающие размеры. За один вчерашний день в карантинной роще умерли четверо больных. Доктор Петрос уже еле передвигал свои ослабевшие и скрюченные от старости ноги. Внутри лазарета и вокруг него лежало более пятидесяти раненых и столько же — в шалашах. Все — плохо перевязанные, без лекарств, предоставленные господу богу и самим себе.

Но особенно пугала опасная раздражительность, проявляемая мусадатцами, казалось бы такая неожиданная для победителей. Спобствоввала этому чудовищная жара, усугублявшаяся лесным пожаром, ласморк, вызванный дымом, тяжелое переутомление, скудная, однообразная еда; и все же в основе всего были, разумеется, невыносимые условия жизни здесь, в горах. Не считая случая с Саркисом Кылякьяном, за последние два дня было несколько драк, кое-где даже дошло до поножовщины. Все эти обстоятельства и заставили упомянутых уделить сегодня особое внимание морскому склону Дамладжа. Как известно, на скале-террасе, словно оберегаемой от событий, развевалось полотнище с надписью «Христиане терпят бедствие!» Два разведчика из ювощеской когорты постоянно следили оттуда, не появится ли на горизонте корабль. Впрочем, вполне вероятно, что кто-нибудь из безнадежных ребят проглядел одно, а может быть, и несколько судов, або поныне никто не сообщал даже о появлении хотя бы рыболовецкой шхумы. И это в августе, когда обычно весь Сувайский залив кишит подобными суденышками! Неужели господь опустошил море, лишь бы отнять у армян на Муса-даге последнюю надежду на спасение?! Совет решил усилить сторожевую службу на морском склоне. Наблюдательный пост отныне был дове-



рен взрослым бойцам. Кроме того, на мысу, несколько южнее первого, решили создать второй наблюдательный пункт. Чтобы выбрать для него подходящее место, сюда и направилась группа уполномоченных.

Мягкая, покрытая невысокой травой земля скрадывала шаги молчаливых мужей, и даже Сато не сразу их услышала. Когда же она повернулась на бок, они уже подошли почти вплотную. Сато вскочила и, сама не зная почему, стала делать какие-то замысловатые знаки. Поначалу никто не обратил на нее внимания. Да это обычно так и бывало: стояло Сато появиться, как все отворачивалось с чувством стыда и отвращения. В сущности, не было людей, которые не видели бы в Сато неприкасаемую, парию, хотя христианку и заповедано: «Всякую тварь по рождению почитать перед богом равной». Вот и теперь отягощенные заботами члены совета, словно не замечая сигналов кикиморы, спокойно проходили мимо. Однако замывавший группу мухтар Товмас Кебусян неожиданно остановился и посмотрел на Сато. Невольно это и других заставило задержаться шаг. Довольно сердито они поглядывали на нее — что это она вытворяет? Этого-то Сато и надо было. Теперь вся группа стала уже пристальной разглядывать безобразное существо, которое пертелось и извивалась перед ними, будто сам бес вселялся в него. Она подмигивала, тощие ножки под когда-то аккуратной юбочкой дергались, искаженный рот, как это бывает у глухонемых, изворагал какие-то мычащие звуки, руки, загребая, все время указывали на усыпанные цветами кусты и в сторону моря. Сила внушения, исходившая от бесноватшейся Сато, постепенно ослабла: неприязнь уполномоченных. Они подошли ближе, и Тер-Айказу недовольно спросил, что это тут происходит и что она, в конце концов, хочет сказать. Желтое цыганское лицо Сато передернулось, она отчаянно моргала глазами, делая вид, будто ответить на этот вопрос невозможно. Но тем энергичней она указывала в сторону моря. Члены совета переглянулись: у всех мелькнула одна и та же мысль — военный корабль! Как ни противна была эта прибудная кретинка, все на Дамладжке хорошо знала, что нет лучшей лазутчицы, чем Сато. А вдруг ее отвратительные рысьи глаза высмотрели дымок на далеком горизонте, а его-то никто другой до сих пор и не приметил?

Тер-Айказу тронул ее палкой и приказал:

— Встань! Иди вперед! Покажи, что видела!

Сато подпрыгнула и горделиво побежала вперед, время от времени она останавливалась, поджидала спутников, махала им рукой. Иногда прикладывала палец к губам, словно умоляя не шуметь, ступать как можно тише. Никто и впрямь не осмеливался открыть рот: как видно, все были до странности взволнованы. Казалось, поведение маленькой проводницы пробудило любопытство — ее спутники следовали за ней чуть ли не на цыпочках, соблюдая предельную осто-

рожность. Минував самшит и арбутус, группа подошла к широкой полосе кустарника с кожистыми листочками, отгораживавшей крутой спуск к морю. Через эти темные, прохладные заросли вели многочисленные тропинки. Журчал ручеек, чуть дальше срывающийся веером брызг вниз по каскаду. Попадались и пинии, а то и выступавшая из зарослей скала, проросшая вечнозеленым мхом. Все это было похоже на искусственно сооруженный лабиринт в парке глянц-будь на юге. Во время своих многократных рекогносцировочных рейсов задолго до исхода Багратян, должно быть, так и не побывал в этом поистине райском уголке Дамладжки. Но как прохладно и прекрасно здесь ни было, он, шагая последним, не мог избавиться от какой-то притивившейся тяжести в ногах.

Сато так хитро провела их: через заросли, что вся группа внезапно очутилась перед излюбленным притом любовников — открытой к морю полянкой. Внезапное их появление словно громом поразило Жюльетту и Гонзато, полагавших, что здесь они в надежном укрытии. Наступило одно из тех страшных, нескончаемых мгновений, которое пережившие его будут вспоминать со жгучим желанием — лучше бы мне никогда не родиться на свет!

Габриэл подошел последним и успел увидеть, как Гонзато Марис вскочил и молниеносно привел себя в порядок. А Жюльетта так и осталась сидеть на земле с распущенными волосами и обнаженными плечами, вцепившись в траву. Она вперила в Габриэла взор точно слепая, которая видит не глазами, а всеми другими чувствами. Слепая эта произошла в полнейшей тишине. Люди застыли. Гонзато, отскочив на несколько шагов, следил за проходящим с точно расчитанной улыбкой опытного фехтовальщика. Посторонние — первым Тер-Айказу — с каменными лицами повернулись спиной к женщине, словно не в силах были вынести собственный стыд.

Армяне, живущие в горах Кавказа и Ливана, — народ бесспорно целомудренней. Горячая кровь склона к строгости, лишь теплая прощает легко. Ничто, ни одно таинство эти христиане не чтут столь свято, как таинство брака, потому-то они с таким презрением смотрят на неразборчивое многоженство ислама. Наверное, мужчины, отвернувшись сейчас от позорного зрелища, не стали бы удерживать Габриэла Багратяна, если бы он даже ревельверными выстрелами положил конец всему: ни Тер-Айказу, ни пастору Араю, хотя этот последний и прожил три года в Швейцарии. Грант Воска, стоял наклонившись над своим карабином, без которого он теперь ни шагу не ступал. Казалось, черный учитель вот-вот направит ствол себе в рот и только думает, как бы ему спустить курок. И у него были основания для подобного демонстративного жеста — боготворимая им мадонна замарала себя навсегда!

Окаменевшие спины ждали. Однако ничего не происходило. Выстрел из багратяновского револьвера не грянул. А когда они в конце



концов все же повернулись, то увидели, как Габриэл Багратян взял жену за руки и помог подняться. Жюльетта сделала несколько шагов и упала бы, не подхвати ее Габриэл. Он так и повел ее через миртовый кустарник, поддерживая сзади под локти, как водят ребенка.

Глазами, в которых горело осуждение, члены совета следили за этой невероятной картиной. Тер-Айказун что-то буркнул, и медленно, порознь, вся группа покинула это место. А Сато припрыгивала за вардапетом, словно ожидая от вождя народа награды за свое полезное дело.

Ни единого взгляда не удостоился чужестранец, оставшийся один на поляне.

Никакой народ не в состоянии жить не восхищаясь, но и без ненависти тоже. Давно уже жители Города созрели для этого чувства, необходимо было только направить его. На турок? На государство? Это было что-то чересчур большое, а следовательно, существовало только подобно тому, как существует в помещении воздух — основа жизни, которой уже никто не замечает. Ненависть к ближайшим соседям? Кого удовлетворят эти мелкие повседневные свары? Даже завзятых крикунов они уже не устраивали. Да они и заканчивались обычно мелкими тяжбами, которые Тер-Айказун по пятницам, уже в роли судьи, быстро и решительно улаживал, потребовав от ответчика покаяния, а то и просто разводя тяжущихся. Нет, иное русло должен был пробить себе поток отрицания, который, невзирая на кровавые битвы и тяжкие лишения, накопился в этом сообществе. Одна из тайн общественной жизни заключается в том, что сам случай дает повод такой вспышке недовольства масс.

Перед тем как уйти, Тер-Айказун сказал несколько слов своим спутникам. То была просьба хранить случившееся в строгой тайне. Вардапет отлично представлял себе, каковы будут последствия, если скандал дойдет до жителей лагеря.

Однако Тер-Айказун сделал это предостережение рассчитывая на мужчин, но он забыл, что среди них есть женатые. Мухтар Кебусян, несмотря на то что имел вид чрезвычайно важный и исполненный достоинства, состоял у своей жены под башмаком. И о подобном событии он не мог умолчать: он должен был поделиться со своей энергичной и жадной до сплетен половиной.

Его потребность утолить эту жажду оказалась столь неудержимой, что он тут же бросился домой, чтобы поскорей передать ей драгоценный клад — разумеется, заручившись тысячей клятв хранить молчание. Не дослушав его рассказа, жена с раскрасневшимся лицом накинула на себя шелковую шаль и выбежала из бревенчатого дома, спеша навестить других мухтарш, так сказать дам высшего общества, находившихся под ее покровительством.

Обо всем остальном позаботилась Сато. Она-то сегодня праздно-

вала тройную победу. Во-первых, она причинила эфенди боль, от которой он не так-то скоро оправится. Во-вторых, она, всегдашняя первопричина всяческих бед и несчастий, вдруг превратилась в полезного члена общества. И в-третьих, она, как очевидица, знала так много пикантных подробностей, что это, безусловно, позволит ей обрести прочные позиции среди ребят. И она не ошибалась.

Для начала она приманила двух-трех рано созревших девочек своим хитреньким «А я что-то знаю!» К ним присоединились и другие. Сато, как заправский репортер, растягивала свой рассказ, она испытывала при этом совсем неведомое ей счастье — быть в центре внимания. В конце концов и Стефан услышал о позоре своей матери, причем в самых подлых выражениях. Сперва он даже не понял смысла всей этой болтовни. В его представлении мама стояла слишком высоко, чтобы Сато и вся эта шпана могла иметь в виду ее. Мама, как с некоторых пор и Искуи, была богиней в золотых одеждах, даже во тьме непроглядной ночи нельзя было думать о ее груди, плечах, но содрогаясь от лихорадочного сознания, что оскверняешь святыню. Стефан стоял окруженный членами шайки, а те с блаженной жестокостью хихикали, в то время как Сато своим трескучим голосом подкидывала все новые детали. Странно, но она рассказывала бегло, даже умело, дефекта речи как не бывало! Должно быть, так же, как несчастье и неудача способствуют исцелению религиозному, так и счастье и удача — исцелению телесно-душевному. В этом случае именно возросшее самосознание устранило недуг Сато. В Америке, рожденная на несколько ступеней выше в культурном отношении, она несомненно стала бы знаменитым репортером. А Стефан молчал, и его большие глаза делались еще больше. Но вдруг в какую-то долю секунды он повернулся к шпионке и так сильно ударил ее по лицу, что у той из носа брызнула кровь и потекла по губам и подбородку. Серьезного ранения он ей не нанес, только расквасил нос, однако Сато подняла такой отвратительный крик, точно ее зарезали. Подобно всем примитивным существам, она переносила боль гораздо тяжелее, чем любой культурный человек, да и крови боялась больше. Вся картина вдруг резко переменялась — любой циник пришел бы в восторг: Сато, эту мразь, этого шакала, изгнанную «вонючку», вдруг стали жалеть и чуть ли не прониклись к ней уважением! Лицемеры кричали: «Он девочку ударил!» Вырвалась так долго скрываемая неприязнь к чужаку, гордецу, «не нашему». Забыты были королевские почести, оказываемые Багратяну после каждого отбитого штурма. Осталась закоренелая ненависть к высокомерному чужестранцу.

Мальчишки набросились на Стефана, затеялась драка, перешедшая в погоню до самого Города и Алтарной площади. Но теперь Аюп вел себя не так, как во время избрания гонца, когда он малодушно предал друга и смеялся над ним. Сейчас он храбро встал на сторону



Стефана. Пригав на своей деревняшке, он всячески старался заслонить друга от преследователей. Гайка не было, так что он не мог проявить свое подлинное отношение к Стефану. Посланец осажденных проводил последние часы на Дамладже с матерью, вдовой Шехи. Сын Багратяна, хотя сейчас и отступал от теснившей его шахи, на самом деле был крупнейшей и сильнейшей большинства ребят. И если удавалось нескольким мальчишкам вцепиться в него, — он не страшился, как медведь собак. Но если сам его схватит, то так основательно грохнет оземь, что у того искры из глаз смываются. Хотя принято считать городских детей менее защищенными, законченный горожанин Стефан оказался намного сильнее детей гор. Более того, в драке да и в погоне «дичь» вернула себе уважение «охотников».

Вой и крик заставил жителей Города высыпать на Алтарную площадь. И тут Сато вновь не преминула блеснуть своей юностью.

Ребята отстали от Стефана, ему удалось уйти. Его потянули родители. Но по дороге к площадке Трех шатров он вдруг свернул в сторону и рухнул в траву. Ужаснейшая боль сдавила горло: как теперь идти домой?

Драка подростков только завершила дело, начатое мухтаршами под водительством жены Кебусина. Еще не смерклось, а в общинах уже было все известно. Конечно, с добавлением возмутительных подробностей. Наступил как раз час, когда по каким-то неведомым причинам дым от пожара повис над Городом особенно густыми, едкими чернеющими слоями, раздражая не только слизистую оболочку, но и души. Насморком страдали повально все. От этого люди сделались особенно раздражительными и злы.

Но позвольте, как же так? Народ Муса-ага, всего два дня назад спасшийся от гибели и знавший, что не избежит ее, находясь в таком поистине отчаянном положении, — как мог он столько внимания и страсти посвящать подобной истории, к тому же случившейся с чужими? На это есть только один ответ. Как раз потому, что это были чужие, затаянная недоброежелательность завидовала себе, как только к этому представился случай. В мирное время в долине, куда Жюльетта была еще хозяйкой йогонолуцкого дома или появлялась блистательной наездницей на ухабистых проселках, ей, как чужой, даже поклонялись и всем чужим в ней восхищались, как чему-то недостижимому высоким. Но новая жизнь на Дамладже, все связанное с нею события и то, что Багратян стал командующим, резко изменило дело. Ханум Жюльетта была теперь уже не попавшая в среду армия французенка, она была не на жизни, а на смерти связана с народом, а потому и ответственна перед ним. И сколько бы Габриэль Багратян ни подчеркивал особое положение и особые права жени, народ с каждым днем все меньше соглашался с ним. При моларши королева, супруга короля, всегда чужая, но как раз поэтому с не-

обенно строго азывают. Жюльетта согрешила не только перед супругом, но и перед народом. И не с армянином, а с единственным, к кому все, иностранцем, оказавшимся здесь. Как бы странно это звучало, выбор любовника не только не оправдывал ее, а, напротив, доводил оскорбительную обособленность и высокомерие француженки.

Спусти два дня после самого кровавого из трех сражений, прошедшего в траур более ста семей, на Алтарной площади толпились своеобразные защитники нравственности, как будто для племени их существовало более важной заботы, чем бесчестие семьи Багратяна. И то собирались не самые старые женщины и не самые молодые — тот задалась, так сказать, матроны между тридцатую пятью и сороклетнюю пятью годами, которые на Востоке всегда кажутся старыми своих лет, тешат себя чужими радостями и любят смаковать пошлость. Девушки и молодые женщины помалкивали, задумчиво слушая речь достойнейших. До чего бедны были эти молодые женщины! Им на Дамладже приходилось тяжелее всех. В своих платках и запонках они выглядели осунувшимися, малокровными. В молодости армянки даже простого происхождения отличались хрупким телосложением. Здесь же страх, горе, лишения и страдания сделали их пылыми и немощными. Слушая злословие матрон, они вполголоса кивали, а то и вставляли словечко в эти дурно пахнущие серые сумки. На самом-то деле они вряд ли искренно возмущались нарушением супружеской верности — слишком хорошо они знали, что, как всех армянских женщин, их ждет впереди не просто смерть, а смерть в поругание. Разве что одной из них улыбнется великое счастье и какой-нибудь богатый турок купит ее у зажитка для своего гарема, а там старые жены замучают и отправят на тот свет.

Направляла гнев народа мухтарша Кебусин. Пробил ее великий гнев: теперь она отплатит владелице йогонолуцкого замка — хотя Жюльетта всегда и относилась к ней доброжелательно — за все унижения во время приемов в доме Багратянов. И более того, теперь мухтарша вновь станет первой дамой... У нее хватало сметки не только возмущаться нарушением супружеской верности, но и играть на других струнах, подыгрывать зависти. Вот она какова, правда об этой ханум! Этой француженке, знатной госпоже! На глазах у голодающих ведет роскошную жизнь! Ей ли, мухтарше, не знать, какая жизнь добра в шейхских шатрах, ее ведь каждый день туда приглашали. Чего только в шкафах, чемоданах и ящиках этой развратницы она не видела своими глазами. Дну даешься! Таких богатств никто себе и представить не может. И тебе рис, и кофе, и изюм, и колесные ясные, рыба колючая и в масле, а сластей сколько! Конфеты, шоколад, цукаты, слоба и сладкие хлебцы, сухарики и всякое печенье! Молоко от двух коров неважно идет на масло и сметану для мадам, а вы, индий люд, вы бурду эту синоую пьем. Видели бы вы, какую ей

управляющий Кристофор и повар Ованес кухню соорудили! Понимаете что у султана! Недостает только кастрюль да сковородок из этого золота и серебра.

— Муж мой, — говорила мухтарша, — не кто-нибудь, а сама в детстве не овец пасла, а в школу ходила. И кухню свою мне не стало любой хозяйке показать. И хотя мы, Кебусиши, люди богатые, и в чем не нуждаемся, однако не строим отдельную кухню. Берет что бог пошлет на раздаче мяса, и это когда больше половины стада — собственности моего мужа. А благородные-то господа в Трешатрах — всего-то у них вдоволь, а вместе со своими слугами и хлебателями крадут народное добро: каждый день по их приказу бирают для них лучшие куски мяса.

Не скроем, эта кухонная тема нашла отклик и у мужчин — в голодное то брюхо! Впрочем, возмущение вызывала не столько Жюльетта, сколько Гонзаго Марисе, никому не известный чужестранец, вкравшийся в доверие. Еще немного — и кто-нибудь из молодых парней прикончил бы Гонзаго. Более разумные отговорили чересчур решительных. Но попалась им под руку Гонзаго, ему бы несдобровать.

Когда на Алтарной площади показался Тер-Айказун, ему наскучу вышла Кебусиша:

— Вардапет! Ты этого так не оставляй! Наказать надо...

Он, резко отстранив ее, сказал:

— Занимайся своими делами!

Однако она еще наглее заступила ему дорогу:

— Я-то о своих делах думаю, вардапет. У меня две дочери не замужние, две невесты. Ты ведь сам знаешь — глаза у мужчин как дыры, как у диких собак, а сердца баб еще злее. В шалашах спят не впопалку. А как тут матери честь детей соблюсти, когда такой зверь подает?

Тер-Айказун легонько оттолкнул ее:

— Некогда мне твой вздор слушать. Прочь с дороги!

Мухтарша — женщина маленькая, небезразличная, с юркими мишиными глазами — выпрямилась, словно расцвела на Жюльеттине грехопадении:

— А грех, святой отец? Христос-спаситель уберет нас от смерти. Он с нами сражался, на нашей стороне. И святая богородица была с нами. А теперь мы им обиду нанесли, грех совершили смертный. Не покаемся мы — как бы они нас туркам на расправу не отдали!

Уверенная, что пошла с крупного козыря, мухтарша победоносно оглянулась. Муж ее, Томас Кебусиш, стал за спиной Тер-Айказуну, и, кося глазами, смотрел на всех и ни на кого. По-видимому, он же имел ни малейшего желания быть втянутым в свару. А Тер-Айказун, обращаясь не к мухтарше, а к толпе, теснившейся вокруг, сказал:

— Это верно. Спаситель наш, Иисус Христос, до этого часа ходил и оберегал нас. И знаете чем? Тем, что совершил — послал нам

Габриэла Багратяна, опытного офицера, который побывал на войне и понимает ее. Не пришла его спаситель ко благовремени, нас давно уже не было бы на свете. Уму Багратяна, его отваге обязаны мы жизнью. Вот об этом и помните, об этом и ни о чем больше.

Речь Тер-Айказуна убедила здравомыслящих слушателей, которых и так уже немало злила похотливая ненависть перерезанных матрон. Кебусиша, видя, как тают ряды ее сторонников, озиралась по сторонам, ища поддержки, и очень скоро обнаружила, что за спиной сторонника стоит ее супруг, лишь полчасца назад разделивший ее возмущение и даже поддерживавший ее.

— Вот мухтар, — высокопарно заявляла она, — послушайте, что он скажет! Двенадцать лет он за вас мучается. Слушайте, что он говорит!

Но мухтар на столь демагогическое обращение не отозвался, тут же ретировалась и не пришел на выручку своей посрамленной супруге. Видно было, как его покашливающая лясина скрылась вслед за Тер-Айказуном в шалаше. Со всех сторон раздались мужские голоса:

— Вы, бабы, лучше бы собой занялись! Делать вам нечего! Работать надо!

В шалаше Тер-Айказуна собралось несколько членов совета — узкий круг. Речь шла об особом, крайне щекотливом деле обсуждения предмета. Поэтому немисказанное чувство такта заставило их обратиться здесь, а не в правительственном бараке. Рассматривать дело надо было в рамках морали, а в этой области Тер-Айказун был полновластным диктатором, ему и поручили формулировать все решения. Он назначил двух посредников для переговоров: аптекаря Григора и доктора Петроса Алтуши. Первого направил к Гонзаго Марису — Григор же сам привитил его в своем доме и, так сказать, ввел в йогондукское общество. А врача, как самого давнего друга дома Багратянов, послали к Габриэлу.

Что касалось большого аптекаря, то участие в застолье оказалось столь жизненно необходимым, что превзошло все имевшиеся у аптекаря декарства. Два дня как он встал с постели и уже передвигался с помощью палки, хотя и медленно и очень маленькими шажками. Тер-Айказун велел привести его из закутка и в нескольких словах объяснил задачу: навестить своего бывшего постояльца. Два адьютанта из юношеской когорты будут его сопровождать, помогут войти Мариса. Григор должен сказать греку, что его жизни грозит опасность и что ему без промедления следует ретироваться из лагеря и окрестностей.

Григор долго и упорно отказывался от поручения: он по профессии аптекарь, а не вышибала, которому поручают выставлять нежелательного гостя. Но на все его возражения Тер-Айказун давал один и тот же ответ:

— Ты его привел к нам, ты и выпроваживай!  
И аптекаря после длительного сопротивления все же пришлось, несмотря на больные суставы, отправиться в столь неприятный поход.

И куда он, опираясь на палку, медленно и неуверенно бред по тропинке, он разговаривал сам с собой, репетируя, как бы подлакатив и побыстрей решить предстоящую задачу.

Доктору Петросу досталось более легкое задание: он должен осторожно сообщить Багратину о всеобщем возмущении и изложить просьбу хавум Жюльетте, чтобы она не выходила из своей палатки.

Пока присутствовавшие молча занимали переговоры Тер-Айказуна с Григором и доктором, пресловутый Молочун заявил о себе, произнес громовую речь. До сих пор Грант Восканян считался попросту забавным, и злобно-тщеславное юродство карлика терпели, зная его как добросовестного преподавателя. Но сейчас он сбросил с себя шутовской колпак и предстал как бешеный фанатик. Все изумленно уставились на него: от слов его веяло дикой силой. Восканян призывал к сатанинской мести, к расправе над Гонзаго Марисом. Прежде всего у этого проходимца нужно отнять американский паспорт! Затем раздеть донага, связать руки и ноги и велеть самым отчаянным бойцам отвести его ночью в долину, дабы турки сочли его армянском и изрубили на части.

На лицах присутствовавших выразилось немалое удивление и неудовольствие. Но от Восканяна не так легко было отделаться. Он вполне серьезно доказывал необходимость предложенного им наказания. Тер-Айказун слушал эту бесконечную речь не только полухватив, как обычно, но и вовсе закрыл глаза. Его руки заки поглубже в рукава — неизменный признак досады.

— Ты кончил, учитель?

— Я кончу лишь тогда, когда вы убедитесь в моей правоте, как убежден в ней я сам!

Тер-Айказун тряхнул головой, будто отмахиваясь от назойливого гудения шерсти:

— Полагаю, что об этом нам говорить больше нечего.

Восканян вскипел:

— Итак, совет намерен отпустить мерзавца с благословением? Ведь он завтра же предаст нас туркам.

С мученическим видом Тер-Айказун смотрел на крышу шалаша, листья которой шуршали, колеблемые ветром.

— Даже если вздумает сейчас предать нас, что он им откроет?

— Как что? Все! Расположение Города, Пастбища. Позиция! Как у нас обстоит с продовольствием! Что здесь эпидемия...

Усталым движением руки Тер-Айказун оборвал этот перечень.

— За такие новости турки никого благодарить не станут. Неужели ты думаешь, они такие дураки и ничего не знают? Да их развед-

чики обшарили тут все закоулки... К тому же этот молодой человек не предатель.

Слова вардапета нашли общую поддержку.

Но Восканян, размахивая руками, будто пытаясь ухватить ускользающую жертву, каркал по-вороним:

— Я выдвинул предложение и требую, чтобы его, как положено, поставили на голосование.

— Предложение может выдумать любой горлопан и дурак. Но один решаю, ставить его на голосование или нет. Неуместные предложения я и не подумал ставить на голосование. Запомни это, учитель! Кстата, здесь нет никого, кто бы не считал твоё предложение бестемным и безумным. Кто не согласен с этим, пусть поднимет руку!

Никто и не пошевельнулся. Кивнув, вардапет заключил:

— С этим раз и навсегда покончено. Ты понял меня?

Несмотря на свой позорный провал, Черный учитель выпрямился во весь свой невеликий рост и, указав на площадь, воскликнул:

— Народ не разделяет наше мнение!

Если и до этого все поведение Восканяна вызывало отращение и неприязнь Тер-Айказуна, то этот демагогический выпад вывел его из себя: глаза вспыхнули, однако он быстро справился с собой.

— Долг совета направлять чувства народа, а не подчиняться им.

С миной отрекающейся Кассандры\* Грант Восканян рявкнул:

— Вы еще вспомните мои слова...

Тер-Айказун уже вновь сидел опустив веки. Голос его был удивительно спокоен:

— Мой совет тебе, учитель Восканян, — предостерегай не нас, а самого себя!

Члены совета пришлось бесконечно долго ждать возвращения посредников. Первым явился большой аптекарь. Он до того устал, что со стоном повалился на диван Тер-Айказуна. И только когда вардапет дал ему глотнуть водки, приступил к докладу.

Оказывается, Гонзаго Марис и без официального призыва сам решил в ту же ночь покинуть армянскую гору. Он ждет только условленного с возлюбленной часа, чтобы дать ей возможность спастись. Аптекарь не удержался от похвал своему постояльцу, так как Гонзаго подарил ему все имущество у него печатные издания. Сверх того он поклялся, что всюду, где бы они были, сделает все, чтобы помочь изгнанным на Муса-даге. Клятву грешника Тер-Айказун тут же отменил небрежным жестом.

Уже вечерело, когда в шалаш священника вошел Петрос Алтуни. Он тоже без сил повалился на диван и со стоном начал растирать свои кривые и уже совсем отказывающиеся служить ноги. Старик не произносил ни слова, глядя перед собою пассивным взглядом. Тер-

Айказуну лишь с трудом удалось его разговорить. Правда, сначала понять что-либо было нелегко. Доктор сквозь зубы слабо повторил:

— Бедная женщина...

Слова эти немало удивили мухтара Кебусяна. Плешивый муж, памятуя выступление своей ретивой половинки, прямо-таки опешил.

— Как так? С чего это она, такая богачка, и вдруг «бедная женщина»?

Доктор Петрос смерил мухтара каннибальским взглядом:

— Почему? Потому, что у нее уже не менее трех дней сильнейший жар! Потому что она, вероятно, умрет! Потому что она лежит без сознания. Потому что никто ей помочь не может. Потому что она зарылась в лазарете, потому что мне жаль ее! Потому что не она, а эта болезнь, черт бы меня побрал, всему виной... Да, потому...

Он задохнулся и умолк. В состоянии ли он, неученый лекарь, всего лишь пять лет прикасавшийся к науке, объяснить симптомы болезни этим мужикам, ежело он сам ничего не понимает! Он тяжело вздохнул. Ведь вокруг один лишь Нуники, Манушаки и Вартука! Да и сам он со своей загубленной жизнью и устарелым медицинским справочником ничуть не лучше их.

Последнюю часть пути Габриэл почти нес жену. В палатке она упала без сознания на кровать, глаза закатились. Он пытался привести ее в чувство. Собрал все, что нашел на туалетном столике, все сбереженные остатки спиртных притираний, и плеснул ей на лоб и губы. Он тер ей лицо, он тряс ее — все напрасно! Счастливая душа укрылась в самых дальних глубинах самозабвения. Уже многие дни жар бушевал в ее крови. А сейчас лихорадка разрослась, точно тропическое растение. Кожа у Жюльетты была красной и шершавой. Слово выжженная земля, она жадно впитывала каждую каплю жидкости. Дыхание делалось все учащенней, прерывистей. Казалось, жизнь ее стремительно и бесповоротно близилась к концу.

Так и не приведя ее в сознание, Габриэл нагнулся над женой и стал снимать с нее одежду, надеясь, что так ей станет легче. Раздевал он ее по-мужски, неловко, порвал платье, белье. Потом сел у изголовья и положил ноги жены себе на колени. Они были такие та же желтые и расплущенные, что он с трудом стянул с них туфли и чулки. При этом он ни на секунду не удивился, что не чувствует ничего такого, что в этом положении мог бы ощущать. Не приходило ему на ум и то, что это большое тело всего час назад отдавалось другому мужчине, не было и ледящего сознания, что навсегда разорваны узы, соединившие их на всю жизнь. В глубине его затуманенного «я» жила только скорбь, скорбь о Жюльетте. И это не удивило Габриэла. Ему даже казалось, что он сам способствовал такому концу. Как это и ни неправдоподобно, во только измена Жюльетты, постигшая ее ка-

строфа снова сближала его с этой давно уже ставшей чужой женой. Только теперь, когда это бедное тело предало его, отдавшись враждебной чувственности, он с грустью вспоминал прошлое. Боязливо и жалостливо его неловкие пальцы расстегивали и снимали одежду, столь упорно сопротивляющуюся. Оцепенев, смотрел он на большое белое тело, и сотни чувств и мыслей всхлипали в нем и, едва родившись, угасали. Что же такое произошло?

В углу палатки он заметил ведро с водой, оно там всегда стояло. Он смочил полотенца, чтобы обложить ими большую. Это было не так-то просто. Тело Жюльетты словно застеклено, но еле приподнял его. Он хотел было позвать кого-нибудь из горничных Жюльетты, однако смутенное состояние их хозяйки в последнее время и отмена жалованья заставляли их приходить все реже и реже. Габриэла убоялся стыда и отогнал эту мысль. Только быть одному.

Воспел старый доктор. Габриэла с отсутствующим взглядом, растерянный, стоял наклонившись над Жюльеттой; она так и не пришла в себя. Доктор Петрос на секунду даже подумал — не мнимый ли это обморок, бегство грешницы в болезнь! Но более внимательный взгляд открыл истину: то была типичная картина эпидемического заболевания — резко подскочившая температура, затем обморочное состояние, наступавшее после длительного недомогания, зачастую не замечаемого. Доктор приподнял Жюльетту, ей стало трудно дышать, и ее затопило. Да, все ясно. Когда доктор осмотрел кожу под грудью и на талии, он не обнаружил ничего, кроме трех-четырёх явственных точек. Он хотел было просить Габриэла немедленно покинуть палатку и больше сюда не приходить. Но, когда увидел заплаканные, невидящие глаза Габриэла, промолчал. Не изложил и поручения совета, умолчал и о негодовании жителей города. Он попросил только достать домашнюю аптечку, которую Жюльетта составляла перед поездкой на Восток. Однако в довольно большой коробке он обнаружил только следы былого изобилия. Жюльетта расточала свои запасы на нужды лазарета. Но сердечные капли нашлись, и Алтуни сувул пузырек в руку совсем сникшего Габриэла, сказав, что давать их надо, если резко ослабит пульс. А завтра жена его рас пределит лекарство до ухода за больной. Пусть Габриэла не придает особого значения тому, что Жюльетта без сознания, что оно замутнено. Это следствие резко подскочившей температуры, и при данных обстоятельствах это можно считать за благо. Сейчас шансы жизни и смерти равны. Петрос Алтуни знал, что это состояние продлится несколько дней. Наибольшая опасность наступает после преодоления инфекции, когда температура резко падает и порой вместе с ней резко слабеет и сердечная деятельность.

Доктор Петрос налил стакан воды, нашел ложку и чинной рукой влил несколько капель в рот метавшейся в жару Жюльетте. Этот почти незаметный, ловкий жест медика свидетельствовал, что Алтуни



несправедлив к себе в своем самоуничижении — он совсем не был похож на робющего лекаря-недоучку.

— Давайте ей все время пить, — сказал он Габриэлу, — даже если она не придет в себя.

Супруг Жюльетты только молча кивнул. Врач оглянулся, будто искал что-то.

— Надо, чтобы при ней кто-нибудь неотлучно находился, — сказал он.

Смеркалось. Алтуни зажег керосиновую лампу. Взял руку Габриэла в свою.

— А что, если турки навадут на нас сегодня ночью?

Габриэла попытался улыбнуться:

— Мы гору подожгли. Сегодня ночью турки не нападут.

— Вот как! — молвил доктор Петрос, и в его надтреснутом голосе прозвучало разочарование. — А жаль!

И он ушел, согбенный годами и непосильным трудом, так и не сказав ни слова сочувствия человеку, которому помог явиться на свет. И добрые и злые — все слова стали для него давно уже пустым звуком, тишетой.

Габриэла решил немного проводить старика и кстати подышать свежим воздухом. Но у выхода из палатки отпрянул. Напали сейчас турки на Дамладжик, Габриэла едва ли посмел бы выйти из темноты.

Он прилет на диван напротив кровати Жюльетты. И сразу же ему показалось, что до этой минуты он никогда в жизни не знал усталости. Воспоминания о трех кровавых сражениях, бессонных ночах, бесконечных переходах от одной позиции к другой, от одного наблюдательного пункта к другому, обо всех чудовищных днях Муса-дага и каждом из них в отдельности, эхсекудун становясь все тяжелее, пристади к нему точно призрачный гном, неотвизная нежность с плоским земляным лицом. Есть такая усталость, которая сама так безмерно устала, что ей и невмочь познать всюгоречь своей судьбы. Какой-то гнетущий, недобрый сон приоткрыл перед ним свое логово. Габриэла заметил присутствие Искуи, когда еще был погружен в самую глубь этого логова. Он выбрался оттуда с великим трудом.

— Тебе нельзя здесь быть, Искуи! — сказал он, вскочив с дивана. — Ни минуты! Мы теперь не должны видиться...

Глаза ее расширились, гневно сверкнули.

— Ты будешь болеть, а мне не позволешь?

— Подумай об Овсанне и ее ребенке!

Она подошла к кровати и прижала ладони к обнаженным плечам Жюльетты. Не отнимая рук, обернулась к Габриэлу:

— Вот. Теперь мне нельзя заходить к ним в палатку. Нельзя прикасаться к Овсанне и ребенку.

Он попытался отстранить ее от Жюльетты.

— Что скажет пастор Арам? Нет, этого я не могу взять на себя. Уходи, Искуи! Ради брата своего, уходи!

Она склонилась совсем близко к лицу Жюльетты, которая ставилась все беспокойней.

— Зачем ты меня гонишь? Если этому суждено случиться, то теперь уже случилось. Брат? Все это теперь для меня совсем неважно...

Он тихо и нерешительно встал за ее спиной.

— Не надо было тебе этого делать, Искуи.

По лицу ее промелькнула почти иростная усмешка.

— Я? Что такое я? Ты — наш командующий. Если ты заболел — все пропало.

Своим платком она вытерла губы больной.

— Когда мы пришли из Зейтуна, Жюльетта была так добра, так ласкова со мной. Я обязана исполнить свой долг. Неужели ты не понимаешь?

Он прижал губами к ее волосам. А она, обернувшись, изо всех сил обняла его.

— Скоро всему конец. Я хочу быть твоей. Хочу, чтобы ты была мной!

То был первый открытый порыв любви Искуи. Они держали друг друга в объятиях, как будто рядом лежало бесчувственное, мертвое тело. Но Жюльетта не была мертва. Дыхание ее сделалось хриплым. Иногда над ее опухшей гортанью вырывался жалобный стон. Точно кто-то, кого она искала, все время ускользал от нее.

Искуи разжала объятия, руки ее, казалось, плакали, отпуская Габриэла. Потом Искуи и Габриэла говорили только отрывочными однословными словами, остерегаясь лежавшей в беспмятстве Жюльетты.

Ночью Жюльетта ненадолго очнулась. Говорила что-то несвязное, попыталась приподняться. Как долго она шла! А дошла только до своего жилья на Авиену-Клебер, а не до Дамладжика.

— Сюзанна... что случилось? Я больна? Я не могу встать... Помогите же мне...

Она требовала, Габриэла и Искуи подошли к ней. А она все еще находилась в своей парижской спальне. Ее тряс озноб, она лепетала... — Вот так... может быть, я засну... это моя ангина, Сюзанна... Будем надеяться, ничего страшного... Когда муж вернется, разбудите...

Упоминание о муже, жившем в ее представлении вполне спокойной, безопасной жизнью, подействовало на реального, сегодняшнего Багратяна как чудовищная встряска. Он снова смочил холодной водой полотенце, положил компресс на лоб Жюльетты, заботливо укрыл ее и прошептал:

— Спи, Жюльетта!

Она что-то пробормотала в ответ, звучало это как благодарность усталого ребенка, послушно обещающего уснуть.

Габриэль и Искуни молча сидели на диване, прижавшись друг к другу и держась за руки. Но она не спускала глаз с большой. Как пречудливо все переплетается в жизни! Обманутый муж заботится об обманщице-жене, обманывая ее с другой!..

Теперь, кажется, Жюльетта крепко спала.

Условный час настал. Гонзаго Марис решил больше не ждать. Хватит! И все же не так-то легко было расстаться с этими такими примечательными днями своей жизни. Да, его совершенно явно удерживала страсть, с изумлением обнаружил он. Что же, неужели любовь к Жюльетте оказалась сильнее, чем он предполагал? А вдруг это другое чувство — чувство вины? Именно оно и омрачает ему свободу! В последние дни Жюльетта вела себя как-то дико и непонятно и своими мучками вновь и вновь пробуждала в нем жалость и желание оберегать. И потом — этот конек! Вспоминая это безобразное мгновение, он скрежетал зубами. Его обычно невозмутимое лицо искажалось. Неужели ему, как какому-то ветреному негодяю, смириться с таким отаратительным концом? Сколько раз он покидал свое убежище и доходил до Трех шатров, чтобы поговорить с Багратяном, решительно бороться за Жюльетту. И всякий раз возвращался, и все то что трусил, а его удерживало какое-то неодолимое чувство сованности. «Я здесь теперь чужой, мне здесь не место». Да, именно с того мгновения между Гонзаго и всем Дамладжом встала невидимая, но мощная стена препятствий. Гонзаго уже не мог дышать одним воздухом с этими людьми. А Жюльетта жила за этой стеной. Судьба аризя была сильнее ее. Да еще это столь изящно сформулированное предупреждение алтекаря Григора. На единичном слове тот не коснулся тягостной темы, а говорил только об американском паспорте Гонзаго и высказал мнение, что все когда-нибудь да кончится и что одно из прекрасных преимуществ молодости — это легкость расставания. А жизнь делается лишь тогда мрачной, когда предстает уже только одно, последнее расставание. Марис воспринял практическую философию старика с должным уважением и вниманием и все же почувствовал, что ему в изящной упаковке преподнесли предупреждение: каждый час из Муса-даге грозит немалыми опасностями. И это сознание подстерегающей опасности с каждой минутой делалось сильнее.

Ущербная луна стояла высоко над прямыми как стрела пробором Гонзаго Мариса. Он ждал уже больше часа сверх установленного срока. Жюльетту он потерял. Следов несколько шагов в сторону лагеря, Гонзаго решительно повернул обратно: «Может, оно и к лучшему». Медленно, нарочито старательно он натянул перчатки. Внимательный наблюдатель, возможно, воспринял бы сей элегантный

жест здесь, среди диких гор, в этой азиатской глуши, как нечто гротескное. Но Гонзаго надел перчатки, только чтобы не оцарапать руки при спуске. Затем он привязал плоский чемодан к спине. И, как это давно уже вошло в привычку при выходе из дома, достал карманный грешок и причесался. Сознание того, что ничего не забыто, ни одного кусочка своего «я» он здесь не оставил, короче, яркое, светлое, благотворное чувство, которое лучше всего выражается в словах all right, наполнило его несмотря ни на что.

Медленной, небрежной походкой он шагал между кустами рододендрона, миртов и диких магнолий навстречу месяцу, словно перед ним простиралась не дикая заросль, а отличный расчищенный проем над. Ему вспомнились собственные слова, сказанные Жюльетте: «У меня великолепная память, потому что я не коплю воспоминаний! И впрямь, с каждым шагом на юг воспоминания его меркли, а на сердце делалось волейней.

Он шагал уже быстрее, с любопытством глядя в будущее, которое было обеспечено как его паспортом, так и происхождением. Будто снежные заструги, перечерченные непонятными черными теньями, сверкали меловые скалы морского склона горы. Внизу глухо рычал прибой. Вдруг тропя круто пошла вниз. Прежде чем ступить, Гонзаго, покачивая носком ботинка, пробовал впереди себя почув-Игра мускулов доставила ему немалое удовольствие. До чего непонятны люди! И убийства и боль — все оттого, что они не дают возобладать в себе бесстрастному свету, а властвует в них глухая и неупорядоченная тьма! Как легко одолеть, например, этот черно-белый мир! Ты — ничто в великом Ничто!

Размышления эти породили недолгое чувство симпатии к Григору Погонулюкскому, которого никто, нигде, никогда не цитировал и не будет цитировать.

Гонзаго надо было перейти гладкий, голый выступ, перепрыгнуть через две расщелины... Вон и клювоподобный камень, а за ним сразу спуск.

На минуту Гонзаго остановился передохнуть. Неизмерима была глубина, разверзшаяся перед ним!

— Дойду ли я до Суэзии — все равно, сорвусь ли — все равно. — Снова мелькнуло в голове: — Сначала падать жестко, под конец — мягко...

Как далеко позади осталась Жюльетта!

Только Гонзаго скрылся в зарослях кустов, как один за другим хлестнули четкие выстрелы. Пули просвистели довольно близко. Он бросился наземь. Снял револьвер с предохранителя. Сердце громко стучало. Таково, значит, предупреждение! И не все равно, оказывается, дойдет он до Суэзии или не дойдет. Неподалеку мимо прошумели неровные шаги мстителей. Гонзаго вскопал, подобрал камень и с силой швырнул вниз. Камень где-то далеко ударился о другой

и покатился, увлекая за собой целую осыпь. Преследователи приняли это за убегающую жертву. Вслед каменному обвалу прогремели выстрелы. А Гонзато бежал без оглядки и несколько минут спустя уже достиг того места, где гора спускалась к деревне Хабаста. Громко дыша, он остановился. Да, так-то лучше. Армянские пули уничтожили в нем последние остатки чувства вины. Гонзато стоял и улыбался. Глаза его под сросшимися под тупым углом бровями пристально и жадно смотрели вперед.

В эти минуты Жюльетта то приходила в себя, то вновь впадала в беспамятство. Кто-то ведь только что сказал: «Спи, спи, Жюльетта!» Чей же это был голос? Вот опити! Звучал ли прежде этот голос или она только сейчас услышала его?

— Спи, спи, Жюльетта!

Она открыла глаза... Это же не ее спальня?

Минувало еще несколько десятков секунд, и она узнала и палатку, и Габриэла, и Искуи... Она еле ворочала языком. Небо, гортавь омертвела. Зачем здесь эти люди? Зачем они нарушают ее уединение? Зачем не дают покоя?

Она отвернулась, голова — тяжелая глыба.

— Зачем эта лампа?. Погасите.. Керосином пахнет... неприятно...

Глаза Жюльетты застыли. Они искали что-то, чего нельзя было найти. И вдруг она осознала нечто ужасное. И сразу словно вновь обрела силы, стала вполне здоровой. Она порывисто скинула одежду, высвободила ноги и крикнула:

— Стефан!. Где Стефан?. Пусть придет Стефан..

Габриэл и Искуи заставили отчаянно сопротивлявшуюся Жюльетту вновь лечь. Успокаивая, Габриэл гладил ее и тихо приговаривал:

— Ты больна, Жюльетта.. Стефану нельзя к тебе. Это опасно.. будь благоразумна..

Вся жизнь, все чувства, несъ уи ее слились в одном крике:

— Стефан!. Стефан.. Где Стефан?..

Необъяснимый страх, вырвавшийся вместе с пронзительным криком больной, вдруг передался и Габриэлу. Он рванул полог и бросился в светлую ночь, к шейхскому шатру. Там кровать Стефана!

Никого. Багратян зажег свечу. Мертвой стояла кровать Гонзато. Грек оставил ее аккуратно застланной. И такая она была гладкая, так тщательно заправлена, как будто ею уже многие недели не пользовались. Иначе выглядела постель Стефана: здесь царил дикая, выброшенная жизнь. Свешивалась простыня. На матрасе стоял открытый чемодан, из него вываливались рубашки, чулки — все спутано. Ящик с продуктами, стоявший обычно в углу, оказался взломан и опустошен, — на земле поблескивали жестянки с сардинами. Габриэл отметил исчезновение рюкзака, который он купил Стефану давно, а

Швейцарии. Не было и термоса, который он поставил вчера на столик. Габриэл самым тщательным образом осматривал все, стараясь обнаружить какие-нибудь следы. Затем, медленно шагая, вернулся в ночь. Остановился, чуть наклонив голову, и задумался. Ему все хотелось найти объяснение. Должно быть, опять эти проклятые мальчишки что-нибудь затеяли! Однако все, что было в этом объяснении обидеживающего, — все улетучилось тут же: он знал, что это не так. И как всегда в решающий час, к нему вернулась хладнокровие и самообладание.

В шалаше из слуг застал он только Кристофора. Крикнул:

— Кристофор! Вставай! Надо разбудить Авакяна. Может быть, он знает. Стефан исчез.

Слова эти он произнес без видимого волнения. Управляющий, встревоженный известием, изумился спокойствию Багратяна. И это после всего, что произошло!

Они шагали по дороге к северному седлу, надеясь найти там Авакяна. На мгновение Габриэл нерешительно оглянулся на палатку Жюльетты. Там все было тихо. Он зашагал быстрее. Кристофор едва поспевал за ним.

## ГИБЕЛЬ, СПАСЕНИЕ, ГИБЕЛЬ

*Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.*

ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА. 2, 17

### Глава первая

#### БОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

— Здесь, уважаемый господин доктор Лепсиус, вы видите только малую часть имеющихся у нас документов по армянскому вопросу...

Обходительнейший тайный советник кладет беломраморную с голубыми прожилками руку на пыльный бумажный вал, который занял весь письменный стол и так велик, что породистое лошадиное лицо его превосходительства то и дело исчезает за ним. Высокое окно этого маленького, необычно пустого кабинета распахнуто настежь. Из сада министерства иностранных дел струится летнее марево.

Иоганнес Лепсиус сидит на отведенном посетителю места в несколько напряженной позе, со шляпой на коленях. Не прошло и месяца после памятной беседы с Энвером-пашой, а в наружности пастора произошли гугазские перемены: волосы поредели, в бороде — проседе, нос заострился. Глаза не сияют, как прежде. Мечтательная их отрешенность исчезла. Они смотрят настороженно, с ватавным насмешливым недоверием. Неужто за эти немногие дни так угрожающе прогрессировала его болезнь крови? Или и он подвержен тяготеющему над армянами проклятию, ибо есть таинственная связь между ними и им, немцем? Или его изнурил безмерный труд, заверченный им в столь краткий срок? Новая организация помощи в борьбе против смерти и сатаны уже твердо стоит на ногах. Есть даже деньги, и к делу привлечены лучшие люди. Те-

перь предстоит разрешить сфинксову загадку государственной власти. Взгляд пастора за поблескивающими стеклами пенсне презрительно скользит по горе канцелярских папок.

Обходительный тайный советник поднимает брови, но не оттого, что удавлен, а чтобы выбросить из глаза оправленный в зодото моноколь.

— Поверьте мне, дня не проходит без того, чтобы мы не подали из министерства напоминания об этом нашему посольству в Константинополе. И не проходит и часу, когда бы посол не ходатайствовал перед Талаатом и Энвером по поводу этого чудовищного дела. Сам господин канцлер, несмотря на свою чрезвычайную занятость, поддерживает нас с величайшей энергией. Вы ведь знаете его: муж, равный Марку Аврелию... Впрочем, я вынужден привести вам извинения, доктор Лепсиус, от имени господина Бетмана-Гольвега: он сегодня, к сожалению, не может вас пригласить...

Лепсиус откидывается на спинку кресла. Сильный прежде голос звучит сейчас устало и резко:

— И каких же успехов достигли наши дипломаты, господин тайный советник?

Рука чистейшего мрамора ворошит кипы бумаг на столе, извлекает какие-то документы.

— Видите! Вот у вас имеется господин фон Шойбвер-Рихтер в Эрзеруме! А вот у нас Гофман в Александrette и генеральный консул Рёслер в Алеппо. Эти люди шлют и шлют донесения без конца. Из кожи вон лезут ради армян. Богу известно, сколько сотен несчастных спас один только Рёслер! А как его отблагодарили за проявленную человечность? Английская печать изображает его проповедником, он якобы подстрекал в Мараше турок к резне. Что прикажете делать?

Лепсиус пытается заглянуть в глаза Обходительнейшего, который то выныривает из-за своего бумажного укрытия, то снова за ним исчезает, как споевравная луна меж туч.

— Я бы знал, что делать, господин тайный советник... Рёслер и другие упомянутые вами господа — воистину люди чести, я знаю их. Рёслер вообще на редкость славный малый. Но что может поделать такой достойный сожаления маленький консул, если он не получает необходимой поддержки?

— Ну знаете, господин пастор!.. Как это никакой поддержки? Однако же это более чем несправедливо.

Лепсиус нервно отмахивается: жест этот означает, что речь идет о слишком серьезных вещах, а времени в обрез и его нельзя растрачивать на учтивое суесловие.

— Я очень хорошо знаю, господин тайный советник, что делается все возможное в этом направлении. Мне прекрасно известны ежедневные ходатайства и демарши посольства. Но ведь мы обра-

щаемся не к государственным деятелям, привыкшим уважать правила дипломатической игры, а к таким людям, как Эйвер и Таллат. Для этих людей мало всего возможного и недостаточно всего немалого. Уничтожение армян — вот на чем зиждется их национальная политика. Я имел возможность убедиться в этом во время длинной беседы с Эйвером-пашой. Целый поток немецких демаршей в лучшем случае воспринимается этими людьми как обременительная необходимость проявить свою обычную лицемерную учтивость.

Тайный советник скрестил руки на груди. Его длинное лицо принимает выжидательное выражение.

— А знаете ли вы, господин доктор Лепсиус, другой способ вмешательства во внутренние дела дружественной и союзной державы?

Иоганнес Лепсиус вперил взор в дно своей шляпы, словно заглядывая в припрятанный там памятный листок с заметками. Но, видит бог, такая предусмотрительность была бы излишней. Тысячи вариантов подобных заметок день и ночь воят в его бедной голове, он почти совсем не спит. Сейчас он просто собирается с мыслями, чтобы высказаться коротко и убедительно.

— Прежде всего мы должны уяснить себе, что происходит и уже произошло в Турции, а именно: преследование христиан в таких масштабах, какие и отдаленно не капают знаменитые гонения на христиан при Нерове и Диоклетиане. Кроме того, это величайшее доселе известное в мировой истории преступление, что уже само по себе немало значит и в чем, полагаю, вы со мной согласитесь...

В светлых глазах чиновника промелькнуло легкое любопытство. Он молчит, пока Лепсиус шаг за шагом, с помощью тщательно взвешенных слов прокладывает себе дорогу. После нанесенного ему Эйвером-пашой поражения он, бесспорно, научился многому такому, что бесполезно знать для общения с политиками.

— Мы не должны рассматривать армян как полудикого восточный народ. Это культурные, образованные люди с такой тонкой нервной организацией, какую — скажу прямо — у нас в Европе редко встретишь...

Ни один мускул не дрогнул на узком лице тайного советника, он явным образом выдал, что, быть может, считает эту оценку «народа торгашей» слишком высокой.

— Тут речь идет вовсе не о каком-то внутриполитическом деле Турции, — продолжает Лепсиус. — Будь это даже истреблением маленького племени африканских пигмеев, это не может считаться внутренним делом истребителя и истребляемого. Тем не менее вправду мы, немцы, искать выход в нейтралитете, ведь такая позиция

есть либо форма сожаления, либо акт отчаяния. Наши противники за границей ответственность возлагают на нас.

Тайный советник вдруг резко отталкивает от себя кисти панков, словно ему не хватает воздуха:

— В том-то и заключается глубокий трагизм нашей стратегии в нынешней войне, что мы, как бы чиста ни была наша совесть, несем на себе бремя чужой вины за пролитую кровь...

— Все в этом мире прежде всего этический и уж много worse — политический вопрос.

Тайный советник одобительно кивает:

— Превосходно, господин пастор, и тоже всегда придерживаясь той точки зрения, что, выноса какое-нибудь политическое решение, следует раньше рассчитать его моральный эффект.

Лепсиус предвкушает успех. Пора переходить в наступление.

— Я пришел к вам не как маловлиятельное частное лицо, господин тайный советник. С моей стороны не будет дерзости, если я скажу, что явился сюда от имени всех верующих христиан Германии — протестантов, да и католиков. Я действую и говорю в полном единении с такими выдающимися людьми, как Харнак, Дайман, Дибельус...

Тайный советник понимающим взглядом подтверждает, что это действительно имена людей с весом.

Но тут Лепсиус впадает в пафос, который уже не раз подводил его:

— Немецкий христианин не намерен больше оставаться безучастным свидетелем этого преступления против христианства. Его совесть не может мириться с таким равнодушием, из-за которого он становится совиновником содеянного зла. Надежды германского государства на победу оправданы и осуществимы, только если их разделяют немецкие христиане. Я лично испытываю чувство стыла и прямо-таки омерзения от того, что пресса наших противников печатает целые полосы с сообщениями о депортации, тогда как немецкие газеты кормят немецкий народ лживыми коммюнике Эйвера, а кроме них он не знает ничего. Неужели мы не заслуживаем того, чтобы услышать правду о судьбе наших единоверцев? Пора положить конец этому недостойному положению.

Тайный советник, несколько удивленный прокурорски обличительным тоном пастора, пердлетя свои длинные пальцы, невинно замечает:

— А цензура? Цензура никогда бы этого не разрешила. Вы и представить себе не можете, господин Лепсиус, как все это сложно.

— Перейдем право немецкого народа — не позволять себя обманывать.

Тайный советник снисходительно улыбается.

— И какие последствия постигала бы за собой такая газетная

кампания? Тяжелое испытание для немецких нервов и для союза с Турцией.

— Союз этот не должен превращать нас в укрывателей преступления перед судом истории. Поэтому мы хотим, чтобы наше правительство немедленно что-нибудь предприняло. Требуйте же от Стамбула — и как можно энергичней — послать в Анатолию и Сирию нейтральную комиссию из американцев, швейцарцев, голландцев, скандинавов для расследования происходящих событий!

— Вы слишком хорошо знаете младотурецких властителей, господин пастор Лепсиус, чтобы не знать, какой ответ получали бы мы на это требование.

— Тогда Германия должна прибегнуть к более сильным мерам воздействия.

— К каким, по вашему мнению?

— К угрозе лишить турок всякой помощи и отозвать немецкие военные миссии, немецких офицеров и войска с фронтов.

Любезность этого холодного-благжелательного собеседника сменяется выражением учаственной доброты.

— А мне правильно вас описывали, господин пастор Лепсиус, вы такой и есть, такой... наивный...

Он встает, прямой, стройный. Серый летний костюм сидит на нем не так нарочито безукоризненно, как на людях его круга. Но эта легкая и своеобразная небрежность располагает, внушает доверие. Он поворачивается к виске на стене большой карте Европы и Малой Азии и прикрывает почти весь Восток рукой в голубых перчатках.

— Сегодня, господин Лепсиус, Дарданеллы, Кавказ, Палестина и Месопотамия гораздо больше немецкие, чем турецкие фронты. Если они развалятся, то рухнет весь наш план ведения войны. Не можем же мы угрожать туркам собственным самоубийством, это ведь смеху подобно. Думается, мне незачем говорить вам об огромном значении, какое придает его величество кайзер нашему влиянию на Востоке. Разве вам не известно, что турки вовсе не чувствуют себя вашими должниками, а скорее уж нашими кредиторами? Симпатизирующие Антанте течения и поныне чрезвычайно сильны вottomанском правительстве. Могут вам сказать по секрету, что некая весьма мощная группировка в Комитете<sup>1</sup> очень не прочь переметнуться в лагерь противника, вступить с ним в мирные переговоры — и чем скорее, тем лучше. А тогда, может быть, вы стали бы свидетелем того, как эти же самые Франция и Англия, которые воняют на весь мир, сокрушаясь и негодуя по поводу армянской резни, за-

тра закроют на нее глаза. Вы добиваетесь истины, господин Лепсиус? Вот она: козыри в этой игре в руках турок, мы должны соблюдать величайшую осторожность и не преступать границ возможного.

Иоганнес Лепсиус спокойно слушает тайного советника. Он досконально знает эти истины, которые с несокрушимой логикой проповедают дети суетного мира. Истины эти сковывают накрепко и плотно пригнаны одна к другой. Кто признает хоть одно звено этой цепи истины, тот пропал. Но пастор давно уже им не подвластен, не признает подобных истин. За последние недели душа его будто омолодела, сделала его невосприимчивым к этим доводам. И Лепсиус не поддается. Стоит на своем.

— Я не политик. Не мне изыскивать средства и пути для того, чтобы спасти в последнюю минуту хоть часть армянского народа. Но мой долг, как представителя множества немецких христиан-единомышленников, — передать их настоятельную просьбу изыскать эти средства и пути для спасения армян, и главное — пока не поздно.

— Как бы мы ни старались, как бы ни мудрствовали, господин пастор, участь армян можно кое-где смягчить, изменить же ее, к сожалению, невозможно.

— С такой нехристианской точкой зрения вы — ни мой друг, ни я, примириться не можем.

— Да поймите же вы, что к этой участи причастны высшие исторические силы, на которые влиять мы не властны!

— Я понимаю только то, что Эвер и Валаат с сатанинской гениальностью воспользовались благоприятным случаем, чтобы сыграть роль «высших исторических сил».

Тайный советник утливо улыбается, готова реплика, из которой обнаружится, что и у него есть религиозное воззрение:

— Разве Ницше не говорит: «падающего подтолкнуть?»

Нет уж, и Ницше не дано смутить божьего человека, пастора Лепсиуса. Несколько раздосадованный тем, что разговор мельчает, сводится к общим местам, он рубит сплеча:

— Кто же знает, быть ли ему падающим или подталкивающим?

Тайный советник — он сидит сейчас за письменным столом — слова окидывает взглядом настенную географическую карту.

— Гибель армян predeterminedена их местом на карте. Участь слабейшего, участь невидимого меньшинства!

— Каждый человек и каждая нация может оказаться в положении слабейшего. Поэтому нельзя допускать как прецедент ни уничтожения нации, ни даже нанесения ей какого-либо ущерба.

— Господин пастор, вы никогда не задавались вопросом: не влечет ли за собой существование национальных меньшинств излишнее беспокойство и не лучше ли было бы им исчезнуть?

Лепсиус снял свои окуляры и тщательно их протирает. Тупо и

<sup>1</sup> Имеется в виду политический орган младотурецкой партии Иттихат.



устало моргают глаза. И от этого угасающего взгляда все его тело кажется каким-то обмякшим, мешковатым.

— Господня тайный советник, разве мы, немцы, не меньшинство?

— Не понимаю вас. Что вы хотите этим сказать?

— Внутри свлотившейся против Германии Европы мы оказываемся в положении чертовски угрожаемого меньшинства. Добра из этого не выйдет. Мы тоже не слишком удачно выбрали себе место на карте.

Сейчас лицо тайного советника утратило любезное выражение, оно стало настороженным и очень поbledнело. Пыльная волна полуденного зноя хлынула в распахнутое окно.

— Совершенно верно, господин пастор! А потому долг каждого немца — проявлять участие к судьбе своего народа и помнить о потоках крови, которые немецкое меньшинство, как вы изволите выражаться, проливает за отечество. Только под этим углом зрения можем мы рассматривать армянский вопрос.

— Мы, христиане, подвластны милости божьей и покорствуем слову евангелия. Напрямик говорю вам, господин тайный советник, никакой иной точки зрения я не присмлю. Последние недели мне что ни день становится очевидней, что трезвых детей мира, политиков, следует лишить власти, дабы общность во Христе, *Corpus Christi*, стала явью на нашей маленькой Земле...

— Отдавайте кесарево кесарю.

— Что есть кесарево, кроме захватанной, раскошей монеты?

Этого-то господь в своем божественном лукавстве не говорит. Нет, нет! Народы подвластны своей природе. А льстецы, жаждущие на их счет поживиться, угодливо поощряют их тщеславие. Точно это особая заслуга — родиться собакой или кошкой, брюквой или картофелем. Но Иисус Христос дает нам вечный пример того, как бо-гочеловек лишь затем воплощается в человека с присутней человеку природой, чтобы природу эту преодолеть. А потому и должны были бы править на земле только истинные слуги Христовы, как раз потому, что они преодолели свою природу, что они выше условий земного существования. Таково мое политическое кредо, господин тайный советник.

Прусский аристократ ничем не дает почувствовать скрытую в его словах иронию:

— Вы говорите как истовый католик.

— Истовей, чем самый занязный католик! Ибо церковь, символа веры которой я придерживаюсь, не делит власть со светскими властителями.

Тайный советник вставляет в глаз монокль, как бы давая понять, что время, отведенное для объяснений, пришло к концу.

— Но пока мы вновь не избавились святой инквизицией, ответственность несем мы, ничтожные дети мира.

Иоганнес Лепсус, который, пожалуй, слишком далеко зашел, отступает на заготовленные позиции. Его слова звучат как спокойная, почти непримиримая отповедь.

— Я хотел бы продолжить откровенный разговор с вами, господин тайный советник... Всего несколько дней назад и был полон надежд и верил, что господин рейхсканцлер поддержит меня в моей борьбе, применит более действенные меры, чем прежде. Теперь же вы окончательно убедили меня, что у нашего правительства связаны руки, оно бессильно перед Портой и в отношениях с ней вынуждено обходиться обычными демаршами и ходатайствами. Что ж! Зато меня не связывают никакие государственные соображения. И отныне только на мои плечи ложится бремя ответственности за дело спасения армян немцами. Я не намерен идти на уступки и отступать. Вместе с моими друзьями я буду просвещать народ, ибо только тогда, когда люди узнают всю правду, я буду в состоянии поставить христианскую организацию помощи армянам на более широкую основу... А потому прошу по крайней мере не мешать мне в этой деятельности.

Тайный советник, который тем временем изучал шиферблат своих наручных часов, вскидывает глаза, обрадованный.

— Откровенность за откровенность, господин пастор... Стало быть, не обесудите, если я сообщу, что к вам давно присматриваются. В связи с вашим пребыванием в Константинополе поступило немало жалоб на вас. Повторяю: вы и не подозреваете, как осложнились обстоятельства. Сожалею об этом. Я питаю величайшее уважение к вашей человеколюбивой деятельности. И все же деятельность эта — ну как бы нам сказать — с политической точки зрения нежелательна. Я бы посоветовал, почтеннейший, ограничить ее и, по возможности, не афишировать.

Ответ пастора звучит скорее сварливо, чем торжественно:

— Мне голос был. И никакие силы мира не могут помешать мне ему следовать.

— Не говорите так, господин доктор Лепсус, — пугается тайный советник, ошеломленный, но еще любезный, — кое-какие силы мира уже готовятся вам основательно помешать.

Пастор ощупывает левый бортюртука.

— Я чрезвычайно признателен вам, господин тайный советник, за вашу искренность и напутствие.

Собеседник пастора, лысый и стройный, стоит перед ним доводящий собой и смущенный, что очень его красит.

— Я рад, что мы с вами так быстро друг друга поняли, господин пастор. Вы бледны. Вам очень пошло бы на пользу. Если бы

вы некоторое время пожили спокойно, не думая о завтрашнем дне. Вы, кажется, живете в Потсдаме?

Иоганнес Лепсиус выражает сожаление, что отнял столько времени у господина тайного советника. Но тот с очаровательной улыбкой провожает его до двери.

— Да нет же, господин пастор, я давно уже не проводил время так интересно, как этот час с вами.

Внизу на душной полуденной Вильгельмштрассе Иоганнес Лепсиус спрашивает себя, был ли он по завету божьему кроток как голубь и мудр как змий в беседе с тайным советником. И довольно скоро признается себе, что обнаружил полную нестойкость и в качестве голубя и в качестве змия. К счастью, у него хватало ума заблаговременно запастись всеми нужными паспортами, визами и разрешениями на выезд и вывоз денег. Вот почему он так тщательно ошупывал свой левый бок, проверял, на месте ли эти сокровища.

Он резко оборачивается: не идет ли за ним по пятам полицейский агент? И решает: прямой курьерский в Базель отходит в три сорок. В распоряжении Лепсиуса больше трех часов, он успеет телефонировать домой и велит доставить его багаж на вокзал, да и вообще соберется в дорогу. Завтра, может статься, границы для него уже будут закрыты. Но он непременно должен добраться до Стамбула! Его место там, хоть еще неясно почему. Во всяком случае, в Германии дело его будет продолжаться и без него. Организация и бюро ее созданы, мененаты, друзья, сотрудники — налично. А его место не здесь, в безопасной, равнодушной дали, а вблизи у самого моря крови.

На Потсдамерплац стоит оглушительный шум от уличного движения. Лепсиус близорук, он долго ждет, пока можно будет здравым и невредимым перейти площадь.

Ухо его воспринимает грохот, громыхание, треск и скрежет трамваев, автобусов и автомобилей как единый, слитный гул. Как гул колоколов в неимоверном парварском соборе. И тут ему вспоминается стихок, сочиненный им много лет назад на борту приплясывавшего на волнах суденщика, которое несло его мимо скалистого острова Патмоса-Патиню, священного острова авостола Иоанна Богослова. И вот в ушах его звенит рефрен стихика:

А н О, А н О,

Звонят колокола на Патиню.

И чудится, будто это звенящее двуступище—связующее звено между столь различными местами земного шара, как Патмос и Потсдамерплац.

Жизнь пугливое ночное зверя в Стамбуле.

Иоганнес Лепсиус знает, что за ним установлена слежка, наблюдение. Поэтому он выходит из отеля «Токатли» большей частью ночью. В первый же день по приезде он нанес обязательный визит в германское посольство. Принимает его вместо посланника, секретаря посольства или пресс-атташе второстепенный чиновник, который сухо, без околичностей спрашивает, какие дела привели пастора Лепсиуса в Константинополь. Лепсиус отвечает, что без особых целей приехал в этот город, который очень любит и где хотел бы немного отдохнуть. Правдиво здесь только утверждение, что поездка Лепсиуса не имеет определенной цели. Пастор в самом деле не знает, что предпринять. Он знает только, что и у турок, и у немцев он лишь преследуемое.

Так, например, тот превосходный капитан из посольства, что с таким трудом выхлостала ему тогдашний прием у Эвиера-паши, теперь, встречаясь с ним на улицах Перй, демонстративно отворачивается. Бог знает, какую низкую ложь распространяют о Лепсиусе! У пастора частенько мороз по коже подирает, как вспоминется, что он совсем беззащитен в турецкой столице, что в представительстве его родной страны он не только не найдет поддержки, но едва ли не встретит врагов. Если бы Итахату пришла на ум здравая мысль ужомостить его, то труп пастора Лепсиуса не вызвал бы большого дипломатического шума. В минуты малодушия он подумывает о возвращении домой. Здесь он только терпит время. Пошла уже третья неделя августа. На Босфоре стоит неопысуемая жара.

«Что-я здесь добыюсь?» — спрашивает он себя. И находит, что похож на немытного злодешника, который пытается голами руками, без отмычки и подобранный ключа, зато на глазах у полиции вскрыть железную дверь, запертую на семь замков.

Но это же ясно! В запертой на семь замков железной двери, что ведет внутрь Турции, надо пробить брешь, если есть хотя бы намек на реальную помощь. Все деньги, посылаемые внутрь страны официальным путем, распыляются и этой реальной помощи не оказывают.

Иоганнес Лепсиус отваживается нанести визит его святейшему католикошу всех армян Заверу. С тех пор как они виделись, из угасающего тела католикоша исчезла, кажется, последняя искра жизни. Святой человек смотрит отсутствующим взглядом на гостя, когда же узнает его, не в силах сдерживать слез.

— Если станет известно, что вы были у меня, это может принести вам большой вред, сын мой, — шепчет он.

И вот пастор Лепсиус получает возможность услышать всю правду во всей ее ужасающей полноте — такой, какой она стала за те несколько недель, что он отсутствовал.

Католикос излагает ее сухо и коротко, без лишних слов:

— Любая попытка спасения не только безнадежна, но и излишня, так как депортация проведена до конца. Большая часть дувинства убита, политические деятели истреблены поголовно. Народ сегодня — это преимущественно женщины и дети, умирающие с голоду. Всякая поддержка, оказанная им со стороны ли немцев или нейтральных государств, только разъярит Энвера и Талаата, и прострекает их к новым злодеяниям. Самое лучшее — ничего не принимать, смиряться и умирать. Разве вы не замечали, — говорит католикос, — что этот дом, патриаршество, осажден шпанками и согластатами? Каждое слово, сказанное сегодня в этой комнате, завтра же непременно станет известно Талаату-бею.

Его святейшество Заев заговорщицки подмигивает — в глазах его затененный ужас — и просит гостя приложить ухо к его устам.

Таким способом Лепсиус узнает о востатии армянских крестян на Муса-даге, о поражении турецких частей и о том, что осажденную гору до сих пор взять не удалось. Прерывистый шепот католикоса еле слышен:

— Разве это не ужасно? У турок, наверно, сотни убитых.

Иоаннис Лепсиус вовсе не находит, что это ужасно. Голубые его глаза за толстыми стеклами пенсне сияют мальчишеским восторгом.

— Ужасно? Нет, прекрасно! Было бы еще три таких Муса-дага, и события обернулись бы иначе. Ах, ваше святейшество, как бы мне хотелось быть на этом Муса-даге!

Пастор по неосторожности повысил голос. Католикос в страхе зажимает ему рот.

При прощании Лепсиус вручает ему часть денег, собранной христианской организацией помощи армянам. Заев послушно заперла ассигнации, точно они жгут пальцы, в несгораемый шкаф своей канцелярии. Маловероятно, что это благостыня дойдет до места своего назначения, до Дебр-эль-Зора.

Его святейшество снова быстро шепчет что-то немцу на ухо, смысл его слов не сразу доходит до сознания Иоанниса Лепсиуса:

— Не мы в патриаршестве, не вы и никакие немцы или нейтралы, а турки! Нужно найти таких турок, которые стали бы посредниками и посредницами, понимаете, турок!

— Как так турок? — тихо бормочет Лепсиус, и перед ним возникает лицо Энвера-паши. Безумная идея!

Безумная идея. И все-таки она, помимо воли Лепсиуса, уже на пути к осуществлению.

В ресторане при гостинице пастор познакомился с турецким врачом. Профессор Незими-бей — ему лет сорок — очень элегантен, у него европейская внешность. Живет тоже в отеле «Токатлия», но

его приемный кабинет находится на одной из аристократических улиц Перѳа.

Сначала Лепсиус считает профессора одним из самых симпатичных представителей младотурецкого общества. Правда, внешность обманчива. Европейская образованность и бесподобно стильный сюртук — еще далеко не все. Между ними нередко завязывается беседа. Два три-четыре они обедают за одним столом. Лепсиус чрезвычайно осторожен и сдержан — так нужно.

Но тот вовсе не осторожен и не сдержан. И когда он откровенно выражает ненависть к правящему режиму, к диктаторам Энверу и Талаату, немец пугается и умолкает. Уж не подсадили ли к нему провокатора? Но стоит ему взглянуть на Незими, такого уютного, с благородной осанкой, вспомнить его изысканную речь, его редкостное знание языков, и всякое подозрение кажется смешным. Энверу ли вербовать провокаторов такого ранга! Но человек искусственный, Лепсиус остерегается провокаций. Он не отрицает, что, будучи христианским священником, стремится облегчить участь своих единоверцев-армян, но воздерживается от критических высказываний и чаще ограничивается выжидательной позицией слушателя. Незими не явно выраженный армянофил, однако горячо возмущается репрессивной политикой младотурецкого Комитета:

— На полях, усеянных трупами армян, Турция и сама сложит голову.

Лепсиус и бровью не повел.

— Но за Энвера и Талаата стоит огромное большинство нации, — говорит он.

— Как? Огромное большинство? — вспыхивает Незими. — Вы, иностранцы, не знаете даже, как фактически ничтожна эта партия, особенно как ничтожно ее моральное влияние! Состав она из жалких выскочек, из самой низменной черни. Если эти люди кичатся своей принадлежностью к «османской расе», то это величайшее бессмыслие. Эти «чистокровные османы» большей частью происходят из того македонского котла, в котором плавает расовое крошево со всех Балкан.

— Старая история, профессор. На чистоту расы чаще всего ссылаются именно те, кому как раз ее и не хватает.

Незими грустно смотрит на Лепсиуса.

— Как огорчительно, что вы, человек, глубоко изучивший обстановку в нашей стране, понятия не имеете об истинной сущности турок! Да знаете ли вы, что истинные турки куда резче осуждают истребление армян, чем вы?

Иоаннис Лепсиус восторгается.

— Да позволено будет мне спросить, профессор, кто ж они, эти истинные турки?

— Все, кто еще не отступился от своей религии,—отвечает Незими, но в дальнейшие объяснения не вступает.

Вечером он стучится в дверь к пастору. Вид у него до странности изволнованный.

— Если вы согласны, я поведу вас завтра в текке шейха Ахмеда. Это вам повстине подарок судьбы. И более того: вы можете там откровенно говорить об армянах и, вероятно, кое-что для нас сделать.

И Незими повторяет:

— Вот уж повстине подарок судьбы!

Назавтра, сразу же после обеда, Незими, как условлено, заходит к пастору. Большую часть длинного пути они идут пешком. Сегодня летнюю жару умеряет прохладный бриз с Мраморного моря. По стамбульскому звенящему звуками полуденному небу тьмутся стаи анстов и серых цапель,—гнезда они вьют на той стороне, на азиатском берегу.

Профессор ведет пастора мимо сераскерията Эивера-паши и мечети султана Байзет Моше, по длинным проспектам Ак Сериа. Конца не видать этой ведущей на запад дороге. Но вот они попадают в лабиринт руин, какими кажутся эти недра города. Мешечные улочки кончатся. Наострену бредут стада овец и коз. Над бурым хаосом бесчисленных деревянных домов грозно высится древняя, времен Византии, городская стена с зубцами, башнями, бойницами.

Иоганнес Лепсиус вовсе не настроен любоваться, как то свойственно его глазу художника, этим романтическим, хоть и дурно пахнущим городским пейзажем. Не интересует его и центр исламского благочестия, который он сегодня посетит и который обогащает его опыт. Как каждый, чья душа охвачена единым мучительным и властным стремлением, он все оценивает только в зависимости от одного: какое отношение имеет та или иная вещь к армянской катастрофе. И так, он вовсе не расположен воспринимать новые впечатления, в голове его роятся планы, замыслы. Только эти замыслы и побуждают его расспрашивать своего спутника:

— Мы, очевидно, идем к мевлеви-дервишам?

Лепсиус, несмотря на свое долгое пребывание в Палестине и Малой Азии, почти ничего не знает об исламе. Он видит в нем только фанатичного врага христианства. Но так как одна из самых прискорбных человеческих слабостей—неумение познать того, кого нужно бы знать досконально, а именно врага, стало быть, и пастор Лепсиус имеет весьма слабое представление о духовном мире мусульман.

Назвал же он мевлеви-дервишей лишь потому, что ему знакомо это очень известное название дервишского ордена.

Доктор Незими отмахивается почти презрительно

— Нет, нет! Наш магистр, шейх Ахмед, глава ордена, который в народе называют «похитителями сердец».

— Странное же название для ордена. Почему же «похитители сердец»?

— Потом узнаете...

По дороге вожатый пастора все-таки свиходит до объяснений. Он рассказывает немцу, что мусульманская религия разделилась на две мощные ветви: шариа и тарикаат. Если шариа довольно близко соответствует католическому белому духовенству, то сравнивать тарикаат с монашеством — неправильно. От дервиша вовсе не требуют отречься от мира и на всю жизнь уйти в текке. Стать и быть дервишем может всякий, кто выполнит известные условия. Поэтому никто не обязан отказываться от своей профессии и семейной жизни — великий визирь, равно как и врач, медик, банковский служащий, офицер. Так что по всей стране распространены различные братства, и братья всюду узнают друг друга «чутьем».

Иоганнес Лепсиус — не без тайного умысла—задумчиво спрашивает:

— Стало быть, эти дервишские ордены вследствие своей многочисленности представляют собой большую силу?

— Поверьте мне, господин пастор, не только вследствие своей многочисленности!

— А в чем состоит их служение богу?

— У вас, говорили мне, называют это «экзерцициями», упражнениями. И это тоже не точно. Мы время от времени собираемся и совершаем упражнения, но упражняемся в молении богу! Называется это «зикр». Каждый должен хоть раз или несколько раз в жизни отбывать служение в текке и жить там продолжительное время. Но главная наша обязанность — всем сердцем повиноваться нашему учителю и магистру.

— Так шейх Ахмед и есть ваш учитель и магистр?

Хоть Лепсиус не напрямую спрашивает, кто, собственно, такой шейх Ахмед, Незими отвечает:

— Он — вели. Вы бы сказали—«святой», и такой перевод этого слова тоже совершенно неправилен. Своим образом жизни, которая представляет собой более высокую духовную ценность, чем жизнь ридовых людей, он развил в себе силы. Знакомо ли вам французское выражение initiation? И самое чудесное в нашем учителе — вы это увидите сами, — что он совсем простой человек.

Они останавливаются у высокой стены. Над нею виднеются верхушки кипарисов и фикусов, свешиваются ветви глициний и желтофюлей, — стало быть, за стеною — сад.

Незими стал тростью в истонченные черверь ворота. Ждать

<sup>1</sup> Initiation (фран.) — посвящение, посвящение.

приходится долго. Отворяет им грузный старик с кротким, ласковым взглядом. Перед ними открывается потаенное чудо этого сада. Надо всем господствует многовековой кедр. С двух его могучих ветвей свисают ржавые обрывки тяжелой цепи.

Незими рассказывает пастору, что давным-давно, в незапамятные времена, молодой еще кедр заковали в цепи. Но пастор жизненных соков в растущем кедре был таким мощным, что железная цепь лопнула. Это символ жизни дервиша.

В тишине, чудесно ведомой для городского шума, журчит фонтан. И это тоже еще один трогательный символ—кумьта воды, распространяемого среди турок.

Справа стоит темный, мрачный дом, слева—светлый, привлекательный. Незими и пастор входят, сняв обувь, в привлекательный деревянный дом. По темной маленькой лесенке Незими вводит гостя в каморку, напоминающую лодку, которая выходит в зал текке; стройные деревянные пилястры и стены, украшенные ажурной филигранной резьбой, придают ему сходство с обширным павильоном. Деревянный пол устлан прекрасными коврами. В восточную стену зал, обращенную к Мекке, встроена ниша для трона с высоким подножием. По обеим его сторонам на ступенях подножия сидят несколько человек. Доктор Незими называет их «калифами», представителями и доверенными лицами шейха, особенно близкими его сердцу. Все они носят белые турбаны—даже пехотный капитан, странным образом среди них оказавшийся.

Затем Лепсиус замечает суховатого старичка с козлиной бородкой; он, должно быть, страдает какой-то нервной болезнью—лицо у него временами подергивается.

— А это сын шейха,—Незими указывает на красавца с мягкой каштановой бородкой, в белом, похожем на рубашку одеянии. Рядом с ним еще юным с виду человеком, словно провинцианом серебристым светом, сидит, поджав под себя ноги, мальчик лет пяти — «сын сына», тоже в белом, как отец.

Но внимание Лепсиуса привлекает другой человек, чей облик и осанка выделяют его среди окружающих, как необычайно сильную индивидуальность. Таким предстает себе пастор великих калифов—Бахизда, Махмуда Второго, пожалуй, даже самого пророка. Лицо, неслепящее фанатизмом, до самых глазниц заросшее синими-черной бородой. Застылый взор ни на чем не остановится, равно беспощаден и к другу и к врагу.

— Это турбедар из Бруссы<sup>1</sup>,—сказал Лепсиус. Затем следует объяснение: звание это дается лицу, занимающему высший символический пост—смотрителя усыпальниц султанов и святых. Кроме того, турбедар—большой ученый, знаток не только Корана, но и

некоторых современных наук. И вот тот маленький старичок, что так тихо сидит против турбедара, да-да, крайний справа, у него такие белые руки, он как раз перебирает янтарные четки—он ведь тоже занимает высший символический пост: он — хранитель родословной пророка.

— Эти люди живут постоянно в текке?

— Нет, это редкая и счастливая случайность, что они все собрались сегодня у шейха. И тот старик, хранитель родословной, приехал сюда очень издалека, из Сирии, из Антхохи кажется. Он, знаете ли, старейший друг нашего шейха. Зовут его Рифаат Берекет.

— Ага Рифаат Берекет,—задумчиво, точно это имя ему не совсем незнакомо, повторяет Лепсиус. Но смотрит он не на агу Рифаата и ни на кого из тридцати или тридцати пяти шепотом в ожидании переговоров выходящих людей в зале, он не сводит глаз с городского турбедара. Поэтому и не замечает, как входит шейх Ахмед,—видит его, когда тот уже занял свое место.

Незими-бей был прав. По внешнему виду главы ордена, поведующего, вероятно, сотнями тысяч преданных душ, мало что можно сказать о его значении и духовной силе. Это тучный седебородый старец, черты его лица выражают снисходительную любовь к во всем не чуждым практической сметки, требующейся в делах мирских.

Все вскакивают и наперебой бросаются целовать ему руки. И в последний, лишь когда все утолило свою жажду доказать учителю почтение и любовь, над мягкой, пухлой рукой Ахмеда склоняется турбедар.

Экстаз дервишского радения—зикра, свидетелем которого сейчас становится Лепсиус, не только оставляет его холодным, но вызывает даже смутное, безотчетное чувство неловкости. Обряд начинается с того, что красавец шейхский сын с десятью юношами, одетыми, как и он, в белые, похожие на рубахи облачения, становятся в ряд у западной стены зала. Правое крыло замыкает мальчик, личико его озарено дервишским выражением серьезности. Откуда-то доносится монотонная гнусавая музыка дудок. Перед золоченым позитивом для Корана стоит человек с закрытыми глазами и вполголоса скрипучим фальцетом выпевает какую-то суру из Корана.

Старый шейх чуть заметно взмахивает рукой. Звуки дудок и литания смолкают. Сын шейха, прислушавшись, закидывает голову, словно подставляет лицо под моросивший дождь. Из горла его вырываются звуки, трепетные, замирающие, будто он изыскивает от безмерного блаженства, от того, что ему дивно произносится по словам непостижимый стих, в котором сосредоточена вся сила вещей книги: «Ла ила ила-иля» — «Нет бога, кроме бога».

<sup>1</sup> Брусса — некогда резиденция турецких султанов.

Теперь все мужчины закидывают головы и в странно стонащем жужжании голосов дважды слытно звучат четыре слога первоосновы вероучения. Точно так в музыкальное произведение вступает тема, которая затем развивается. Сначала начинает слегка раскачиваться тело молодого шейха. В то время как «Ла ила ила'лла» переходит в кадацию, он сгибает верхнюю часть туловища попеременно на всечетыре стороны света—вперед, назад, направо, налево. Это четырехтактное качание передается другим, постепенно все ускоряясь. При этом вовсе не соблюдается соразмерность движений, как в гимнастических упражнениях или в балете. Напротив! Каждый следует собственному закону. Каждое «я» этой общности, страстно взывая к богу, видимо, остается наедине с собой. Поэтому создается соразмерность гораздо более многообразная и высокая, чем та, что достигается механическим совпадением такта; это соразмерность раскачиваемого бурей леса, вскипающего прибоя. Только полная свобода и отъединенность «я» перед лицом бога делают возможной органическую общность.

Старый шейх, его калифы и другие делают только легкие, как бы вторичные зикры движения.

Взвук шейха с отчаянным видом добросовестно изгибает свое маленькое тело во все четыре стороны. Временами слышно вставшее шквалом «Ла ила» слышится трогательно щебечущий детский голосок. Минут через двенадцать обряд достигает апогея; качаясь, дервиши как бы описывают прямоугольник, выкрики сливаются в неслышимый хриплый рев.

Снова короткий взмах руки старого шейха. Действо резко обрывается. Должно быть, сердца его участников и зрителей прониклись неизбывной радостью, глубочайшим ощущением полноты смысла. Лица озаряет усталая улыбка. Люди обнимаются.

Иоганнесу Лепсиусу невольно приходит на память агалы<sup>1</sup> первых христиан. Но как же так? Здесь торжество любви происходит не от духа, а от иступленно выворачиваемого тела. Этого пастор не понимает.

Меж тем появляются новые лица: через маленькую дверь в зал входят слуги, вносят кушаны с водой, блюда с кушаньями и даже какие-то одеяния—все это они кладут перед шейхом Ахмедом; шейх несколько раз дует на эти вещи. Теперь они приобрели целебную силу.

После паузы зикр возобновляется, притом на более высокой ступени. Над всем по-прежнему царит священное число четыре. А отсюда пристокает и четырехкратное состояние экстаза, каждый

раз прерываемое паузой. Сила и темп последнего, метаэтого экстаза почти непереносимы в его неистовом иступлении.—Иоганнес Лепсиус закрывает порой глаза, ему становится дурно, как от морской болезни. Когда этот последний зикр достигает апогея, со ступеней шейхова трона вдруг спрыгивает сухой старичок с козлиной бородкой и начинает кружиться, точно взбесившийся волчок, пока не падает на пол в эпилептическом припадке. Пастор оглядывается на доктора Незими— тот сидит за ним. Неужто Незими не сбегает вниз, в зал, не окажет помощи эпилептику? Но величавый господин, окончивший Сорбонну, видно, тоже не в себе. Тело его раскачивается, глаза закатились. И с губ под английскими усиками срывается так долго подавливаемый «Ла ила ила'лла». Чувство неволежности доходит до предела, пастору просто неважно. Но испытывает он не только отвращение к тому, что кажется ему столь странно варварским, а еще и смутный стыд от того, что он с его душой европейца не способен причаститься этому ошашенно богом.

Чувство глубокой скованности не оставляет его и когда он вступает в центр этого безмерно чуждого мира,—в приемную шейха. На приеме у Эшвера он чувствовал себя менее скованным, чем сейчас. Шейх Ахмед, однако, принимает его чрезвычайно дружелюбно. Он делает несколько шагов навстречу ему и Незими-бею. В просторной комнате находятся и некоторые калифы шейха: тюрбедар из Бруссел, ага Рифаат Берекет, молодой шейх и пехотный капитан. Ни стульев, ни кресел—один низкий диванчик вдоль стен. Шейх Ахмед указывает место рядом с собой.

Иоганнесу Лепсиусу приходится сесть как все, поджав под себя ноги. Глаза старого Ахмеда, в которых светится не только ясная житейская мудрость, но и неизгасимое спокойствие, обращены к гостю.

— Мы знаем, кто ты и что привело тебя к нам. Я не сомневаюсь, что ты поймешь нас, как мы—будем надеяться—поймем тебя. Быть может, брат Незими поведал тебе, что мы здесь меньше полагаемся на слова, нежели на сердечный контакт. Так дозволю же нам узнать, как соотносятся эти два сердца—твое и мое.

Сюртук немца наглухо застегнут. Шейх Ахмед свою белую рубашку расстегивает сюртучные пуговицы. Улыбается извиняющейся улыбкой.

— Нам надо стать ближе друг к другу.

Иоганнес Лепсиус понимает и хорошо говорит по-турецки и свободно—по-арабски. Но шейх Ахмед изъясняется на смеси этих двух языков, почему и в особо трудных случаях пастор прибегает к помощи Незими в качестве переводчика.

Доктор Незими переводит:

<sup>1</sup> Агалы — «вечера любви» — в первые времена христианства обилие узком взгляды о последней вечере Христа.



— Есть два вида сердца. Телесное сердце и сокровенное, земное сердце, которое его облетает, как аромат окутывает розу. Это второе сердце связует нас с богом и людьми. Открой его, пожалуйста!

Грустное тело старца — ему, верно, уже восемьдесят — склоняется к пастору. Он — весь внимание, знаком просит закрыть глаза, как делает он сам. Иоганнес Лепсиус охватывает чувство покоя, Гложащая жажда, что лишь недавно мучала его, исчезает. Он возмущается паузой, чтобы за смежными веками собраться с мыслями и обосновать доводы, на которые будет опираться в защиту армян. Чудесным образом господь привел его сюда, где он неожиданно-негадано найдет, может быть, союзников. На какую-то микродолю становится осуществимым желание его просвещения Завена, абсурдное это желание привлечь в качестве посредников в переговорах с итихатистами не немцев и не представителей нейтральных государств, а самих турок. Когда Лепсиус открывает глаза, лицо старого шейха предстает перед ним ослепное теплым солнечным светом. Но шейх, умолчав о том, что дало «испытание сердца», просит пастора сказать, чем ему могут быть здесь полезны.

И начинается знаменательный разговор.

Иоганнес Лепсиус (сперва с трудом и большим напряжением подбирает турецкие слова. Нередко озирается на Незимбея, безмолвно взывая о помощи, и тот приходит на выручку, подсказывает нужное выражение). Великой милости шейха Ахмеда-эфенди обязан я, христианин и чужестранец, тем, что допущен в эту почтенную обитель, в текке... Мне было также дозволено присутствовать при вашем религиозном обряде. Усердие и искренность вашего стремления к богу исполнило мое сердце радостью. Хотя я, как непознанный чужестранец, и не могу проникнуть в глубинный смысл ваших старинных обычаев, я чувствую все же ваше высокое благочестие... Тем ужасней кажется мне наряду с этим благочестием и набожностью все, что творится и что дозволено творить на вашей родине...

Молодой шейх (взглядом испросив у отца разрешение говорить). Мы знаем, что ты уже много лет — деятельный друг армян миллет...

Иоганнес Лепсиус. Я больше чем друг. Я посвятил всю свою жизнь, отдал все силы армян миллет...

Молодой шейх. И собираешься обвинить нас в происшедшем?

Иоганнес Лепсиус. Я чужестранец. А чужестранец нигде и никогда не вправе выступать с обвинениями. Я здесь только для того, чтобы жаловаться на содеянное и просить совета и помощи.

Молодой шейх (с подчеркнутой настойчивостью, се не мо-

жет смягчить торжественность его речи). И все же ты возлагаешь на всех нас, османов, вину за то, что творится.

Иоганнес Лепсиус. Народ состоит из многих частей. Из правительства, из органов правления, из классов, которые поддерживают правительство, и из оппозиции.

Молодой шейх. На какую же часть народа возлагается ты ответственность?

Иоганнес Лепсиус. За двадцать лет я изучил условия вашей жизни. И обстановку внутри страны. Я вел переговоры с лидерами вашего правительства. И должен сказать — бог в том мне порукой, — что они одни виновны в гибели ни в чем не повинного народа.

Тюрбедар (поднимает свое изможденное лицо фанатика с известными лошады глазами. Его голос и он сам точно покаряк окружающих). Но на ком же лежит вина за правительство?

Иоганнес Лепсиус. Я не понимаю вопроса.

Тюрбедар. Тогда я задам тебе другой вопрос. Всегда ли жили турки и армяне во вражде? Или какое-то время оба народа жили бок о бок мирно? Ты знаком с условиями нашего существования, стало быть, знаешь и наше прошлое.

Иоганнес Лепсиус. Насколько мне известно, массовые угромы начались в прошлом веке, после Берлинского конгресса.

Тюрбедар. Вот ты и ответишь на мой первый вопрос. На том конгрессе вы, европейцы, вмешались во внутренние дела Османской империи, потребовали реформ и хотели за сходящую цену купить у нас аллах и религию. А вашими макидерами в этой сделке были армяне.

Иоганнес Лепсиус. Разве время и сама жизнь не требовали этих реформ настоятельней, чем Европа? И само собой разумеется, что армяне, как более слабый, но более деятельный народ, мечтали о реформах.

Тюрбедар (вспылил, всю комнату заполняет своим праведным гневом). Ну а мы не желаем ваших реформ, вашего прогресса, вашего участия в наших делах! Мы хотим жить в согласии с богом и развивать в себе те силы, что от бога. Ишь ты не знаешь, что все, что вы называете «свершением и деятельностью», — от дьявола? Должен ли я тебе это доказывать? У нас есть некоторые поверхностные знания о свойствах химических элементов. Но какие последствия плечет за собой применение ваших скудных познаний на практике, в том, что вы называете «свершением и деятельностью»? Производств отравляющих газов, с помощью которых вы ведете ваши гнусные, трусливые войны! И разве не для того же служат ваши самолеты? Они нужны вам, чтобы взрывать целые города. А в промежутках между войнами авиация обслуживает спекулянтов и дельцов, ускоряя ограбление бедноты. Все ваше бесовское беспокойство показывает нам, что нет такой активности, которая не сводилась бы к разруше-

и уничтожению. Поэтому мы охотно бы отказались от реформ, прогресса, достижений и благ нашей культуры и жили бы в прежней бедности и благочестии.

Старый шейх Ахмед (хочет внести ноту примирения в разговор). Бог разлил свой напиток во множество сосудов, и у каждого сосуда своя, только ему присущая форма.

Тюрбедар (не может успокоиться, ибо полагает, что нашел подходящего противника, на котором выместит свою бездонную злобу). Винагато в этом кровавом беззаконии правительство, говорюшь ты. А по правде сказать, не наше, а ваше правительство. Оно у нас прошло вничью. Не ты иной, как вы, поддержали его в преступной борьбе против наших святых. Оно внедряет ваше учение и ваши взгляды. Стало быть, ты должен признать, что не мы, османы, а Европа и ее прихвостни повинны в судьбе народа, за который ты борешься. И армянам воздалось по справедливости, ибо они призвали этих вероломных преступников в страну, содействовали им и заверяли в своей преданности, все для того, чтобы те их сожрали. Разве ты не видишь в этом перст божий? Куда бы вы и ваши ученики ни являлись, вы всюду приносите с собой разложение. Вы лицемерно утверждаете, будто исповедуете учение пророка Иисуса Христа, но в глубине души верите только в бедушние силы материи и вечную смерть. Вы так немощны сердцем, что и не подозреваете о существовании сил, которыми одарил вас аллах и которые без пользы в вас иссикают. Да, ваша религия, которую вы исповедуете, — это смерть, и вся Европа — наложница смерти.

Старый шейх (бросает строгий взгляд на тюрбедара, приказывая ему сохранять самообладание. Глаздит Лепсиуса по руке, стараясь его утешить и успокоить). Все в воле божьей.

Молодой шейх. Это правда, эфенди. Ты не можешь отрицать, что распространенный сейчас у нас национализм — это чужеземная отравля, завезенная из Европы. Всего несколько десятилетий назад наши народы дружно жили под знаменем пророка — турки, арабы, курды и многие другие. Дух Корана устранил земные различия по крови. А теперь уже и арабы, которым не на что жаловаться, стали националистами и нашими врагами.

Старый шейх. Национализм заполняет ту жгучую пустоту, которую оставляет аллах в человеческом сердце, когда его оттуда изгоняют. И все же помню воли аллаха изгнать его невозможно.

Иоганнес Лепсиус (сидит поджав под себя ноги, в роли обвиняемой Европы. Она на минуту не теряет из виду свою цель, в посему благодушно приемлет проклятия величавого тюрбедара из Брюсселя — не так уж это болезненно, но до чего же болят его вывернутые и скрещенные ноги!). Все, что я здесь от вас слышу, для меня не ново. Я и сам часто говорил моим соотечественникам нечто подоб-

ное. Я христианин, и даже христианский священник, однако охотно признаюсь вам, что большинство известных мне христиан — равнодушные и безбожные суесловы...

Тюрбедар (несмотря на строгое внушение без слов, сделанное ему шейхом Ахмедом, гнет свою линию). Стало быть, ты признаешь, что истинные виновники не мы, турки, а вы?

Иоганнес Лепсиус. Моя религия повелевает мне рассматривать всякую вину как неотвратимое наследие Адама. Люди и народы сваливают друг на друга наследственную вину, как мячом перебрасываются. Уточнить ее, основываясь на какой-нибудь дате или на каком событии, невозможно. С чего мы тогда начнем и на чем остановимся? Я здесь не для того, чтобы бросить турецкому народу хоть слово упрека. Это было бы великой ошибкой. Я пришел сюда просить благожелательного понимания.

Тюрбедар. Сначала сотворили зло, а потом приходится просить понимания!

Иоганнес Лепсиус. Я не шовинист. Каждый человек, хочет он того или не хочет, принадлежит к какой-нибудь национальной общности и остается с нею связанным. Это сама собой разумеющаяся данность природы. Как христианин, я верю, что отец наш небесный создал различия между людьми ради любви. Ибо без различий и напряженности в отношениях любви не бывает. Я и сам по природе очень отличаюсь от армян. Однако же научился ведь я их понимать и любить.

Тюрбедар. А ты когда-нибудь задумывался над тем, любят ли и понимают ли нас армяне? Это они, как электрический провод, ввели в нашу жизнь вашу сатанинскую смуту. И ты считаешь их просто-напросто невинными агниами? Так вот, говорю тебе: они кажаго турка, попадись он им в руки, хладнокровно прирежут. Или тебе не известно, что даже ваши христианские священники судоульством принимают участие в таких смертоубийствах?

Иоганнес Лепсиус (впервые сейчас вынужден сдерживать готовый сорваться с губ резкий ответ). Раз ты это говоришь, эфенди, значит, где-то такие акты мести были. Но не забывай, какую роль играли ваши ходжи, муллы и улемы<sup>1</sup>, разлитая травма против армян. И при этом армяне ведь слабы, а вы сильны!

Тюрбедар (он не только ученый, но и превосходный полемист: он мастерски умеет уклоняться от опасных подробностей, отступая под укрытие надежно забронированных общих мест). Вы по всему миру распространяли клевету на нашу религию. И самая злостная клевета на нас — обвинение в нетерпимости. Неужели ты думаешь,

<sup>1</sup> Улемы (араб.) — мусульманские ученые богословы и правоведа.

что в нашей империи, которой много веков правит калифа, остался бы жив хоть один христианин, если бы мы были нетерпимы? Что сделал в первый год своего правления великий султан, завоевавший Стамбул? Выгнал ли он христиан из своей империи? Молчать? Так вот: он учредил греческое и армянское патриаршества, даровал им власть, свободу, роскошь. А что делали наши в Испании? Они тысячами бросали в море мусульман, чьей родиной была Испания, жгли их на кострах. А кто присылает миссионеров, мы или вы? И крест вы несете сюда только для того, чтобы Багдадская железная дорога и нефтяные концерны давали вам побольше дивидендов.

**Старый шейх.** Солнце алчет власти, луна — светило кроткое, миролюбивое. Тюрбеदार говорит обычные слова, но к тебе, нашему гостю, они не относятся. Ты должен понять, что в наших людях обижает несправедливое отношение к нашей вере. Знаешь, какое слово после имени бога чаще всего употребляется в Коране? Слово «мир»? И знаешь, что говорит десятая сура? «Некогда люди были единой общиной. Потом они разошлись. Но не будь на то господняя воля, они бы решили, из-за чего они не едины». И мы, как и христиане, стремимся к царству единения и любви... И мы тоже не пытаем ненависти к нашим врагам. Да и может ли ненавидеть сердце, которое восприняло бога? Насаждать мир — такова одна из важнейших обязанностей нашего братства, и знай: тюрбеदार, который резок на словах, один из самых ревностных наших поборников мира. Давно, задолго до того как мы о тебе узнали, он помогал изгнанныкам. И он не одинок. Поборники мира есть у нас и среди настоящих воинов... (Знаком подымает к себе пехотного капитана, который сидит на самой дальней скамье, очевидно потому, что он здесь самый младший и неискушенный член ордена.)

Капитан робко садится рядом со старым шейхом. У него большие ласковые глаза и тонкие черты лица, которому солдатскую молодцеватость придают разве что пышные, ухоженные усы.

**Старый шейх.** По нашему повелению ты побывал в армянских лагерях ссыльных.

**Капитан** (обращается к Иоганнесу Лепсиусу). Я офицер штабного полка, приданного штабу корпуса вашего великого соотечественника маршала Гольца-паша. Сердце наши тоже исполнено печали и заботы о его единоверцах-христианах. Но сделать он может очень мало, к тому же только преступив волю военного министра. Я доложил маршалу и получил отпуск для выполнения своей задачи...

**Старый шейх.** И какие места ты обследовал во время своей поездки?

**Капитан.** Большинство лагерей депортированных расположено на берегах Евфрата, между Дейр-эль-Зором и Мескепой. В трех самых больших лагерях я провел несколько дней.

**Старый шейх.** И можешь рассказать нам, что ты там обнаружил?

**Капитан** (косится на Лепсиуса, в глазах его страдание). Мне было бы куда легче молчать перед этим чужестранцем...

**Старый шейх.** Чужестранец должен научиться понимать, что речь идет о позоре, которым покорила себя наша враги! Говори!

**Капитан** (стоит потупившись, не находит слов. Он не в силах описать неопишемое. Бледные, отрывочные фразы не воссоздают запахи и картины, от отражения и к которым у него сжимается горло). Уже наводит поля сражения... На величайшем поле сражения — ничто перед Дейр-эль-Зором... Изобразить это никто не в состоянии.

**Старый шейх.** Что же там самое страшное?

**Капитан.** Это больше не люди... Призраки... Но не людей. Призраки обезьян... Они умирают, но только медленно, потому что едят траву и время от времени получают кусок хлеба... Но самое страшное, что у них нет сил хоронить десятки тысяч трупов... Дейр-эль-Зор — огромный жулик смерти...

**Старый шейх** (после долгой паузы). И какую помощь можно им оказать?

**Капитан.** Помощь? Самым большим для них благодеянием было бы всех их сразу в один день убить... Я обратился с письменным воззванием к нашим братьям... Нам удалось устроить свыше тысячи сирот в турецких и арабских семьях... Но это такая малость...

**Тюрбеदार.** И какие последствия повлечет за собой то, что мы будем заботливо и любовно воспитывать этих детей в наших семьях? Европейцы станут разбираться в клевете на нас, уверять, будто мы детей похищали, разоряем их и бьем.

**Старый шейх.** Это правда, но не имеет значения. (Капитану): Эти несчастные видели я тебе, в турке, только врага или тебе удалось заслужить их доверия?

**Капитан.** В своей бесцеловечивающей отверженности они перестали понимать, кто враг, кто друг... Когда я приходил в такой лагерь, из меня набрызгивались целые толпы... Это большей частью женщины и старики, все — почти голые... Они выли от голода... Женщины искали в навозе моего коня неприкасаемые зёрна овса... От избытка доверия ко мне они чуть не разорвали меня из части... Они нагружали меня поручениями и просьбами, которые я не могу выполнить... Вот, например, это письмо... (Вынимает из кармана грязную записку и показывает Лепсиусу.) Его написал христианский священник, до же вероисповедания, что и ты. Он сидел подле непогребенного трупа жены, который лежал там третий день. Это было непереносимо... Крохотный такой человек, в чем только душа держится... Зовут его Арутюн Нохудян, родом откуда-то с Сирийского побережья. Земляки его бежали на какую-то гору. Я обещал ему передать это письмо его землякам. Но как передать?

Иоганнес Лепсиус (ощепенев от рассказов пехотного капитана, давно перестал ощущать боль в сведенных судорогой ногах. Чахнет на противнику ему записке надписи крупными армянскими буквами: «Священнику Погонулука Тер-Айказуну»). И эта просьба не будет выполнена, как и все другие.

Ага Рифаат Берекет (спрятал свои итарные четки. Легкая фигурка антиохийского старца поворачивается к шейху). Эту просьбу можно выполнить... Я берусь доставить письмо Нохуджана его землякам. Через несколько дней я буду на Сирийском побережье.

Старый шейх (с легкой улыбкой обращается к Лепсиусу). Какой пример промысла божьего! Двум братьям, которые друг другу не знакомы, дано встретиться в большом городе, дабы исполнить желание несчастного человека... Зато и ты теперь будешь нас лучше знать. Вагляни на моего друга, агу Рифаата Берекета из Антиохии! Он уже не во цвете лет, как ты, ему минуло семьдесят. Однако он ездит и хлопочет об армена младет много месяцев подряд, он, правоверный турок! Ради армян он обращался даже к простояк к самому султану и шейху-идель-исламу\*.

Ага Рифаат Берекет. Вожакому моего сердца намерения мои известны. Но, к несчастью, ты очень силен, а мы очень слабы.

Старый шейх. Мы слабы потому, что приспешники Европы отрицают у нашего народа веру. Так оно и есть, как описал нам жестокими словами турбедар. Теперь ты знаешь правду. Зато слабые — не трусы. Не мне судить, грозит ли тебе опасность деятельности в защиту армян. Для аги Рифаата Берекета и капитана она может оказаться чрезвычайно опасной. Если какой-нибудь предатель или правительственный агент доведет на них, они навсегда исчезнут в тюрьме.

Иоганнес Лепсиус (склоняется над рукой шейха Ахмета, но до пощелу дело не доходит, потому что пастор не в состоянии преодолеть стыд и внутреннюю скованность). Благословляю этот час, благословляю брата Незими, который меня сюда привел. Я был утрачен всякую надежду. Но теперь я снова надеюсь, что вопреки всем депортационным лагерям часть армянского народа с вашей помощью уцелеет.

Старый шейх. Это как богу будет угодно... Уговорись с агай, где бы вам встретиться!

Иоганнес Лепсиус. Есть ли возможность спасти мусадарцев?

Турбедар (опять разгневался, так как сочувствие бунтовщикам очень уж претит его османскому сердцу). Пророк говорит: кто свидетельствует перед судьей в пользу предателя, тот сам предатель. Ибо, сознательно или бессознательно, он вносит смуту.

Старый шейх (впервые его покидает присутая ему трезвая расудительность. Он смотрит куда-то в даль, и речь его звучит загадоч-

но безумственно). Может, погибавшие уже вне опасности, а те, что в безопасности, — уже погибли...

Слуга шейха и толстый привратник с кроткими глазами развозят кофе и турецкие сласти, рахат-лукум. Шейх Ахмед протягивает гостю чашечку кофе.

Перед уходом Лепсиус снова пытается завести разговор об армянах. Но безуспешно. Старый шейх холодно отклоняет эту тему всякий раз, как пастор ее затрагивает. Зато ага Рифаат Берекет обещает ничем же вечером навестить пастора в отеле, так как уезжает через полтора суток.

Доктор Незими расстается с пастором у с.раскертата. Прошли сия эту длинную дорогу почти в полном молчании. Турок думает, что пастор потрясен впечатлениями от теке, потому и не находит слов. Тако то оно так, но по другой причине. Голова этого одержимого полым-вола новыми замыслами. Он думает не о единственном довом мире, где провел несколько часов, а только «о брешн, пробитой в сердце страны» и представшей перед ним по внятной случайности. Он снова и снова молча трясет руку Незими, выражая свою благодарность. Но спутника он слушает вполуха. Турок внушает: пусть Лепсиус в ближайшие дни относится с вниманием к различным мелким происшествиям в своей жизни: каждый, кого шейх Ахмед удостоил «испытания сердца», сталкивается с явлениями, которые приобретают особый смысл, если знать, как их «выловить».

Оставив один, Лепсиус, вскидывает глаза на окна резиденции Эверта. Они сверкают в полуденном солнце. Он вскакивает в какую-то пролетку:

— В армянское патриаршество!

Теперь все шпакли мира ему ничто. Он обрушивает свою лежущую энергию на изнеможенного архиепископа. Сколь это ни невероятно, сообщает он, идея его святительства Завеса, оказывается, осуществима. Консервативные турецкие круги тайно помогают армянам, никто по сю пору об этом не знает. Вышние слои общества выказывают неугасимую ненависть к атеистически лидером правительства.

— Пусть же послужит этот огонь на пользу нашему делу...

Католическое умоляющим жестом прикладывает руку к губам:

— Христа ради, не так громко!

Стремительное воображение пастора создает обширный организационный план. Патриаршеству нужно тайно установить связь с большим дервишским орденом и таким образом заложить основу для широко разветвленной организации помощи, которая должна вырасти во внятную организацию спасения. Это послужит импульсом для правоверных мусульман, укрепит их борьбу и вызовет в народе мощное сопротивление против Эверта и Галаата.



Он вступает в длинный спор с ними, который, наконец, его усыплет. Но сон длится недолго. Далеко за полночь его будят глухие раскаты грома. Стекла в рамах странно позванивают. Впрочем, Леспасу знакомо это позванивание: судовой артиллерия англо-французского флота грохочет, ломаясь в ворота Босфора.

Леспасу садится в постели. Рука шарит по стене, ища выключатель. Не находит. И вдруг — страшный укол в сердце. Наказывал же ему Несим, чтобы он внимательно наблюдал за своими дальними впечатлениями! Они, говорил он, могут иметь особое значение. Покушение на Эвера и Талаата! То было не пустым обманом зрения, а вспышкой ясновидения, высказанной ему внутренней силой шейха Ахмеда. Иоганнесу Леспасу хочется закрыть глаза, не смотреть в эту излаченную, богопротивную бездну, что разверзлась перед ним. Глубокий ужас объемлет душу. Было ли дано ему заглянуть в будущее или он поддался темному помыслу, жажде кровопролития?

Грохочет артиллерия, позванивают оконные стекла.

«Вздор, вздор», — вышучивает он себе. Но его смятенная душа догадывается, что отец небесный восстановил справедливость прежде, чем она была нарушена.

## Глава вторая

### УХОД И ВОЗВРАЩЕНИЕ СТЕФАНА

Провожать Гайка и пловцов пришел к северному седлу, едва смеркло, весь народ. Людей привело сюда не только желание проститься с тремя отважными сынами Армении, которые во имя общего спасения шли почти на верную смерть; и не стремление поддержать и утешить добрым словом семьи, терпящие своих сынов в долгу, — больше всего обжигало осажденных какое-то томительное чувство тоски. Улетали три голубя — три посланца надежды, унос с собой от каждого сердца частичку неволи. С этого часа мусаддам даровано было чего-то жалеть, пусть даже это было бы тщетным ожиданием. В этот час не так ощущалось бремя несвободы, угнетавшее народ Муса-дага. Свирепые матроны и те забыли думать о семействе Багратянов, о постигшем его позоре, о том тягостном происшествии, что совсем недавно вызвало бунт добродетельных. Правда, из семьи Багратянов сегодня не было никого, не явился и славный Аюкян, положительный, крайне честный человек; именно он обычно заменял шефа в его отсутствие. Сегодня впервые при таком важном событии среди руководителей не видно было Габриэла Багратяна. Никто, кажется, не пожалел, что нет здесь полковника и победителя в трех больших сражениях с турками, кому единственно и всецело обязан был народ семи деревень тем, что, быть может, еще раз взлет

ел воздух Муса-дага. Правда, Тер-Айкаун и совет уполномоченных без слов одобрили поступок Багратяна, которому было прилюдно нанесено такое оскорбление и который избавил совет от необходимости закрывать глаза на случившееся. Завтра-послезавтра все опять переменится, негодование уступит место равнодушию. Прегрешение французенки в несколько часов превратило наперекор логике завоодило и Габриэла со всеми, что было с ним связано, в подозрительного чужака, назойливо вторгшегося в доверие.

Но излобье всего пришлось Стефану. С какой высоты он упал, и надо же — все в один день! Началось с отказа зачислить его в добровольцы. Он, захвативший вражеские гаубицы, был признан недостойным сопровождать Гайка! Мало того: отец унижал его, высмеял, как неженку, при Искуи, при только-только завоеванных товарищах.

Вполне понятно, что честолюбивый и глубоко увлеченный в своей гордости мальчик не почувал тайного страха за сына в жестоких словах отца, истолковал их лишь как выражение ненависти и презрения. Так отец сам поддал другим сигнал сбросить сына с той высоты, право на которую Стефан так пылко отстаивал. И орва мальчишке не преминула воспользоваться сигналом. Даже одиногий Аюк не сдержал взорадного смеха, когда неудачник ретировался, потеряв выражение.

Но все, может быть, обошлось бы, если бы к вечеру того же дня мама не довершила страшное дело отца. Несмотря на известные Стефану низкие слова, смысл которых он смутно понимал, у него никак не складывалось истинное представление об этом событии; или, точнее сказать, его представления о происшедшем свалились в клубок нестерпимой боли, едва он начинал постигать истину. Тогда он, как бегун, крепко прижимал к груди кулаки, удаляясь, что грудь человека способна вместить столько жгучей муки. Тщеславие и честолюбие умолкли. Осталась лишь эта мука. С отцом он поспорил. Мать потерял, как-то нехорошо потерял, мучительней, чем если бы ее отняла смерть. Час от часу мальчику становилось яснее, что ему нельзя вернуться ни к отцу, ни к матери, хотя все, что еще было в нем детского, страстно молило вернуться. Как ни странно, он считал, что родители уже разошлись, стали чуть ли не врагами. Поэтому, думал он, и нельзя ему к ним вернуться.

Великий замысел Стефана еще не созрел, а мальчик уже решил избежать Трех шатров. Да и мыслимо ли теперь встретиться с моим Гонзого и почевать с ним в одном шатре! В сплетении жгучих мук моего Гонзого был едва ли не самой основной и мучительней нитью. Он заслужил дружбу Стефана, признав его ровней. А теперь в глазах мальчика он — разоблаченный, подлый преступник.

Под вечер Стефан, чтобы разделаться со всеми проблемами, прокрадывается в шейхский шатер и наскоро засовывает все необходи-



мов в свой швейцарский рюкзак. Что бы там ни было, он не намерен больше есть за маминим столом и спать на своей койке. Он хочет жить для себя и по-своему, а сторове от людей, ну, а как жить, он разумеется, не знает.

Он стоит несколько минут перед Жюльеттиной палаткой, а когда которую плотно затянут изнутри шнуром. Ни слова, ни звука оттуда. Лишь мерцающая огонек керосиновой лампы. Рука его уже тянется к палочке от маленького гонга, что висит над входом. Но он преодолевает слабость и бежит прочь со своим рюкзаком, не подавая больше рыданий.

На северном седле он попал на торжественный обряд прощания с Гайком и пловцами. Никто с ним, развенчанным героем, не разговаривает. Люди как-то странно поглядывают на него и отворачиваются. Подчас он слышит за спиной смех, от которого его бросает жар и холод. Когда же он видит ватагу Гайка, он делает большой крик. Он — отверженный.

А Сато важничает, выжигает от гордости после своего триумфа, как видно, потчует ребят галостими рассказами из собственного опыта. В конце концов Стефан протрется за одним из оборонительных сооружений, где его никто не тронет и откуда он может спокойно наблюдать.

Сперва напутствовали благословениями и пожеланиями узды обоим пловцам. Они были протестантами, поэтому краткое словесное прощание сказал Арам Товмасын, а Тер-Айказун лишь перекрестил каждого. Затем вардапет и пастор проводили пловцов через первую траншею и перелез седла до того места, где густо поросший кустарником горный склон поднимается вверх, к северу. Рассеянные облака дыма от дальнего лесного пожара стались здесь тонким слоем, и в нем, точно в растворе, распался на зыбкие пряди тумана сияющий металлическим блеском столб дужного света. И впрямь казалось, будто пловцы и провожавшие вступают в напоенный светом земной мир.

Толпа хлынула было вслед за ними. Но вооруженные дружинники образовали цепь, сквозь которую пропустили только близких и родных пловцов. Открыли обряд прощания самые дальние родичи и крестные матери и отцы. Каждый преподнес маленький подарок на дорогу: остаток табаку, драгоценный кусочек сахара, образец либо ямулет. Священники сделали, чтобы расставание не слишком затянулось, и как только родственники вручили подарки, они тотчас ушли вместе с Тер-Айказуном и Товмасыном.

Остались ненадолго с пловцами только самые близкие. Короткое сдержанное объятие! Сын принадлежит к отцовской руке! В последний раз всхлинув, озвращается мать. В ответ ей почти дедский кивок. И родители уходят.

Все это, как и то, что произошло сейчас, наполнило сердце опустошенного Стефана сладостно-горькой печалью.

Однако пловцы не сразу остались одни: рядом с ними вступили две девушки. Они походили на них, как сестры. Но скорее кого-то были невесты, а может быть, и подруги. Угроза смерти, нависшая над юношами, сама собой сняла узаконенный обычай строгий запрет жениху и невесте оставаться наедине. Обе пары разошлись в разные стороны и стали молча подниматься вверх по склону. Так девушки открыто признали перед людьми свою любовь, которая по всем людским понятиям никогда не завершится счастливым союзом. Даже толпа молчала, несмотря на все свое горе тронутая видом этих двух пар, которые, взявшись за руки, постепенно исчезали в зыбкой, пронизанной светом дымной мгле. Но длилось это недолго, а девушки показались снова, медленно порошью спускаясь с горы.

С напутственным словом к следовавшему в Алепо гонцу обратился Тер-Айказун, благословил его и перекрестил. Прощание с ним было гораздо короче и холоднее. Вдова Шушик, как переселенка, не имела здесь родни, а друзьями и вовсе не обладалась. Люди, как известно, обходили стороной домик кавказской великаниши, стоявший за дороге между Погонолуком и Азиром. Ничего худого о ней никто сказать не мог, однако у нее сложилась малопривятная репутация особы грубой и «не нашей».

К переселенцу коренные жители во всех уголках мира относятся одинаково: переселенец всегда — личность подозрительная. Правда, вдова Шушик до сих пор и сама не пыталась сблизиться с человеком, представленным в армянской долине, но истово работала одна, не щадя своих больших, натруженных рук. Вот почему только Тер-Айказун и пастор Арам сопровождали ее, когда она приносила в жертву единственное свое достоинство — своего Гайка. Вместо отца обжал и благословил мальчика Тер-Айказун и принял от него сыновнее целование руки. Вардапет и Арам Товмасын снабдили девушку деньгами, чтобы он мог, если ему будет грозить смерть, откупиться. Затем они оставили мать с сыном наедине. Но вдова Шушик лишь немножком застенчиво погладила своими тяжелыми руками Гайка по голове и поешшила вслед за священниками. Стефан, однако, заметил, что она не присоединилась к толпе, которая широкими потоками растекалась по домам, а отстала и нерешительно направилась к скальным баррикадам.

Сегодня впервые Габриэл Багратян не дежурил всю ночь с вахтанками северной позиции. Совет на эту ночь доверил пост командующего Чаушу Нурхану Эалеону. К счастью, всякая возможность атаки турок почти исключалась, хотя турецкие части еще стояли на прежних квартирах.

Итак как ранский юзбани, пребывавший на вилле Багратянов, никаких приказов не отдавал, то остатки потрепанных турецких рот

воспользовались этими днями для передышки. Наблюдатели не обнаруживали никаких признаков передвижения, отметили, что на проселке между Вакефом и Кебусе продолжается мирная солдатская жизнь. Дружины и обитатели лагеря были в большей безопасности, чем прежде. Их защищала охваченная пожаром гора Дамладжика. Порой огромный пламя разгоралось, полыхая зарницами, и вокруг становилось светло как днем. Тогда чудилось, будто пожар подступает к северному седлу. На самом же деле он давно наткнулся на неодолимую преграду — выступающий над Битасом скалистый мыс с откосами от него двумя полосами осины. Чувствовала себя надежной защитницей не только гарнизон, но и Нурхан, — он играл в карты с пожилыми бойцами. Люди да и дело были предоставлены самим себе. Все это смахивало на пустынное становище на Южном бастоне. Ежеминутно кто-нибудь из часовых покидал пост, чтобы тоже поработать с товарищами. Командующий, с которым вообще-то шутки были плохи, смотрел выне сквозь пальцы даже на то, что бойцы, нарушив один из строжайших запретов, разогнали из хвороста костер. Так ощутимо недоставало Габриэла Багратяна, сочетавшего авторитет с неприступностью и пронзительную доброту с умением всюду вносить чистоту и порядок.

Шум голосов и полыхавшее пламя костров позволили Стефану быстро азобраться на противоположный склон горы; его не увидели и не окликали. Он торопился, Гайк наверняка ушел уже далеко вперед. Сын Багратяна бежал изо всех сил. Рюкзак был не очень тяжел: пять коробок сардин, несколько плиток шоколада, двести пачки печенья, немного белья. Забытый отцом в палатке термос он попросил Кристофора наполнить вином. Это да еще одеяло — вот и все его снаряжение, если не считать «Кодак» — Стефан не мог оставить себя расстаться с ним, прочитанным рождественским подарком, полученным в Париже, хоть пленки у него кончились. Это еще говорило о нем детство. Зато он раздумал оставить одну из винтовок, составленных в козлы, потому что Гайк тоже не взял с собой оружия.

За несколько минут Стефан достиг противоположной вершины северного седла. Перед мальчиком раскинулась длинная и просторная поляна, по которой — о, как давно миновала та ночь! — с диким грохотом и суетой втаскивали тогда на Дамладжик турецкие гаубицы. Он хотел было пуститься бегом, догнать Гайка и длинной ложинке прежде, чем он скроется в непроходимой чаще. Его вдруг охватила паника: что, если ему вовсе не догнать скорохода? Но не успев он рвануться вперед, как его приковала к месту и заставила смириться за куст представлявшая в нескольких шагах от него некая сцена.

Под ушербиной луной, не расчленив более туманною дымкой, очень прямо и недвижно сидела вдова Шушик. Ее длинные ноги под раскинувшимся подолом, ее увеличенная лунным светом тень занимали немалый кусок мусадаской земли. А сын ее, Гайк, который и

сам был долговым и рослым, припал к матери, как грудной младенец. Он подулелал на коленях Шушик, прижались лицом к ее груди. В белесых крапихах лунного света чудилось, будто женщина обнажила грудь, чтобы напоследок еще раз напоить собой это большое дитя. А Гайк, холодный, насмешливый армянский мальчишка, сейчас, кажется, хотел бы раствориться в материнском теле. Дышал он прерывисто, часто всхлипывал. Но и у великанши юрой широким сдвоенным стоном, когда она проводила рукой по телу этого отданного на закланье ребенка.

Стефан стоял в своей засаде окаменелый от мучительного страдания. Он стыдился роли невольного соглядатая и все же не мог нагадеться. Когда же Гайк вдруг вскочил и помог матери встать, его самого точно ножом полосуло.

Сын вдовы Шушик произнес еще как-то слова утешения, затем сказал: «А теперь иди!»

И дикарка Шушик мгновенно послушалась, избавив себя и мальчика от муки прощального объятия. Она неуклюже, торопливо вошла в ночь.

Гайк не двигаясь смотрел ей след. А когда она оглянулась, лицо его исказила боль, но он не помахал ей рукой. И все же, едва большая тень матери исчезла, он вдохнул с облегчением и медленно двинулся в путь. Стефан выжидал в своем тайнике, хотел дать Гайку уйти немного вперед. Пусть будущий его спутник успеет позабыть о расставании, прежде чем Стефан его нагонит. Но юный Багратяна не принял в расчет Акопа. Белокурый хромоножка, «кингоед», славный парнишка целый день маялся, терзаемый угрызениями совести из-за Стефана. Ведь и он насмеялся над другом. (Изгон, люди отверженные, а к ним принадлежат и калеки, редко способны отказать себе в удовольствии позлорадствовать над «благородным» — пусть даже он друг, — если его принизили до их уровня.) Правда, Акоп пытался искупить свое предательство во время травмы Стефана, но теперь ему этого было мало. Сейчас больше, чем раскаяние, мучила его тревога. Он предвидел все. Со свойственной ему звериной уверливостью он облизал и исходил на своей деревушке Котловину города и все излюбленные места ватаги. Несколько часов подряд он разыскивал Стефана. Дерзнул даже подсматривать в щелку приоткрывшейся занавеси в шатер Жюльетты-ханум. И теперь вот не выходила из головы та до странности волюющая картина: белая женщина, простертая на кровати как мертвая, а подле стоит командующий, не сводит с нее застывших глаз, будто уснул. Когда же Акоп во время торжественных проводов гонимой приметил за кустом Багратянова сына с рюкзаком, предчувствие его превратилось в уверенность. Задышав от напряжения, он вцепился в Стефана:

— Тебе нельзя! Ты должен оставаться здесь!

Стефан грубо отшвырнул его на землю:

— Ты — сволочь. Я не желаю иметь с тобой дело!  
Сын Габриэла был не из отходчивых. Но Акол обхватил руками его ноги:

— Ты не уйдешь! Я не допущу! Ты останешься здесь!

— Пусти меня, не то я лну тебя ногой в лицо!

Калека дотянулся до Стефана и в отчаянии зашептал:

— Ты обязан остаться! Твоя мать больна. Ты ведь еще не знаешь...

Однако и это не помогло. Стефан сперва опешил, потом скривил губы:

— Я ничем не могу ей помочь.

Акол отпирнул.

— Знаешь ли ты, что никогда сюда не вернешься, никогда больше не увидишь ее...

С минуту Стефан стоял потупясь, потом повернулся и бросился вдогонку за Гайком. За его спиной Акол, задыхаясь, твердил:

— Я закричу... Разбужу всех... Пускай заругают тебя... Ох, господи, я закричу...

И он действительно закричал. Но голос у Акола был слабый, хватило его только, чтобы настичь и остановить Гайка, который и ста метров не успел пробежать. Бегун обернулся и замер на месте. Стефан кинулся к нему, по пятам за Стефаном бежал Акол. Оперевая Акола, его голос, Стефан кричал на ходу:

— Гайк, я иду с тобой!

Последней народа дал обним подойти поближе. Затем сощурился, смерил суровым взглядом Стефана:

— Зачем вы меня задерживаете? Каждая минута дорога.

Стефан решительно сжал кулаки:

— Я пойду с тобою в Алеппо!

Гайк вырезал себе палку. Сейчас он держал ее вытянув перед собой как оружие, чтобы помешать непрошеному попутчику подойти чересчур близко.

— Совет уполномоченных поручил это мне, и Тер-Айказун меня благословил на это дело, тебе ничего не поручали и никто тебя не благословлял.

Акол — в присутствии Гайка он всегда робел и даже лебезил перед ним — угодливо подхватил:

— Тебе ничего не поручали и никто тебя не благословлял. Тебе это запрещено!

Стефан ухватился за конец палки и стиснул ее. — это было как рукопожатие.

— Хватит места и для тебя и для меня.

— Не о тебе и не обо мне речь, а о письме, я должен передать его консулу Джексону.

Стефан торжествующе похлопал себя по карману:

— Я списал письмо Джексону. Два лучше, чем одно.

Гайк ткнул палкой в землю, как бы давая понять, что разговор окончен.

— Опять хочешь быть умнее всех?

Акол слово в слово продекламировал и это. Но Стефан не отступал.

— Делай что хочешь! Места хватит. Ты не можешь помешать мне пойти в Алеппо.

— Но ты можешь помешать письму дойти до Алеппо.

— Я ходок не хуже тебя!

В голосе Гайка зазвучала та высокомерная нота, что так часто выводила Стефана из себя:

— Опять пыль в глаза пускаешь?

После всех нанесенных ему сегодня ран это было Стефану уже не под силу. Он сел на землю и закрыл лицо руками. Но Гайк дал волю своему презрению:

— Хочет в Алеппо идти, а уже ноянь распустил.

Стефан, рыдая, проговорил:

— Я не могу туда вернуться... Иисусе Христе... Я... не могу... куда...

То ли Гайк понял, что происходит сейчас со Стефаном, то ли вспомнил о своей матери, а может, ему захотелось не быть совсем одному в пути. Кто знает? Так или иначе, он смягчился, даже повторил слова Стефана:

— Ты прав, места хватит. Никто не может тебе помешать...

Но Акол, собравшись с духом, сделал отчаянную попытку:

— Я! Я помешаю! Да я, ей-богу, сам донесу на него!

Это глупое слово «дону» все решило. Оно пришло Гайку в ярьсть. При всей своей серьезности и ранней зрелости он еще хранил в памяти законы школьной мальчишеской чести, которые на всем свете одинаковы. «Ябед», всякое доносительство, какой бы цели оно ни служило, согласно этим законам — непростительное преступление. С повинные поразительным бездушием Гайк обрушился на калеку:

— Дونهешь? Попробуй только! Но прежде я так тебе разделаю другую ногу, что ты и домой не доплывешь.

Акол в ужасе отпирнул. Он знал, какой Гайк, имевший обыкновенно подкреплять свои угрозы кулаками. Спротивление «белобрысого» — Гайк терпеть не мог Акола — дало повод проявиться его тираннической натуре, и дело обернулось в пользу Стефана. И Гайк задал Стефану трезвый вопрос:

— Хватит у тебя еды на пять дней? Столько времени нужно на дорогу, если все обойдется.

Стефан гордо похлопал по своему рюкзаку, словно с избытком запаса для дальнего похода. Гайк не стал его проверять и коротко скончался:

— А теперь марш! Я и так из-за вас столько времени потерял.

Он широко шагнул вперед, не оглянувшись на Стефана, который следовал за ним по пятам. Гайк, выходя, не взял с собою Багратянова сына, только терпел его присутствие, потому что в этих непроходимых ночью горах и правда «места хватало».

Акоп растерянно смотрел, как за ближайшей кручей, залитой лунным светом, исчезали «посланец и «нарушитель». Потом он почти час ковылял до своего дома в Котловине города. Камнем лежал на сердце безумный побег Стефана. Акопу вспоминалась куда более непонятная шалость, вылазка за Библией Искуи, а ведь как ужасно могла бы окончиться тогда эта выходка!

Что делать? В шалаше, отведенном его семье, почти все уже спали. Хриплым спросоном голосом отец обругал его за поздний приход.

Акоп не раздеваясь бросился на свою дюймовку и усталился в приятной потолок шалаша, пропускавший, как сквозь тонкое сито, лунный свет. Он еще не спал, когда глубокой ночью семью разбудила Самвел Аваки. Бедняга Акоп тотчас все рассказал и повел Габриэла Багратяна, Кристофора, Авакиана и других мужчин, вызвавшихся помочь Габриэлу, к тому месту, где он оставил Гайка со Стефаном. За бедепом немедленно отрядили погоню. Но Багратян с Геворком «пласуюном» вернулись на рассвете ни с чем, так же как и другие. Мальчики, как видно, ушли уже очень далеко. Вдобавок Гайк предпочел идти не предложенной ему дорогой, а довериться своему безошибочному чутью.

Пока пловцы, срезав мыс Рас-эль-Ханзар, спокойно и уверенно шли короткой дорогой к приморскому местечку Арзусу, два мальчика всю ночь напролет одолевали бесконечно утомительные подъемы и спуски горной цепи.

Гайку было приказано держаться безопасного горного хребта, пока он не достигнет южного конца Бейланской долины. Если же он затем у Кирк-хана выберется на равнину, то пускай все время идет вдоль большого шоссе, которое ведет через Хаммам в Алеппо. На кукурузных полях, где урожай уже собран, и в выжженной степи он может лунными августовскими ночами спокойно продвигаться вперед и в случае опасности легко найдет укрытие. Но вблизи большого города он должен будет выйти на военную дорогу и вскопичить в какую-нибудь крестьянскую повозку, нагруженную кукурузными початками или лакричным корнем. Таким способом он, бог даст, проскользнет в город мимо часовых у городской заставы. Но что бы там ни было, письмо к мистеру Джексоу никоим образом не должно быть обнаружено при нем.

Гайк в точности изложил своему спутнику задачу и, не щадя красок, описал опасности и трудности, что ждут их на равнине. Здесь же, в безлюдных горах, все покамест только детская игра. После

часа ходьбы пастушья тропа, от которой Гайк не отклонялся, хоть и не видел ее, пошла немного под уклоном, к долине. Посланец народа остановился и сделал Стефану последнее предупреждение:

— Ну вот, у тебя есть еще время вернуться. Ты не заблудишься. Обознуй, как тебе быть! Потом нельзя будет.

Стефан сердито отмахнулся. Но в сердце его вкралось сомнение. Причины ухода вдруг показались ему не очень убедительными.

Гайк кивнул на Дамладжк; далекое красноватое зарево говорило, что лесной пожар продолжается.

— Ты туда не вернешься и никого из них больше не увидишь...

Сын Багратяна никак не мог признать в своем истинном и тайном желании. Стефан скорее бы умер, чем выказал бы слабость перед Гайком. Охваченный смущением и стыдом, он вынул из кармана карту местности, которая прежде висела в кабинете дяди Аветяна, и сделал вид, будто всерьез изучает при ярком лунном свете их местонахождение. Гайк разозлился, что он «эфасон ломает», вынул карту у него из рук и больше не расточал благих советов. В виду гордую Стефан решил доказать, что сильнее его как холок. Он перешел на бешено скорый аллюр, наврпг все мышцы, чтобы вымотать спутника. А тот и не думал поддаваться, не взял навязанный Стефаном бессмысленный темп. Внезапно Стефан с ужасом заметил, что остался один. Он не только не доказал свое превосходство, но заблудился и сам ни за что бы не выбрался из обступившей его чащобы. Сердце его колотилось, но он не смел позвать Гайка. Когда же через какие-то бесконечные минуты из-за стены кустарника вынырнула высветленная лунной фигурой Гайка, нимало не озабоченного участью скорохода-самозванца, Стефан постарался скрыть свой постыдный опыт и молча присоединился к сильнейшему. Так навсегда кончилась борьба за первенство. Вскоре они очутились в узкой долине. По правую руку от них простиралось большое селение Сандеран. Огни там, слава богу, были погашены. И лишь одинокий голос гуисаво жадно взбитую мелодию. Жутко было пробираться через это обжитое и таинное в себе селение. Они едва унесли ноги от диких собак Сандерана, псы преследовали армянских мальчиков до самой околицы. С поразительной уверенностью Гайк снова нашел пастушью тропу, которая вела на северо-восток, в горы. Они опять пошли редким лиственным лесом, залитым лунным сиянием. Стефаном вдруг завладело манившее вдалеке свежее обаяние ночи. Он забыл об остром. Его так и подмигивало петь, кричать от радости. Усталость? Разве она бывает?

После восхода солнца они, хотя много раз делали привал, прошли около десяти миль и достигли места, где горы саускаются к северу широкими лесистыми террасами. Стефану с его картой это ничего не сказало. А Гайк сразу определил нужное направление.

— Нам туда, Бейлан там!

Он всецело полагался на свое чутье, хотя только раз ездил с

матерью в Бейлан и Александретту, к тому же верхом на осле и совсем другой дорогой — вдоль побережья. И теперь он, довольный, сказал, что надо найти место, где бы можно поспать, восток и до подудия чуть-чуть передохнуть. Тут не разоснившись, что поделаешь, иначе нельзя! Гайку не понадобилось долго разглядывать местность, он сразу нашел теневую лужайку с мягкой травой и ручьем. Впрочем, для этого не требовалось быть колдуним — окрестности Мусадга с их водоносной почвой изобилуют родниками и ручьями. Гайку, который безошибочно, можно сказать всей кожей, отзывался на скрытые свойства любого клочка земли, на малейшие перепады температуры, изменения растительности и приближение зверя, — Гайку смехотворной малостью казалось умение найти воду.

Мальчишка расположился у русла ручья, который так кстати образовал маленькую водомоину. Сначала они утоляли жажду. Затем дитя цивилизации извлекло из своего рюкзака кусок мыла и стало — к удивлению Гайки — наводить на себя чистоту. Гайк с язвительной серьезностью наблюдал за этим явно излишним занятием. Когда же Стефан помылся, Гайк блаженно погрузил ноги в холодную водомоину, — как-никак, ноги-то самое главное!

Потом они с мальчишеским азартом стали меняться съестными припасами. Вдова Шушик дала сыну на дорогу три круга колбасы из мелко рубленной баранины и жира с луком, а кроме того, твердый как камень, бог весть где раздобытый хлеб. Утайка хлеба, мучных изделий и круп считалась в Дамладжке большим преступлением и каралась многодневным лишением рациона. Однако в шалашах таинственным образом появлялись подобные сокровища, и происхождение их оставалось загадкой. Старая история: никакое установленное рacionamento, даже строжайшее, не в состоянии остановить творческой жизненной энергии, которая из ничего создает невозможное.

Было нечто символическое в том, что Стефан менял на баранью колбасу с лепешкой французские сардины в оливковом масле, швейцарский шоколад, диковинные деликатесы, самое название которых вряд ли было известно Гайку. Мальчишка не умерял свой аппетит, но задумывался о завтрашнем дне. Вдруг Гайк убрал свою еду и посоветовал Стефану:

— Ты лучше попей воды, а еду побереги.

Так и поступали: выпали, черная алюминиевым колпаком термоса уйму родниковой воды, к которой Стефан подливал свое вино. Он чувствовал себя так привольно, будто участвовал в веселой канкулярной прогулке, а не шел вместе с другим сыном Армении в огромный безжалостный город выполнять смертельно опасное задание, на который не имел ни права, ни полномочий. Казалось, вся боль безвозвратно осталась на Дамладжке.

Какая же это было сокровенно трепетная радость — после ночи

похода жить как человек в этом бесхитростно добром утреннем мире! Стефан подложил под голову свернутое одеяло. А рассветная разь мало-помалу разливалась теплом.

Он еще раз приподнялся и по-детски спросил:

— А дикие звери сюда не придут?

Гайк важно положил рядом с собою свой широкий обоюдоострый нож.

— Со мной тебе нечего бояться. Я, даже когда сплю, все вижу.

И Стефан не боялся! Вот ведь какой надежный сторож Гайк — даже когда спит.

Ни к кому еще не чувствовал Стефан такого самозабвенного доверия, как к этому грубому пареньку, чьего одобрения он всегда так страстно добивался. Теперь он безоговорочно покорился ему как вожаку. Засыпая, он вшарил рукой, проверил, на месте ли друг.

— Теперь нам надо сделать тарбузи, — объявил, проснувшись, Гайк, — чтобы на нас не слишком обращали внимание, если нам встретятся люди.

Он свил с себя агил — свернутый жгутом платок, которым подпоясываются, развернул и поваял его по всем правилам искусства вокруг своей войлочной шапки. У Стефана дело не клеилось, и Гайк помог ему соорудить из его шарфа головной убор пророка. И попутно наставил ему неопытного сотоварища:

— Если что случится, ты во всем подражай мне. А самое лучшее — держи язык за зубами.

Перепалая за поодевье. Между верхушками букв и дубов проглядывало пронизанное золотом лучей небо, в котором парили хищные птицы. Больше шести часов мальчишка был в дороге. Впрочем, слово «дорога» преувеличение, потому что пастушья тропка нигде больше не показывалась и ребята шли попросту наарядом по водоотводным канавам, ведь кому как не им вывести в долину. Слово «наародом» здесь самое подходящее — каждый шаг в этом месте затруднял вьющиеся растения, густой креский подлесок, чаща кустарников, твердых и упрутых как резина и вдобавок оснащенных острыми шипами, точно колючая проволока. Просто не вообразить, сколько террас и каменных круч предстояло одолеть ребятам. Горы будто нарочно придумывали новые утертки, лишь бы не признавались, что и они где-нибудь кончатся.

На Стефана живого места не осталось. Руки, колени, ноги были сплошь в ранах и ссадинах. Он не проронил ни слова за много часов, ни разу не пожаловался.

Сейчас они сидели на безлесном холме, а перед ними тянулась белая, словно из известки, горная дорога на Бейлан, с виду она была совсем новой, нехоженая. Кучи свежего шебья гонорили, что здесь ведутся работы.

И действительно, постройка этой дороги, соединявшей порт Алек-

саядретту с равнины Алеппо, а тем самым — Средиземное море со всею Азией, дала возможность диктатору Сирии Джемалю-паше проявить свою безграничную власть и энергию. Безжалостный генерал повелел за один месяц превратить эту болотистую, непроезжую дорогу в безукоризненно ровное, первоклассное бетонированное шоссе; и такое шоссе было проложено, так что сами турки изумались тому, какой в них, оказывается, непочатый край энергии.

В этом месте дорога сворачивала на восток. Проматривалась только малый ее отрезок, но в поле зрения не было ни души, ни одной повозки, лишь порой перемахнет через белую ленту заяц или белка. С тоской смотрел Стефан вниз, на запретный проторенный путь. Но и Гайк оказался слаб, не устоял перед соблазном. Не предупредив Стефана о своем отчаянно рискованном шаге, он искочил и помчался под откос. И едва почувствовав под ногами гладкую поверхность, она испытала физическое наслаждение: такое бывает, когда утоляешь жажду.

Стефан ощутил новый прилив гордости, прилив сил. Он не отставал от Гайка. Постепенно справа и слева вставали более отвесные вершины. Дорога превращалась в ущелье, теснину. Странное дело: это давало ощущение безопасности, а с ним и беззаботности. Позднее горы немного раздвинулись, дорога пошла круто вниз. Еще один поворот — и перед ними открывается равнина. Непроизвольно покоряясь уклону дороги, они стремились навстречу гибели, потому что, как только мальчишки миновали ее изгиб, перед ними открылась не равнина, а турецкая караульная будка, над которой развевался флаг с полумесяцем. Перед караульной слонялись без дела четверо отаргательных запняев. А на обочинах работало, вооруженное лопатами и ломом, подразделение ишшаат табури.

Усталость притупила все чувства, и мальчишки не услышали ни шума работ, ни заунывного пения солдат военно-строительного батальона.

Испуг и изумление их были так велики, что сам Гайк оцепенел, с полминуты стоя неподвижно. Опомившись, он схватил Стефана за руку и бросился вместе с ним бежать. Они ринулись в рошу за поворотом шоссе.

К несчастью, здесь не оказалось ни скал, ни кустарников, только тонкие молодые деревца, буковая поросль, где мудрено было укрыться. Гора полого поднималась вверх. Куда? Внутренним зрением Гайк увидел, как один из запняев вытянул шею, приложил руку шпитком ко лбу, пристально всматриваясь вглубь, потом что-то горланко крикнул и вместе со всей командой пустился за ними в погоню. И кто не было только кошмарным сном наяву: слышны были голоса! Под ногами турок шуршала опавшая листва. Стефан зажмурился и крепко прижался к Гайку. А он обнял его левой рукой, в правой держал свой раскрытый обоюдоострый нож — готовность умереть.

Но то не листья шуршали, то был шепот, кто-то шептал им, при- том не по-турецки, а по-армянски:

— Ребята, ребята! Где вы? Не бойтесь!

Словно с того света звучала армянская речь. Когда Стефан открыл глаза, он увидел, что между стволами бучок пробирается оборванный солдат строительного батальона. Живой труп с всклокоченными волосами и огромными глазами. Точь-в-точь Саркис Килеши! Гайк успокоился, спрятал нож. Голова мостильщика дрожала от волнения:

— Ты, часом, не сын большой Шушик, у нее еще дом на дороге в Поголдук? Не узнаешь меня?

Гайк, недоверчиво косясь на жалкий скелет в лохмотьях, подошел к нему поближе.

— Ваган Меликени из Азра, — неуверенно, словно наугад называя имя, сказал он.

Солдат стройбата закивал, и по шестинишным щекам в ключкопную бороду побежали слезы. Его потрясла встреча с юными земляками.

Гайк правильно назвал его имя. Но что общего было у этого оборванца с настоящим Меликениси, тутоподом, самонадеянном, вливым мужчиной, с которым Гайк встречался каждый день?

А Меликени в отчаянии воздел руки:

— Вы что, с ума сошли? Чего вы здесь не видали? Слава Христу спасителю, что обманял вас не заметил! Вчера они вон там, за поворотом, расстреляли пятерых армян, целую семью, которая пробиралась в Александретту.

Гайк уже вполне овладел собой и с сознанием своего достоинства рассказал о поручении, возложенном на него советом.

Меликени пришел в ужас:

— Дорога до самого Хаммама заполнена ишшаат табури. И в ламмам вчера прибыли две роты, их вошлот на Дамаладж. Обойти их вы можете только ночью, болотами Ак-Деннза. Но там вы увидите.

— Не увязнем, Меликени, — кратко и уверенно ответил Гайк и потребовал от земляка показать кратчайшую дорогу на равнину.

Ваган Меликени застал:

— Если они меня хватятся, если я опоздаю на перекличку, я молчу бастанду третьей степени. А может, они меня и расстреляют... Ну и пускай, плевать я хотел! Вы, ребята, вонятия не вместе, до чего мне все опостыдело. Ах, если бы я пошел с вашими на Мусалаг, а не с нашим дастором, с Иохудимом! Ваши толково рассудили. Помогай им Христос! Нам он не помог.

Ваган Меликени не на шутку рисковал жизнью, взявшись показать ребятам обходный путь. Правда, им пришлось одолеть короткую и сравнительно легкую дорогу лесом. Белдым тутовод говорил без умолку — не то хотел собрать воедино всю сокровищницу утра-



ценных слов, не то спешил расточить их, пока не настал кошмар, кажется, он не так стремился узнать о событиях на Муса-даге, не поведать о собственной судьбе. Так Гайк и Стефан узнали, что спало с группой Нохудана. В Антвонии всех трудоспособных мужчин отделили от эшелона и послали в Хаммам на дорожное строительство. Женщин, детей, стариков и больных заставляли идти пешком в направлении к Евфрату. Что до армянского иншаат табури, то это особая статья. Каждое подразделение прикрепляется к определенному участку дороги и обязано обработать его в указанный срок. Если только обнashi докладывают, что задание выполнено, подразделение созывают барабанным боем, ведут в ближайший лес и там специальный, набивший в этом деле руку отряд беглым огнем укладывает его поголовно всех армян.

— Наш участок доходит до Топ-Богсахи, — деловито высчитывал Меликенц. — Это еще сорок шагов. В общем и целом получится шесть или семь дней, если работать с умом. А там наш черед. Слава богу, ежели они меня нынче расстреляют, я теряю только шесть, а силы семь дней.

Несмотря на этот простой расчет, Ваган Меликенц, проводя ребят до нужного места, бежал обратно не чуя под собой ног. Шесть дней этой страшной жизни была как-никак днями жизни. Прощаясь, он сунул в руку Гайку ком густого турецкого меда, подаренного одной сердобольной мусульманкой.

Надвинулись ржаво-красные вечерние сумерки, когда мальчики стояли на последней, нижней террасе горного склона.

Перед ними вплоть до самого горизонта простиралась равнина. У своих ног они увидели большое озеро. На матово-молочной безмятежной глади его лежало тусклое отражение вечера. Это было Антвонийское озеро, его удавалось иногда увидеть с некоторых наблюдательных пунктов Дамладжика. Но здесь перед ними совсем близкоручкой подать — было «белое море», Ак-Дениз. Северный берег озер широкой каймой оторочили заросли камыша, в которых бурлила, хлопала, стояла жизнь. Из камышей, неуклюже взметнувшись кверху, взмывали серебристые и пурпурные цапли; они кружили над озером, глядя, грациозно вытанули лапки, точно плыви в кильватерной колонне стаи. Затем снова медленно опускались вниз, к насаженым местам. По белой воде, громко крикая, с быстротой горнеды прыгали косяк диких уток и высидели на островке в камышах. Из слуха ребят доносилось множество звуков: сварливо переругивались болотные овсянки и разглагольствуют совсем по-людски — едят и не о политике — тысячи огромных, надутых лягушек. Колько камышовых зарослей вокруг Ак-Дениза лишь постепенно терялось вдаль на равнине. Куда ни глянь, все те же густые кусты кустарника и иногда омуты — слепые глаза, подернутые бельмами. По сравнению с пустынной степью эта теснившаяся вокруг озера жизнь казалась

ракалуи, чрезмерной. Озеро походило на труп скачущего зверя, которым кормятся разнообразнейшие естествознания.

В поле зрения Стефана вмещалось только озеро, но зоркий глаз Гайка тотчас приметил шатры кочевников, рассеянные на востоке, и дощалай, которые паслись, понурив головы, в туманной дымной простоте.

Гайк, никогда не забывавший о цели похода, показав рукой вдали: — Нам туда. Между шоссе и болотами, Двинемся, когда взойдет луна. Давай свою флягу. Я принесу воды. Здесь она еще хорошая. Нам надо выжить много воды. А пока можешь поспать.

Но Стефан не лег спать, он подождал, пока его вожатый вернется с наполненными водой флягами. Он послушно пла сколько мог. О где они оба и не думали. Гайк разостлал свое одеяло так, чтобы можно было в него завернуться. Стефан подполз к нему. Сейчас ему было мало того прохладного соседства с Гайком, каким он довольствовался раньше, на рассвете, когда они спали рядом. Он не мог побороть пагубному страхом жажду любви и дружбы. И что же? Гайк его понял. Гайк был не тот, что прежде, холодный и замкнутый. Гайк его не оттолкнул. А может, душевная близость с сыном Багратца не так уж была ему неприятна. Он притянул Стефана к себе и, словно старший брат, укутал одеялом. Они уснули обнявшись.

Стефан и Гайк вышли на равнину. И тут сверх всякого ожидания открылось, что ущельистый, сверкающий Муса-даг гораздо удобней для пешехода, чем эта обширная плоскость, называвшаяся Эль-Анк — Впадина. Коварно зыбучая, покрытая зеленовато-коричневой коркой плаща уже сама по себе была враждебной, совсем не христианской землей.

Нужно было обладать остротой мысли и почти звериным знанием природы, присущими Гайку, чтобы отважиться на переход по такой дороге, да еще ночью. Ведь Эль-Анк была не что иное, как толкая яма, болото длиной около десяти километров, и обходить его надо было, не отклоняясь, по самой его кромке. Лишь у немногих пастухов, крестьян и кочевников хватало бы духу укоротить таким способом путь, чтобы избежать длинного перехода по шоссе до моста Кара-Су. Но у мальчиков не было выбора — сказал же Ваган Меликенц, что по всему шоссе расставлены солдаты, залтин и иншаат табури. Гайк снял башмаки, потому что «босиком лучше землю распробуешь». Стефан последовал его примеру. Как нам уже известно, у него давно пропала охота шеголать своими достиженьями. Они шли словно по очень тонкой, очень теплой корке хлеба, под которой еще бродил недопеченный мякиш.

Корка эта вся растрескалась, и из трещин поднимались густые серебристые испарения. У Стефана хватило ума идти след в след за Гайком, который, сосредоточив все свое внимание, переставлял ноги

точно танцор, делающий подожженные па. И во время этого танца в голове у Стефана начался сумбур, заколородили какие-то чудные неотвязные мысли:

— Все люди ходят по шоссе. А нам почему нельзя? И вообще, почему мы армяне?

Гайк сердито оборвал:

— Не задавай дурацких вопросов! Смотри лучше под ноги. Где земля зеленая, туда не ступай. Понял?

Тогда Стефан решил снова погрузиться в ту душевную тупость, которая лучше всего помогает переносить физические страдания. Он покорно вытанцовывал все па Гайка, который выписывал на опасной хлебной корке самые замысловатые фигуры. И так час, два часа, а луна в это время то лобзано выглядывала, то коварно пряталась. Однако, несмотря на оставшийся позади огромный пройденный путь, усталость Стефана с наступлением ночи, казалось, пошла на убыль. Подумавши и почувствовав, словно подточенные воды, вновь с болью просачивались в мозг. Это было непреодолимо, требовало себе выхода. Он должен был говорить, как ни боялся Гайка.

— Так это правда, что мы никогда больше не увидим наших? — Более истинного определения родных Стефан изгегал.

Гайк не прерывал своего фигурного танца над топью. Прошло некоторое время, пока он, выбравшись на более надежную почву, ответил. Однако ответ его, хоть и проникнутый истинно христианской верой, больше смахивал на удар кулаком, нежели на сложенные молитвенно руки:

— Я-то наверняка увижу свою мать!

Это было первое личное признание, услышанное из уст Гайка за все время их знакомства. Но так как ученику парижской гимназии не дана была эта крепкая вера, какой обладал грубый мальчишкорец, то он оробел и смутился:

— Но ведь на Дамладжк мы не можем вернуться...

По тому, как, еле сдерживая себя, ворчливо отвечал Гайк, заметно было, что ему донельзя противен этот разговор:

— Дамладжк уже позади. И коли Христос пожелает, мы дойдем живые до Алешпо. А там Джексон спрячет нас в консульстве... Так написано в письме...

И с оскорбительной интонацией прибавил:

— О тебе, конечно, в письме ничего не написано.

Но Стефан был сейчас занят вовсе не своей особой, а папой и мамой, которых он так безрассудно бросил; почему бросил— он уже и сам не знал. Вся жизнь как-то странно сместилась: Дамладжк стал страшной фантазматической, а все прошлое—подлинной, добротной з благоустроенной действительностью. Джексон должен сделать все, чтобы исправить это недоразумение. Нельзя же допустить, чтобы Стефан Багратян не свиделся с родителями. Он приводил всевозмож-

ные соображения в пользу этого, как бы размышляя за консула Джексона.

— Джексон телеграфирует по кабелю. В Америку-то можно ведь телеграфировать по кабелю? Как ты думаешь, американцы пришлют суда за нашими?

— Я-то почему знаю, балда!

Гайк ускорил шаг— видно было, что злитесь. Запуганному Стефану пришлось подавить свое желание открыть душу, и он поторошился, чтобы не отстать от вожака.

Было безветренно, но Стефану казалось, будто об его грудь разбиваются бушующие воздушные валы и не пускают вперед. Как он ни старался, он не мог разобраться во всей этой истории и сладить с собой. Голова у него пошла крутом. Внезапно мощное дыхание лунного света заволокло мир. На Стефана увал изумрудный луч. На какой-то миг он перестал сознавать, как близка опасность.

Душераздирающий вопль приковал Гайка к месту. Он сразу понял, что произошло. Призрачный силуэт Стефана барахтался в трясине, он увяз уже по колени. Гайк прошептал:

— Тише! Да не кричи ты!

Но безотчетный страх снова и снова исторгал этот неудержимый крик. Стефану чудилось, будто он попал в пасть китообразного чудовища и оно, чавкая, медленно перемазывает его челястями и заглатывает. Пузыристая, вязкая масса поднялась выше колен. Но в те секунды, когда Стефан переставал сопротивляться, он — всему вопреки — испытывал странную приятность.

Гайк скомандовал:

— Сперва одну ногу! Правую! Правую ногу!

Боязливо постанывая, Стефан делал какие-то несурзные движения. Бессильные ноги не повиновались. Он услышал новый резкий крик:

— Лечь на живот!

Он покорно нагнулся, так что мог кончиками пальцев коснуться сухой земли. Когда же Гайк увидел, что у Стефана не хватает энергии выкарабкаться, он подполз на животе к кромке трясины. Но и протянутая палка, за которую ухватился уязвивший Стефан, не прибавляла ему сил. Тогда Гайк размотал свой платок-подпояску, служивший теперь турбаном, и бросил Стефану, чтобы тот завязал его узлом вокруг груди. Другой конец платка он с железной силой сжимал в руке. Платок служил сейчас спасательным канатом. Наконец, после бесчисленных попыток Стефану удалось вытянуть правую ногу — она не так глубоко увязла. Прошло добрых полчаса, пока Стефан передохнул и снова, еще нетердо держась на ногах, ступил на коварную почву: Гайк вел его за руку. Стефан был по самую грудь покрыт тиной; на воздухе она быстро сохла и, превращаясь в крепкую корку, стягивала кожу на руках и ногах. По счастью, Стефан сунул башма-

ки в рюкзак и, сражаясь с трясиной, успел забросить его далеко за сушу. Гайк твердой рукой вел полубесчувственного Стефана. Он и бранил его за неосторожность, только повторял как заклинание:

— Мы должны быть у моста до рассвета. Может, там стоим авштин...

В сыне Багратяна пробудились гордость и самолюбие:

— Теперь я сам... я и сам могу теперь идти...

Когда они свернули на север, почва стала тверже. Она уже не пружинила под ногами, как новый матрац. Стефан высвободил руку из ладони Гайка и деланно молодежато шагнул, отбивая такт. Чуть подсаживало Гайку, что река Кара-Су близко. Вскоре они перелезли через дамбу на шоссе, которое озаряло ночной мир, словно широкая полоса света. Караулка у моста была пуста. Ребята промчались точн гонимые бесом и минovali эту величайшую опасность, которая, к счастью, была воображаемой.

Однако на этот раз гладкое военное шоссе действовало на Стефана совсем иначе, чем днем. Торная дорога цивилизации отняла у него последние силы. За мостом он брел все чаще останавливаясь. Потом пошел зигзагами и вдруг лег посреди шоссе.

Гайк, оцепенев, уставился на Стефана. Впервые им овладело отчаяние:

— Я теряю время...

По другую сторону моста, примерно в часе ходьбы от него, шоссе упирается в длинную и высокую каменную дамбу над последним большим болотом Эль-Амка. Называется дамба Джизир Мурад-паша, и за ней открывается огромная степь, которая тянется много сотен миль мимо Алеппо и Евфрата до Месопотамии. Но неподалеку от дамбы, к северу от шоссе, виднеется пленительное холмогорье — последний зеленый блик милосердия перед смертью и оцепенением.

У подножия этого холмогорья лежит большое туркменское село Айн-эль-Бэд — «Чистый источник». Однако задолго до того, как разбросанные поселки сливаются в одно село, у шоссе встречаются отдельные деревянные и каменные дома, сверкающие белизной крестьянские усадьбы. Здесь полвека назад правительство Абдул-Гамида заставило осесть одно из кочевых туркменских племен. Лучшего и более рачительного земледельца, чем такой обращенный кочевник, не сыскать, что доказывали прочные стены и надежно крытые кровли жилищ на этой благодатной земле.

Первый хутор лежал у самого края шоссе. Через час после восхода солнца из двери дома вышел хозяин, определил направление ветра, стравил света и расстелил коврик, дабы, повернувшись лицом к Мекке, сотворить рацию из пяти ежедневных молитв. Благочестивый человек заметил двух юнцов лишь тогда, когда они, усеившись на свои одеяла перед самым домом, совершили все положенные поклон и повороты — так же обстоятельно, как и он. Туркмену повер-

тлось усердное — ни свет ни заря! — служение богу юных паломников, но, как невозмутимый мусульманин, он и не подумал суетным вопросом прерывать молитву.

Гайку удалось со многими передышками перетащить Стефана через дамбу Джизир Мурад-паша к этому холмогорью. У крестьянского дома он опять строго-настрого наказал Стефана во всем в точности подражать ему и рот раскрывать как можно реже, раз он потурекски всего каких-нибудь два-три слова знает и так их выговаривает, что сразу себя выдаст. А что надо будет молиться — по-мусульмански, так это никакой не грех, если после той молитвы вдумчиво скажешь шенотом «Отче наш». Но у Стефана это не получилось. Беззащитный, негнущийся, словно деревянная кулака, он сумел только, предельно напрягая силы, повторить движения Гайка — и то была лишь бледная копия Гайка, — его обрядовые движения. После чего сразу же лег на свое одеяло и уставился стеклянным взглядом в ясное утреннее небо.

Туркменский крестьянин, пожилой человек, подошел вразвалку к подозрительной паре юнцов.

— Это что за озорники? В такую рань уже на дворе? С чего бы? Что вам тут надо?

К счастью, он сам говорил на каком-то турецком наречии, так что арийский акцент Гайка не очень привлек его внимание.

В Сирин, этом гигантском смесителе народов, перемешались и языки. Вот почему иное звучание слова не вызвало в туркмене недоверия.

— Sabahlar hajr olsun! Доброе утро, отец! Мы идем из Антакье. По дороге отстали от родителей. Они ехали в повозке в Хан-ман. А мы хотели немножко пройтись и заблудились. А вот он, его звать Гусейн, чуть не утонул. В болоте. Ты только погляди на него! Он захворал. Не найдется ли у тебя местечко для нас, где бы нам поспать?

Туркмен с глубокомысленным видом поглядел седую бороду. Потом, войдя в положение мальчишек, высказал, однако, такое довольно справедливое соображение:

— Что это за родители, которые бросают детей посреди болота и едут дальше? А это кто? Твой брат, что ли?

— Нет, просто родственник, и тоже из Антакье. Меня звать Эсад...

— Ну, знаешь ли, этот твой Гусейн и правда, видно, болен. Может, он болотной воды напился?

Гайк воспешил ответить неким благочестивым изречением, потом склонил голову:

— Дай нам поспать и поспать, отец!

Все это притворство оказалось ненужным, ибо сердце у туркмена было предоброе. Много месяцев подряд проходили мимо его

дома, этап за этапом, отверженные. Сколько раз он тайно, по мере своих возможностей, делал добро больным армянам, беременным армянским женщинам, которые без сил падали на дороге, утолял их голод и жажду, одевал и обувал, не так уж часто рассчитывая на вознаграждение в мире этом.

Но из-за запрета совершать эти добрые дела приходилось с величайшей осторожностью. По новому закону преступное сострадание к армянам каралось бастонадой, тюрьмой, а иногда и смертью. Испытали это на себе по всей стране сотни великодушных турок, у которых сердце разрывалось при виде нечеловеческих страданий ссыльных. Крестьянин внимательнейшим образом разглядывал дуги бродяг. В памяти его ожидал тысячи армянских глаз, глядевших на него с мольбой там, на шоссе. Итог этого мысленного сопоставления был ясен, особенно это относилось к больному мальчику. На как раз этот так называемый Гусейн вызывал в туркмене большую жалость, чем так называемый Эсад, который был, по-первых, здоров, а во-вторых, обещал, кажется, стать большим пройдохой.

Туркмен отрывисто кликнул кого-то, дверь отворилась, и из дома вышли две женщины — старая и молодая; увидев посторонних, они поспешили опустить свои покрывала. Повелительным тоном глава семейства отдал им какие-то распоряжения, женщины суетливо бросились их выполнять.

Туркмен повел Гайка и Стефана в дом. Рядом с главной, жилой комнатой, до того дышной, что не продохнуть, находилась пустая каморка; смахивала она на тюремную камеру, куда свет проникал через прорез в стене. Споткнувшись э ступеньку, ребята спустились в эту темную яму.

Между тем женщины принесли циновки и одеяла и постелили ребятам на глинобитном полу. Но едва они увидели руки и ноги Стефана, покрытые, точно кожурой, затвердевшей тьмой, они принесли чаш с горячей водой, прихватив также злоеющего вида щетку, и с материнской истовостью стали оттирать армянского мальчика. Разгорячившись от этой нелегкой работы, старуха даже приводела чаду, — ведь здесь все-таки подростки, не взрослые.

Но случилось так, что вод крепкими руками туркменских крестьянок, усердно растиравших тело Стефана, сошла корка и с его души. Обжигающей волной захлестнула его так долго подавлявшая тоска по дому. Он стиснул губы, но глаза предательски моргали. Тронутые его детским горем, туркменки не скупилась на утешения, что-то нараспев приговаривали.

Потом старуха принесла лепешки, миску ячневой каши с козьим молоком и две деревянные ложки.

Пока ребята ели, являлась вся многочисленная семья туркмена, и, кто стоя в дверном проеме, кто в самой каморке, подавали побуждающие реплики и радовались плодам своего гостеприимства.

Но как ни радушны были хозяева, как ни давно Стефан не

ел горячей еды, он и пяти ложек не съел, так распухло и сузилось его горло. Зато Гайк улепел почти целую миску каши; он ел задумчиво и обстоятельно, как ест тяжело воработавший труженик.

Когда любопытное семейство удалилось, Стефан сразу уснул, а рассудительный Гайк быстро составил план дальнейшего перехода. Он надеялся, что к вечеру Стефан соберется с силами и они отправятся в путь, как только взойдет луна. Ночью переход до Хаммама нисколько не труден. Если дорога будет свободна, тем лучше, если нет, придется, взяв немного влево, идти вдоль подножия холмов. Холмы эти, конечно, могут служить убежищем, когда, иноват Хаммам, ребята дойдут до того места, где надо будет сделать большую дугу, которую описывает дорога. Несмотря на все происшествя, Гайк был доволен достигнутым. Самые большие опасности впереди, зато самые большие трудности преодолены.

К сожалению, Гайк переоценил силы Стефана. Глубокий сон, которым спал он, усталый, позволил себе забиться в этой надеждевой каморке, прервал стон и тонкий, жалобный плач. Стефан сидел на циновке корчась от боли. Его терзала жестокая резь в животе — последнее приключения в болотах Эль-Амка. Вдобавок только сейчас обнаружилось, что кожа у него сплошь в укусах москитов. Об отдыхе нечего было и думать. Но хозяева по-прежнему были ласковыми и участливыми. Женщины нагнали на огне круглые камни, положили Стефану на живот и приготовили настой, возможно целебный, но такой проливный, что желудок Стефана отказался его принять. Только к вечеру прошла эта хворь, заставлявшая беднягу беспрестанно выходить, шатаясь, на черный двор. Стефан стал похож на тень, да и Гайк, лишенный столь заслуженного сна, поблудел и осузлся.

Крестьянин разрешил «Эсаду» и «Гусейну» почевать на крыше своего дома. Принявшим за последние недели постоянно быть на свежем воздухе ребятам немалоту было в затхлой дыре, полной дыма, насекомых и запаха прогорклого масла.

И вот они сидели на циновках между пирамидами кукурузных початков, связками камыша и грудями лакричника. Стефан, дрожа от озноба, кутался в одеяло и неотрывно смотрел на запад. В этот сумеречный час прибрежные горы на той стороне казались выше, чем были, дальние сливались с ближними, громоздились одна над другой и сверкали бесконечно богатыми оттенками красок — от глубокой сапфировой синевы до серебристо-серой. И так несправдочно близко были эти горы! Неужто Гайк и Стефан в самом деле брели целых две ночи и полдня, чтобы преодолеть это расстояние, хотя отсюда до Дамладжжа рукой подать? Вои та последняя гора на юге, что так круто обрывается, должно быть, Дамладжж. Точно зверь, настигнутый охотниками, он застыл на бегу. Его длинный хребет снижается к северу. Голову он спрячет меж

двух вершин. А лапы его яростно откинута назад, туда, где широкое устье Оронта обещает близость моря. Стефан видел только Дамладжк. Ему казалось, что он различает Южный бастион, купола холмов, зазубрины Дубового ущелья, северное седло, где он бесконечно давно расстался со всеми, не простившись.

Почему же? Этого он уже не помнил. Дамладжк дышал все сильнее, он парил в воздухе все ближе—над дорогой в Аленно, над крестьянским домом туркменского холмогорья, над Стефаном Багратяном.

Гайк все появлялся. В нем проснулась доброта подлинно сильнее, — перед лицом поперяженного сильного охотника становится слабым.

— Не бойся. Мы остаемся здесь до тех пор, пока ты опять сумеешь ходить.

Стефан, весь в жару, не отрывая просветленного взгляда от побережья:

— Совсем близко... Они совсем близко... Горы, хочу я сказать...

Потом вдруг вскопчил, словно ему давно пора в путь. В ушах звенели сказанные прежде угрожающие слова Гайка. Дрожавшими губами он повторил эти слова:

— Не о тебе и не обо мне речь, речь о письме к Джексону...

Гайк кивнул, потом сказал без упрека:

— Уж лучше бы Акол донес на тебя...

Осунувшееся лицо Стефана не выразило негодования, он даже попытался миролюбиво улыбнуться.

— Это ничего... Тебе больше не придется терять из-за меня время... Я уйду обратно... Завтра...

Гайк вдруг пригнулся и отчаянно замахаля Стефану, чтобы он сделал то же самое; на примыкавшем к дому шоссе раздалось странное шарканье вперемешку с невнятным горестным причитанием, — несколько затив гнали в Хаммам небольшой этап армян. Правда, этап слишком громкое слово, его не заслуживали эти старики и малые дети — последние, которых турки наскребли в глухих, богом забытых деревнях. Зативы хотели поспеть в Хаммам до полудня и так ругали и подгоняли прикладами эти жалкие тени людей, что они с непостижимой быстротой скрылись за первым поворотом шоссе.

Это зловещее зрелище, видимо, убедило Гайка окончательно.

— Да, лучше всего будет, если ты пойдешь обратно. Но как? Один через болото ты не пройдеши.

В голове Стефана, которому чудилось, будто горы совсем близко, смешались все масштабы.

— Почему же? Путь через него не такой уж длинный.

Гайк решительно замотал головой:

— Нет, нет! Одному тебе через болото не пройти. Лучше тебе

идти мимо Антакье. Вон там, видишь? Это гораздо легче... Но они там схватят тебя где-нибудь на дороге. Ты не говоришь по-турецки, не умеешь молиться по-ихнему, и вообще вид у тебя такой, что они как глянут на тебя, так сразу и озадеют.

Стефан задумчиво опустил на одеяло.

— Я ведь буду идти только ночью... Может, тогда они меня не схватят...

— Эх ты, — с презрительной жалостью проворчал Гайк и стал высчитывать, докуда ему проводить Стефана, потратив не больше одного дня из отпущенного для его великого задания времени.

А сын Багратяна, которому сейчас в его блаженно-лихорадочном состоянии все представлялось простым и легким, пробормотал:

— А может, Христос придет мне на помощь...

Гайк, разумеется, подумал, что при данных обстоятельствах только на эту помощь и можно рассчитывать. Кроме надежды на силы небесные, у него было очень мало надежд на благополучное возвращение Стефана к своим. И вот некоей вышней силе будто и впрямь было угодно взять Стефана под покровительство. Хозяин-туркмен, изобретившись по приставной лестнице на крышу, начал сбрасывать наземь связки камыша и лакирнички. Гайк тотчас вскопчил и стал усердно ему помогать. Когда они кончили, крестьянин вдруг осенила внезапная мысль, и он подмигнул Стефану:

— Не съездить ли нам со мною, ребята? Завтра поутру я еду на рынок в Антакье. Раз вы оттуда, возьму я вас с собою и отвезу домой. К вечеру будем там...

И гордо, с чувством собственного достоинства показал на большую конюшню за домом:

— И знайте, еду я не на волах, а на своей лошадке, и в настоящей четырехколесной повозке.

Гайк славилу свой самодельный турбан набок и почесал голову, которую вдова Шушик перед его уходом остригла наголо.

— Возьми в Антакье моего родича, отец. Его старики там живут. Мой-то в Хаммаме. Вот досада, что ты на своей повозке не в Хаммам едешь! Мне-то, поди, придется пешком топтать...

Туркмен возвратился на плуто.

— Из Хаммама, говоришь, твои родители? Бог милостив, мальчик! В Хаммаме я всех наперечет знаю. Твои, что ли, лавку какую держат?

Гайк отразил испытующий взор крестьянина взглядом, исполненным снисходительной укоризны:

— Да ведь я же тебе говорил, отец, что они там только со вчерашнего дня. Они живут на постоялом дворе в Хан-Омар-Аге...

— Ianasydshel! Да сопутствует им счастье! Но в Хан-Омар-

Аге солдаты стоят. Их пошлют против изменнической эрмени миллет на Муса-даге...

— Да что ты? Солдаты стоят? Мои об этом ничего не знали. Но, может, солдаты уже ушли? А впрочем, Хаммам велик, найдется какой-нибудь другой постоялый двор.

Против этого повстие нечего было возразить. Туркмен, которому не удалось вывести Эсада на чистую воду, долго и напряженно думал, беззвучно пошевельив губами и в конце концов отступил.

Гайк стал собираться в дорогу задолго до полудня. Но прежде, как сумел, позаботился о Стефане. Он положил в его рюкзаки одну из своих колбас. Бог знает, еще заблудится, недотена, а еда у него вся вышла. За себя Гайк не боялся: он всегда найдет на равнине близ Алеппо и еду и питье.

Он наполнил термос Стефана водой из ручья, протекавшего у дома, отчистил от присохшей грязи его одежду. И пока Гайк с ожесточением радел о товарище, он в то же время не переставал поучать Стефана, как ему себя вести:

— Он везет всю эту дребедень к базарному дню. Ты в ней отлично можешь спрятаться. И лучше всего не говори совсем. Ты ведь большой, правда? Как увидишь города, прыгай с довозки, только тихоночко, понял? И залаяй в поле в канаву, в яму какую-нибудь. Жди там, пока совсем не стемнеет... Усвоил?

Стефан, скорчившись, сидел на циновке. Он боялся колпик, они же снова давали о себе знать. Но еще больше боялся он одиночества. Ночь была не облачная, как вчера, а безупречно ясная.

Над крышей стояла плотная, белая, гигантская арка ворот Млечного Пути. Только мгновение держал Стефан руку Гайка в своих. Это было все. Он еще раз услышал голос друга, высокормерный и грубый как когда-то:

— Держись, слышишь? И порви письмо Джексону!

Гайк уже было ступил на лестницу, приставленную к крыше, как внезапно вернулся обратно. Не сказав ни слова, торопливо и смущенно он осенил Стефана крестом.

Во времена смертельной опасности армянин армянину — отец и пастырь.

Так говорил Тер-Айказун в Погонодуке на уроках закона божьего, когда никто еще не знал, что времена смертельной опасности уже настали.

Проселок спорачивал на равнину как раз у деревни Айи-эль-Бад. В эту безлюдную рань туркмен пустил лошадку рысью по совершенно пустынной утренней дороге. Тяжело нагруженная повозка отчаянно тряслась, подскакивая по глубоким затвердевшим колеям. Стефан едва ли слышал мучительный стук колес. Лихорадка была повстие божей милостью. Она отключила от него

время и пространство. В кольце обступивших его неясных, но приятных видений он не думал ни о том, куда его унесут, ни о том, что его ждет.

Удружила лихорадка Стефану и тем, что выжелтила его и прежде очень смуглое лицо и облегчила притворство. Всякий раз, как туркмен давал лошади передохнуть, слезал с козел и заглядывал к седлоку, тот громко стонал и закрывал глаза. Так и не удалось многократные попытки доброго туркмена завязать разговор. В ответ раздавались только прерывистые стоны, да время от времени жалобный голос просил остановить повозку. На этот случай Стефан, по настоянию Гайка, заучил подходящую фразу: «Ben bir az hasta im» — «Я немножко болен». И Стефан с презрением к смерти повторял эти неправдивые слова при каждом случае. Так отвертелся он и от всех молитв, — ислам освобождает больных и хилых от религиозных обрядов, если они требуют физического усиления. Миюван деревянный мост через речку Африи, туркмен собрался обедать. Он распряг лошадей и повесил ей на шею торбу. Стефану тоже пришлось сойти с повозки и сесть со стариком на выгоревшую степную траву у обочины дороги. На проселке почти не было никакого движения. Им попались только две встречные подводы, запряженные волками. Местные крестьяне пользовались большим шоссе, которое вело от Хаммама в Антиохию.

Туркмен достал лепешки, козий сыр и поделился со Стефаном.

— Ешь, мальчик! Еда — всякая хворя лекарь.

Стефану не хотелось обижать гостеприимного хозяина, он вяло откусил кусочек сыра. И добросовестно жевал и жевал, но кусок никак не шел в горло. Добрый человек озабоченно посмотрел на него:

— Пожалуй, силенок у тебя, сынов, маловато, надо бы побольше...

Стефан не понял его гортанного говора, но не смел этого показать. Он поклонился, приложил руку к сердцу и произнес, как произносил всегда, ксатати и некстати, зауценную фразу:

— Ben bir az hasta im.

Туркмен долго молчал. Его мощные челюсти спокойно перемазывали пищу, как вдруг он взмахнул ножом, который держал в руке, точно собирался что-то разрезать. Стефан похолодел от ужаса. Ибо теперь он услышал армянскую речь:

— Тебя зовут вовсе не Гусейн. Будет тебе баян рассказывать! Тебе правду нужно в Антакье? Что-то не верится.

Ошеломленный, Стефан едва не лишился чувств. Несмотря на жар, холодный пот выступил у него на лбу.

Маленькие, глубоко посаженные глаза туркмена стали очень грустными.



— Как бы тебя ни звали, Гусейн или иначе, не бойся и верь в бога. Пока ты со мной, с тобой ничего не случится.

Стефан собрал все свои познания в турецком языке и пролепетал несколько слов. Старик отмахнулся; в руке у него все еще был нож.

К чему слова? Он вспоминал толпы отверженных, день и ночь гонимых мимо его дома.

— Из каких ты мест, мальчик? Не с севера ли? Удрал от них? Смысли из шешелона, а?

Стефану поневоле пришлось ему довериться. Отвираться он больше не мог — не помогло бы. И он сказал по-армянски — горлоливо, сбормисто, шепотом, чтобы расслышала только старик, и больше ни одна душа в этом враждебно прислушивающемся мире:

— Я здешний. С Муса-агача, из Йогонолука. Хочу домой. К родителям.

— Домой? — умудренная годами зловещая крестьянская рука погладила седую бороду. — Стало быть, ты из тех, которые ушли на гор и ведут войну против наших солдат. Вишь ты какой...

Голос старика звучал сурово. Стефан решил, что все кончено. Он отодвинулся и, покориный судьбе, зарылся лицом в бурье, жесткие космы этой земли. Туркмен держит в руке большой нож. Ему ничего не стоит поразить ножем в спину. Когда же? Но слух Стефана поразила голос, в котором он почуял усмешку:

— А как зовут того, другого? Твоего родича Эзада? Продувной ларень. Его так легко, как тебя, не возмнешь, мальчик...

Стефан не отвечал. Застыв в этой последней готовности, он ждал.

Его подняли твердые как камень, но нежные руки:

— Разве ты отвечаешь за отцов и за их вину? Пусть бог приведет тебя к ним. Но ни тебе, ни им ничего не поможет. А теперь идем. Увидим, что можно сделать.

Стефан снова лег на дно повозки, между связками камыша. Но туркмену, видимо, не терпелось, он подгонял лошадь, хотя она прошла столько миль и ее лохматая шерсть лоснилась от пота. Она то и дело пускалась резвой рысью или галопом, меж тем как возница произносил странные монологи или укоризненно на нее крикнувал.

Как ни трясло и подбрасывало Стефана, он все глубже проникался сознанием, что на своем громадном ложе он находится под благодатным покровительством бога.

Стефан пытался думать о маме. Вправду ли она больна? Ах нет, ничего, решительно ничего не случилось! Все, что от этой гадины Сато исходит, — мерзость и ложь. Когда он, Стефан, вернется, когда станет у большого окопа на северном седле, Авакия как

безумный кинется звать папу, потом оба они — родители то есть, бросятся ему навстречу, потом заплачут от радости, что он спасся, потом обнимут его и сами обнимутся, как астарь. Несмотря на всю эту напряженную игру воображения, Стефану лишь редко удавалось восстановить цельный образ мамы. Чаще всего он слышался — как-то неприятно сливался — с образом Искув. Стефан ничего не мог с этим поделать, хотя этот двойной портрет был странно мучителен. А потом голос Гаика опять настойчиво вливался, что нельзя легкомысленно, попусту тратить время. Теперь уже день, теперь надо спать, набраться сил для нового похода. Повинуясь другу, Стефан смыкал веки. Но его детское тело так твжко провалилось перед сном, так часто от него отказывалось, что сон больше знаясь с ним не желал и насытал на него подмену — домеш торячки с безучастием и бессонницей, которая не придает телу бодрости, только расслабляет.

Стефан уснул и спал долго; меж тем золотистый дневной свет разливался все шире, а затанцовавшая плелась уже шагом, — проселок, должно быть, поднимался вверх по склону. Крестьянин останавливал лошадь и велел седоку сойти. С большим трудом Стефан отборол себя и сполз с повозки.

Он увидел неподалеку голый холм, опоясанный крепостной стеной; вдоль подножия его тоспались белые кубики домов.

— Абиб-ян-Неджар, крепость Антакье... Теперь, мальчик, ты должен поспешить спрятаться.

И правда, через несколько сот шагов ухабистая дорога перешла в окружное шоссе из Хаммама, которое Джемаль-паша тоже велел заново засыпать щебнем. Из этой свежеремонтванной дороге царило, против ожидания, большое оживление.

Туркмен разгреб связки камыша, между ними образовалась большая яма.

— Залезай туда! Я вывезу тебя из города через железный мост. Дальше не получится. А пока лежи смирно!

Стефан растянулся на дне повозки, в крестьянин лонко накрыл его камышом, чтобы мальчика не придавило и чтобы между связками проникал воздух. В этом гробу исчезли все мысли и образы. Стефан лежал как бездушная кляда, не ведая ни страха, ни мужества. Повозка катилась по широкому гладкому шоссе. Со всех сторон доносился шум и смех. Стефан равнодушно внимал им из своей ямы. Потом повозка опять затряслась по мостовой. Внезапно она, будто испугавшись, стала. Ее окружили какие-то люди. «Верно, заплти, солдаты или полицейские». До слуха Стефана говор доносился чрезвычайно приглушенно, но отчетливо, будто через рупор:

— Куда, старик?

— В город, к базарному дню. Куда ж еще?

— Документы в порядке? Покажи-ка! А что везешь?

— Товар для продажи. Смотрите сами — камыш для плотников да два-три оха локричника...

— Ничего запрещенного нет? Новый закон знаешь? Зерно, кукуруза, картофель, рис, оливковое масло сдается властям.

— Кукуруза я уже сдал в Хаммаме.

Несколько рук бегло обшарили верхние килы камыша. Потом измученная лошадейка снова тронулась в путь. Они ехали как нельзя медленнее, сквозь туннель кричавших человеческих голосов. Свет все скуднее просачивался сквозь камыш. Уже стемнело, когда их окликнули во второй раз. Но туркмен даже не остановился, чей-то тонкий голос ругался влохотку:

— Повಾದилась во ночам ездты! В другой раз ездай днем. Поилад! Когда же эти болваны поймут, что мы воюем!

Копыта застучали по огромным каменным плитам моста, который по мне позабытой причине называется «Железным».

После моста туркмен высвободил маявшегося в жару мальчика из-под навальной на него тяжести. Стефан снова мог, завернувшись в одеяло, лежать между камышами.

Крестьянин был чрезвычайно доволен:

— Радуйся, мальчик! Самое тяжелое позади. Аллах к тебе милостив. Поэтому я подвезу тебя еще малость, до Менгулие, поставлю лошадей, там и завожучу.

Лампада жизни чуть теплится, и все же разрядка после напряжения была так сильна, что Стефан мгновенно уснул тихим сном. Туркмен снова погал бедного конягу, чтобы как можно скорее попасть со своим подопечным в село Менгулие, откуда, правда, Стефану предстояло идти еще добрых десять миль до развилки в долине семи деревьев.

Но простая душа, туркменский крестьянин, далеко недооценил изобретательность армянской судьбы.

Стефан проснулся от спящего света карбидных ламп и карманных фонариков, шаривших по его лицу. Над ним склонились головы в форменных фуражках, усы, барашковые шапки. Поездка въехала прямо в лагерь одной из рот, которые вали послал из горнограда Килдиса на подмогу антиохийскому каймакиму. По обеим сторонам шоссе были разбиты солдатские палатки. В Менгулие разместили по квартирам только офицеров.

Туркмен спокойно стоял подле повозки. Он стал оглаживать лошадаку, вероятно, старался скрыть растерянность.

Один из онбаши взял его в оборот:

— Куда едешь? Кто этот парвизшка? Твой?

Туркмен задумчиво покачал головой:

— Нет, нет, не мой.

Он пытался выиграть время, придумать выход.

Онбаши взордал:

— Ты что, язык проглотил?

К счастью, старик, ездивший сюда по различным базарным дням, хорошо знал здешние селения.

Он вадохнул, горестно качая головой:

— Мы едем в Серис, а Серис едем мы, вон тот, что стоит под той...

Он распевал эти слова, точно невинную песенку.

Онбаши направил на Стефана яркий свет фонарика. Голос туркмена зазвучал плаксиво:

— Да ты погляди на него, на дитя-то! Я должен отвезти его домой, к родным, в Серис...

У повозки толпой сбились солдаты, унтеры. Старик в волнении шкрячал:

— Не подходите, не подходите так близко, берегитесь!

Онбаши не на шутку струхнул и устоялся на него. Старик указал пальцем на лицо Стефана:

— Не видишь, что ли, ребенок в жару, без памяти. Вы там, пойдите, не то и вы болячку схватите. Эким отослал мальчишку в Антиохию...

И тут достойный туркмен поразил онбаши в самое сердце одним только словом:

— Сыпняк!

В ту пору ни слово «чума», ни слово «холера» не внушали бедный ужас в Сирии, чем «сыпняк».

Солдаты отпрянули, и даже разгневанный онбаши отступил шага на три. А добрый человек из Айн-эль-Бэда вынул из кармана документы и настойчиво совал их под нос унтер-офицеру, упрямая проверить. Но тот, помня о недобром словом проклятую службу, отказался. Через десять секунд шоссе перед повозкой опустело. А туркмен, довольный и гордый своей проделкой, предоставив лошадаку самой себе, шагнул подле Стефана и поспешил:

— Видишь, мальчик, сколь милостив к тебе аллах. Не будь ты столь милостив, разве послал бы он тебя ко мне? Радуйся же, что меня нашел! Радуйся! Потому что теперь мне придется с тобой еще полчасика ехать, чтобы найти ночлег в другом месте...

Но страх парализовал Стефана, и он едва ли слышал эти слова. Позднее, разбуженный своим спасителем, он не в силах был пошевелиться. Старый туркмен взял его на руки, как ребенка, и встал на шоссе, ведущее вдоль русла Орионта к Суэдин.

— Здесь, мальчик, тебе больше не встретится ни одна душа. Если ты выдвнешь ходу, на рассвете будешь в горах. Аллах благоволит тебе больше, чем к другим.

Он дал Стефану кусок сыра, лепешку и бутылку с водой, ко-

тору навалили в Антакье. Потом сказал, должно быть, какое благочестие повлечет. Кончалась оно пожеланием мира:

— Сядь алек.

Но Стефан вдобавок еще и ничего не слышал, потому что ушах у него страшно шумело. Он только глядел, как мерно поворачивались светлая чалма и белая борода, и обе они, чалма и борода, все ярче светясь, прорезали тьму. Как жалел Багратяна оттого эти световые волны исчезали, когда смолк ровный цокот в пылу! На исчезнувшей во тьме повозке не было фонаря, а луна не выплыла из ущелий Амануса.

Впервые за время своего пастырского служения на Муса-даге Тер-Айказун обратился с посланием к кладбищенской братии. В этом послании он просил Нуник и присных заняться поисками в чезнувшего сына Багратяна. Удается им доставить важные сведения или самого беглеца — их ждет высокое вознаграждение: им ведут в отдалении от Котловины города место для ставрописа.

Тер-Айказун поступил чрезвычайно умно, назначив такую плату за розыск Стефана.

Не было на Дамладжке человека, который играл бы более важную роль, чем Габриэл Багратяч. От ясности мысли и душевного равновесия главнокомандующего зависело будущее всех. Нужно было сделать все, чтобы участь, постигшая Стефана, не подвергла окончательно внутреннюю силу Габриэла, первый и тяжелый удар которым нанесла Жюльетта.

Плату этим подонкам общества посулили ленивоверную. И как же Нуник вряд ли надеялся ее получить. После недавней большой победы сынов Армении положение кладбищенской братии изменилось к худшему. В деревни почти ежедневно прибывали новые волнские части, новые запяты, новые отряды «добровольцев». Готовилась упорная осада Дамладжка, были приняты все меры.

Заместитель каймакама, конопатый мюдр, сделал своей родственной виллу Багратянов. Раненый юзбаша уже два дня не стал поправляться.

Мюдр велел расклеить во всех деревнях приказ, который предписывал каждому мусульманину арестовывать на месте всякого попавшегося ему на глаза армянина, будь то нищий, слепой, убогий, умиленный, увечный, старик или ребенок. Этот глубокий по мысли приказ преследовал одну цель: исключить всякую возможность шпионажа в пользу армян. Не прошло и двух дней, как приказ этот был расклеен на стенах церкви, а численность кладбищенской братии семи деревень, которая прежде доходила примерно до семидесяти душ, сейчас не составляла и сорока. Остатки ее, естественно, вынуждены были подыскивать себе неприсущие

и совершенно недостижимое убежище, если хотели продлить на какой-то срок свою жизнь.

Такое убежище, слава Христу, нашлось. Самые смелые и самые, как Нуник — этот Агасфер в облике женщины, — покидали его между полночью и рассветом, чтобы посмотреть, все ли в порядке на старом пепелище, а зловидно позоботиться о пропитании, новыми словами, с величайшей опасностью для жизни украсть одного-двух баранков, козленка да кур в придачу.

Мимо этого тайника кладбищенской братии и проходил обратный путь Стефана.

Примерно за милю до деревни Айи-Джераб развалины древней Армахин образуют целый город. Надо всем высится пилястры и разветвленные гигантские арки римского акведука. Здесь удобное раннее шоссе переходит на неверную горную тропу для вьючных животных, которая идет вдоль глубоко врезанного в скалы ложа реки, через извилистую чашу древних творений человека. Местами дорогу заросла камышом, так что она становится почти непроходимой, каменные шты, обломки колонн, отбитые капители.

Стефана лихорадило, в бреду он сжигательно спотыкался об ветрые обломки, запутывался в ползучих растениях, падал, да явным жидил колени, вставал и вновь натаился брел дальше. Справа, глубоко затаявшись в груде развалин, мелькал порой слабый ответчик. Будь со Стефаном Гайк, он и без этого мигающего света на расстоянии нескольких миль почувал бы близость отверженных, но родственник созданий. Повинуясь его сверхчужестранному опыту, ноги Гайка сами собой избрали бы верный путь. Но где был в этот час Гайк? В тридцати шагах от дороги Стефана ожидало спасение, оно милое о себе знать, манило этим мигающим огоньком. Нуник, Варух, Манушак — надежно спрятали бы Стефана, выходили бы его за оутя, а потом по искоженным путям отвели бы на Дамладжку и получили бы знатное вознаграждение. Но городской мальчик испугался огня. Как затравленный взбирался он, задыхаясь, на гору.

На вершине он остановился и залпом выпил из бутылки теплую, безвкусию воду.

Перед ним лежал Муса-даг. При луне отчетливо видно было гору, черное облако дыма, который все еще струился из сердца горы. Однако очаг огня стал как будто меньше — было безветренно. Изредка в нем вспыхивал таинственный огненный блик и тут же исчезал.

Сыну Багратяна был дан новый шанс на спасение. Нуник что-то шепнула. Отступил от огня, она заметила тень, которая не могла быть тенью взрослого. Среди отверженных было несколько «ничьих» детей. Одного из них, восьмилетнего мальчика, послали разведать, что это за тень. Но едва Стефан услышал за собой шорох и хруст, он не выдержав, стремглав пустился бежать.

Он вложил всего себя в этот безумный бег, в этот акт отчаяния.

В ушах шумело. Ожидая ли то его отец? Или свистящим шепотом водворял Гайк: «Вперед!» Он мчался, словно за ним гналась пела рта солдат, от которой он спасся наемник, а между тем крался за ним маленький мальчик.

Развалины акведука кончились, дорога стала шире. Над ней нависли черные кручи предгорья. Стефан бежал, бежал, спасая свою жизнь! Но страшный мороз завел его в первую же поперечную долину.—он принял ее за родную долину семи деревьев. Невесомый дух бег поднял Стефана вместе, и мальчику чудилось — он крылатый и парит над усеянными камнями откосом. Стефан свернул в долину, не сознавая, что изо всех сил кричит. Но Стефан недалеко ушел. Споткнувшись о первое большое препятствие — поваленное дерево, он свалился.

Когда он очнулся, уже брезжил свет в прудутренней легкой дилке. Стефан казалось, что ныче — это позавчера и сейчас происходит то же, что происходило, когда они с Гайком, выбравшись из болот Эда-Амка, перешли на другую сторону шоссе и оказались перед ласковым холмогорьем, у дома туркмена. Все, что случилось потом, было им забыто или сохранилось в памяти как след сна. Это смешные времена в памяти, отчего сегодняшнее представлялось позавчерашним, усиливалось еще и тем, что он видел перед собою дом, правда не из белого известняка, а глиняную, будто сморщенную мазаку, к тому же без окон, отталкивающего вида. И из этого дома тоже вышел человек в тюрбане и с седой бородой — не мужичиный антахрантель в образе туркмена, но тоже старый человек. И надо же такую случиться, что и этот человек, определив направление неба, погоду и страны света, бросил на землю коврик, сел и стал совершать все воложенные при утренней молитве движения и поклоны.

В мозгу Стефана, как вспышка молнии, возник приказ Гайка: «Подражать во всем!» И на том самом месте, где Стефан свалился ночью, он попытался повторять все, что делал старик. Но у него ничего не вышло: он шатался и стоял при каждом движении. А этот человек, как и позавчерашний, тоже обратил на него внимание. Однако же был, должно быть, далеко не так благочестив, как тот туркменский крестьянин, почему и прервал молитву, встал и подошел к Стефану:

— Кто ты такой? Откуда идешь? Что тебе надо?

Стефан заставил себя стать на колени, отвесил поклон и прижал руку к сердцу:

— Ben bir az hasta im, эфенди.

Произнеся эти твердо заученные слова, он знаком показал, что хочет пить. Седобородый заколебался. Потом пошел к колодезю, набрал кувшин воды и подал мальчику. Стефан пил не отрываясь, хоп от воды у него сразу начались боли. Меж тем из дому вышел еще кто-то — по не милосердие женщины, как ожидал Стефан, а другой

мужчина, угрюмый, чернородый. Он повторил слово в слово вопрос седого:

— Кто ты такой? Откуда идешь? Что тебе надо?

Обреченный махнул раза два куда-то вдаль. Не то в сторону Литиохии, не то в сторону Сузиди.

Черный рассердился:

— Ты что, говорить не умеешь? Немой?

Беспомощный, как малое дитя, Стефан в ответ только улыбался огромными глазами. Он по-прежнему стоял на коленях перед этим лодым. Седобородый дважды обошел вокруг мальчика, осматривал по взглядам знатока, оценивающего законченную работу. Потом кивнул Стефану за подбородок и повернул его лицо к свету. В обследовании участвовал и черный, человек дотошный. Затем, отойдя на несколько шагов, они о чем-то заспорили, однако глаз со Стефана не спускали. Когда же пришли к соглашению, на лицах их было такое выражение, словно они берут на себя дело высокой государственной важности. Донос начал чернородый:

— Ты, парень, обрезанный или нет?

Стефан не понял. Доверчивую улыбку глаз сменил испугливо-заярительный взгляд. Его молчанье бесило обоих мусульман. Стефан оглушали резкие, понукающие звуки их слога. Несмотря на окрики и знаки, он все меньше понимал, чего от него хотят.

Чернородый потерял терпение. Он схватил Стефана под мышки в подолы с колен. Седобородый оголил и тщательно обследовал то, что подлежало обследованию.

Подозрения подтвердились: хитрый армянский мальчишка, пришившийся глухонемым, был дерзкий шпион, засланый бултошниками-горцами. Нельзя терять время! Подталкивая сле державшегося за ноги Стефана, они спустились по узкой долине из Ани-Джебаба к большому шоссе. Они крепко держали его, пока не показались первая пустая повозка, запряженная волами, которая направлялась на окрестности Литиохии в Сузиди. Вознице приказано было именем закона повернуть Ани в Сузиди. Палачи подсадили своего пленника в повозку. Чернородый сел подле него, а седой шагнул рядом с владельцем волов, которому с жаром поведал о том, какую великую опасность он предотвратил.

И теперь, лишь только судьба Стефана была решена бесповоротно, некая милосердная небесная сила отстранила настоящую от него. Он уронил голову на колени чернородого, смертельного своего врага.

И не странно ли? Ненавистник его не оттолкнул свою жертву. Он сидел неподвижно, не шевелился, словно боялся сделать Стефану больно. Но пылающее лицо мальчика, уронившего голову на его колени, открытые глаза, которые смотрели на него невдвигшим взглядом, лхорадочное дыхание, которое вырывалось из распухших, багровых

губ, вся эта по-детски самозабвенная близость пробуждала в ничтожной душонке чернявого дикую злобу. Таков мир, иным ему быть не дано. И нельзя в этом мире не нанести удар!

А Стефан больше не помнил о Муса-даге. Он не помнил о гаубцах, которые захватил, о пяти сонных людях, которых сразил пятью меткими выстрелами. Имя «Гайк» стало звуком пустым, а «Исхуа» — унесенной ветром пушилкой. Сам он теперь был опять в привычной школьной одежде, в ботинках на шнурках, которые так славно облегли чисто вымытые и неизраненные ноги. Он гулял по чудесным столичным улицам, по великолепным набережным приморья. Он жил с мамой в Монтрэ, в Палас-отеде.

Он сидел за столами, накрытыми белоснежными скатертями, играл на посыпанных гравием дорожках, сидел в чисто выбеленных классах с другими такими же выхолощенными, как он, мальчиками. Он был то маленьким, то постарше, но жил покойно, защищено. И у мамы был красный зонтик, под которым лицо у нее так розовело, что, бывало, ее и не узнать.

Все это было не богато событиями, но дышало таким покоем, что Стефан не заметил, как у Вакефа появились двое заплыв. Один из них, для подкрепления, сел рядом с чернобородым и все время держал Стефана за ноги. А в самом Вакефе к ним присоединился отряд заплыв. И чем дальше продвигались они по долине семи деревень, тем многочисленней становился конвой. А за ним тянулася большая толпа повозок, захвативших армянские дома и земля, — мужчины, женщины, дети.

Задолго до полудня шестые, возглавляемые драгами в воловьей упряжке, прибыло на церковную площадь Погонолука. Собралась тысячная толпа, ее возглавляли старые и новые солдаты, которые сейчас стояли гарнизоном в деревнях. На виллу Багратянов тотчас же послали за рыжиком мюдиром.

Запяти вытолкали Стефана из повозки. По приказу мюдира Стефан стал раздеваться — ведь он мог припрятать где-нибудь в голом теле нужный документ. Сын Багратяна повиновался молча, с полным бесстрашием, что крайне возмутило толпу: она сочла это признаком закоренного упрямства.

Стефан не успел еще раздеться донага, как кто-то ударил его по затылку. Но этот удар был благодеянием. Он возвратил Стефана в тот прекрасный мир, где он жил сейчас жизнью цивилизованного общества.

Меж тем запяти нашли в его рюкзаке «кодак» и послание Джексоу. Мюдир высоко поднял фотоаппарат, потрясая этим невинным рождественским подарком перед толпой, для которой это была непонятная, диковинная штука.

— По этой вещи всегда можно узнать шпиона!

Потом громко и злорадно они прочли и перевод во всеуслышание,

дабы весь народ знал, письмом государственных изменников американскому послу. Толпа разразилась яростными криками. Мюдир подошел вплотную к Стефану и взял его за подбородок ухоженной рукой с оплакированными ногтями; казалось, он хочет его поощрить.

— Ну, а теперь, мальчик, скажи нам, как тебя зовут!

Стефан улыбался и молчал. Океан реальности шумел где-то в бескрайней дали.

Но в памяти мюдира вдруг всплыла фотография, висевшая в спальнике виллы. Он торжественно обратился к толпе:

— Раз он не хочет сказать, скажу я. Это — сын Багратяна...

Тогда Стефану был нанесен первый удар ножом в спину. Он его не почувствовал... Потому что они встречали папу на вокзале, папа кричал на Швейцарию из Парижа. У мамы опять был в руках красный зонтик.

Отец вышел из каких-то очень высоких ворот, он был один.

В белоснежном костюме и без шляпы. Мама помахала ему рукой.

И едва Багратян увидел своего маленького сына, он кричал его в объятия с такой безмерной любовью... И потому что Стефан взаправду был еще маленький, отец поднял его до самого своего сердца, до своего лучезарного лица, поднял над головой, и все выше и выше...

Нуник первая с наступлением ночи обнаружила изуродованный труп. Заплыв выбросил его как он был, нагим, на Погонолуцкое кладбище сразу после самоубийства. Нуник пришла вовремя, успела спасти его от диких собак. И тотчас послала одного из «ничейных» детей на становище — велеть всей кладбищенской братии собраться в поход. Ибо случилось *необычайное* и сегодня нет места страху: утас навсегда род основателя Погонолука Аветиса Багратяна. Но встал час исполнить волю Тер-Айказуна, доставить на гору Багратянова сына. В вознаграждение не откажут, отныне их ждет обеспеченная жизнь.

Пугливое общество собралось на кладбище группами. Плакальщицы немедленно принялись за работу. Они обмыли от пыли и крови тело прекрасного отрока. А Нуник сделала нечто большее для семейства Багратянов: великодушно пожертвовала из запасов своего несусежного мешка длинную белую рубаху, в которую и облекла Стефана. И пока его снаряжали в последний путь, нищий слепец с дипломом пророка приговаривал нарастаем:

— Ведь кровь агнца потекла к дому...

Окончив свой труд, Нуник и другие плакальщицы взвалили на плечи тяжелые мешки. И пошли, согбенные под ношей. Во втором часу утра безмолвное и почти невидимое при слабом свете месяца шестые двинулось к Дамладжку, а оттуда тайными тропами, пощаженными лесным пожаром, — к Городу. Во главе процессии шла, как предво-

дителяница, Нуник, опираясь на посох. И когда они пришли в лес, где было уже безопасно, они зажгли два факела и несли их по бокам носилок, дабы усопшему сопутствовал свет и оказаны были подобающие почести.

## Глава третья

### БОЛЬ

Габриэл Багратян опять проводил все ночи на северной позиции, спал на привычном месте. По настоянию Тер-Айказуна, обеспокоенного заметным падением дисциплины, он в первый же вечер после исчезновения Стефана вновь взял на себя командование. И это было более убедительным доказательством самодисциплины и душевной стойкости, чем героизм, проявленный во всех трех сражениях. В эти дни у него дрожали руки, кусок в горло не шел, глаза ни на миг не сомкнул сон. Страхнула не только неизвестность, но и полная безнадёжность всяких попыток найти Стефана, спасти его. Охваченный отчаянием, он сперва носился с мыслью совершить налет на вражеский лагерь. Что, если заново сформировать Лету-чую гвардию и предпринять вылазку, рейд до шоссе на Аленго? Что, если, наведя ужас на всю окрестность, этот ночной налет, несущий с собой кровь и пожары, позволит догнать Стефана в Гайка? Но Габриэл, конечно, тотчас же отказался от этого романтического проекта. Какое право имеет он ради спасения своего ребенка пускаться в безумную авантюру, рисковать жизнью сотни защитников Муса-дага? Стефан, в сущности, самовольно сделал то, что Гайк совершил по воле народа. Нет никаких уважительных оснований ради него пускаться в ход все средства.

Габриэл жадно набросился на работу, она была для него что глоток свежего воздуха. В дружинах царилы слабость и апатия — следствие недоедания. А бойцы на передовой и в резерве, полагавшие, что можно ждать смерти хоть и сплутым желудком, но в *dolce far niente*<sup>1</sup>, получили суровый урок.

Воинская дисциплина чрезвычайно ужесточилась.

Чауш Нурхан получил приказ ежедневно проводить тактические учения с дружинами. Все было как в первые дни. Никто не смел даже в свободные от служб часы покидать пост. Увольнительные в Город давались только в исключительных случаях. На долю резервистов выпала нелегкая работа: в предвидении будущего мощного наступления турок не только улучшить позиции, но, чтобы ввести в заблуждение противника, частично их перебазировать, по мере воз-

можности обеспечить их неприступность, соорудив каменные шанцы. Габриэл, Авакян и учитель Шатахян часами чертили новые планы, которые немедленно начинали проводить в жизнь. В эти дни все было в непрестанном движении. Никто не мог противостать неуступчивой энергии Багратяна. Но его неумная требовательность, сколь ни странно, не навлекла на него ни злобы, ни ненависти, она окрыляла пошедшие на убыль душевные силы, воскрешая надежду и боевой дух. После короткого спада жизнь защитников Муса-дага вновь обрела цель и содержание.

Габриэл страдал не от неприятия окружающих, а от обостренного чувства одиночества. Правда, ему и в прошлом не довелось связывать душевные отношения ни с руководителями народа, ни с простыми людьми, а дружбу и подаяно. Ему понимались, как военачальнику, выказывали уважение, благодарность даже, но он и люди Муса-дага были вкорне разные люди. Теперь они его откровенно избегали, даже Арам Товмасян, прежде искавший предлога с ним поговорить. Габриэл заметил, что соседи по постелю на северной позиции все дальше отодвигают свою постель. Объяснение, казалось бы, лежало на поверхности: Габриэл ежедневно проводил час, а то и больше у одра большой жены — его боялись как носителя заразы. Однако за этим внешним поводом скрывались гораздо более сложные чувства. Габриэла постигла лихая беда, а за ней поспевает другая, полхуже. Присущий всем людям страх перед собором, пораженным роком, суживал круг одиночества, замыкавший Габриэла. Что до эпидемии, разразившейся в лагере, то она — главный образом от благоприятной погоды, а отчасти благодаря зимку Петросу — не выходила из границ полуучей, но ослабленной формы. Из ста трех заболевших умерли до сих пор двадцать четыре. Совет уполномоченных придал в помощь врачу санитарную комиссию, в нее вошел и пастор Товмасян. Эта комиссия ежедневно обследовала всю Котловину города, шалаш за шалашом. Если у какого-либо жителя обнаруживались пусть самые легкие признаки заболевания, он обязан был тотчас, захватив свои подушки и постель, отправиться в карантинную рощу. Впрочем, жить в этой тенистой рощице больным было приятно, и обходился с ними мягко. Конечно, хлыль дождь, и все стало бы куда страшней. Но после первой грозы, благодарение богу, больше не дождало, что применительно к сиринскому августу месиду можно съест благом, однако вовсе не чудом.

Петрос Альтун дважды в день ездил верхом на своем ишачке навещать Жюльетту Багратян. Его удивляло, что болезнь Жюльетты протекает не в обычных формах. До кризиса, по-видимому, было еще очень далеко. Температура после первого приступа несколько понизилась, но сознание к Жюльетте не вернулось. При этом она не лежала, как другие больные, в глубоком беспомоществе или бурно бредила, она спала непробудным, свиновым сном. Но могла, не просыпа-

<sup>1</sup> *Dolce far niente* (итал.) — сладостное ничегонеделание.



сь, повернуть голову, открыть рот и глотать молоко, которым поила ее Искуи. А порой, случалось, и пролепечет несколько слов, точно из иного мира.

В первые дни ее болезни Искуи почти не отлучалась из Жюльеттиной палатки — Майрик Антарам была перегружена работой и уходу за больной могла уделить лишь час-другой.

Искуи велела перенести туда свою койку и ночевала у Жюльетты. Овсанку и ребенка она больше не видела, да и нельзя было с ними встречаться. Несмотря на парализованную руку, Искуи ловко справлялась с обязанностями сиделки. К тому же на второй день заболевания у Жюльетты обнаружилась и ангина, так что она иногда не могла проглотить молоко, которым поила ее Искуи, иногда оно вызывало рвоту. И сиделке приходилось, помимо всего, стирать постельное белье. Служанки Жюльетты с легким сердцем предоставляли это Искуи. Они боялись заразы и крайне неохотно прикасались к больной и ее вещам — разве только заглянут в палатку, один раз утром, другой — вечером, и нет их. В конце концов, рассуждали они, что им за дело за этой чужачке, о которой ходила такая дурная молва? И вся тягота легла на плечи Искуи. День и ночь она преданно ухаживала за этой лежачившей в беспомоществе женщиной, но ни на самую малость не стала ей ближе французенка.

Приходи ей на смену, Майрик Антарам чуть ли не насильно заставляла ее выйти отдохнуть хоть часа два. Но Искуи садилась у входа и не двигалась с места. Раздается ли шум шагов, мелькнет ли чье-то лицо, она в испуге пряталась: ее тяготила мысль, что она может встретиться с братом или отцом.

Больше всего любила она это время на границе ночи и утра, когда, как сейчас, сидела перед палаткой в ожидании Габриэла. Он имел обыкновение приходить в этот самый одинокий час одиночества, потому что почти никогда не в состоянии был провести целую ночь на своем ложе у северной позиции.

Вместе с Искуи Габриэль пошел к кровати Жюльетты. Свет керосиновой лампы на туалетном столике падал ей прямо на лицо. Алтуни просил не спускать с нее глаз, быть начеку на тот случай, если она очнется или наступит сердечная слабость.

Габриэль склонился над женой, поднял ей веки, точно надеялся, что свет пробудит в ней сознание. Жюльетта беспокойно задергалась, громко задыхалась, но не проснулась.

Голос Искуи рассказывал обо всем, что случилось примечательного за день. В палатке они говорили только о делах. Но и вне палатки им было не по себе. Недавно, в этот же час, они шли под руку мимо Трех шত্রов, как вдруг Искуи почувствовала, что из-за привидятого полотнища палатки на нее такком смотрят, сверяя ей спину, глаза Овсанки. Вот почему сегодня она на цыпочках вышла и направилась в «сладовую гостиную», к той огороженной миртом

скамейке, где в минуашние дни принимала Жюльетта своих обожателей. Здесь они были в надежном укрытии. Но несмотря на полную уединенность места, они не прикасались друг к другу и говорили еле слышным шепотом.

— Знаешь, Искуи, мне было показалось, что я теряю разум. Но лишь только почувствовал твою близость, как это страшное наваждение прошло. Теперь я снова свободен. Молчи! Сейчас прекрасно. Долго ведь это не продлится.

Он откинулся, распрямляясь, — точь-в-точь терзаемый недугом человек, который наконец вышел и старается сохранить такое положение тела, когда ему не больно.

— Я любил Жюльетту и, может быть, еще люблю ее. По крайней мере воспоминание о ней. Но то, что у нас с тобой, Искуи, — что это?.. Мне суждено было найти тебя к концу жизни, как суждено было сюда приехать. Ведь это не случайность, а... Но кто может это выразить? Вся жизнь меня влекло только к чужому. Оно меня соблазнило, но осчастливить не сумело. Я и сам соблазнил чужое и тоже не сумел осчастливить. Живет человек с женой, Искуи, и потом вдруг встречает единственную водянистую сестру, другой такой нет. Но поздно...

Искуи смотрела мимо него, на лениво покачивающийся кустарник.

— Если бы нам с тобой привелось встретиться где-нибудь там, в большом мире, признал бы ты во мне сестру?..

— Одному богу это известно. Может, и не признал бы...

Ни тени горечи не было в ее голосе:

— А я сразу увидела, кто ты мне, еще тогда, в церкви, когда мы пришли на Зейтуна...

— Тогда? Я никогда не думал, Искуи, что можно стать другим. Человек может чему-то научиться, может развиваться, думалось мне... А в действительности происходит обратное. Человек лавится. То, что происходит с тобой, со мною и со всем нашим народом — это процесс плавки. Глупое слово, вроде бы не к месту. Но и чувствую, как я плавлюсь. Все лишнее, все лишнее сходит. Скоро я стану только слитком металла. Такое у меня чувство. И вот, видишь ли, потому-то и погиб Стефан...

Искуи схватила его за руку:

— Зачем ты так говоришь? Почему Стефан непременно погибнет? Он же сильный! Гайк ведь наверняка дойдет до Алеппо. Почему бы и Стефану не дойти?

— Он не дойдет до Алеппо... Вспомни, что случилось. И все это он носит в себе...

— Ты не должен такое говорить! Ты ему этим вредишь. Я твердо надеюсь на Стефана...

Искуи вдруг повернула голову к палатке. А у Габриэла мель-

кнула мысль, с чего вдруг—он и сам не знал: «Она желает Жюльетте смерти, она должна этого желать».

Искуи вскочила.

— Ты ничего не слышал? Мне кажется, Жюльетта зовет!

Габриэл ничего не слышал, но пошел вслед за Искуи, которая винулась в палатку.

Жюльетта металась на кровати, будто хотела сорвать с себя путы. Она не была в полном беспамьятстве, но и сознание к ней все еще не вернулось. Искусанные губы были покрыты беловатыми струпами. По ее пылающим щекам было видно, что жар опять дошел до предела. Она как будто узнала Габриэла. Ее блуждающие руки исплялись за его одежду. Только с трудом он понял, о чем она спрашивает, — хрипло, заплетаясь языком:

— Это правда?.. Все это правда?..

Между ее вопросом и его ответом возникла маленькая брешь во времени, точно ледяный минутный штиль. Затем, нагнувшись над женой, он отчеканил по слогам каждое слово, как магнетизер, внушающий гипнотическое задание:

— Нет, Жюльетта, все это неправда... Все это неправда...

Прерывистый вздох:

— Слава богу... Это неправда...

Припадок прошел. Она поджала колени, съежилась, словно ее тянуло забраться в материнскую утробу горячки.

Габриэл пощупал ее пульс.

Казалось, это с бешеной быстротой, но еле слышно стучит под пальцем птичий клюв.

Габриэл усомнился: «Доживет ли до утра?»

— Сердечные кавали, скорее!

Искуи, разжав стиснутые зубы Жюльетты, владела ей в рот ватку стропанта. Жюльетта пришла в себя, попробовала есть и, задыхаясь, сказала:

— Стефану тоже... молоко... Не забыть...

Для Арама Товмасяна настал день огорчений.

Пристегнув фонарь к поясу, он чуть свет собрался к морю, на прибрежные утесы, узнать, каковы результаты налаженного им рыбного промысла. Плот был готов, юноши обзавелись неводом и маленькими фонариками и решили в эту безветренную погоду выйти в море.

Товмасян был одержим своей идеей. Он видел в ней не только возможность разнообразить и пополнить пищу, но и считал единственным способом предотвратить надвигающийся голод. Неужто, если усердно взяться за дело, не удастся добывать из недр морских двести-триста окя рыбы ежедневно? Как ни ограничивали сейчас заботой слота, месяца через полтора, при самом оптимистическом расчете,

забытой последнюю окю. Если же он, Арам Товмасян, добьется процветания рыбного промысла, то море будет источником мужества и сил для сопротивления. Сама мысль оневсякаемом источнике жизни будет творить чудеса.

Пока молодой пастор широко шагая спускался в зеленатон предрассветном сумраке по тропе, недавно проложенной по приказу совета, он не думал ни об овцах, ни о молоке, ни даже о рыбе. В душе его теснились тяжелые думы иного свойства, думы о делах семейных.

Но к чему пустые страхи и волнения, Арам Товмасян? Ведь ты ведешь себя так, словно твое дитя, этот маленький червячок, станет когда-нибудь взрослым и ты обязан обесценить его будущее. Ты ведешь себя так, будто живешь в упорядоченном обществе, где замужество девушки—предмет самой банальной заботы.

Но что проку? Бог даровал человеку счастливое свойство: верить во что угодно, но, даже погибая, не верить в неотвратимость своей гибели.

Сын Товмасяна жил уже шестнадцать дней. У него были большие, от века печальные армянские глаза. Но он ни на чем не останавливал взгляда, до сих пор ни разу не крикнул. Если порой издавал какие-то звуки, то лишь сдавленный писк. С каждым днем все беспощадней становилось ясно: надеяться не на что. Уж не был ли он от рождения слеп и нем?

А огненная родника все разрасталась: не Муса-даг ли незримой печатью поставила таинственную мету на груди своего первенца? К кому только не обращались за советом Товмасян! Не говоря уже о профессионалах—Петросе Алтун и Майрик Антарам,—ко всем повитухам, знахаркам и юродивым, какие только имелись в лагере. Но Товмасяны неизменно слышали одно и то же естественное и простое объяснение, которое не обещало исцеления: тяжелые переживания Овсанян в Зейтуне, депортация, изнурительная дорога в Йоголюдук, а потом снова волнения и бегство,— все эти ужасы не могли не повредить ребенку по чреве матери. Но что толку в утешениях? И так как никакие доступные разуму средства не помогали, то Овсанян рада была бы довериться ведовству Нуник. Но повитухи, эти восприимчивцы в смерти и в родах, после того как в долину прибыли турецкие пополнения, на Дамладжике не показывались.

Но Овсанян никак не могла согласиться с теми непроверженными доводами, с помощью которых так логично объяснялась страшная судьба ее ребенка. Она считала, что ее карает бог. Ведь Овсанян выросла в пасторском доме. Ребенок должен быть даром небес. А этот ребенок—кара божья. Карает же бог за грех. Но Овсанян не чувствовала за собой никакого греха. Да и в самых глубоких тайниках своей испытанной совести она не находила ничего, в чем могла бы себя упрекнуть. А раз вина бессорно есть, стало быть, она лежит

на другом, и разумеется на ком-то из ее близкого окружения. Арам был вне подозрений. Овсанина была фанатически преданная жена, она считала брак их безупречным. На ком же грех, тень которого пала на невинного ребенка? Первопричиной проклятия была Жюльетта Багратян. В ней, прелюбодейке, безбожнице, чужачке, шегодихе, видела Овсанина воплощение греха, а последствия его распространялись, как рак. А они, Товмасины, без зазрения совести жили в ее кругу, поселились в ее палатке, спали на ее кровати, ели с ее стола, на ее тарелках, потому что прельстились обманчивой светотой, потому что им не хотелось отказываться от удобства, потому что не обладали чистотой, какая нужна для богом предопределенной бедности, — такой, какая была во всех других семьях на Муса-даге. Однако на этом ход мыслей Овсанин не останавливался. В душу медленно проникала догадка, и Овсанина жалко за нее хватилась: Иску! Конечно же! Овсанина-то знает, что такое ее юная золовка: тоже нарушительница основ брака, лишена всяких устоев, без веры, без оглядки предалась греху! Разве она и раньше не была упрямой, самовлюбленной, падкой до развлечений, когда в Зейтуне Арам поставил перед женой твердое условие — жить с этой особой общим хозяйством? Но ведь Арам никогда не хотел видеть правду, с ним нельзя было даже поговорить откровенно об Иску, любимой его сестрице. Когда Овсанина во время крестин бедного ребенка расплакалась и убежала, она точно смутно предчувствовала все, хотя решительно ничего не знала. Теперь она знает все, знает, что ребенок ее проклят богом. И Овсанина больше не плакала.

Пять шагов вперед, пять назад — столько было в палатке, — сжав кулаки, она металась, точно помещенный в больничной палате. Но в ту ночь Овсанина решила больше не молчать и потребовала от Арама перевести ее в шалаш сскра. Живя у Багратянов, в этом очаге разврата, ребенок не избежит от божьей кары.

Пастора глубоко угнетало душевное расстройство жены, он смотрел на нее недоуменным взглядом.

— Если грешница — Жюльетта Багратян, то почему божья кара пала на наше дитя?

Овсанина отпила от груди ребенка: закипающий гнев отравлял ее молоко, она это чувствовала.

— Значит, и ты, пастор, слеп?

Пастор пытался объяснить жене, сколь мало смысла в том, что она вбила себе в голову. Но едва ли он мог в эту минуту выбрать худшее средство борьбы, чем логика. Овсанина выложила все, что думает о «безразличности» Иску. Арам вспыхнул со всей резкостью напомнил, что Иску самозатверждению, подвергав свою жизнь величайшей опасности, ухаживает за чужой ей женщиной, которая, правда, в свое время оказывала ей некоторые услуги. На ней, почти что одной, лежит все бремя поуходу за больной и днем и ночью, а

ведь Иску больная и хрупкая девушка. И вот на нее так низко клеветают за ее доброту и христианскую заботу о ближнем! И кто же клеветает? Жена брата! Арам понимает, в каком состоянии Овсанина, только потому он и будет считать, что ничего не слышал, и простит ее.

Овсанина насмешливо расхохоталась:

— Можешь сам поглядеть, пастор, как твоя добренькая Иску ухаживает за больной. Стоит только заглянуть в палатку! Ты найдешь ее там вместе с ним. А иногда они уж совсем нагло прогуливаются вдвоем...

Смех и слова жены не переставали звучать в ушах Арама, пока он спускался к морю. Ни о чем другом не думалось, хотя рыболовство при нынешнем тягчайшем положении было более насущным делом, чем остальное. Все немалопристойно леденила сердце правда. Непоплатная несправедливость Овсанина все запутала. Это его карает бог во втором поколении, в сыне, за великий грех, совершенный им в Мараше, за то, что он бросил своих свирот. Он виноват, а не Иску.

Внизу, у прибрежных утесов, Арам вдобнок узнал, что его великая идея принесла жалкие плоды. Вопреки штилю плот развалился во время краткого плавания, трое рыбаков и плотовод чуть не утонули. По сравнению с таким риском улов был более чем скудный: две небольшие корзины, наполненные мелкой рыбешкой и морскими гадами. Всего-навсего хватило бы на котел ухи.

Посмеявшись над горе-моряками, Товмасин отдал новые распоряжения, — нельзя же так, с первого раза терять мужество.

И все-таки солесварня дала более утешительные результаты, чем рыболовство. Для Города вполне можно будет добывать нужное количество соли.

Гонимый душевной тревогой, Арам пробыл на берегу не больше четверти часа и поспешил обратно. Ему было еще неясно, что предпринять для спасения Иску. Он ли не относился к сестре, даже к маленькой, всегда с величайшей бережностью и уважением? Да и Иску и нельзя было иначе обращаться. При всей ее тихости и ласковой готовности к послушанию кристально-твердая натура Иску не допускала вторжения в ее внутренний мир. Между братом и сестрой издавна установилась такая тонкая, целомудренная форма общения, которая не позволяла переходить некую запретную грань. А теперь он, для кого душа Иску всегда была священна, будет побивать ее камнями — грубо, напрямик все выложит? Он, сострадательный человек, чужий брат, должен взять на себя роль такого крикуна-обличителя? И к тому же новости Овсанина, конечно же, плод ее нервного расстройства.

Арам Товмасин предсталил немало доказательств своего мужества и в Зейтуне и на Муса-даге. Но теперь, дойдя до поросшего кустарником края гряды, он был в нерешимости, мужество ему из-

меняло. Не честнее ли призвать к ответу Габриэла Багратяна? Но как? Вправе ли Арам высказывать такие откровенные подозрения уважаемому человеку, стоящему на такой недосыпаемой высоте? Притом человеку, который перенес жестокий удар судьбы, а сейчас трепещет за жизнь сына, отчаянется? Товмасьян не находил выхода. Он было решил ничего не предпринимать. Но прежде чем свернуть к Городу и поговорить с отцом, он вздумал еще раз навестить к Овсаяне.

Все сложилось иначе. Перед палаткой Жюльетты сидела Искуни, глядя недвижным взглядом вдаль, куда скрылся Габриэл. Брата она заметила только в последнюю минуту, когда он сел на землю против нее; Арам в великом смущении не знал, с чего начать.

— Давно мы с тобой, Искуни, не разговаривали...

Она махнула рукой: в силах ли человеческая память измерить пропасть между былым и настоящим?

Арам пытался найти нужные слова:

— Овсаяне очень недостает тебя. Она ведь так привыкла к тебе и к твоей помощи... А теперь еще наш бедный малыш, и так много работы...

Искуни нетерпеливо перебила:

— Ты же знаешь, Арам, из-за ребенка я и не омыаю у нее...

— Ладно, ты взяла на себя уход за больной. Это очень хорошо с твоей стороны... Но сейчас, может быть, ты нужнее своей семье...

Казалось, Искуни очень удивлена:

— У Жюльетты здесь никого нет... А Овсаяна уже здорова, и помощниц у нее сколько угодно...

Пастор несколько раз глотнул, словно у него болело горло.

— Ты меня знаешь, Искуни. Я слов попусту не трачу... Может, поговорить со мной откровенно? В нашем нынешнем положении держаться иначе было бы смешно...

Она взглянула на брата, и в глазах ее промелькнула искорка неприязни:

— Я с тобой всегда откровенна.

Ему отчаянно хотелось дать ей повод обнаружить свою невинность. Если это просто сочувствие, взаимная симпатия, дружба, а не что-нибудь непонравившееся серьезное, пусть Искуни тогда—он так страстно этого хотел!— пусть она строго укажет ему, что он не прав, а разговор невестки заклеймит и назовет в негодование ложью.

— Искуни, Овсаяна очень боится за тебя. Говорит, ей кое-что стало известно. Мы полночи об этом спорили. Потому я тебя и спрашиваю, ты уж прости! Между тобой и Габриэлом Багратяном что-нибудь произошло?

Искуни не покраснела, не выказала ни малейшего смущения.

— Между мной и Габриэлом ничего не произошло... Но я люблю его и останусь с ним до конца!

Арам в ужасе вскопал на ноги. Ревнивый брат, он тяжело перенес бы признание Искуни, что она кого-то любит. Тем больнее был этот с дерзким спокойствием нанесенный удар.

— И ты с такой дерзостью говоришь это мне в лицо, мне?

— Ты этого требовал, Арам...

— Ты ли это, Искуни? Уму непостижимо! А твоя честь, честь семьи? Подумала ли ты о том, что он, спаси господи, женат?

Она порывисто вскинула голову. Лицо ее выражало несокрушимую уверенность в своей правоте.

— Мне девятнадцать лет, а двадцати не будет!

Пасторский глаз Товмасьян загремел:

— В боге ты будешь становишься старше, ибо в боге душа твоя бессмертна и за все отвечает!

Чем выше гремел Арам, тем тише отвечала Искуни:

— Я бога не боюсь.

Пастор схватился за голову. «Я бога не боюсь...» Выражение высочайшей искренности он принял за закоренелую дерзость.

— Попытаешь ли ты, что творишь? Не видишь разве, в какой трясине погрязла? Вон там лежит при смерти, в беспамятстве женщина, бесстыдная обманщица. А вы обманываете ее во сто крат бесстыдней! Вы ведете жизнь подлую, более чудовищную, чем самые отсталые мусульмане! Да что и! Я грешу против мусульман...

Искуни крепко ухватила правой рукой за веревку палатки, глаза ее широко раскрылись. Арам присисал это своему красноречию, — слава богу, он не утратил влияния на сестру. Поэтому решила проубавить тон:

— Будем благоразумны, Искуни! Подумай, какие последствия это может иметь не только для тебя и нас, но и для Багратяна и всего лагеря! Пора кончать с этим ужасным заблуждением! И сразу! Отец придет за тобой и возьмет к себе...

Из груди Искуни вырвался тихий стон. Она отшатнулась. Тут только пастор Арам обнаружил, что ее горестный вскрик вызван не отповедью брата, а чем-то, что происходило за его спиной и что ужаснуло Искуни. Пастор обернулся и увидел Самвела Авакяна; задыхаясь, он озирался, ища своего командира, он едва держался на ногах. Искаженное лицо походило на маску скорби, он плакал в голос.

Искуни ослабевшей рукой показала на седьмое седло, где можно было найти Багратяна. Потом ушла в себя, не обращая внимания на Арама. Она все поняла.

Сато никогда или очень редко спала на одном и том же месте — такая поддалась за ней странность.

Свойственная человеку потребность в постоянном ложе, в защищенном месте для ночной половины своей земной жизни, эта потребность прижится хотя бы на время сна у Сато начисто отсутствовала.

Она старалась не вставать дважды на одном и том же месте, случалось ей менять ложе и за одну ночь. Правда, это ее не обременяло, она устраивалась без особых приготовлений, где попало, то под кустами «Ривьеры», то в роше, а подчас и посреди Алтарной площади. Она спала свернувшись клубочком, без одеяла и подушек, хотя дважды выпрашивала их у прислуги Багратян. Но к чести Сато надо сказать, что эти чудесные постельные принадлежности перекочевали в качестве гостевого подарка к кладбищенской братии, к которой Сато питала истинно родственные чувства. Ее неуверенный ночной сон не нуждался в комфорте. Было некое сходство между сном Сато и сном Гайка: она, как и Гайк, была начеку даже в оцепенении сна. Но в то время как обостренное сознание Гайка было настороже и, как добрый часовой, закрывало доступ действительности, охраняя своего спящего господина, сознание Сато беспокойно блуждало и выкапывало из потайных глубин все сокровенное. Ее сновидения, хоть и походили на снятые подряд фотографии, не всегда были просто мнимостью. Подчас они бывали причудливыми предвестиями, и Сато знавала, что в это время творилось поблизости и даже в отдаленности ее. Случалось это и сейчас. Она спала среди зарослей мирта и арбутова, там, где она подлаждала любовников. И вдруг ей что-то сказала, что Нуник близко и что идет она во главе длинного шествия.

Она опрометью бросалась бежать в том направлении, какое подсказывало ей чутье. Была еще ночь, когда она миновала складчатое плато Дамладжика и пересекла через гребень горы к югу от горных лесов. В этом месте гора, включая хустанники с красными ягодами и отдельные разбросанные там и сям кусты деревьев, становится все пустыней и каменистей. Досюда простирался гигантский размах крыльев пожара. Обугленные деревья и островки тлеющей растительности свидетельствовали о большом пожаре. Но сам пожар все больше стягивал свое воинство назад, к своему становичу, к Дубовому ущелью, откуда он начался. Пламя вокруг ущелья еще не совсем ослабло, и тихими воями издавело слышно было продолжительное шипение, потрескивание и хруст. Огненной броней оградил себя Дамладжик от всех атак на большом протяжении — от Битназд до Аджи-Абиди. Все предгорье, все овраги, ущелья, долины была подобным бастионом крепости, созданным пожаром, который слабая лишь на склонах виноградинок и плодовых садов. Теперь, правда, жизнь в нем заметно угасала, однако он оставил после себя непроходимую ничейную землю с раскаленным докрасна гирляндами ветвей, перебивающимися темным пламенем грудями углей, чающими пластами золы и складчатыми завесами дыма будто из сизого с коричневым отливом бархата.

Родники и ручьи, текущие в долину, ничуть не сдались, они

вырыли себе новые русла и, дымясь, вырывались на поверхность земли в полосу пожара, точно горячие целебные источники.

Сато встретила процессию с телом Стефана в маленьком, неприютном ущелье, которое вело вверх к предпоследней полосе обороны на юге. Нуник с ее присными так медленно продвигалась вперед не только оттого, что пришлось сделать крюк из-за лесного пожара: снугу ее составляли старики и немощные, это и было главным препятствием. Ибо на сей раз к крепким, жилистым плакальщикам присоединились все убогие, что таились на две долины. За процессией на почетном расстоянии следовали даже уменьшенные женщины, ибо для кладбищенской братии они были изгой и как бы вне закона. Из этого явствует, что даже девобразимо выжкий разряд человечества всегда найдет объект, с которым сочтет ниже своего достоинства «поддерживать знакомство». Бедные дурочки нарочно тараторили, будто полагали, что, сохраняя невозмутимость, они показывают свое превосходство перед теми, кто их презрел.

Ход процессии замедлился тем, что несли погребальные носилки слепцы и разневолявшиеся на ветру кудрями пророков. Нуник лавачила их носильщиками, потому что они были немощны из кладбищенской братии, у кого ноги-руки еще не вовсе ослабли. Сама она шла впереди, а Вартук и Манушак длинными пастушьими посохами направляли слепцов, ограждая от стволов деревьев, кустов и обломков скал; так подгоняют лениво мотающихся головой буйволов, расчищая им дорогу.

Тело Стефана в белом саване покоилось на старинных, богато украшенных погребальных носилках; дескто таких еще можно было найти в церкви и на погосте Йогонодука. В благодатные мирные годы, когда неделями не случалось никому помереть и доходы бедолющца начинали скудеть, он прокрадывался ночью в церковь и стучал колотушкой по прогнившим погребальным носилкам. И, покладывая, твердил шепотом заклятие, которому научил его предшественник, рекомендовав сие как надежное средство подзапорить обленевшую смерть: «Древо божье, не дремай, хлеб насыщенный мне верни!»

Сато вносила вокруг процессии как шенок, которому ничего не стоит три-четыре раза пробежаться взад и вперед по дороге. Она все ближе подбиралась к носилкам; колышась в такт тяжелым нершим шагам слепцов, они плыли вперед. Ее безжалостные и жадные глаза ошупывали детское тело, накрытое простыней.

Откинуть бы покров с его лица, поглядеть бы, каков Стефан мертвый! До чего же ей это хотелось!

Потом, когда шествие почти перевалило гору, она во всю прыть помчалась к лагерю. Ей хотелось первой разбудить Авакяна и Кристофора и предстать перед народом вестницей смерти Багратянова сына. Едва рассвело, мертвец и его колченогая, бредущая ошупью

свита достигли главной площади Города. Носилки поставили у подножия алтаря.

Плакальщицы со всей братней уселись вокруг. Нуник открыла лицо мальчика. Она исполнила поручение Тер-Айказуна как могла. Труд подлежит оплате. В бесспорном порядке.

Но вот чуть слышно раздалось прерывистое жужжание надгробного плача.

А Стефан стал похож на восточного принца; таким, когда он впервые надел национальный костюм, в ужасе увидела его мать.

И хотя Нуник насчитала сорок ран, колотых и рубленых, и множество ушибов на всем теле, хотя позночник у него был перебит, а горло перерезано зверской рукой, лицо убитого не исказила мука.

Казалось, из-под навеки сомкнутых ресниц Стефан все еще видит так страстно ожидаемого отца, который, наконец, оказался из высокого вокзального портала. С лица этого сорокакратного убитого мальчика ничто не согнало улыбку радости: ведь он снова и объятых отца.

Смерть пришла к нему в его отсутствие. По воле бога страшная, мучающая смерть коснулась его лишь как дальняя весть о чьей-то гибели. И лишь теперь он стал самим собою, этот мятущийся принц.

Первым, кто вышел на Алтарную площадь и в изумлении отшатнулся, увидев погребальные носилки и окруженный похоронной процессией алтарь, был Григор, аптекарь.

Накануне вечером Тер-Айказун самозачно освободил Саркиса Киликяна и направил в прежнюю его часть на Южном бастионе.

Григору жаль было расставаться с Киликяном, который, находясь под арестом, несколько суток провел с ним в баране. Аптекарь за время его болезни совсем забросил. Последователи его, учителя, перестали бывать у него не столько из-за военной службы, сколько потому, что, почтя себя с недавних пор людьми дела, чувствовали легкое презрение к своему прошлому беспечным мечтателям Говваго, с которым Григор охотно беседовал, бежал. Старый друг аптекаря, эким Петрос, притягивает порой к одру больного Григоря (а сам — в чем только душа держится!), осматривает, глубокомысленно и беспомощно качая головой, изуродованные суставы больного, да и все. Одиночество Григоря стало, если подсчитать, вдвое длиннее, потому что из двадцати четырех часов он спал час-два, да и то всегда только в полдень. Ночью же, как свойственно многим мудрецам и гениям, он жил просветленной, исполненной высоких чувств жизнью.

В первые две ночи присутствие арестованного Киликяна в запертой лачуге было для Григоря непереносимо. На третью ночь это ощущение волеи от присутствия постороннего превратилось в странную потребность видеть арестанта, говорить с ним. Не уступил он

этой потребности только потому, что не хотел уронить авторитет совета уполномоченных, в состав которого сам входил.

На четвертую ночь чувство одиночества овладело им с такой силой, что Григор ничего с собой поделать не мог. Превозмогая отчаянную боль, он встал с кровати, дотронулся до двери в «карцер», достал из тайника опухшей, узловатой рукой ключ и с трудом отпер ее.

Саркис Киликян лежал с открытыми глазами на циновке. Аптекарь его не разбудил, и Киликян не удивился его приходу. Руки и ноги Киликяна были связаны, но так милосердно, что он мог свободно двигаться. Григор поставил керосиновую лампу на пол и сам сел подле нее. Ему было до глубины души стыдно этих связанных рук и ног. И чтобы сравниться с Киликяном, показал свои бедные руки:

— Мы оба скованы путами, Саркис Киликян. Но мои путы причиняют большую боль, чем твои. К тому же я и завтра буду их носить. Так что не жалуйся.

Киликян вскинул на него равнодушные глаза:

— Я не жалеюсь.

— Может, было бы лучше, если бы жаловался...

Аптекарь протянул арестанту бутылку водки.

Тот задумчиво отхлебнул. Старик с сосредоточенным видом тоже отпил. Потом оглядел арестанта:

— Я знаю, ты учишься... Студентом был... Может, хочешь, пока ты здесь, книжку почитать?

— Слишком поздно ты пришел с этим, аптекарь.

— На каких языках ты читаешь, Киликян?

Киликян угрожно, точно нехотя, проворчал:

— Могу и на французском, и на русском, если понадобится...

Гладкое лицо мандарина с трясущейся козлиной бородкой печально поникло:

— Видишь, что ты за человек, Киликян...

Дезертир разразился тем клоунизмом, беспривычным и медленным смехом, что так ужаснул Габриэла Багратяна в ночь «генеральной репетиции». Но Григор не поддался на фортель:

— Знаю, жизнь у тебя была несчастливая... Но почему? Разве тебя не послали в Эчмиадзин? Разве ты не жил в семинарии, дверь в дверь с самой прекрасной библиотекой в мире? Я был там только один день, но счастлив был бы остаться среди этих книг до конца своих дней... А ты сбежал.

Саркис Киликян привстал.

— Послушай, аптекарь, ты ведь раньше курил... Я пью дней табаку не нюхал.

Григор со стоном собрал свои старые кости и принес арестанту чубук и последнюю оставшуюся у него жестянку табаку.



— Возьми, Киликия. Я лишен и этого удовольствия, руки трубку не держат...

Саркие Киликия жадно закурил, окутал себя клубами дыма. Не штекарь поднял с полу лампу и направил свет на Киликияна.

— И все же, Киликия, ты сам виноват в своем несчастье... Я вижу по твоему лицу, что ты монах. Не то чтобы в тебе было что-то попсовское, монах в моем понимании — это человек, который в своей келье обладает всем миром... Почему ты бежал? Потому-то у тебя все так неудачно сложилось... Чего тебе надо было в миру?

Саркие Киликия курил так самозабвенно, что неясно было, слышит ли он и понимает ли речи Григоря.

— Я вот что тебе скажу, друг мой Саркие... Есть две разновидности людей. Одна — человек-зверь, таких миллиарды! Другая — человек-ангел — их тысячи, в лучшем случае тысяч десять. К разновидности человека-зверя принадлежат и вершители судеб мира — короли, политики, министры, генералы, паши, — равно как и крестьяне, ремесленники и рабочие. Взгляни, например, на мухтаря Кебузаян! Каков он, таковы все. Все они — только в разных формах — заняты одним: делают дерьмо. Ибо политика, промышленность, сельское хозяйство, военное дело — что это все, как не дерьмо, пусть даже чем-то полезное? Отними у человека-зверя дерьмо, и в душе у него останется самое страшное — скука. Совладать с нею сам он не в силах. И от скуки пронсекает все зло — политическая ненависть и массовые убийства.

А в человеке-ангеле живет восторг! Неужели ты, Киликия, не приходишь в восторг, глядя на звезды? Восторг в человеке-ангеле — это все равно что хвалебный гимн истинных ангелов, о котором великий Агафангел\* говорит, что это высшая и самая плодотворная деятельность по посланиям... Но к чему я веду? Я хотел сказать, что есть такие человеки-ангелы, которые сами себя предают, сами от себя отступаются. Для таких нет пощады, нет жалости. Каждый час есть час отмщения им...

Тут маг слова, Григор Погонолуцкий, потерял нить и умолк. Саркие Киликия, казалось, ничего не понял из всего сказанного. Варуг, однако, отложил чубук в сторону.

— Разные есть души, — сказал он. — Иных уничтожают в детстве, и никто потом не спросит, какие это были души...

Он вытащил связанными руками из кармана складную бритву и раскрыл ее.

— Смотри, аптекарь! Как ты думаешь, мог бы я перерезать эти ремни? Как ты думаешь, мог бы я пнуть ногою разок-другой и разнести в щепы эту конуру? А я этого не делаю.

Голос Григоря звучал глухо и равнодушно, как в былые времена:

— Такой нож есть у каждого из нас, Киликия. Но к чему он тебе? Если даже ты сам себя освободишь, переступить границу за-

гря нельзя, идти некуда. Поэтому мы можем разбить оковы только внутренней несвободы.

Дезертир ничего не ответил и лежал спокойно, а Григор достал со своей стены книгу томик, надел на нос очки в никелевой оправе и голосом, наводящим сон, начал читать вслух. Киликия слушал, не сводя с него неподвижных агатовых глаз, длинные фразы, в которых туманно расказывалось о святствах и влиянии звезд.

В последний раз аптекарю Погонолука было дано приобщить к своему богатству молодого человека. По непонятным причинам ему показалось, что стоит лишь приложить усилия, и он воспитаet себе ученика из этого беглого семинариста. Напрасный труд! На другую ночь ловец человек был опять одинок, и больше чем прежде.

Опираясь на две палки, Григор приблизился к носилкам. Безвольно склонил желтое лицо над мертвым сыном Батратяна. Долго качал лысой удлиненной головой.

Нет, сейчас голова у него тряслась не от болезни. Сейчас это было знаком невыразимого изумления миром, где познания, предназначенные для духовной жизни, вместо того чтобы наслаждаться дефинициями, формулами и стихами, ослепленные фанатизмом, режут друг другу глотки.

Немного на свете человек-ангелов, и даже эти немногие продают свое ангельское естество, становятся отступниками. Он попытался было подобрать из своей своеобразной сокровищницы цитат подходящее к случаю слово, которое бы его подбодрило. Но сердце было переполнено скорбью, и он не нашел нужного слова.

Согбенный, скрюченный, заковылял он обратно в барак. Среди разных настоек аптекарь хранил крохотный пузырек из тонкого стекла, запечатанный сургучом. Десятик лет назад он попытался изготовить по рецепту средневекового мистика-перса настоящее королевское розовое масло, секрет которого мир давно утратил. Скляночка заключала в себе одну каплю этой добытой многодневным трудом эссенции. Григор еще раз дотронулся до погребельных носилок и радомльно склонился над чужим усопшим. И в воздухе тотчас же разлилось крепкое благоухание, которое, как чь мощным крыльям, воспарило над головой мученика. И аромат этот повисне походил на того гения, чье невидимое тело, по словам персидского учителя Григоря, образовалось из самой сути тридцати трех тысяч роз.

Между тем являлся Тер-Микаэли и доктор Петрос. Священник встал у изголовья Стефанова ложа с полуопущенными веками, спрятав левые руки в рукава рясы. Костлявые вдумчивые пальцы старого доктора обожгли на маг раны на законченном теле мальчика. Потом бережно укрыли его и ласково разгладили покров.

Наступал день. Из проулков между шалашами и с ближних позиций быстро стекался народ и теснился у алтара. После трех дней

боса народ этот видел очень много мертвых и громко их оплакивал. Но этого нельзя было сравнивать с теми павшими. Многие знали, что здесь — жертва, что этот мертвый мальчик означает нечто большее.

Неслыханная тишина. Даже подростки, признания которых Стефан в своей жажде стать «настоящим» так сумасбродно домогался, даже эти неутомимые несдуха робко и почитательно поглядывали на тонок, цвета слоновой кости лицо. Вот когда он покори́л их! И только одионый Акон осталось дома и зарылся, укутавшись с головой, а одеяло. Тишину нарушали протяжные, душераздирающие вопли вдовы Шушик. Мать Гайка, увидев труп Багратянова сына, заголосила: так трубят раненый олень. В ее сознании судьба Стефана была неразрывно связана с судьбой Гайка; так она думала, даже когда убедились, что сын ее не лежит на погребальных носилках: ведь осыла турки убили одного, значит, и другой не ушел от расправы. А Нушик, Варук и Манушак бросили ее сына на съедение псам, потому что он простой крестьянский мальчишка, никому до него дела нет.

Вопли Шушик напоминали не стон страдальцы-матери, а вой раненого зверя, — этим воем зверь как будто прощается с жизнью.

Шушик окружили женщины, — ее, которая и здесь, на Дамладже, жила на отшибе, не сблизившая с соседями. А сейчас ей со всех сторон шептали, уговаривали не падать духом; ведь по всему ясно, — шептали утешительницы, — что Гайк спасся и не сегодня-завтра будет под крылышком Джексона. Если бы его прикончили, он наверняка лежал бы тут же. У молодого Багратяна не было той силы, а главное, той смекалки, которая есть у Гайка, и она с божьей помощью благополучно доведет его до цели. Шушик не слушала утешений. Она стояла согнувшись, прижав руки к груди, и монотонно причитала, будто зывала к земле.

В качестве свидетельницы предстала Нушик. Старуха откинула покрывало с изъеденного волчанкой лица. Несмотря на то что жить в долине означало жить под постоянной угрозой смерти, Нушик повсюду располагала среди населения тайными источниками сведений, они не иссякли. Она поклялась, что сын Багратяна появился один, без спутников, в окрестностях деревни Айн-Джераб, что там его схватили двое новоселов-турок и доставили к мюдиру. Но и сама правда не помогла. Шушик не поверила. Тогда женщины по знаку Тер-Айказуна стали осторожно отсылать ее к главной улице. Прикасаться к ней они не смели, могучее ее телосложение внушало им почти суеверный страх. И вдруг вдова Шушик смирилась. Женщины удвоили старания, утешительный шепот усилился. Мать Гайка и впрямь будто становилась спокойней, будто вновь обрела надежду, по мере того как ее уводили все дальше от мертвца.

О тоске по человеческому теплу говорили движения Шушик; и то, как бессильно поникла ее маленькая голова, и то, как ее нелепо,

большое тело клонилось к обступившим ее гравиями, хрунким фигуркам утешительниц. Она обняла за плечи двух, что стояли поближе, и покорно дала себя увести.

Но когда на Алтарной площади показался Габриэл Багратян, сопровождаемый плачущим Авакяном, ни одна душа не решилась к нему подойти. Напротив. Толпа отступила довольно далеко, так что между алтарем и Габриэлом образовалось свободное пространство. Даже плакальщицы и ищие встали и скрылись в толпе. Только Тер-Айказун и эким Петрос остались на своих местах.

Габриэл, однако, не кинулся к алтарю, даже замедлил шаг. Вот и свершилось то, что пять дней и пять ночей рисовал он себе ежeminутно, неуступленно и беспощадно. Уже не было сил испытать до дна чашу действительности. Он нерешительно отсчитывал шаг за шагом расстояние между собою и сыном, точно стремясь отдалить хоть на несколько секунд последнее: окончательную уверенность. А тут еще ему стало казаться, что все его тело иссыхает. Началось с глаз. Глаза жгло от этой сухости, он моргал, но веки не увлажняли глаз. Потом пересохло во рту. Как кусок толстой сморщенной кожи пристал язык к шершавому небу. Габриэл пытался глотнуть и не мог — не было слюны. В раскаленной гортани закипали противные пузырьки воздуха и тут же лопались. Но самое страшное было то, что он не мог собраться с мыслями. Вся суть его словно пыталась от боли, которая злила в нем как дыра. А он не понимал, что эта дыра — есть. Ничто, что эта пустота и есть настоящая боль. Он злобно спрашивал себя: что случилось? Почему я больше не страдаю? Почему не кричу? Почему у меня нет слез? Даже горькое чувство обман на Стефана не прошло. А ведь здесь лежало его дитя, которое он любил. Но Габриэлу никак не удавалось запечатлеть в душе лицо мертвого. Его пересохшие глаза видели только большое белое и маленькое желтоватое пятно. Ему хотелось направить мысли на совершенно определенные вещи, подумать о тигровойшей на нем вине. Он ведь забросил детские вещи, подумать о тигровойшей на нем вине. Он ведь забросил мальчика и потом унизил, подтолкнул его к бегству. Он осознал это в последние дни. Однако мысли Габриэла не ушли далеко; из зияющей дыры потянулись обыкновеннейшие картины и подробности и стали мыслям воперек дороги, хотя большей частью никакого отношения к Стефану не имели. Но тут из той же дыры вынырнула греховная потребность (тоже, верно, бесосмысленная), которую он, казалось, много недель назад победил: курить! Напился в тот миг сигарета — кто знает? — он, может, и взял бы ее в рот к ужасу всего народа. Не отдавая себе отчета, он шарил в карманах. В эту секунду он страдал за своего мальчика, которого он и сейчас покинул.

Почему он был так далеко от Стефана, что даже не видел его лица? Однажды на вилле в Йогополуде он сидел у кровати сына и подслушивал его сны; на столе тогда лежали неумедные его чертежи карты Дамладжжа. И теперь она вновь едины, он и его — мальчик,

который все, чем был он сам, навсегда уносит с собой. И Габриэла Багратян стал на колени перед мертвым, чтобы его слепящие глаза в последний раз запечатали это нетерпеливо ожидавшее личико.

Тер-Айказун, Алтуни и все другие видели вождя сопротивления таким, как обычно, — в охотничьем костюме и тропическом шлеме. Они увидели, как он медленно, чуть пошатываясь, подошел к погребальным носилкам. Потом увидели, как он беспомощно стоит, ловя ртом воздух, и все время нерешительно то будто тянется, то отталкивается руками. Они увидели, что он не в силах смотреть на мертвого сына и потому отворачивает голову. Когда же он, наконец, молча пал на колени перед трупом, в сердцах тысячи молчавших людей пронеслось мгновение, равное вечности.

И вот лицо Габриэла легло на лицо Стефана. Казалось, он уснул или так и умер — на коленях, прижав лицом к лицу сына. Тростичек шлем свалился наземь. Из-под сомкнутых век не выкатилось ни одной слезы. Но все женщины и многие мужчины плакали. Смерть Стефана, казалось, снова сблизила этих людей с чужим. Как только в сердцах толпы миновало пронесшееся бесконечное мгновение, Тер-Айказун и доктор Петрос под руки подняли стоящего на коленях отца. Не вымолвив ни слова, они увели его, и он послушно пошел с ними. И когда они уже далеко отошли от Города и увидели Три шатра, Тер-Айказун, который шел по правую руку Багратяна, сказал коротко:

— Габриэла, сын мой, помни, что он опередил тебя всего на несколько обденных дней.

Но доктор Петрос, шедший слева, горько и устало возразил:

— Габриэла, дитя мое, помни, что наступающие дни будут не обденными днями, а сущим адом, и благослови ночь.

Багратян ничего не сказал, но остановился и раскинул руки, преграждая им путь. Они поняли и повернули обратно, оставив его в одиночестве.

Температура у Жюльетты больше не падала. Казалось, ее бесчувственное состояние дошло до предела. Она перестала дергаться, метаться, бормотать, хрипеть, задыхаться, лежала вытянувшись, неподвижно, и только дыхание короткими толчками вырывалось из обветренных губ. Наступил ли, согласно законам этой болезни, кризис, который в несколько часов решал: жизнь или смерть?

Искун больше не тревожилась о Жюльетте; помрет или выживет — ее воля. Не вспоминала Искун и о мрачных угрозах брата: он покаялся навсегда отречься от нее, если она в полдень не уйдет от Багратянов.

В палатке стоял Габриэл, выпрямившись по весь рост, — почти касаясь головой потолка. Вид у него был, пожалуй, даже более

отстраненный от мира, чем у лежавшей в горячке жены; он не узнавал Искуна.

Она скользнула на пол, припала головой к его коленям. Сейчас она не так терзалась гибелью Стефана, как муками Габриэла. Она одна знала, какой ранимой и алчущей света была его душа. И все же он решился авалить на свои израненные плечи этот пылающий мир, весь Дамладжк. А близкие подрезали ему крылья — сначала Жюльетта, потом убитый сын.

Габриэл продолжал стоять.

Что перед ним она, Арам и все другие? Ничтожные мошки! Грубые, грязные крестьяне; бездумные головы, бесчувственные сердца — догадывались даже, кто к ним низше! Она чувствовала себя приниженой от того, что так бессильна, так незначительна. Что может она спершить и чем пожертвовать, чтобы стать достойной Габриэла? Ничего! Она протянула ладонь. Жест нищенки. Она молила его подать, как милостыню, хоть частичку своей боли, своей тироты. Лицо ее светилось благоговением, мучительной жаждой самоотдачи, ведь она стояла на коленях перед человеком, который все еще ничем не дал понять, что чувствует ее присутствие. Она начала шептать ему какие-то жаркие, несурзные слова, немислимый вздор, который ее ужаснул и сконфузил. Как же она бедна, как чудовищно бедна, оттого что не властна помочь! Наконец, вызванное отчаянием, заговорило материнское чувство, едва ли не безотчетное; нехорошо стоять, когда больно. Когда больно, надо лечь. Он должен поспать. Только сон может помочь. Но не я.

Она расстегнула крючки на его гетрах, расширивала ботинки, заставила сесть на свою кровать. Пустила в ход свою парализованную руку, — это стоило сверхчеловеческих усилий. То было нелегкое дело, но так как Габриэл сам начал машинально раздвигаться, то Искун справилась. Зато так устала, что потом, укрывая его, никак отдышаться не могла.

Искун почувствовала скользнувший по ней ничего не выражающий взгляд. «Я лежу на мягком». Ничего другого Габриэл не соизнавал. Много недель он спал на голой земле северного седла. У него стучали зубы, — это был озноб, мучительный и сладостный.

Искун забилась в угол, чтобы он ее не замечал, пока она ему не понадобится. Она молилась, чтобы крепкий сон наконец утишил его страдания. Но из груди Габриэла исходило не ровное дыхание спящего, а тихий, звенящий звук: будто жужжание и мерное постукивание, напоминавшее надгробный плач.

Габриэл искал и не находил Стефана в бездонной пустоте боли. Но от этого тихого звенящего жужжания ему, верно, становилось легче на душе, потому что с небольшими перерывами оно продолжалось, пока августовское солнце в обычный час не послало свой длин-

ный луч заглянуть в просвет между полотнищами шатра. Луч проник внутрь и озарил лицо Жюльетты.

Иску увидела, что состояние больной внезапно изменилось. На лбу Жюльетты выступил пот, глаза были широко раскрыты, она приводила голову, прислушиваясь. Жюльетта испытывала глубокий восторг. Но онемелый и большой язык не слушался, повясть ее было трудно:

— Колокола... Габриэль... Слышишь... Колокола... Сто колоколов... Правда ведь?

Стоим на другом ложе сразу смолкли. Жюльетта в возбуждении сжалась привстать. Во всю мочь напрягла свой слабый голос, и он зазвенел ликующим криком:

— Весь мир теперь стал французским!

Однако ж в этих словах заключалась правда, о которой не догадывалась Жюльетта, утопая в море колокольного звона, порожденном ее победным патристическим сном. Отныне, после того как пролилась кровь Стефана, после смерти ее единственного сына, которого она подарила армяскому народу, весь мир для нее стал поистине снова французским.

## Глава четвертая

### РАСПАД И ИСКУШЕНИЕ

На тридцать первый день Муса-дага состоялись похороны Стефана. А на тридцать второй день грянула великая беда.

До этого дня членам семи армянских общин вроде бы не на что было жаловаться. Ведь в то время как меж Алеппо и Дейр-эль-Зором, в горах ущельях и долине Евфрата, в степях и месопотамских пустынях истлевали останки сотен тысяч армян — едва ли не половина всех депортированных, — здесь в Городе, на оборонительных позициях, в лазарете и карантинной роще умерло в было убито не более двухсот восьмидесяти человек. Если учесть все кровавые бои, постоянное недоедание, эпидемии, бессонные ночи, физическую нагрузку и всевозможные тяготы, то этот сравнительно невысокий процент смертности свидетельствовал не только о необычайной силе сопротивляемости сынов гор, но и о милости господней. Поистине удивительно, что, где бы ни восставали армяне против Энвера и Галаата, там всюду с немалой последовательностью вступали в действие высшие силы и дело решалось в пользу храбрецов. Правда, мусадлагин не мог, как восточно-анатолийские повстанцы Ван и Битлис, рассчитывать на приход русских, которые гнали перед собой смертельного врага армян генерала Джебета-пашу. В осажденных на Дамладжке бескрайние просторы страны ислама с ее неоглядными степями

и горами рождали еще большую безнадежность, чем даже море. А море у них за спиной было неспасительным мертвом. Никто уже, даже малые дети не верили, что когда-нибудь у Сирийского побережья появится военный корабль. И даже если рассудку вопреки непероятным, чудесным образом такой корабль и покажется на горизонте, то все равно было бы нелепо предположить, что кто-то из команды заметит жалкий доскут, висящий на скале-террасе. Прошло уже больше недели, а пловцов все не возвращались из Александрии. Их уже считали погибшими. Лишь несколько неисправных романтиков пытались рассматривать столь долгое отсутствие как благоприятный признак.

Но как из все это ни смотреть, а люди жили. Семья, а то и восемь секторов обороны сделались благодаря опустошительному пожару, неприступными, а остальные Габриэль Вагратин усилки или основательно переоборудовал. Да и у врага, очевидно, не было никакого желания пускаться и в новые авантюры. Вся долина Ороната и ближайшей деревни кишели солдатами новых формирований и новыми запятыми, слоняющимися без всякого дела. Командование врага не удосужилось даже, хотя бы для вида, организовать осаду горы. Возможно, оно не желало идти на риск, памятуя о полных стрелках, во, возможно, и просто ждало подвоза артиллерийских средств.

Жители лагеря кое-как обходились ничтожным рационом питания. Труднее всего было переносить отсутствие хлеба. Но женщины и здесь оказались изобретательными. Теперь уже никто не ел одно мясо, как вначале. Тоший, жилистый кусок, выданный утром, был недостаточен, чтобы заполнить желудок. Мясо резали на мелкие кусочки, варили с луком, приправляли различной зеленью, так что получалась похлебка и хоть немного увеличивалась порция еды. При таком изобретательном образе жизни можно было бы и протянуть еще некоторое время, если бы внезапный удар не положил всему неожиданный конец.

А кто был виноват? До первопринципы так и не докопались. Ответственные за стадо мухтары сваливали вину друг на друга. Установлено было лишь, что одно из первых и важнейших решений совета самым преступным образом систематически не выполнялось. А мухтары не только не препятствовали своеволью овчаров, но даже благожелательно взирали на это, что бы они потом ни говорили, ссылаясь на потравленные луга внутри оборонительного кольда и на необходимость свежего корма для стада. Да, конечно, новые пастбища расположены вину северного седла и при этом удачно скрыты от чужих глаз и вполне недоступны. Однако можно ли доверять овчарам? Как и всюду на земле, они и здесь были набраны из босоногих мальчишек и полусонных стариков. Небольшое сообщество это со временем вполне приспособилось к характеру своих подопечных, пребывая в полной уверенности, что вокруг царит глубочайший мир.

Одним словом, мухтары давно уже крайне небрежно относились к своим прямым обязанностям и бывали вполне удовлетворены, если пастухи пригоняли к боине предписанное количество скота, вес которого после перегона на новые пастбища заметно увеличился. Видно, мухтары забыли, что они члены совета. Тем непрестительнее второе улушение. Соответствующее решение совета было распространено даже в письменном виде и скреплено подписью Тер-Айказуна — столь важным оно представлялось совету. Ни при каких обстоятельствах не дозволялось выгонять скот — эту драгоценную собственность народа — без вооруженной охраны даже на внутрилагерные пастбища на двух возвышенностях Дамладжа и на луга морского склона горы. Впрочем, если провести в жизнь это решение, пришлось бы заговорить о так называемых «новых пастбищах», а это привело бы к немедленному пресечению подобного своеволия. Проще было отказаться от всякой охраны. Все мухтары уповали на бога, на то, что новые пастбища хорошо скрыты от вражеских глаз, и на лень турок. Друг с другом и с прочими руководителями они не заговаривали об этой противоречащей всем решениям совета тайне. Так было подготовлен и обеспечен легкий успех врагу. Турецкие разведчики на сей раз действовали безупречно.

Два звзда турецкой пехоты и отряд захитев получили приказ выйти ночью на выполнение задания и во перевалу близ Битласа подняться на Муса-даг. Наставлял солдат и офицеров в необходимости соблюдения тишины и осторожности повестие не было нужды. Несмотря на новолуние, вся боевая группа, как и предписывал устав, двигалась, выслав вперед авангард и головной дозор, затем фланговое охранение и аррьергард. Солдаты ступали с большой опасливостью, взвешивая каждый шаг. И эта крайняя осторожность врага была ведь не чем иным, как бесцельным капиталом, завоеванным Габриэлом Багратяном и его дружинниками у турок.

С затемненными фонарями полурота подкралась к спящим овчарам. Командир до последней минуты не верил, что его рейд закончится без боя. Какое же было удивление солдат, когда они застали двух-трех старцев в белых тулупах, которых тут же всех до одного бесцельно прикончили! А стадо овец захитев еще до восхода солнца в спешном порядке перегнали в долину, словно этому военному трофею угрожала опасность.

Так у мусадаяцев была перерезана нить жизни.

Среди похищенного скота оказались все обычные овцы и ягнята, большое число коз, а также все ослы, кроме тех, что использовались в качестве вьючных и верховых. Если подчитать весь оставшийся в лагере скот, то еды хватало бы еще на три-четыре дня, а уже после этого оставалась голодная смерть.

Утром, едва Тер-Айказуна известили о чудовищном ночном событии, он немедленно созвал большой совет. Какое действие оно окажет

за народ, он превосходно понимал. После вспышки ярости против Жюльетты Багратян в Городе тлео беспричинное и бессильное ожесточение, словно бы искавшее повода вырваться наружу. Вардапет охотно утаил бы весть о катастрофе, а то и облек бы свое сообщение в такую форму, которая исключила бы вину и ответственность руководства. Но это, к сожалению, было невозможно.

Уловочечные, в зависимости от характера, кто спешил, а кто еле влезал к правительственному бараку. Но все они стремились укрыться в нем прежде, чем на Алтарной площади соберется народ. Впечатление они производили самое разное — не то отчаявшихся, подавленных, не то неуверенно-надменных. Осторожности ради Тер-Айказун вызвал городскую полицию — всего двенадцать человек — для охраны здания. А Чаушу Нурхану поручил строго следить за порядком в пределах всего лагера.

До этого большой совет редко собирался в полном составе. Дело, по сути, решал триумvirат — Багратян ведал военными делами, Арам Товмасян — внутренними, а Тер-Айказун, как глава всего народа, имел решающее слово при обсуждении всех вопросов. Сегодня же, в этот грозный час, явились все, за исключением Багратяна, который после похорон Стефана не покидал площадки Трех шатров. Пастор Арам рад был тому, что избежал встречи с Багратяном: несказанное горе обрушилось на командующего и у пастора недостатком бы духу всего несколько часов спустя призвать его к ответу. Да и все теперь было так запутано! Подчиняясь строгому требованию Овсаяна, Арам передал шатер со всем инвентарем управляющему Кристофору и, покинув этот комфортабельный «Вавилон», перебрался с женой и ребенком в тесный шалаш отца. В душе он жалел Овсаяна, лишавшуюся удобства. В пасторстве, прежде так привязанной к домашнему уюту, теперь вдруг проснулось острое, пожалуй даже болезненное, влечение к бедности, к скромному, чуть ли не аскетическому образу жизни. Но более всего совесть Арама была отголосана мыслями об Искусе — ныне носительнице такой опасной и заразной болезни и потому лишенной возможности перекрестить в другое жилище. Согласно предписанию санитарной комиссии ее бы и часу не потерпели в пределах Города. Однако своим бегством из палатки Товмасян обрел сестру на греховное соседство с Габриэлом Багратяном и смертельно больной Жюльеттой. И то, что до сих пор никем не удавалось, теперь из-за вопиющего переезда пастора станет предметом осуждения. Теперь он сам оказался виновным в унижении своей, несмотря ни на что, горячо любимой сестры.

Кроме Багратяна, еще один член совета не принял участия в этом повестие критическом заседании. Уже накануне, утром, аптекарь Гринкор не вставал с постели, опухшие руки и ноги были похожи на колоды и недвижны. Доктор Петрос лихорадочно лаял свой «Справочник лечащего врача», но так ничего и не почерпнул из длинного

перечня латинских названий бесчисленных болезней. Не помогая ему и обычные в таких случаях слова утешения: «Даже если бы я и понял хотя бы одно из названий, разве от этого я знал бы больше?» И он как ни в чем не бывало поставил книгу на место. Однако лицо его выражало суровость и не выдавало пациенту, до чего растерян доктор; тем самым Алтунши еще раз доказал, что он хороший врач. Затем, провисая покой и тепло, он предоставил аптекарию самому выбрать себе любое из оставшихся у него снадобий собственного изготовления. Но Григору уже не могли помочь ни лекарства, ни тепло. Единственное, чего он жаждал, был покой, благолатный покой, когда он не испытывал бы боли. Но как раз покой и тишины он был лишен, ибо проживал в самом парламенте Муса-дага. Между своим одром и мирскими делами он воздвиг благородную преграду. За этой сложеной из книг перегородкой он надеялся обрести уединение и покой. Впрочем, и на сей раз подтвердилось, что ограда, возводимая из мудрых мыслей, поэзии и науки, недостаточно неприкасаема. Она пропускает пошлую шумиху политики. А сегодня шумиха с первых же минут отдавала тревогой. Особенно выделялись голоса мухтаров, пытавшихся криком и темпераментом заглушить свою вину. В конце концов на середину вышел Тер-Айказун и приказал всем сесть на места. Однако сам он сдерживался с великим трудом.

— Когда в войсках, ведущих бой, — сказал он, — совершается подобное преступление, то ответственных за это людей беспощадно расстреливают. А мы с вами не просто батальон пехоты, мы — народ! Народ в беде! И бой мы ведем не против равного врага, мы вынуждены отступать себя под угрозой полного истребления против стократно, тысячекратно превосходящих сил. Осознав это, попробуйте теперь понять всю преступность вашего легкомыслия и вашей лживости. Мне следовало бы не только расстрелять вас, подлейшие мухтары, но и по отдельности предать казни каждый кусочек вашего тела. И я, каюсь вам, с радостью так бы и поступил, не дрогнув перед божьим судом, если бы это хоть немного помогло нам. Но я вынужден сохранять хотя бы видимость нашего согласия, дабы спасти авторитет руководства. И я вынужден вас, предельно безответственных мухтаров, не смешать, ибо всякое изменение может потрясти основы нашего порядка. Я вынужден взять вину и на себя, дабы живыми и подлыми отговорками спасти совет от справедливого гнева народа. И то, что не удалось ни вали, ни каймакаму, ни бибашчи, ни юзбашчи, этого блистательно добились вы, мухтары и члены совета: *мы погибли!*

Мухтары сразу сбавили тон. Но с одним не так-то легко было справиться — с богатеем Товмасом Кебусьяном. Жалкий подкаблучник, он дома и рта раскрыть не смел перед женой, а тут ораторствовал среди себе подобных, стараясь вознаградить себя. От волнения у него стали отчаянно косить глаза и затряслась голова:

— Да уж есть такие счастливицы, — ехидно сказал он, — которые ничего не смыслят ни в скотоводстве, ни в хозяйстве вообще, а посядирать умеют. Я-то никогда не совершал ничего безответственного. Все тут знают, что я денно и ночью жертвую собой ради общего блага, и так год за годом, с тех пор как несю свой крест — управляю деревней. Одно дело решение совета, другое — его выполнить. Если бы я не переиграл скот на новые пастбища, моя скотина подохла бы еще две недели тому назад и некому было бы здесь помирать с голуду — ни души не осталось бы живых! А что новые выгоны никто не охранял, так это не мое мухтарское дело, я никакого отношения к этому не имею и ответственности за оборону не несю, а что до всего прочего, так мне не за что отвечать — я всего этого знать не знал и куда не бедал.

Кончил Товмас Кебусян свою речь такими весьма гордыми, но и саншком логичными словами:

— Чего вам от меня надо? Половина стада — моя собственность, плоды трудов моих. Так ведь? Вы-то мало что потеряли, я потерял — все!

Наглое хвастовство богатого йогополукского мухтара прибавило смелости и другим. Не отставать же им от собрата.

Азирский мухтар крикнул Тер-Айказуну, очевидно желая уличить его в неблагодарности:

— Я ведь в прошлом году по случаю рождения двенадцатого внука пожертвовал йогополукскому храму сто пиастров. Неужели моя благочестивая жертва забыта?

Мухтары приободрились, бахвальство их уже не знало границ. Все ссадились на свои пожертвования, благотворительность, благодеяния, совершенные ими в незапамтные времена. Число подачек, каждый кусок хлеба, каждая подаренная овца или коза, налог, уплаченный за неплательщиков соплеменников для освобождения от воинской службы, — перечисление всех этих христианских добродетелей сопровождалось слезливыми заверениями. И так смешна была эта глупая уловка, старание уйти от горькой действительности, что знаток человеческих душ доктор Петрос не удержавшись расхохотался.

Тер-Айказун взглядом предложил Араму Товмасыну взять слово, но тот не в состоянии был сейчас произносить речь. Хотя пастор непосредственно и не отвечал за сохранность стада, он все же нес ответственность за внутренний порядок в лагере, а значит, и за все, что было связано с питанием мусадатцев. Худое лицо пастора было бледно, как никогда. Длинные пальцы дергали черные усы, точно пастор был не прочь от них избавиться. В эту минуту между григорианским варданетом и пастором-протестантом возникло тихое соперничество, никогда прежде не замечавшееся. Пастор Арам встал:

— Я того мнения, что незачем нам толковать, чья вина в том,



что случилось. К чему? Что было, то было. Тер-Айказун сам говорит, что нам надо жить в согласии. Незачем оглядываться назад, вперед смотреть надо и хорошенько подумать—как и где нам найти замену. Речь его была хотя и понятна, но звучала все же весьма неуверенно. Тер-Айказун прервал пастора, ударив кулаком по столу: — Нет никакой замены!

Неожиданно к мухтарам примкнул новый союзник. Грант Восканян, который раньше, желая поправиться Жюльетте, ежесекундно бранил, что при недостатке мыла вполне можно было назвать изрядным полвигом, теперь совсем опустился. Борода разрослась почти до самых глаз, жесткие словно иглы волосы торчали над низкою дубом. Выдававшаяся вперед куриная грудь и непомерно длинные руки делали чернявого коротышку похожим на обезумевшую обезьяну. Может быть, великий молчун и впрямь был завядлый фанатик, а может быть, он только пользовался случаем, чтобы отомстить Жюльетте, Габриэлу, Тер-Айказуну и всем остальным? Как бы то ни было, по из его рта, будучая и лопаясь, вырывались уже все известные слова:

— А правду вы до сих пор и не видите! Вот уже неделя, как я втискиваю се вам, грудь чуть не надорвал, чтобы убедить вас. Вот вы, наконец, и доказываете! Вы тут спорите, кто виноват? Тер-Айказун готов расстрелять своих земляков. А я его спрошу: почему он не говорит совету правду? Бойтесь, значит, признать, что нас предали? Да если бы не предательство, узнали бы разве турки, где наши новые пастбища? Никогда бы им не догадаться. Выгоды наши скрыты, спрятаны за скалами, никто из посторонних никогда не нашел бы к ним дорогу. А Гонзаго Марис вечно все вынюхивал. И это только начало! Скоро турки и в самом Городе появятся. Грек сам проведет их по крутой тропе, там, где скалы, — ведаром он ее исходил и облазил всю. А у нас там никакой обороны.

Этого мухтарам не нужно было дважды повторить. Такое толкование возвращало им всю их самоуверенность, хотя она и за минуту не поверила Восканяну. Только Кебусян вертелся вокруг да около: он-де как следует не знал молодого человека. (Начало его выступления носило явно дипломатический характер.) Одно то, что грека принимали в доме Багратянов, служило гарантией его порядочности. Впрочем, после всего, что произошло, он вынужден согласиться с учителем Восканяном в том, что Гонзаго скорее всего предатель, а быть может, даже платный шпион. Да, иначе беду не объяснить.

Хор мухтаров глухо поддержал его. Семерым мужчилам и в более просторном, чем правительственный барак, помещении нетрудно создать шумовой фон. А Грант Восканян своим трескучим и вместе с тем сильным голосом все вновь и вновь подогревал голосовое место. Человек, одержимый навязчивой идеей, способен заразить ею других

и может даже подчинить себе многолюдное собрание. На этом и основана сила воздействия ораторов-политиканов, у которых за душой нет ничего, кроме скудного запаса слов и демонически проникновенного голоса. Мухтары да еще кое-кто охотно поддались Восканяну. — Это же было им на пользу! Шум стоял немногочисленный. Учитель Шатахян, восплавленный гневом против своего давнего соперника, которого он вот уже восемь лет как вынужден был терпеть рядом с собой, с трудом заставил себя слушать.

— Восканян! — воил он. — Я тебя знаю! Ты у нас и шут и араль в одном лице! И таким был всю жизнь. Ты всегда готов оплевать и павалить в грязь ии в чем не повинных людей. И Гонзаго Мариса ты здесь оплевал только потому, что он человек образованный, культурный и исполненный франкуз. Он не то, что ты, — как родился в грязной деревне, так всю жизнь и торчишь в ней. Сам я, благодаря брату Габриэлу Багратяну, хоть пожил в Швейцарии, учился там, а ты — в подолом тебе! — дальше Мараша нигде не побывал. Нет, я не допущу, чтобы поганые языки тресали тут благородное имя Багратяна — слишком многим мы обязаны ему. И еще я скажу о тебе, Восканян: ты же оплевал не только грека, ты и мадам Жюльетту облил грязью. А за что? За то, что ты для нее смешной, безмозглый карлик, и больше ничего, со всеми твоими виршами, каллиграфией и многозначительным молчанием.

Это уже было несправедливо. Никогда Восканян даже в мыслях не посетил на Жюльетту. Поклонение ее сияющей красоте и, как следствие, томительная покорность были самыми святыми чувствами, до которых способен был возвыситься он в своем трехсланин даже наперекор своей природе. И в этом служении прекрасной даме, в этом преклонении перед мздойной он был смертельно уязвлен — злонамеренное коварство судьбы! В ответ он с мрачным достоинством произнес:

— Я не нуждаюсь в уважении твоей француженки. Скорее она вулдуется в моем. Мы же своими глазами видели, что это за люди, восты господи...

Тут черный гном достиг вершины демагогии, обратившись к мухтарам:

— Да благословит господь матерей, жен и девушек наших, перед которыми эта надменная француженка должна бы на коленях ползать...

Столь точно направленный удар достиг цели и вызвал одобрение. Грант Восканян вошел на противника с открытым забралом:

— А тебе, дураку, я скажу: люди смеются над тобой, Шатахян! Над твоим проворсом, твоими causerie<sup>1</sup> и conversation<sup>2</sup>, над всем твоим кривляньем.

<sup>1</sup> Causerie (франц.) — непринужденная беседа,

<sup>2</sup> Conversation (франц.) — разговор.

И он принялся мастерски имитировать доморощенный французский язык Шатахина, произнося в нос гласные и грассируя.

Так совпадение, связанное в угрозу неминуемой смерти, призрачилось в пошлейшей фарсе! Ненстрембило детство в человеке! — ведь некоторые из присутствовавших лаялись от смеха, слушая столь искусное обезьяничанье Восканяна. А Тер-Айказун молчал, не вмешивался. В этом было что-то невероятное. Казалось, своей замкнутостью он преследует некую цель, собирается с мыслями и силами. Но, возможно, это выражало усталость, отчаяние и равнодушие, ибо пути к спасению он не видел.

Опавшись на палку, кряхтя поднялся доктор Петрос.

— Я полагаю, что Тер-Айказун создал нас, чтобы мы тут поговаривались, как справиться с великой белой, обрушившейся на нас. А смотреть на твои кричалки, Восканян, мне недосуг. Я больше винят, чем вы, учителя. По моим наблюдениям вы давно уже забросили школу и ваших учеников. А они пользуются этим. Как врач, я тебе, Восканян, скажу: ты, бедняга, не в себе. Я сожалею об этом. Между прочим, молодой человек, о котором шла речь, прибыл к вам, сколько я помню, в марте. При себе у него было рекомендательное письмо, адресованное аптекарю. А в то время ни одна душа ничего не знала о депортации, даже вали Алеппо. И вы думаете, что грек уже тогда прибыл к нам с намерением выдать туркам расположение ваших новых пастбищ? По этому одному видно, каких великих логику воспитывают в учительской семинарии в Мараше.

Грант Восканян, показавший себя сегодня ловким демагогом, хорошо понимал, что его делу никакая логическая ошибка не может помешать. Логическое мышление требует умственных усилий, а прилагать усилия никому не хочется. Достаточно навлечь на противника презрение и развеселить собрание, а это, в сущности, самое главное.

— Может быть, ты, доктор, и впрямь летишь пятьдесят-шестьдесят назад изучал медицину, — отразил он выпад Алтунци, — но скажи, как нам сегодня в этом удостовериться? Вылезает, что ты что-нибудь да выудил из своего старого справочника. В этом вы с аптекарем два сапога пара. Этот тоже десятилетиями морочит нам голову своей библиотекой. Хотите на спор: половина его книг — чистая бумага в красивом переплете! О реальной жизни вы, старики, не имете никакого представления. Иначе вы давно бы знали, что в первые же дни войны правительство заслало шпионов во все армянские районы. И как правило, христиан, чтобы никто ничего не заподозрил.

Обращаясь к мухтарам, он размыл свой последний козырь:

— И всеоттого, что эти старики связаны с семьей Багратянов. А те за свои награбленные деньги посылают таких, как Шатахан, в Европу. Эти богачи и виноваты во всей беде! Они же не наши, они левактинцы! Из-за их грязных дел мы, армяне, должны погибать.

Восканян затронул важную струну в душах крестьян. Томас

Кебусян, кося глазом больше обычного, припомнил кое-что и подтвердил сказанное:

— Таким был еще старик Аветис. То в Алеппо, то в Стамбул, то в Европу ездил. Все дела, дела! У нас здесь больше двух месяцев никогда не жил. А я вот куда не ездил. А мог бы, ей-богу, мог бы! Мой-то совсем меня изнесла...

Забиты и опорочены оказались вдруг все деяния благодетеля, иерарха и основателя многих школ. А ведь это его любовь к родине обеспечила Богонолуцкой долине благоденствие и достаток еще долгое время после того, как его не стало.

Что-то шевельнулось за книжной стенкой. В узком проходе показались согбенная фигура в длинной белой рубахе. Одинокий Григор Погонолуцкий еще накануне сам обложился в саван. Не пожелал он, чтобы какая-то Нуник или платный могильщик обложил его в предзнаменование ко дню воскресения одеяние. Как ни трудно ему это было, но он сам оказал себе эту последнюю услугу, ибо знал: до вторжения турок на Дамладжк ему не дожить. Его желтые шелк так запахла, что на каждой волоске поместилась бы ивыгивистривая монета. Плечи вадернуты до ушей, руки и ноги — настоящие колоды. Держась за штабели книг, он заговорил, пытаясь придать своим словам спокойствие речи мудреца. Но это ему плохо удавалось. Слова дрожали, обрывались, недосказанные.

— Сей учитель... немало я труда вложил в него... многие годы... ваявал ему кровь ученых и поэтов... Думал, одарен, думал, сделаю из него человека-ангела... Однако я ошибся... Кто им не был, никогда им и не станет. Думал, этот человек помышляет не только о дерьме... Но он оказался куда бедней тех, кто всегда думает о дерьме... Хватит о нем, он человек пропащий. А гости и друг мой... я умаливал до сих пор об этом... Гонзая Марис поклялся мне, что в Бейруте сделает для нас все... у консулов...

От слабости Григор не мог больше говорить. Восканян тут же воспользовался этим:

— А откуда у него паспорт?.. Пустым словам вы верите, а фактам не верите!

И правда: откуда у него паспорт? — подумали мухтары. Пастор Арам Томасян вскочил с места:

— Хватит, Восканян! Твое шутовство невыносимо. Прошел целый час, а никто тут ни одного разумного слова не сказал. Еще три дня, и нам всем здесь нечего будет есть!

Но черного карлика, как говорится, понесло. Он, видно, должен был изрыгнуть все, что накопилось за всю его жизнь: ненависть, обиды, гнев. И ползла грязь, да такая, что даже самые прожженные сплетницы осмеливались потом повторять все это только шепотом.

— И вы туда же, господин пластор! Да вы и не можете иначе с тех пор, как через сестру породнились с Багратяном...

Арам ринулся на Воскяяна, но чьи-то сильные руки удержали его. Старик Товмасян, покраснев до ушей, взревел и замаяхулся палкой. Но Тер-Айказун оказался быстрее обоих Товмасянов. Он схватил Коротышку за рубашку.

— Воскяян! Я дал тебе время доказать то, что ты и должен был доказать. Теперь все мы поняли, откуда вонь и кто наполняет души ядом. Народ избрал тебя в уподобоченные потому, что ты учитель. Я же позарещаю тебя в прежнее твое состояние, я сам открыю народу, кто ты таков. Слушай! Изгонюю тебя из совета. Навсегда!

Грант Воскяян закричал, что не признает этого исключения. Он сам за этим и пришел сюда, чтобы покинуть это сообщество стариков и болтунов, которое народ не сегодня-завтра разгонит, как оно того заслуживает.

Невзирая на скоропалительность своей речи, бывший молчун так ее и не закончил, ибо Тер-Айказун великодушным пинком выдворил его вон и завер за ним дверь.

Воцарилась напряженная тишина. Мухтары переглянулись. Диктаторский постуков главы совета таил в себе угрозу для каждого. К тому же избранный член совета мог быть отозван только общим собранием, а не кем-нибудь из руководителей, будь то и сам глава. В то время как призрак голодной смерти с каждой секундой приближался к Городу, Товмас Кебусян, отказавшись и покачав лысой головой, заявил, так сказать, протест по поводу антиконституционного обращения с выбранным членом высшего руководства органа. Хотя Тер-Айказун и имеет право последнего слова, но лишь в том случае, если надо принять или отвергнуть предложение.

Впервые, таким образом, оппозиция заявила о себе. Кроме мухтаров, к ней примкнули несколько молодых учителей и один из деревенских священников, враждебно настроенный против Тер-Айказуна. Оба Товмасяна, которых от гнева и смущения бросило в пот, чувствовали себя весьма неуверенно. Но все остальные, и прежде всего Тер-Айказун, не сознавая этого, против своей воли образовали партию отсутствовавшего Багратяна. Вместо надвигающейся катастрофы в центре внимания, как это ни парадоксально, оказался именно он. Тер-Айказун круто оборвал прения, чтобы в конце концов приступить к обсуждению жизненно важного вопроса. Но было уже слишком поздно. Подозрительно нарастающий шум, доносившийся с Алтарной площади, требовал незамедлительного вмешательства совета.

Грант Воскяян был слабым человеком. В каком-нибудь западном обществе он слыл бы «интеллигентом», то есть человеком со средним образованием, который зарабатывает себе на жизнь не физическим трудом, к тому же вечно колеблется, со всех сторон полу-

чает пинки, не находя себе места в борьбе грубых сил, терзается, томимый жаждой власти и самоуверенности. При других обстоятельствах дело и выведенного яйца не стоило бы. Но здесь, на Дамладже, оно заставляло серьезно задуматься. Хотя Грант Воскяян и выступил одиночкой, он все же был связан с неким миром, темным и ведомым, который только сегодня дал о себе знать. Ведь именно его, Воскяяна, назначили чем-то вроде правительственного комиссара при этом мире. А в этой роли он, будучи «интеллигентом», должен был провалиться. И крах он потерпел не только в столкновении с Киликяном. Саркис, хотя и представлял собой некорропированного короля-дезертира, на самом деле был замкнутым чужаком, от них не зависимым. И пусть он то и дело становился центральной фигурой того или иного события, сам он оставался бездельником точно истукан и равнодушным, будто пришел из иного мира. К нему применимы печальные и прекрасные слова: «Одни как перст».

За эти тридцать два дня на Южном бастионе собралось, не считая Киликяна, более восьмидесяти дезертиров, причем под словом «дезертира», как известно, во многих случаях скрывалась гораздо менее достойная биография. Постоянный приток в лагерь таких личностей и свое время даже вызвал разногласия между Тер-Айказуном и Багратяном. Габриэл считал невозможным отказать хотя бы одному молодому и прошедшему военную подготовку мужчине, когда как пардавет ставил под сомнение не только самую годность многих из этих субъектов, но и принадлежность их к армянской нации. «Пусть среди них и скрываются два-три разбойника, — успокаивал Багратян пардавета, — под огнем лучше их никого нет». При этом он, очевидно, думал о некоторых дезертирах из своей Летучей гвардии, которые действительно отличались в бою. На самом-то деле Багратяну непременно надо было пожить на Южном бастионе и самому взять власть над этой разношерстной компанией. Но он от своих любимых дружинника никуда не вылезал и на северных позициях.

Несколько дней назад икундшного командира из Кедер-бега, у которого оказалась высокая температура, перенесли в карантинную рощу, и с тех пор Грант Воскяян оставался единственным блясти-телем порядка на Южном бастионе. Подражая во всем Габриэлу Багратяну, он спал бок о бок с дезертирами, старался жить с ними одной жизнью. А это давалось ему нелегко. Ему, слабовильному коротышке, приходилось тянуться, чтобы хоть чуть-чуть походить на прошедших огонь и воду бродяг. Изю дня в день он рачиыривал из себя рубашку-парня, постоянно перенапрягая свои физические силы и подвывая свое скромное мужество серьезным испытаниям. Наряду с глубокой раной, нанесенной ему Жюльеттой, жизнь в непривычной среде была основной причиной несколько страшной эволюции этого заурядного учителя, а его «революционное» выступление на заседании

совета явилось проявлением этой эволюции. Впрочем, Восканян даже гордился скандалом и себя именовать «революционером».

Несколько заброшенный Южный участок обороны находился на самом большом расстоянии от Алтарной площади, и тем самым и от руководства. Народ явно обходил это место стороной. В то время как между северным сектором и Городом постоянно поддерживалась связь, среди скал Южного бастиона редко когда показывался одиозный любительный мусадатен. И этого нельзя было объяснить ни дальностью расстояния, ни отсутствием в дезертиров семейных привязанностей. Время от времени Багратян посылала туда инспекторов, которые, к удивлению командующего, не обнаруживали там ничего необычного. Да это и естественно: дезертиры должны были быть благодарны, что общество их приняло и что, вместо того чтобы вести собачью жизнь, они ежедневно получали питание. Но насколько искренне были они преданы, насколько готовы на жертвы — никто не знал да и не задумывался над этим. Южный бастион был обособленным миром. Гарнизон его жил жизнью, до которой никому не было дела. В ответ на бесперебойное снабжение продовольствием он держал оборону участка, — вот и все. С другой стороны, соблюдая этот неписаный договор, дезертиры и сами не интересовались ни Городом, ни Алтарной площадью, ни советом и в общественных местах появлялись крайне редко.

А сегодня, в день великой катастрофы, они небольшими группками, быть может впервые, появились в лагере. Но пришли они сюда не имея никаких определенных намерений. Их пригнало сюда чутье — «что-то случилось», — вечное стремление людей с такой судьбой к беспорядку, распаду, к тому, что зовется «ничто» и несет в себе нечто новое.

На Алтарной площади очень часто собирался народ, взволнованно обсуждая события дня. Обычно это бывало в пятницу, когда Тер-Айказун вершил суд, а тяжущиеся, окруженные своими сторонниками, продолжали спор за стенами судейского шалаша. На сей раз картина была иной. Правда, и теперь преобладали женщины, но собралось и много бойцов. Несмотря на ранний час, дружинники первого эшелона, узнав об ужасном несчастье, поспешили в Город. Новым в этом сборище было и присутствие сподвижниц Нуник, которые без ведома Тер-Айказуна самовольно поселились вблизи нового погоста. В самом Городе по этому поводу порчали и бранились: дескать, увеличилось число ртов. Но это ничего, разумеется, не меняло. Избавиться от них можно было, только перебив всех старух. А сейчас кладбищенская братия добавляла свои серые тона к общей картине лагеря. Да и школьники после недавнего сражения вовсе отделились от рук. Отощавшие, похожие на стайку воробьев, они шлохили немалую ленту в гвалт и крик, висевший над Алтарной площадью.

В этом хаосе, в охватившем всех отчаянии тон задавал вовсе не низший слой, не крестьяне-бедняки, батраки, ремесленники и подмастерья, а скорее некое среднее сословие, которое следовало бы определять как мелких собственников. Они словно с цепи сорвались: швыряли шляпки оземь, рвали на себе волосы, жестикулировали, и все это, пожалуй, смахивало на танец отчаяния. Однако отчаяние вызвала вовсе не угроза голодной смерти, а мнимая утрата этой самой собственности. Они кричали, что их лишили последней овиш. Тот, кто поверил бы этим сетованиям, счел бы, что турки угнали по меньшей мере несколько сот тысяч овец. Каждый из этих мелких собственников определял свое состояние совершенно безумными цифрами. А что угнанные отары давно уже были обобществлены и потому лично никто ничего не потерял, и что от тучных стад семи армянских деревень сохранились жалкие остатки, и что жаловаться совсем ни к чему, да и бесполезно, — все это почему-то никому в голову не приходило, а может, люди просто не хотели об этом думать. Смесь страха, важничавья и заблуждений определяла поведение толпы. Это был такой же признак распада, как мания предательства у Восканяна. Все коварное безумная строптивость овладевала душами людей.

Более бедный люд, словно оглушенный этим ударом, поначалу молчал. Боязливыми вопросами люди пытались выснить мнение уломоченных. Но вскоре возбуждение мелких собственников переломало толпе. Отразить ее натиск предстояло мухтарам. Как исполнительная власть совета, они служили связующим звеном между ним и народом. Это Тер-Айказун выслав их вперед — пусть расхлебывают. Однако из этого маневра ничего не вышло. Люди обступили мухтаров со всех сторон, толкали. Все их попытки оправдаться тонули в яростном реве:

— Вы по всем виноваты! Вы одни!

Небольшая лодка во спасение, вероятно, разрядила бы обстановку. Например, намек на то, что, несмотря на катастрофу, есть тайные склады продовольствия, которого на всех хватит. Это вернуло бы людям прежнюю веру хотя бы на несколько дней. А несколько дней уж Муса-даге целая эпоха! Но никому из мухтаров не пришла на ум спасительная мысль посулить толпе такую нечаянную радость. Должно быть, и Товмас Кебусян, обычно человек рассудительный, тоже потерял голову и, скорее всего под влиянием Восканяна, прибегнул к самому предостроению и опасному средству — направил гнев на другой объект. Это он подбросил толпе слово «предательство». В добрые старые времена народ обладал здравым скепсисом и хорошо умел отличать, кому и чему верить. И учителя Восканяна люди никогда всерьез не принимали. А теперь мухтары помогали ему. Та же самая толпа, в обычные времена столь скептически воспринимавшая громкие слова, в момент катастрофы становится их жертвой.

Неопределенные, расплывчатые понятия воспринимаются ею всего быстрее. А «предательство» и было именно таким понятием. Подавляющее большинство вовсе не связывало с ним действительное событие. И все же слово это пробудило недобрые инстинкты и дало им определенное направление, правда не такое, какое желали бы мухтари: «Все эти начальники сговорились принести народ в жертву, да они шкуру свою спасают! Это они заманили людей сюда, на Мусадат, на верную гибель! Пастор Арутюн Нохудян — вот кто друг народа! Он-то с пастором своей хоть и в бедности, но живет теперь там, на востоке, в мире и покое».

Все громче звучали выкрики, повоспевшие совет. Тут и там шипяли бойцы с Южного бастиона — ах, кажется, лишь неслабы волнение мусадитов. Казалось, все это ничуть их не касалось. Однако повсюду, где они стояли, поднималась броженье, точно пузырьки углекислого газа в прохладительном напитке.

Попытка пастора Арама утихомирить толпу тоже не имела успеха. Всем надоевшие обещания наловить уйму рыбы — названная идея пастора! — так и оставалась обещаниями. И как-то были были виды на успех этой затеи, сейчас его длинная речь, пестрившая техническими подробностями о рыболовском чуде, свидетельствовала о полном непонимании сложившейся обстановки. Кто же не знал, каков был доминирующий улов? Выступление пастора сперва вызвало смех, который вскоре перешел в издевательство, а так как Арам не унимался, ему просто не дали договорить. Должно быть, откуда-то поступал импульс — группы и группы кипевшей толпы свались и стали напирать на правительственный барак. В людской массе замелькали не только кулаки, но и поднятые вверх заступы и тычки. Поблудившие полицейские довольно неуверенно выставляли вперед свои ружья, к которым они примкнули турецкие штычи.

Внутри барака, помимо большого аптекаря, оставались доктор Петрос, Чауш Нурхан и вардапет. Тер-Айказун хорошо понимал, что после поражения мухтаров и пастора Товмасяна всякий авторитет рухнет, если он его немедленно не восстановит. В том, что это ему удастся, он ни минуты не сомневался. Глаза его, в которых так своеобразно сочетались затаенная кротость и холодная решимость, потемнели. Переступив порог, вардапет раздвинул шеренгу охранников и, как будто не замечая толпу, будто она — воздух, вошел в нес, причел в осанке его не было ничего напряженного, ничто нарочитого. Он шагал так, как это было в его манере: сосредоточенный, чуть наклонив голову вперед, зябко пряча руки в рукава ясы.

Первые ряды толпы пестрели самыми разнообразными фигурами. В большинстве она состояла из женщин, затем из сварливых мелкотелых собегенингов, было еще несколько дезертирских физиономий и довольно много подростков, этих вечных подстрекателей беспорядка. Все они при виде спокойной шагающего Тер-Айказуна отступили.

Особенно женщины были из сил устоять перед чувством глубокого уважения, овладевавшего ими при одном появлении вардапета.

Нурхан Элеон со своими охранниками сразу втиснулся в образовавшуюся брешь, чтобы не дать толпе сомкнуться за священником. Однако подобная мера оказалась излишней — с каждым шагом молчаливого Тер-Айказуна толпа расступалась, давая ему дорогу. А он словно заставляла каждое обращенное к нему лицо удивленно спрашивать: «Что ты хочешь? Что намерен делать?» Так он, пробукая «а» бышьто, усмирив все другие страсти.

Мерно шагая, он дошел до алтаря и на первой ступени обернулся, не порывисто, нет, почти небрежно. Но тем самым как бы оставил заботливых сынов и дочерей Армении обратить взоры на священный помост, где сверкало большое серебряное распятие, дарохранительница, потир, просфорница и многочисленные светильники. А позади, за зелены самшита играли солнечные лучи. Сам Тер-Айказун, с двух сторон словно охраняемый светом, стоял в тени. Он олицетворял сейчас не только авторитет избранника народа, но и куда более высокий авторитет божественной святости. Ему не пришлось даже возвысить голос, ибо вокруг сразу воцарилась глубокая тишина.

— Великая без обрущалась на нас! — Он произнес эти слова без всякой скорбной торжественности, почти равнодушно. — А вы восстаете против этой беды, ищете виновных, как будто от этого есть польза! Перед исходом вы избрали тех людей, которые вот уже тридцать один день жертвуют собой ради вас. За все это время они не доспали ни одной ночи. И вы знаете полнома, что вы недовольны тем, как мы живем. Но вы свободны, никем не потуждаемые, решили уйти на Дамладжик, а не с пастором Нохудяном в депортацию. И если теперь вы усомнились в этом решении — слушайте внимательно: вы так же волены отменить его. И есть средство...

Оратор сделал паузу. Затем продолжал речь все в той же сухой ватой манере:

— Да, у нас есть средство. Вас собралось тут большинство. Но я позволю сюда и бойцов из окопов... И мы сядем с вами туркам. И я, если вы уполномочите меня на это, готов сегодня же спуститься в Йоговодук. Кто этого хочет, пусть поднимет руку!

С предельным спокойствием Тер-Айказун выждал две минуты. Царил тишина, как и раньше. Не поднялся ни одна рука. И тогда вардапет взмог на верхнюю ступень, и голос его загрел над площадью:

— Вижу — никто не хочет сдаваться... Но теперь вам должно быть ясно, что вы дисциплину, ни порядок нарушать нельзя. Соблюдать спокойствие. Спокойствие! Слышите? Даже если нам совсем ничего будет жрать, кроме собственных ногтей! Для нас существует лишь один вид предательства, имя ему — беспорядок, отсутствие дис-

ципланы! И кто будет повинен в таком предательстве, пошлет наказание, достойное предателя. В чем и клянусь! А теперь пора вам встать за работу. Мы позаботимся о вас. Покамест все останется по-прежнему.

Это было очень похоже на некое правоучение детям. Но в подобный час оно оказалось единственно правильным. Ни одного выкрика, ни одного упрека из толпы, хотя речь Тер-Айказуна ничего не изменила. Молчали даже самые неистовые крикуны и подстрекатели. Предложение слатся туркам подействовало как ушат холодной воды.

Но несмотря на приказ вардапета, люди не покидали Алтарную площадь. Тогда по его знаку Чауш Нурхан образовал цепь из охранников и стал отгонять толпу в проходы между шаламами. К волнения присоединились добровольные помощники.

Речь Тер-Айказуна раздробила великое волнение, и Алтарная площадь была расчищена без инцидентов. Толпа кучками, продолжая шуметь, разбрелась. Люди приступили к работе. Казалось, буди, несмотря на постигшее Муса-даг страшное несчастье, потекли свои чередом. Охранники перекрывали проходы между шаламами, чтобы новые демонстрации не помешали совету продолжать совещание. А оно-то, невзирая на все споры и ссоры, должно было в конце концов обратиться к не знающей пощады действительности.

Тер-Айказуна все еще стоял у алтаря и смотрел на опустевшую площадь.

Может быть, следует создать сильные внутренние вооруженные силы и при малейшем беспорядке карать бунтовщиков, не боясь кровопролития? Усталым жестом вардапет отмахнул эту мысль. Какая польза от устрашения? С каждым годовым днем неудержимо будет совершаться самораспад. Врагу и не надо готовить никакого наступления, чтобы положить здесь конец всему. Тогда отпадет мучительный вопрос: сколько времени еще продержимся? Для ответа хватит пальцев на одной руке. Помочь может лишь богом же посланное чудо, подобное тому, которое свершилось при сорокалетнем исходе сынов израильтян. Но ведь небо не было щедро на манну и перевело даже к народу-избраннику.

Однако еще в тот же день на Муса-даге случилось нечто неожиданное, придавшее людям в их бесконечных колебаниях между надеждой и отчаянием немного мужества. Событие это можно было бы назвать чудом, правда с натяжкой, потому что оно не состоялось.

Сразу же после смерти Стефана доктор Петрос освободил свою жену от всех обязанностей и направил в палатку к Жюльетте, чтобы она целиком посвятила себя уходу за больной. Жертва с его стороны немалая: ведь железная Антарам ведала всем лазаретом и карантинной рошей! Добряк доктор сделал это ради Искуна. Длительный уход за больной Жюльеттой, да и не только это, превратил девушку в

тень самой себя. Казалось невероятным, что такое почти бестелесное создание способно быстро двигаться, много и тяжело работать. Какова же сопротивляемость девушки, если, находясь днем и ночью рядом с больной, она не заразилась! Другая причина нового назначения Майрик Антарам была скорее этического характера: предосудительное трио в Жюльеттиной палатке сменится безобидным квартетом. Новая сестра милосердия устроилась в палатке большой, а Искуна перебралась в опустевшую палатку Овсанни.

Жюльетту можно было причислить к тем больным, сердца которых переслали эндемично. Когда Габриэл убедился в том, что жена медленно возвращается к жизни, его охватила глубокая жалость к ней. Если бы Жюльетта, которой грелись в бреду победные колокола Франции, уснула бы тогда навеки, она так и не узнала бы ужас пробуждения и Габриэл счел бы ее счастливой. Впрочем, пробуждение Жюльетты было особого рода: после кризиса она вновь вошла в забытые, скорее похожие на летаргию. Покамест Жюльетта металась в жару, она принимала пищу, а теперь она отказывалась есть, ее одолевало, безжизненное тело всячески сопротивилось, когда ее пытались кормить. Но энергичная и сильная Антарам не отступала и терпеливо заставляла бедняжку глотать нехитрую еду — все, что удавалось приготовить из молока и остатков пролонгованных запасов. Каким-то особым массажем, холодными компрессами Антарам хотела «пробудить» больную. Но давалось это с великим трудом.

Наконец настал этот день, и Жюльетта открыла глаза, словно впервые увидевшие свет. Губы ее не раскрылись. Она молчала, ничего не спрашивая, ничего не требуя. Скорее всего она мечтала вернуться в этот фиолетовый подводный мир глубокого обморока, который она так неотменно понимала. Майрик всячески пытался расшевелить больную, стремился вернуть ее к действительности. Но то ли Жюльетта и впрямь повредилась в уме, то ли противопоставляла усилиям Майрик безразличие мимоз, отстранявшую всякое прикосновение. Ничто не дрогнуло в ее лице, даже когда к ней приблизился Габриэл, хотя при этом она впервые была в здравом уме и твердой памяти. Что случилось с этим прекрасным лицом после того, как жар, так оживлявший его, миновал? Сухие волосы свисали бесцветными тупыми окликами, и нельзя было понять, вывели они или поседели. Виски резко выступавшего лба образовали две глубокие впадины. Скулы торчали, распухший нос был обтянут воспаленной кожей. Скулы держал в своей руке ее крохотную руку, кисть которой, как Габриэла держал в своей руке ее крохотную руку, кисть которой, как Жюльетты? Большая, теплая, крепкая?

Габриэл чувствовал себя неловко с этой чужой, возродившейся к жизни женщиной.

— Ну вот, мы выставили, chérie. Еще несколько дней, и все будет позади.



От собственных слов ему стало страшно. Жюльетта взглянула на него и не ответила. А он не узнавал своей Жюльетты в этой исхудавшей, безобразной больной. Все прошлое было старательно выкорчевано из жизни напрочь. Он попытался ободряюще улыбнуться:

— Это очень трудно, но я надеюсь, мы тебя будем кормить досьета.

Из глаз ее по-прежнему глядело ясное и исторженное Ничто. Но за этим Ничто прятался страх, как бы слова Габриэла не разрушили благостную корочку, защищавшую ее от вторжения этого мира. Казалось, Жюльетта не слышала ни единого слова.

Габриэл ушел.

Большую часть времени он проводил теперь в швейском шатре. Не вынося вида людей, он пренебрегал даже обязанностями командующего. Три раза в сутки Авакиан докладывал ему обстановку. Но Габриэл не выказывал ни малейшего интереса, только молча слушал. Из шатра он почти не выходил. Он мог еще жить лишь в закрытом помещении, в полной темноте или хотя бы в полутьме. Полдня он ходил взад-вперед или лежал на постели Стефана, не в силах сомкнуть глаз. Покуда тело сына еще не было предано земле, Габриэл мучительно тиснил вызвать в памяти его лицо. А теперь, когда уже целый день и одну ночь тело это покоилось под тонким слоем даладжской земли, образ мальчика и то дело являлся ему. Лежа на спине, не двигаясь, принимал его отец.

В этой фазе небытия Стефан приходил не просветленным — всякий раз он приносил с собой и свое окровавленное тело. Он и не думал утешать папу или сообщать ему, что умер в его объятиях, не очень мучаясь. Нет, он показывал ему все свои сорок ран: и широкие от ударов штыков и ножей на спине, и от удара прикладом, проломившего ему череп, и самую ужасную — разверстную рану на шее. Нет, мертвец не унимался, он будто решил свести счеты, прежде чем предать забвению свое тело, над которым так гнусно надругались! А ведь это благородное тело вовсе не было предназначено для того, чтобы истечь кровью на церковной площади Погонолука. Эту кровь, уаследованную от отца и делов, ему надлежало передавать из рода в род, и навсегда. И Габриэлу пришлось каждую из сорока ран ощутить на всю глубину, до самого дна. Стояло ему позабыть об одной, как он начинал презирать себя. С величайшей точностью воссоздавал он ощущение возникающей в тело стали, как она, обжигая, резала кожу, рвала нервы, мышцы, скрежеща натыкалась на кость. На собственном затылке чувствовал он, как маузеровский карабин размогзил хрупкий детский затылок. Вновь и вновь он мучил себя этими видениями, но были они своей конкретностью благом по сравнению с тем, когда наползало тяжкое чувство собственной вины. Теперь эта боль была что слепому свой дом, — он безошибочно находил ощупью каждый уголок и каждый выступ.

В часы, когда в гости к нему являлся Стефан, он не терпел даже присутствия Иску. Но когда покойник отсутствовал, Габриэл просил Иску сесть рядом, положить руку на его обнаженную грудь, на самое сердце. Тогда ему удавалось на несколько минут заснуть. Он лежал с закрытыми глазами, Иску чувствовала, как глухой стук под ее ладонью постепенно робел.

— Иску, чем ты заслужила это? — Голос Габриэла звучал словно издаലെка. — Сколько людей спаслись, живут в Париже, еще где-нибудь...

Она приблизила лицо к руке, лежащей на его груди.

— Я? Мне хорошо, а тебе досталось все зло. Я счастлива и презираю себя за то, что счастлива сейчас...

Он взглянул на нее, на ее светлое лицо с огромными тенями глаз, которое было только призрачным подобием прежнего. Но губы вылали.

Он снова закрыл глаза. То отступало, то вновь возникало лицо Стефана. Иску тихо сняла руку с его груди.

— Что же будет? Ты скажешь ей... Когда?..

Сначала он, видимо, не хотел отвечать на этот трудный вопрос. Но вдруг он приводился:

— Это зависит от того, хватит ли у меня сил.

Очень скоро Габриэлу Багратяну представилась возможность эту силу проявить. Майрик Аитарам позвала Иску, потом и его. Жюльетта впервые попыталась подняться и сестра. Она потребовала расческу. Как только Жюльетта узнала Габриэла, в ее глазах появилось страх. Подняв руки, она словно звала и искала его, но в то же время и отталкивала. Голос не поднимался ей, так как опухоль в горле еще не сошла:

— Мы ведь прожили с тобой... ты и я... очень долго...

Как бы соглашаясь, он глядел не по голове. А она тихо, словно боясь разбудить правду, спрашивала:

— А Стефан?.. Где Стефан?

— Успокойся, Жюльетта!..

— Разве мне не позволят повидать его?..

— Надеюсь, тебе скоро позволят его повидать.

— А почему мне сейчас... не покажут его?.. Через заванаску?

— Нет, сейчас еще нельзя, Жюльетта... еще рано.

— Рано?.. А когда мы опять будем вместе... все... и далеко отсюда?..

— Может быть, через несколько дней... потерпи еще немного, Жюльетта...

Она откинулась на подушку и повернулась на бок — пот-пот заплачет. По всему телу дважды пробежала дрожь. Затем в ее глазах

вновь появилось пустое и удовлетворенное выражение — то самое, с каким она сегодня пробудилась к жизни.

Снаружи, перед палаткой, казалось, что Габриэль шагает так неуверенно из-за ослепшего его солнца. Здоровой рукой Искун поддерживала его, но он все же споткнулся, падая, улепек ее за собой. Но почему-то подняться не старался, как будто в этом мире больше не стоило этого делать.

Но Искун быстро вскочила, услышав приближающиеся шаги. До смерти испугавшись, она прежде всего подумала: брат? Отец? Габриэль ведь не знал ничего о ее борьбе, она никогда ему об этом не говорила. Каждый час она ожидала нападения родных, хотя и посылала доктора Петроса к отцу сказать, что она нужна Майрику Антарам и останется у нее. Искут был напуган. То приближались не Товмасяны, а два запыхавшихся вестовых с севярного седла. Пот градом катился по щекам дружинников — весь неблизкий путь по горам они бежали. Перебегая друг друга, задыхаясь, они выпалили:

— Габриэль Багратян! Турки!.. Турки пришли!.. Шесть, может и семь... с белым и зеленым флагом... Парламентеры... солдат нет... Старик у них предводителем... Кричат, что хотят говорить с эфе́ндя Багратяном, и ни с кем другим...

После сокрушительного поражения турок прошло уже более недели. Раненого юзбаша с подвязанной рукой уже несколько раз видели среди солдат. В окрестностях Муса-дага было расквартировано так много воинских подразделений и залпиев, как никогда до того. И тем не менее ничего не предпринималось. Да и ничто не говорило о предстоящем нападении. С Дамалладжк армяне наблюдали за беспечной суетой в долине и никак не могли взять в толк, почему неприятель собрал здесь такую уйму солдат, а турки пока не трогают? Да и где им было догадаться: «верхний руководитель ликвидации», каймакам Антиохии, был, оказывается, в отъезде.

Джемаль-паша созвал в свою ставку в Иерусалиме всех вали, мутесарифов и каймакамов Сирийского вилаяета. На страну обрушилось нежданное стихийное бедствие, это требовало принятия срочных мер, в противном случае ведение военных операций и вся жизнь Сирии — важнейшего тылового района — будут полностью парализованы. Все средиземноморские провинции Османской империи находились в крайне тяжелом положении. Провидение ведь не любит простых и незапутанных решений и редко вмешивается в человеческие дела. В отличие от людской практики его кара вовсе не всегда следует сразу же за доказательством вины. Божественная справедливость растворена в космосе, как соль в море. Однако в это время года и на этой широте провидение, должно быть, решило все же вмешаться с удивительной поспешностью, отступив при виде разнер-

вавшихся событий от своей обычной беспристрастности. Короче, жаренова господни на сей раз молодил быстрее.

Две египетские казны, сопровождаемые множеством побочных бедствий, обрушились на страну с севера и востока. С востока пришел сыпной тиф; вспыхнув в Алеппо, он распространился на Антиохию, Александретту и все побережье, являя собой чудовищное доказательство той самой справедливости в космическом. Сама болезнь несколько отличалась от более легкой формы, поразившей Дамалладжк, где она, благодаря свежему воздуху, чистой воде, строгому карантину и другим неизвестным причинам, протекала в терпимых пределах. Между тем в Месопотамии процент смертности от тифа порой достигал восьмидесяти. Очагом заразы были продукты гниения и испарений, тучей нависшие над стенами Евфрата. В этой оскверненной, богопротивной помойной яме смерти с маи и юнии разлагались сотни тысяч трупов армии. Даже звери бежали от ужасного смрада. Только несчастные солдаты должны были шагать по этой неопишуемой, злодонной жиже. Бесконечные колонны выжухих верблюдов, македонских, анатолийских и арабских всехотинцев утопая тивулись во направлении к Багдаду. Время от времени пешие колонны превращались — шла безудачная конница. Но и этих смылов пустыни выворачивало — они мчались во весь опор, загоняли лошадей. А мертвые армяне посылали из «депортации в никуда» благодарственный аромат на запад, тем немногим поистине виновным и столь многим ни в чем не повинным. Талаат-бей в своем серале-дворце мог бы призадуматься над тем, к чему приводит посылка целого народа в «никуда». Но ни он, ни Эввер голову свою этим не обременяли, ибо с тех пор, как существует мир, власть насилия и душевная тупость — близнецы.

Второе бедствие, пришедшее с севера, было хотя и менее последовательно, но по своим результатам, пожалуй, еще опасней. Да оно и впрямь казалось повторением библейской кары. То было истребление саранчи со склонов Таура в равнину Алеппо, а следовательно, и на всю Сирию. Откосы, оаргаи, теснины, ущелья гигантских гор, должно быть, и являлись местом рождения этого неистребимого козового племени, которое неудержимо расплзлось по всей стране. Жесткие, высохшие, как старые листья, насекомые, казавшиеся сросшимися воедино коном и всадником, в преследовании всех и всяческих препятствий были подобны несметным ордам туинов. Они наступали с разных сторон огромными полчищами и покрывали собой сотни квадратных километров вилаяета. Там, где они появлялись, не было видно уже ни клочка земли. Походный порядок, концентрический характер наступления заставляли предполагать, что здесь действовал не только слепой инстинкт, а планомерность: приказ и расчет, коллективная идея саранчиства, так сказать. Когда такая стая спускалась на старые деревья сада, на клены, платаны, тисы и даже на

жестколистые яворы, не проходило и нескольких секунд, как дерево уже было завернуто в какой-то чехол или плащ из темной клеенки. Прямо на глазах исчезала вся зелень, словно ее пожарила невидимым пламя. Стволы деревьев будто надевали высокие переливающиеся геттоши. И ничто не позволяло заключить, что это единство состоит из отдельных особей. Выхватывая из общей массы одну такую саранчу — и только двинувшись, какой у нее аппарат движений и пожарины пищи, а из них-то и состоит вся жизнь этих обитателей земли. В остальном же поймавшая саранча ведет себя в человеческих руках как всякое насекомое, столь же жалко и гнусливо, то есть старается улизнуть. Но в стае она благодарственней и сплюснутей деятельностью, возможно, воспринимает как службу своему великому делу.

К августу на всем Сирийском побережье, вплоть до долины Ефрата, уже не осталось ни одного зеленого дерева. Однако судьба деревьев мало заботила Джемаль-пашу. Сбор урожая в северной Сирии никогда не начинается раньше середины июля, ибо жаты пшеницы, ржи, ячменя не совпадают с уборкой кукурузы. Турецкий крестьянин и арабский феллах не походят на армянина, который, окончив уборку зерновых, сразу же отправляет зерно в закрома: сознание опасности, а оно у него в крови, требует — все собранное на зиму укрой как можно скорей. Мусульмане оставляют себе на многие дни и даже недели в поле, — дурной погоды они не боятся. И вот, когда в июле нагрянула саранча, она застала злаки частью еще не сжатыми, а частью — в валках. За несколько дней саранча по-своему убрала весь сирийский урожай, и так основательно, что к середине месяца в поле не осталось ни одного колоска. А на этот урожай Джемаль-паша рассчитывал, с нетерпением ждал его: старые запасы были уже израсходованы, а ему надлежало кормить не только всю Четвертую армию этим самым сирийским урожаем, но еще и население Палестины и Ливана, да еще и подкармливать арабские племена в восточной Иордании, а то как бы не забутовались! Нашествие саранчи перечеркнуло весь план свержения текущего года. Сразу же подоючили цены на хлеб. И тут же Джемаль издал приказ о пресечении спекуляции, который, однако, не возымел никакого действия, разве что крестьяне и торговцы вовсе перестали принимать бумажные деньги. Неправая из таких крутых мер, упала и стоимость турецкого фунта, и без того уже дешевого. В первые дни августа, отмеченные блистательной победой мусадатцев, в Ливане было уже несколько случаев голодной смерти.

Таково было положение вещей, когда в ставку Джемаль-паша съехались сирийские наместники. Впрочем, и на этом всемогущем форуме собравшиеся вели себя ничуть не сдержанней, чем члены совета на Дамладжке. Вали и мутесарифы так же несвободны были

отворить шельоны с зерном, как муштары на Дамладжке — отары овцы.

Речь деспота была краткой и непрерываемой: к такому-то сроку вилаету Алеппо надлежит собрать столько-то ржи и сдать интендантству. Все! Чиновники победели от гнева, и не столько по причине неслаханного требования, сколько из-за тона пашы. Лишь один человек явил собой смирение и угодливость. Правда, позор, нависший за него после Муса-дага, давал ему для этого достаточно оснований. Каймакан Антакье, на пожелтевшем и опухшем лице которого застыло выражение восторженной угодливости, не сводя глаз с губ Джемаль-пашы. И в то время как другие сетовали и торговались, он посулил невероятное, усерв, что его каза, самая большая в вилаете, меньше пострадала от саранчи. И если не рожь и пшеницу, то уж кукурузу он доставит в любом количестве. Готовясь к невзгодам войны, он уже многие годы предусмотрительно запозался интендантские склады провизантом. А теперь он только никак-ника не просит предоставить ему транспорт. На одном из совещаний дело дошло до того, что Джемаль-паша назвал каймакана Антиохии блистательным примером и образцом для других. А тот не замедлил воспользоваться благоприятным моментом и испросил аудиенцию по окончании заседания. Тем самым каймакан нарушил субординацию — его непосредственным начальником был ведь вали Дамладжи. Но именно этим он и хотел расположить к себе жаждущего самовластия генерала.

Кроме каймакана, в кабинете Джемаль находились еще только Осман — разукрашенный, как изычник, начальник личной охраны. Оползренный владыка Антакье с преувеличенным подобзграстием взял предложенную сигарету.

— Обращаюсь непосредственно к вам, ваше превосходительство, ибо мне хорошо известно ваше великодушие... Должно быть, ваше превосходительство уже догадалось о моей просьбе...

Кособокий Джемаль остановился перед каймакомом, чья грузырыхлая фигура темного возмущалась над ним.

Окаймленные черной бородой толстые азиатские губы Джемаль шевелились и шипели:

— Позор! Отвратительный позор!

Каймакан сокрушено склонил голову:

— Осмеливаюсь целиком и полностью согласиться с вашим превосходительством. Истинный позор! Но то — моя беда, ваше превосходительство, а никак не вина, что позор сей пал на поверженный мне район!

— Не ваша вина? На вас, штатских, падет вся вина, если мы из-за этих гнусных армянских дел проиграем войну, а то и вовсе погибнем.

Видимо, каймакана потрясло такое пророчество.

— Какое это несчастье, что ваше превосходительство не руководит политикой в Стамбуле!

— Да уж, несчастье! В этом вы можете быть уверены.

— Я же всего-навсего человек подчиненный, обязан нижайше принимать приказы правительства.

— Принимать? Исполнять, любезнейший! Исполнять! И сколько времени уже продолжается это безобразие! Не можете справиться с кучкой голодных оборванцев! Хорошо, нечего сказать, успехи господина военного министра да и министра внутренних дел!

Приемный Джемаль подошел к великану Осману и так хлопнул ладонью по его груди, что эта хлябчая выставка оружия загрела и зазвенела.

— Мои хватило бы и получаса. А?

Осман осклабился. Каймакам тоже поспешил изобразить кислосладкую улыбку.

— Поход вашего превосходительства на Суэц — величайший подвиг в нашей истории. Прошу извинения, что, как человек штатский, позволяю себе рассуждать... И самое поразительное в этом походе — столь незначительные потери!

Джемаль-паша горько усмехнулся:

— Вы правы, каймакам! Я далеко не так расточителен, как Энвер.

Тут каймакам сделал свой самый хитрый ход:

— Мятажинки семи деревень отлично вооружены, ваше превосходительство. Они окопались на неприступном Дамладже. Я не офицер, ваше превосходительство, и ничего в военном деле не смыслю. Но запити и поддерживавшие их регулярные части сделали все что могли. И я, как один из руководителей и очевидец всей операции, должен решительно отвести все попытки унизить так славно сражавшихся офицеров и солдат. Однако при сложившихся обстоятельствах я не намерен жертвовать ни одной человеческой жизнью. Ваше превосходительство, вы величайший полководец, и вы знаете куда лучше меня, что горную крепость без горной артиллерии и пулеметов взять невозможно. И пусть это отродье торжествует на своей горе, я сделаю все что могу!

Джемаль-паша, который и так вынужден был беспрестанно обустраивать свой нрав, сейчас не совладал с собой:

— Обращайтесь к военному министру! — взревел он. — У меня нет горной артиллерии! Нет никаких пулеметов! Вся моя власть — пустые разговоры. Я несчастнейший полководец во всей империи. Эти стамбульские господа вытолкнули меня до последнего патрона. И вообще все это меня не касается!

Каймакам скрестил руки на груди, как для приветствия.

— Ваше превосходительство, прошу прощения, однако осмелюсь возразить: это отчасти касается и вас... Не только политиче-

ские ведомства выставляют себя на посмешище пред всем миром, но и солдаты Четвертой армии, которая носит ваше славное имя!

— За кого вы меня принимаете! — В голосе Джемали звучала насмешка. — На такую дешевую приманку меня не возьмешь.

Каймакам поспешил к выходу мимо великана Османа — с виду весьма смущенный, но в душе вовсе не потерявший надежды. И он не обманулся.

Поздно ночью Осман разбудил его: срочно к Джемаль-паше! Такими неожиданными приглашениями в неурочный час диктатор Сирии любил доказывать себе свою власть, а другим — оригинальность. Принял он позднего посетителя не в военном мушкетере, а в фантастическом бурнусе, придававшем ему, несмотря на его отнюдь не безупречную фигуру, сходство с величественным бедуинским шейхом.

— Каймакам, я обдумал это дело и пришел к выводу... — Он хлопнул своей пласбейской ладонью по столу. — Империю захватили слабые и бездарные карьеристы!..

Как бы в подтверждение, каймакам впал в состояние меланхолии. У дверей стоял разупрежденный Осман. «Когда этот верзляк спит?» — подумал правитель Антиохии.

Джемаль ходил взад и вперед.

— Вы правы, каймакам. Погор падет и на меня. Его надо вытравить, и чтобы никогда никто о нем не вспоминал! Вы поняли меня?

Словно не в силах произнести ни слова, каймакам молчал. Генерал-нелонерок вскинул голову с искаженным ненавистью бородатым лицом:

— Даю вам десять дней срока, и чтоб все было кончено и забыто... Пришлю вам толкового офицера и все необходимое. Но передо мной отвечаете вы. И чтоб я об этом больше не слышал...

У каймакама достало ума не проронить ни слова. Джемаль оттопал шага на два. Теперь он взаправду казался горбатым.

— Слышать больше не хочу об этом деле!.. Но если услышу, если какая-нибудь записка... всех прикажу расстрелять... И вас, каймакам, отправлю ко всем чертям...

Сладостный кейф веснучатого модира на вилле Багратина в тот день дважды прерывался. Первый раз — когда принесли телеграмму от каймакама, известившего о своем предстоящем приезде. Но когда вскоре фельдфебель запитив в связи с таким-то не совсем ясным делом снова вызвал модира на солнышек, тот с дакой бравно набросился на воевавшего вестового и еле удержался, чтобы не избить его.

Однако, выйдя на церковную площадь, он ускорил шаг — представлявшая картина оказалась поистине необычной. Перед хра-

мом стояло яглы, запряженные не лошадьми, а ослами. Собственно говоря, то было вовсе не яглы, а старинная карета на огромных колесах. В карете сидел старец, как наружностью, так и одеждой удивительно этой карете соответствовавший. Темно-синий шелковый халат доходил ему до пят, ноги были обуты в мягкие козловые туфлы. Феска обвита тарбушом, что свидетельствовало о благочестивости ее носителя. Нежные, под стать старушечьим пальцы без устали перебарывали яитарные четки.

Мюдир признал в прибывшем старозаветного турка-патриция, то есть приверженца лагеря противника, который, несмотря на революцию, все еще не утратил своего влияния. Тут мюдир вспомнил, что раза два встречал его в Англохиях, где жители оказывали старцу особую уважение. Позади кареты стояли тяжело навьюченные осла, бившие копытцами землю. Кроме погонщиков, мюдир приметил еще двух немолодых турок смиренного, чуть ли не отрешенного вида и худого мужичку, стоявшего прислонившись к дверце кареты. Лицо его было закрыто покрывалом.

Молодой мюдир из Салоник отдал дань уважения старцу, приложив руку ко лбу. Ага Рифаат Берекет жестом подозвал его. Стронник Иттихата, противник древних традиций медленно подошел к карете, чтобы внимательно выслушать старца.

— Мы держим путь в армянский лагерь. Дай нам проводников, мюдир.

Мюдир оцепенел:

— В армянский лагерь? В своем ли вы уме?

Но Рифаат Берекет оставал без ответа этот утиный вопрос. Рядом с ним на сиденье лежал новенький портфель из желтой воловьей кожи — некое кричащее противоречие всему остальному реквизиту. Нажав на замок, тонкие белые пальцы открыли портфель.

— У меня миссия к армянам.

И ага вручал рыжему мюдиру свой тескере, который тот принялся тщательно изучать. Увидев, что мюдир так и не нашел самого главного, Берекет — само спокойствие — сказал:

— Прочти надпись над печатью.

Мюдир с такой готовностью исполнил приказание, что прочитал даже вслух:

— «Предъявитель сего имеет доступ во все депортационные лагеря армяне. Ни политические, ни военные инстанции не должны чинить ему препятствий в этом».

Своими холодными руками молодой мюдир вернул документ в карету.

— У нас здесь не депортационный лагерь, а лагерь мятежников, государственных преступников, окаявшихся в горах. Они пролили турецкую кровь!

— Миссия моя распространяется на всех армян, — с достоин-

ством ответил ага, аккуратно прача свой тескере в маленький портфель, который вполне мог бы принадлежать элегантному коммерсанту, излек из него другой документ. По одному виду его можно было предположить, что он содержит еще более убедительное заключение. Это был большой, хитроумно сложенный лист бумаги, снабженный чрезвычайно внушительной печатью. Глаза мюдира должны были сначала привыкнуть к ивневатому письму арабскими литерами, прежде чем ему удалось расшифровать подпись шейх-уль-ислама. Духовный владыка страны обращался ко всем верующим мусульманам, предлагая оказывать правомочному представителю сей бумаги всяческое содействие, каково бы он ни потребовал.

«До чего живуча эта моль!» — подумал мюдир. Незаря на Эвнера и Талаата, исламат уль-шейха был одним из могущественнейших ведомств империи. А эта средневековая писанина имела силу приказа, неисполнение которого могло дорого обойтись мюдиру. Взгляд его скользнул по ослам, тяжело навьюченным мешками с мукой.

— А каково назначение этой кладки?

Рифаат Берекет, как было ему свойственно, придал своему ответу форму гордого иносказания:

— То же, что и мое.

Мюдир заговорил с агой, хотя его злило, что старый турок оставался сидеть в карете, тогда как он, лицо, обремененное властью, стоял перед ним, точно подчиненный при старом режиме.

— Не знаю, эфенди, отдаешь ли ты себе отчет в истинной ценности вещей. Армяне здешних деревень восстали против правительства и окопались на Муса-даге. Более того, они оказывают сопротивление военным властям и вооружились, чтобы предать смерти турецких солдат. Мы вынуждены вести регулярную осаду уже несколько дней. Теперь мы их морим голодом. Еще два-три дня, и они сдадутся. А ты, ага, являешься со своей миссией, со своими мешками, набитыми провантом и хочешь помочь изменникам, государственным преступникам, врагам твоего падишаха! Ты хочешь, чтобы они еще дольше оказывали сопротивление властям?

Устаю опустив голову, Рифаат Берекет выслушал эту длинную речь. Когда мюдир кончил, он бросил на него холодный взгляд своих выжужженных глаз, вокруг которых расходились морщинки, и сказал:

— А разве вы не были врагами падишаха? И куда более решительными. Разве не вы выступали против его солдат? И первыми напали на них? Революционер не должен ссылаться на законность!

И покамест он говорил, его рука в третий раз опустилась в волшебный портфель. Слово в сказке, она излекла из него самое сильнейшее средство: свернутый в трубку пергамент, на котором печатью служило изображение украшенного драгоценными камнями султанского тюрбана. Султан и калиф Магомед Пятый приказывал в этом фирмане всем своим подчиненным, а особо военным и граж-

данским властям, содействовать аге Рифаату Берекету и не чинить препятствий в его начинаниях.

Вид у рыжего мюдира был весьма озадаченный. Ничего не скажешь, весь старый мир в полном комплексе явился вдруг перед ним! Быстро, хотя и с чувством неприятия, он приложился ладонью к сердцу, губам и лбу. Жест этот никак не гармонировал с шитым в обтяжку летним костюмом, ярко-красным галстуком и канареечного цвета полуботинками. Что поделаешь? В каждом бюрократическом государстве чиновнику необходимо считаться с двумя мощными потоками, в которых так легко утонуть! Один из них — «служебная карьера» с ее коварными водоворотами, а второй, более опасный, — чрезвычайно чувствительные связи и отношения между ведомствами, департаментами и начальниками. А потому разумней всего уклониться от какого бы то ни было решения: лучше уж пусть обожжется начальство! Однако в данном случае оно отсутствовало. Молодому мюдиру приходилось принимать решение единолично. Нельзя же снабжать мятежников провизантом! Но нельзя и отказать в просьбе особе, к которой благоволят его величество султан!

Хитрец из Салоник в конце концов, измыслил компромисс, к которому решился прибегнуть лишь после длительной внутренней борьбы. Ага получил разрешение пересечь турецкие линии, однако обоим было приказано оставить в долине. Тут Рифаату Берекету не удалось ничего добиться. Неужели он не знает новых законов? В Сирии голод! Судьбу этой муки будет решать каймакы Антаке. Впрочем, относительно спешей мюдир позволил с собою потроговаться. Дело в том, что из ослах были навьючены и несколько небольших мешочков с сахаром, кофе, а также кны табак. Мюдир согласился пропустить все это, должно быть поняв, что положенны на Дамасдажке оно не изменит, но все же подчеркнул, что совершает преступление. Затем мюдир осведомился, кто сопровождающие аги.

— Слути и мои помощники. Вот паспорта. Смотри. Все в порядке.

— А этот? Что это он завесил лицо, как баба?

— Болен. Кожная болезнь. Приказать поднять покрывало?

Мюдир скривил губы и отмахнулся.

Прошло более часа, прежде чем карета снова тронулась в путь в направлении Битнаса. По обе стороны кареты маршировали солдаты под командованием мюлазима, а за ними тянулись два вьючных осла с кофе, сахаром и табаком, далее три верховых осла для аги и его помощников.

Когда заблудиться было уже невозможно, Рифаат Берекет велел остановиться. Мюлазима попросили не сопровождать его дальше: армяне могут принять солдат за боевое подразделение, вспыхнет перестрелка. Офицер охотно согласился и тут же приказал разбить бивак в лесу, не упустив при этом ни одной из мер предосторожности. Трое старших верхаки двинулись дальше, сидя боком на ослах, а два

вьючных осла — плелись позади. Человек в покрывале шел рядом. В правой руке он нес зеленый флаг пророка, в левой — белый флаг мира.

Они сидели друг против друга в шейхском шатре. Ага потребовал встречи с Багратяном без свидетелей. Турок провели от северного седла на площадку Трех шатров с завязанными глазами, как положено парламентарам. Слуги сидели на коротких ярдах с вьючными ослами, с которых погонщики снимали мешки и кипи. Вокруг путников быстро разрасталась толпа. И все же совсем вплотную к туркам армяне, будто охваченные робостью, не подходили. Сердца их тревожно билось. Что за посланцы? Варуг это спасение? Жизнь?

Ага Рифаат Берекет держался с тем же непоколебимым достоинством, как будто он сидел в своем погруженном в полумрак селамлике. И ни на секунду не останавливаясь, как само время, перекачивались янтариные шариком четок в его руках.

— Я приехала сюда не только как друг твоего деда, как друг твоего отца и друг твоего брата, Габриэла Багратяна, но и как друг армянского миллет. Тебе известно, что я посвятил себя делу мира между нашими народами, а он ныне нарушен, навсегда...

Внезапно он прервал свою звучащую как причитание речь и долго не сводил озабоченного взгляда с сидевшего перед ним дикого горца — его нельзя было узнать, так он зарос бородою, этот прежде молодой и холерный европеец.

Ага помолчал, уйдя в себя, затем молвил:

— Вина и на тех и на других... Говорю это лишь для того, чтобы вопреки всему, что произошло, суждения твои были справедливы и сердце не ожесточилось.

Лицо Габриэла будто еще больше осунулось, постарело.

— Тот, кто пришел к тому, к чему пришел я, уже не несет вины, не ведет ни права, ни нести...

Пальцы Рифаата замерли:

— Ты потерял сына...

Габриэл невольно опустил руку в карман и нащупал греческую монету, которую всегда носил с собой как талисман. «Непостижимо — у нас и над нами». Он поднял руку с монетой.

— Подарок твой не принес мне счастья, ага. Монету с царским профилем я потерял в тот день, когда потерял сына. А другую...

— Ты не знаешь, когда настанет твой последний день...

— Он очень близок. И все же мне хотелось бы его поглотить. Порою так и рвусь спуститься в долину, к вашим... чтобы впером прижать скорый конец...

Ага смотрел на свои светящиеся руки.

— Жизнь свою ты должен не увидеть, а возвысить. У вас, Багратяны, больше сил, чем у других людей... Но все в руках божьих...

У скрещенных ног Рифаата лежал желтый портфель, и на нем



приготовлено раскрытое письмо пастора Арутюна Нохудяна Тер-Авказу.

— Тебе известно, Габриэл, что я не первый месяц в пути, дабы трудиться ради вас. Со спокойной старостью я расстался и, даст бог, дойду и до Дебр-эль-Зора. Но в Сарии и прежде всего пришла к тебе. У вас есть друзья за границей, но есть и здесь, в самой стране. Один немецкий пастор собрал много денег для вас. Я установил с ним связь. Я собрал пятьдесят мешков пшеницы. Это было нелегко. Но те, здесь, не пропустили. Я так и предполагал. Впрочем, каймакуму не удастся конфисковать это зерно. Оно пригодится нашим братьям в лагерях. Но не эти мешки заставили меня подняться из Муса-даг...

И он вручил Габриэлу письмо Нохудяна.

— Из этого письма вы узнаете то, что иначе вам никогда не даю было узнать: судьбу ваших земляков. Но вместе с этим вы должны знать, что наш народ состоит не только из Иттихата, Энвера, Талаата и их приспешников. Многие, как и я, покинули свои жилища и двинулись на восток, дабы оказать помощь умирающим от голода...

Разумеется, Рифат Берекет был удивительный человек и заслужил, чтобы Габриэл Багратян от имени народа стал перед ним на колени. И все же столь подробно перечисленные благодеяния и тяготы пути не могли растопить горечи в душе Багратяна. Как ни велики были принесенные жертвы, ссылая на них раздосадовала его.

— Сосланным, вероятно, вы поможете, нам — уже нет.

Старец продолжал с неизменным спокойствием:

— Тебе я могу помочь. Ради этого я и пришел в твой шатер.

И ползаясь из уст Рифата Берекета в однообразном ритме слова о плане спасения, заставившие замереть сердце Багратяна. Ага спросил, видел ли Габриэл там, на дворе, пятерых мужчин, сопровождавших его. Два старика — это два члена святого братства, поклявшиеся служить тому же делу, что и он, ага. А два погонщика — это слуги из его дома в Антакье. Но вот пятый человек — тут дело дословней. У него на совести жизнь многих армян, однако в Стамбуле шейх «Похитителей сердец» Ахмед наставил и обратил его. И он дал обет искупить злодеяния, совершенные низкими силами его души, и загладить вину перед армянами. Этот человек готов поменяться платьем с Габриэлом Багратяном и тут же исчезнуть. На церковной площади мюдир внимательно просматривал паспорта и имена всех спутников занес в список, так что при возвращении он спрашивать тескере не будет. И даже если вопреки всем ожиданиям мюдир станет чинить препятствия, то замаскированный Багратян предъявит паспорт своего двойника. К тому же мюдизин и его солдаты сопровождали сюда шестерых, шестерых они и сдадут мюдиру. Им уже никак не заподозрить, что одна из них подменен. Он, ага, человек чести, подобные недозволенные поляней дела не любит, но

в данном случае речь идет о последнем отпрыске Багратянов, кого должно немил и невредимым доставить в надежно защищенный дом Рифата Берекета в Антакье. И решается он, ага, на это во имя покоя души блаженной памяти Аветиса-старшего. От него он воспринял бесчисленные доказательства дружбы, когда сам еще был совсем молодым турком, а тот — почтенным армянином в летах.

Габриэл бросился к выходу: дохнуть свежим воздухом. Ветер жизни вот-вот разорвет ему грудь!

Перед шатром сидели на корточках спутники ага. Они молчали. Здесь же был и человек, давший обет. Покрывало он давно уже снял. Тупое обидное лицо ни о чем не говорило — ни о том, что у его владельца на совести смерть многих армян, ни о том, что он дал обет искупить свою вину. Увидел Габриэл и жителей лагеря, собравшихся здесь в напряженном ожидании. Увидел и Искун, стоявшую у входа в палатку Жюльетты. И она тоже оказалась ему далекой, нереальной, как и все остальные. Реальна была только мысль о жизни. Затемненная комната в доме ага, окна выходят во двор. Небольшой фонтан. Деревянные ставни закрыты... И там, все позабыв, не ведая ни о чем... ждать встречи с новым рождением...

Успокоившись, через несколько минут Габриэл вернулся в шатер и поцеловал руку старика.

— Почему ты не пришел тогда, отец, когда все было так просто и легко... когда мы жили вину, на вилле?..

— Я очень долго надеялся, что от вас удастся отвести беду... Но для тебя и теперь еще не поздно.

— Нет, и для меня уже поздно.

— Уж не боишься ли ты?.. Тогда подождем до ночи. Ничто тебе не будет грозить.

— Что ночь, ага, что день? Не в этом суть! — Он сделал небольшую паузу, как бы стыдясь последующих слов. — Моя жена только сегодня вернулась к жизни...

— Жена? Ты найдешь себе других жен.

— Мой сын лежит здесь, на горе...

— Твой долг дать своему роду другого сына и продолжателя рода.

Ответ Габриэла прозвучал так тихо, что старец его, должно быть, и не расслышал:

— Кто пришел туда, куда пришел я, тот не может начать все сначала.

Ага протянул вперед свою неутомимую руку, словно намеревался собрать в ладонь дождинки времени.

— Зачем тебе думать о будущем? Думай о ближайших часах!

Прощальный послышавший свет заливал шатер. Габриэл неутивно поднялся.

— Это я подаю жителям семи общин идею о Муса-даге. Я организовал здесь оборону. Я командовал боями против ваших солдат. В этих боях мы отстояли жизни. И я за все в ответе. Я буду виноват, если через несколько дней ваши солдаты ворвутся в лагерь и уничтожат всех, если они замучают больных и грудных детей. И ты, ага, думаешь, что я могу так просто уйти?

Ага Рифаат Берекет ничего не сказал.

Габриэл приказал немедленно перенести все подарки на Алтарную площадь. Совет сразу же приступил к раздаче. В основном это был сахар, кофе, немного табаку. Однако погоищикам удалось переправить сюда, на гору, и два мешка с рисом. Но на какие ничтожные доли все это надо было раздать, чтобы каждой из тысячи семей досталось хоть что-нибудь! И все же! Еще хоть раз насладиться горячим кофе! Прилебовывать его маленькими глотками! В тебе вновь заиграет жизнь! Еще раз всеми легкими вдохнуть «аромат ароматов!» Медленно выдыхать пахучий дым через нос и рот. Бездумно, не заботясь о завтрашнем дне, следить, как он тает в воздухе!..

Реальная стоимость этих подарков была намного меньше, чем вызванное ими оживление и прилив бодрости. И это в день великой катастрофы! Кроме этого, турки оставили и ослов — двух выючки и двух верховых. А с собой в долину взяли только одного — для Рифаата.

Путь до северного седла благодетель и пятеро его спутников проделали на сей раз без повязки на глазах. Впереди шагал человек обета, держа в одной руке зеленый, в другой — белый флаг. Ни досады, ни радости нельзя было прочитать на его лице по поводу того, что доброе дело его не свершилось. В качестве почетного эскорта провожали турок, кроме Габриэла Багратяна, Тер-Аказуи, доктор Петрос и два мухтара. А за ними катилась беснувшаяся толпа. Переговоры в шейхском шатре, об истинном содержании которых никто ничего не знал, породили самые фантастические надежды. Ага двигался будто в облаке благословений, криков о помощи, слезных просьб. Он с трудом прокладывал себе путь. Никогда еще, даже в депортационных лагерях, Рифаат Берекет не видел таких лиц, как здесь, на Дамладже. Почти у всех детей были большие головы рахитиков, нетвердо державшиеся на тоненьких шейках, и огромные глаза, словно знавшие что-то, чего человеческим детенышам знать не должно. Рифаат подумал, что и самый ужасный этап, вероятно, не действует так обезличивающе, как эта отрезанность и отверженность. Сейчас ему открылось, насколько разрушительные силы, калечащие душу, превосходят силы, умертвляющие плоть. Самое страшное — это не истребление целого народа, а истребление анка божьего в целом народе. Меч Энвера, разя армян, поразил самого аллаха. Ибо и в армянах, как и во всех людях, живет аллах,

хотя они и неверующие. Но тот, кто уничтожает достоинство в живом создании, уничтожает в нем Создателя. А это преступление против бога, грех, который не прощается до конца времен. Перед духовным взором благочестивого дервиша Рифаата Берекета, в своих медитациях и упражнениях столь часто приближавшегося к миру иному, к судьбам ушедших душ, предстали сейчас чудовищные картины. Даже там, пред вратами благодати, пред дверьми гармонии толпились депортационные колонны, не получая доступа. Набитые битком пересыльные лагеря душ — душ, которым не дано возвыситься, ибо бесконечные муки и долгое изгнание отняли у них способность летать. И там, как и здесь, на Муса-даге, обжигающие взгляды голодающих, коим и на том свете суждено вселенское нищенство. Старцу казалось, что он шагает сквозь густое облако пепла, облако смерти армянского народа, клубившееся между этим и тем миром. (Не замечая этого, он действительно вдыхал пепел от догоравшего лесного пожара, который горный ветер гнал на запад.) Неужели этому пути через армянскую судьбу никогда не придет конец? Рифаат Берекет ступал ослепая на палку и с каждым шагом еще больше старел и горбился. Теперь он видел перед собой только землю, все это породившую и все это терпящую.

Семена маленькими, не привыкшими к ходьбе ногами в мягких туфлях, он прижимал белую бороздку к груди и шептал, словно беглец, боявшийся, что ему не достанет сил добежать. Слух его уже не воспринимал ни просьб, ни заклинаний, сыпавшихся на него со всех сторон. Только бы скорей отсюда!

И все же сил ему хватило только до первого окопа северного сектора обороны. При виде дружинок, которые с любовью и радостью разглядывали его, аге стало душно, и он вынужден был сесть. Перепутанные погоишки бросились к нему. Берекет был тяжело больным человеком. Врач-европеец предостерегал его от излишних напряжений. Коренастый слуга достал из зеленой бархатной сумки шохательный спирт и пузырек с лакицей для поддержания работы сердца. Как только ага почувствовал себя лучше, он поднял глаза и улыбнулся Тер-Аказуи и Габриэлу Багратяну, склонившимся над ним.

— Ничего... стар я... быстро шел... да и немалое бремя вы возложили на меня...

И в то время как слуги помогали ему подняться, он ясно осознал, нет, не выполнить ему задачи, не дойти до Дейр-эль-Зора!

Лишь около полуночи ага Рифаат Берекет добрался до своего дома в Антаке. От усталости и долгого сидения в карете он был почти парализован. И все же он нашел в себе силы и красивым, застывшим почерком написал письмо Незими-бею для вручения христианскому священнику Лепсусу. Письмо содержало отчет о первой его акции.

В то самое время, когда ага Рифаат Берекет составлял письмо

Ленинскую, душа Григора Погонолуцкого покинула измученное тело.

До того как отойти ко сну, учитель Апет Шатахия вдруг почувствовал острее угрызения совести: сразу после бурного заседания совета он, ничего не вида, выбежал вон и весь последующий день наизусть не заглянул к своему старому учителю! Во второй часу полудни Шатахия на цыпочках вошел в правительственный барак и приблизился к слабо освещенной койке Григора. Заглянув через книжную стенку, он — только бы не разбудить больного! — прошептал:

— Эй, аптекарь! Как ты?

Григор лежал на спине, тяжело дыша. Но в глазах его отражался глубокий покой, и они упрекали Апета Шатахия за «глухие» вопросы. Ученик протиснулся между книгами к ложу больного и тут почувствовал ему пульс.

— У тебя сильные боли?

Ответ прозвучал так, как будто больной хотел придать своим словам двойной смысл:

— Когда ты меня трогаешь, боли у меня утихают.

Шатахия примылся рядом с больным.

— Эту ночь я останусь с тобой. Так будет лучше... Может, тебе что-нибудь понадобится...

Однако Григор, казалось, вовсе не желал никакого общества.

— Ничего мне не понадобится. До сих пор так все обходилось... и сегодня обойдусь... Ложись спать, учитель.

— Я хотел бы остаться, если тебя это не естесит.

Григор не ответил. Ему трудно было дышать. А Шатахия совсем опекался.

— Прекрасные времена наши вспоминаю, аптекарь... Прогуляки с тобой... твои беседы...

Темно-желтое лицо Григора, лицо мадьярина, застыло. Голос лишился звука. Козлиная бородака не шевельнулась, когда он скорее выдохнул, чем сказал:

— Все это не имело никакого смысла...

Подобный отпор только разогрел сентиментальный порыв Шатахия.

— Очень даже имело... Ты ведь знаешь, аптекарь, что я жил в Европе... Смею тебя заверить: педкая культура Франции вошла мне в плоть и кровь... Чему там толло не научишься: в доклады, и концерты... театр... картинные галереи, кинематограф... И видишь ли здесь, в Погонолуке, ты был всем этим для нас... Более того, весь мир ты принес нам и растолковал... О, аптекарь, кем бы ты мог стать в Европе!

Восклицание это, должно быть, вывело Григора из себя. Он выдохнул:

— Я доволен... тем, что есть...

Учитель Шатахия сбавил тон. Не зная, что говорить, он несколько минут молчал. Но вдруг вспомнил, что обычно говорит умирающему, когда хочет скрыть от него, что его ждет.

— Какую нарядную ночную рубашку ты надед, аптекарь! Через несколько дней тебе придется ее сменить — запачкается да и помнется. Пусть тебе тогда подарят новую такую же. Эту ведь не стирают.

— Моя рубашка не сомнется и не запачкается, — проговорил аптекарь, и Шатахия вспомнил, какой бестелесной была всегда телесная оболочка Григора. Ему хотелось, чтобы аптекарь поскорее уснул, бодрость его духа угнетала Шатахия. И несмотря на то что глаза его были широко раскрыты, казалось, Григор готов в этом пойти навстречу гостю. Прошло более получаса, прежде чем Григор вновь заговорил своим таким странным фальшестом:

— Учитель! Вместо того чтобы говорить глупости, сделай-ка лучше дело... Подойди к полке с лекарствами... Видишь темную круглую бутылочку? Рядом стакан... налей полный!

Довольный, что ему дали ясное поручение, Шатахия послушно принес до краев наполненный стакан с довольно сильно пахнувшей тутовой водкой.

— Хорошее лекарство ты себе прописал, аптекарь, — заметил Шатахия, просунув руку под голову Григора, приподнял ее и приложил стакан к губам. Погонолуцкий мудрец осушил его большими глотками — так пьет воду — и со стоном откинулся.

Вскоре лицо его покраснело, в глазах вспыхнул лукавый огонек.

— Это бодеутоляющее... Теперь оставь меня одного... иди спать, Шатахия.

Выражение лица и оживленная речь больного успокоили Шатахия.

— Завтра я приду к тебе, аптекарь, пораньше...

— Да, да, приходи завтра... когда хочешь... хорошо бы ты лампу потушил... последний керосин... вон там маленькая свечка... Поставь подсвечник на книгу... вон туда... Теперь все... иди спать, Шатахия.

Выйдя за книжную перегородку, учитель остановился и обернувшись, взглянул на своего ставника.

— На твоём месте я не стал бы обижаться на Восканяна, учитель, мы его давно насквозь видим...

Этот последний совет Шатахия был совершенно лишним. Аптекарь уже пребывал в мире полного покоя, где такие смешные персонажи, как Восканяна, никакой роли не играют. Неподвижный взор его был устремлен в пространство, а сам он блаженствовал, отдыхал от боли. Сердце его билось, радовалось. Он подсчитывал свое духовное достоинство. Какая легкая поклажа! Как счастлив он! Не потерял никого, и его никто не потерял... Все эти человеческие дела теперь далеко позади, да они никогда и не существовали наверняка, Григор всегда был

Григором, человеком без свойств, присущих другим людям. Народ жаждет одиноких в такие минуты людей. Аптекарию это было непонятно. Разве есть что-нибудь прекрасней такого одиночества? С годовы до пят тебя пронизывает ощущение какой-то чистоты. Никаких обязанностей, идеальный порядок! Никакие чуждые примеси не замутняют поток чистого «я». И кровь в этом потоке циркулирует все быстрее. Изумительное тепло поднимается в тебе. Григор замечает, что тело его вновь обрело подвижность, суставы не сподни судорогой... Рыльком, который не причинил ему никакой боли, он повернулся к свету. Вокруг пламени свечи плясали белые мотыльки и черные ночные бабочки. Григор подумал: если так будет продолжаться, я выздоровею. Но это казалось ему несущественным. Дух его пытался постигнуть пляску бабочек. Рождалась пышность, надменные слова, и не было у Григора никакой власти над ними: «Главное светило Полнодора!» Существует оно или нет? Да разве это имеет значение? Вокруг главного светила Полнодора плясали закутаные в фату плясавы, паутинками висели навады, кружили скопления звезд, напоминавшие бабочек, тонкая материя их образовалась из невла створенных миров, как это давно доказал арабский астроном Ибн Саади... «Кем бы только мог я стать в Европе!» Осел этот Шатахия! Григор Погонолуцкий горд как бог, ибо он видит серые миры, которые пляшут вокруг главного светила.

И вновь горд был Григор, что сам уже не созинал себя. Он заснул. Пробуждение было ужасно. Каморка непостижимо сузилась. Григор почти ничего не видел. Количество ночных бабочек увеличилось тысячекратно, и слабый свет свечки еле пробивался сквозь них. Большому не хватало воздуха. Он издавал какие-то отчаянные булькающие крики и, пытаясь подняться, выгнулся, превозмогая боль. Внешне это был припадок удушья, но внутренне нечто гораздо более страшное. Сознание того, что ты — не выстоишь! И не обычное предельное чувство, а некая увекочеченная невозможность выдержать. И если есть ад, то это и было самым адским мучением. Навечная невозможность выдержать имела свое определенное содержание. Знающее незнание, или незнающее знание, являлось лишь приблизительным определением этого моря полоничности, начинающихся познаний, быстро гаснущих мыслей, непонятных учений, закосивших ошибок... Ни с какой мелочью уже не справишься! Жуткая немощь духа, который спотыкается на каждой травинке. Казалось, Григор утонет в этом мире отвратительных руин. Он хотел спастись, бежать. Хрипя, он прополз вперед, вцепившись в стенку из книг, поднялся, но потерял равновесие, упал навзничь на койку, увлек за собой верхние ряды книжной перегородки и догоревшую свечу в придачу. С грохотом рушились книги на тело Григора, будто желая обнять, удерживать своего хозяина.

Большой очень долго так лежал, довольный, что вновь мог дышать

и что припадок удушья отпустил его. Боль возвращалась волнами. Каждый палец горел, будто Григор только что выдернул его из огня. И тогда книги еще раз оказали большую помощь аптекарию — прочитанные, непрочитанные, перелистанные, любимые — всекие. Он заставил горевшие руки между страниц. Они холодили, как родниковая вода. Более того, какой-то ледяной полой переливался из кроветворного духа книг в его кровь. Своими оглохшими и ослепшими руками он ощупью узнавал каждую из них. И последний всплеск: как жаль, что такая радость уходит! Жжение затихло. И последняя боль как бы еще раз оглянулась. Мягкая, ласковая нечувствительность поднималась все выше и выше. Через щель между бревнами подымывало свищово-серое утро. Но Григор уже не замечал этого: в нем свершалось великое. Началось оно с того, что из него нахлынуло крадливое сознание: «Я первый человек». «Я первый человек», — естеством каждый удар затихавшего пульса. И уже после этого то, что носило имя Григора Погонолуцкого, стало расти. Нет, это неверно! Слова, созданные во времени и пространстве, не способны были выразить происходившее. Может быть, вовсе не росло то, что звали Григором Погонолуцким, а сжималось и сокращалось то, что было окружающим его миром. Да, этот мир с неизменной быстротой сжимался — барак, Город, Муса-даг, родина, там, внизу, в долине, и все, все вокруг... Да иначе и не могло быть! Не было у этого мира никакой плотности — он же состоял из невла створенных миров! А внепод конец остался уже один Григор Погонолуцкий. Он был вседенной. Нет, он был больше вседенной, ибо ночные бабочки миров плясали вокруг его головы, а он не замечал этого.

## Глава пятая ПЛАМЯ АЛТАРА

После длительных переговоров с пастором Арамом и доктором Латуни Тер-Айказуни распорядился раздать все остатки продовольствия. Да и стояло ли длить жизнь, а с нею и муки? Ведь до того, как начался настоящий голод, столько женщин, стариков и детей обессылали так, что, упав, уже подняться не могли. Это медленное умирание оказалось самой мучительной формой гибели. Потому-то вардапет и решил сократить этот процесс. Лучше несколько дней есть досыта, а там — будь что будет, чем целой мучительных терзаний отодвигать неизвестное на смехотворно малый срок.

Итак, в первых числах сентября были зарезаны обе тощие коровы Багратянон, все козы, козлы и вянтя; никто и не вспомнил при этом о молоке, которое уже не принималось в расчет. Затем настала очередь вьючных и верховых ослов; жилистое мясо их ни на вертеле, ни в котле не поддавалось размягчению, и все же, когда обрабатывали все — и кости, и кровь, и хвосты, и кожу, и копыта, и

требуку, набралась гора пиши, которой и наполняя желудка муса-дагам, что породило новые мучения. Каждой семье еще досталось по четверти фунта сахара и кофе Рифаата Берекета. Кофейную гущу заваривали много-много раз, и кофеварки уаодобились никогда не пустовавшим евангельским кувшинам с маслом. От напитка люди ели и не веселили, то хоть на несколько минут забывались. Почти так же важен оказался и табак. Мудрый вардагет, вопреки сопротивлению мухтаров, настоял, чтобы львиную долю его — четыре больших тука — распределили между бойцами Южного бастиона, то есть тысячцами и вообще ненадежными членами общества. Вот они и дымади всласть, как в лучшие времена. Блаженное состояние это должно было предотвратить появление дурных мыслей. Саркис Кадляк, лежа на спине, тоже наслаждался табаком и, как видно, в эти минуты не имел никаких претензий к миропорядку. Одни учитель Грант Восканян не курил, но он ведь был некурчашии.

Наряду с такими, пожалуй, легкомысленными, но жизнеутверждающими мерами были приняты и другие, весьма глубокомысленные и к тому же весьма мрачного характера. Тер-Айказун добился принятия их после длительного и трудного разговора с доктором, причем глазу на глаз.

Лицо Алуни, сморщенное как высохший лист, с каждым днем делалось суше и темней. Надсадный кашель сотрясал его толстую грудь, скрывавшую более тяжелый недуг. Но, как бы ким Петрос ни относился к собственной жизни, он из последних сил выбивался, стараясь сохранить жизнь людей здесь, на горе. Однако сейчас он вынужден был признать, что Тер-Айказун прав. Это обстоятельство заставило их поменяться ролями, и выяснилось, что священник поступил как безбжжик.

На тридцать четвертый день, спустя двадцать четыре часа после смерти аптекаря Григоря, в карантинной роще было около двухсот больных, и в лазарете и вокруг него, помимо тяжело раненых, еще сто, — это были те обессилевшие, которые упали на работе или по пути к ней. Если всего на Муса-даге насчитывалось около пяти тысяч душ, то количество больных, к которым следовало добавити и раненых, не должно было вызывать тревогу. Но в эти дни неожиданно и стремительно, без всяких на то видимых оснований, резко подкочила кризисная смертность. До вечера умерли сорок три человека, и все говорило о том, что в ближайшие часы за ними последуют еще несколько. На кладбище уже не хватало мест для такого количества новых гостей. Вся территория с глубоким слоем земли занята, достаточно было лопате углубиться на четыре фута, как она наткалась на известковую кость Дамладжика. Это и вызвало необходимость осмотреться, нет ли в округе более благоприятного места для последнего упокоения. Впрочем, на это вряд ли можно было рассчитывать, да и не следовало в этих условиях разбрасывать и так уже измотанные

рабочую силу. В поднятых сюда, на гору, корзинах не оставалось ни песчинок родной земли, и Тер-Айказуну нечего было давать усопшим из прощанья, а потому им предстояло полностью уповать на всеведение божье, ибо один он знал, куда их направить в дец Страшного суда. И так, стало безразлично, где и как мертвецам будет спать, когда придет конец. А соя их после всего пережитого должен быть крепкими и глубокими.

Потому-то Тер-Айказун ввел новый порядок погребения, не подвергнув его народному обсуждению.

Глубокой ночью трупы свезли в одно место, а затем оттуда на скалу-террасу, словно гигантский корабельный нос вынсаившую над морем. Помогали при этом и санитары, и кладбищенская братия, и все, кто обычно был занят черными делами в лагере. Три-четыре раза был проделан елегкий путь, прежде чем трупы ровными рядами уложили на голой земле.

С наступлением поволуни погода испортилась. Дождь, правда, не шел, но над вершинами Муса-дага гулял недобрый и надоедливый ветер — то он как будто прилетал из степей и дул так, что дух захватывало, а то приносил со стороны моря соленые брызги, по все время кружил, точно издевался над более постоянными стихиями, такими как земля и вода... Не выбери Габриэл Вагратян так удачно место для Города — ни один извал не выстоял бы. А зальег, из скале-террасе, шорм, казалось, связ себе гвоздо — никто не мог на ногах устоять. В первую же минуту он задул свечи и факелы. Только серебряная кадильница, которую дьяком подавала вардагету, слабо мерцала в ночи.

Тер-Айказун маленькими шажками переходил от одного тела к другому и осенял крестным знаменьем. Нууик, Вартук, Манушак были возмущены подобными похоронами, но так как их самих только терпели на Дамладжике и они не смели громко роптать, то попытались исправить олошность священника тем, что еще истовой затянули древний свой плач. Свирепые вьюны ветра приняли вызов, и разразился такой вой, что можно было усомниться, способен ли плач облегчить отлетевшей душе борьбу против обрушившихся на нее адеких сил.

Двое дружинников подняли первого мертвеца и поднесли к самому краю скалы. А тут, широко расставив ноги, будто буря ему ничем, подняв руки, словно два больших листа латука, стоял в готовности огромный дитина, Геворк-пласун. Стоило большого труда растолковать ему, что именно от него требуется. В конце концов он понял и с блаженной улыбкой воскликнул:

— Как на корабле, да?

И тогда-то окружающие его узнали, что Геворк в юности плавал на угольном баркасе в Черном море. У юродивого было доброе сердце, и ничто не доставляло ему большей радости, чем сознание, что





случая, который отравил бы смерть. И как ни казались сходными их побуждения, они сильно различались. И Тер-Айказун и доктор Петрос об этом не проронили ни слова.

У Геворка-пашеуна работы прибавилось.

Совершенно неожиданно из Александретты возвратились пловцы. Ранним утром юной оклинули дружинники северного сектора. Им удалось миновать цепь патрулей солдат и запятив, которая вот уже двое суток опоясывала весь Муса-даг от Кебусие до арбрежской деревни Араус на крайнем севере. Физическое состояние пловцов находилось в поразительном противоречии с длительностью и невзгодами их десятидневного похода. Правда, они входили на скелеты, но скелеты, опаленные солнцем, обветренные дыханием моря. Удивительней всего была их одежда. На одном был потертый, когда-то элегантней коричневый шерстяной шафрок, на другом — белые фланелевые брюки и допотопный смокинг, знававший лучшие времена. Пловцы волокли тяжелый мешок солдатских сухарей — явное свидетельство самоотверженного служения народу, стоило только вспомнить, что от Александретты до Дамладжика тринадцать пять английских миль, и все по горам.

И если возвращение пловцов вызвало у обескаившегося народа ликование, то их отчет, казалось, погасит и последние надежды. Шесть дней они пробыли в Александретте, и ни разу не показались ни одного военного корабля! На рейде стояло много старых турецких угольных баркасов, рыбацких шаланд и застигнутый здесь войной русский торговый пароход. Огромный залпа, западавшийся угол между Малой Азией и собственно Азией, был пуст, как пусто было все побережье за спиной Муса-дага. Уже многие месяцы никто в Александретте не видел ни одного военного корабля.

Вполне понятно, что оба юнца гораздо больше говорили о своих приключениях и преодоленных опасностях, чем о полном крушении своей миссии. Они без конца перебивали друг друга, один ревниво не давал говорить другому. Подробнейшим образом они описывали все свое путешествие день за днем. И если один забывал упомянуть какое-либо незначительное происшествие, то другой спешил его дополнить. Тогда же, позабыв о собственной участи, не могла их наслушаться. Все говорило о том, что пловцы за время своего долгого отсутствия пережили и несколько благоволюбных дней, а уж это здесь, на Дамладжике, трудно было представить!

В первый день после ночного перехода они, держась горных троп, обшарили Рас-эль-Ханзир и без всяких приключений достигли прибрежного тракта, который тянется от Арауса до портового города. Затем они целый день провели на холме над Александреттой, откуда, надежно спрятавшись за мирными кустами, непрерывно следя за морем. В четвертом часу пополудни показались что-то узкое, низ-

кое и серое, оно оставило за собой белый кинжальный след, быстро приближаясь к берегу. Забыв о всякой осторожности, они бросились в воду и поплыли мимо деревянного причала в открытое море. Как и было им поручено, они приближались к предполагаемому английскому или французскому миноносцу, который быстро увеличился у них на глазах, и вдруг, к величайшему своему ужасу, разглядели флаг с полумесяцем на корме. Но к этому времени и на борту их уже замечали. Послышался окрик. Пловцы пританцлись. Тогда команда турецкого командантского катера — это его они приняли за союзнический миноносец — открыла по ним огонь. Они нырнули и как могли дальше не показывались на поверхности. Затем спрятались за скалами, на которых покоился причал. К счастью, уже вечерело и порт бугор вымер, и все же над ними то и дело раздавались тяжелые шаги постовых. Вот так они и сидели — мокрые, голые. И одежда, и все, что у них с собой было, — все пропало! К немалому ужасу, каждые полминуты их ошупывал луч прожектора. Они заповзали как можно дальше. И только глубокой ночью осмелились выбраться из воды. По главной, очень длинной улице порта они побоялись идти. Им надо было решать — либо отсиживаться, либо рисковать и совершить смелый набег на город. Но для начала они нашли нечто среднее. В разбитом на одном из склонов парке они увидели богатые виллы. Вероятно, владельцы их спасались здесь от малярии. Судя по всему, что они слышали об Александретте, одна из этих вилл должна была принадлежать армянину. На первых же садовых воротах они при свете луны прочитали имя хозяина — оно подтверждало их догадку. Но дом был заперт. Света нигде не видно, ставни заколочены, все мертво. Однако юнцы готовы были заломать дверь, только бы найти убежище. У ограды они обнаружили лопату и тяпку. Имя они и приглядели дубасить по воротам, ни на минуту не задумываясь над тем, что производимый ими грохот способен разбудить и смертельного врага. Но не прошло и нескольких секунд, как внутри дома послышался шум, загремел замок. Дверь открыл трепещущий человек, в руках которого трясся фонарик.

— Кто тут?

— Армяне. Во имя Христа, дайте повесть, спрячьте нас!

— Не могу я никого прятать. Занятия проперыют каждый день. Все обшаривают. Разрешение на жительство дают только на неделю. А оно стоит сто фунтов. Найдут вас здесь, и меня в депортацию отправят.

— Мы только что вылезли из воды. Голые совсем.

Светлоелитяшского карманного фонарика обжегало по дороге ребят.

— Боже милостивый! Не могу я вас впускать. Погубите вы нас всех. Подождите, постойте тут.

Минуты ожидания тянулись бесконечно. Наконец ворота приоткрылись, и пловцы через щель протянули две рубахи и два одеяла.

Потом вынесли хлеб и холодное мясо да еще деньгами каждому по два фунта. При этом у их соплеменника от страха зуб на зуб не попадал.

— Во имя спасителя! — шепотом умолял он, — Уходите скорее! Может, и так вас уже заметили. Ступайте к немецкому вице-консулу. Только он один и может вам помочь. Господин Гофман зовут его. Старуху турчанку пошло с вами. А вы ступайте за ней, только держитесь поодаль. Не разговаривайте.

К счастью, дом вице-консула был расположен в этом же парке. Сам он оказался добрым человеком, готовым сделать больше, чем ему дозволялось. Как один из сотрудников Рёслера — генерального консула в Алеппо, — он с самого начала с поразительным бесстрашием вступался за депортированных, велотчаянную борьбу во имя человечности против Иттихата, государственной машины, да и против попыток оклеветать его самого.

Гофман радушно принял пловцов, окружил заботой, предоставил им комнату с прекрасными кроватями, распорядился, чтобы их трижды в день кормили до отвала. Вице-консул сказал, что в этом убежище они могут находиться до тех пор, пока обстановка не нормализуется. Но уже на третий день этой сказочной жизни сыны Армении сообщили господину Гофману, что настало время им срочно возвращаться к своим, на Муса-даг. В тот самый час, когда они поведали столь по-отечески принявшему их гостеприимному хозяину о своем намерении, в Александретту прибыл — словно бы по велению всевышнего! — и сам генеральный консул Рёслер. И прибыл он с первым поездом новой ветки Багдадской железной дороги, соединившей Топрак-Кале с городом-портом. Рёслер настойчиво уговаривал юношей благодарить бога за спасение и ни в коем случае не покидать надежный сей приют. Те, кто думают, что их спасет военная эскадра, должно быть, от горя потеряли разум. Во-первых, в северо-восточной части Средиземноморья нет ни одного французского крейсера. Правда, в портах Кипра стоит английский флот, но его задача — охранять Суэцкий канал и египетское побережье, и он никогда не заходит севернее. Да и зачем? Высадить на Сирийское побережье десант не представляется возможным. К тому же спасение беженцев-армян в консульстве — это хотя и похвальный, однако, разумеется, лишь чрезвычайно редкий случай. Подлинную помощь ни он, Рёслер, ни его американский коллега в Алеппо, уважаемый мистер Джексон, оказать не в силах. И в этом генеральный консул с удовлетворением отметил, что всего несколько дней назад Джексону удалось спрятать армянского юношу, который, по его словам, тоже бежал из армянского лагеря на Муса-даге. Весть о том, что Гайку посчастливилось, несказанно обрадовала пловцов. Они поблагодарили Рёслера и Гофмана за добрый совет, однако заявили, что как можно скорей хотят отпра-

виться в свой опасный путь, туда, где их ждут горе и бедствия. На повторные увещания, даже заклинания они отвечали сконфузившись:

— Там, в горах, наши отцы и матери... наши девушки... Нет, мы не можем... Наши в беде, а мы здесь... живые, здоровые... в красивом доме...

С наступлением полнолуния вице-консул Гофман отпустил юных пловцов, разумеется лишь после того, как все уговоры остались безрезультатными. А так как он отлично знал о голоде на Дамладжике, то раздобыл не совсем законно в оттоманской имперской военной комендатуре два мешка с солдатскими сухарями, которыми и снабдил пловцов. Затем он велел запрячь консульское ясли, а пловцов посадил справа и слева от себя. Рядом с кучером в высокой меховой шапке на козлах восседал в парадном мундире кавас\* и медленно, но без усталости размахивал флажком Германской империи. Гордо проехали они мимо поста запятой, строго охранявших в порту все подвезды. Жандармы степенно и смирно\* и отдавали честь предводителю Германской империи и его сомнительным подопечным. Гофман провез их мимо второго поста под Арузом. Здесь пловцы выбрались из ясли и, не стесняясь слез, простились со своим великодушным покровителем.

Отчет пловцов длился более часа, — без конца их прерывали вопросы, да и сами рассказчики перебивали друг друга, увлекаясь подробностями. Рассказ пловцов оказался чрезвычайно для всех благотворен, хотя содержание его и смысл должны были подвешивать угнетающе. Сама мысль ведь потерпела неудачу, надежда на спасение с моря оказалась не чем иным, как фантазией, плодом большого воображения. И все же рассказ юношей был подобен лучу света для людей, плотным кольцом окруживших героев.

Сами они сидели на земле, а их родные примостились совсем близко. Отцы слушали с видом знатоков и как бы говорили: «Молодые! Отлично! Примерно так, а может быть, и чуть умнее и мы вели бы себя». Матери с гордостью оглядывали соседок. А обе возлюбленные, или невесты, нарушая все обычаи, открыто присоединились к семьям. Они трогали лаковинную одежду своих суженых и, конфузливо перешептываясь, старались превзойти одна другую, время от времени выдавая себя каким-нибудь восклицанием. Но все это меркнет по сравнению с тем, как повела себя Шушик. Кто-то привел ее сюда, и она услышала, что Гайк спасен. Сначала это, очевидно, не доходило до ее сознания. Она сидела понурясь, туло уставившись в землю. Со дня смерти Стефана она, верно, и не подымала головы. Она исхудала, могучие руки безвольно свисали вниз. Даже на раздачу пищи ходила не каждый день. Когда кто-нибудь обращался к ней, Шушик отрицательлась. Отвечала еще грубей, чем прежде. А сейчас кто-то шептал за ее массивной спиной:

— Шушик, слушай: жив твой Гайк... Гайк жив...

Прошло довольно много времени, прежде чем до нее дошла мысль этих слов, прежде чем все ее существо прониклось ими. Глаз то на одного, то на другого — сначала как бы исподтишка, а затем и с мольбой, она как бы говорила: не каинте! Но тут один из пловцов завершил начатое, подкинув, как это делают опытные расквачки приключений, вод конец нечто такое, чего на самом-то деле и не было:

— Рёслер и Джексон — они каждый день вместе. Немец мне сам сказал, видел он Гайка, своими глазами видел, жив-здоров наш Гайк...

Эти слова окончательно убеждают Шушик. То ли стои, то ли влох вырывается из ее груди. Свотыкаясь, она делает несколько шагов вперед, и эти шаги как бы выводят ее из пятнадцатилетнего одиночества и приводят в тот круг, который образовался воле дур пловцов и их родственников. Еще шаг — и Шушик падает. Но сразу же поднимается. Могучая, она стоит на коленях. На ее лице, безвестном и лишенном возраста, одно удивление — это взошло солище внезапно все захлестнувшей любви к человеку!

Вечно всех отталкивавшая, всю жизнь пританцовывая от людей эта женщина с мольбой и лаской подняла свои мошние руки в встречу им. И руки эти молили: «Возьмите и меня! И я хочу с вами!»

Нет, тени еще не отпустили ее! И вход еще далеко — круглое пышишко света вдали, точно конец какого-то туниса. И сколько ее бое силе дарит ей ощущение дома, того доброго лабиринта, где не горит все вокруг, нет этого чада, где прохлада окружает ее. Как-то движущиеся плоскости. При некотором усилии она даже разбирается в них. Но ведь она слишком умна, чтобы прилагать какие бы то ни было усилия. Все слова, все отзвуки отскакивают от нее, как в комнате с обитыми стенами... Вот она стоит в телефонной будке в нижнем конце Champré Eliséés, звонит Габриэлу в Армянский клуб в Трокадеро дают новую комедию, ей хочется посмотреть... Но когда эта, такая прохладная и неопределенная жизнь спускается до реальности, Жюльетта начинает бить дрожь и она бежит от нее. Единственное чувство, которому она отдается с упоением, — это обоняние. И оно не только в полном порядке, оно как-то особенно развито. Обонянием она воспринимает целые миры. Миры, которые ее ни в чему не обязывают... Фиолетовые клеверные поля... Ранняя весна на севере, крохотные паласоднички, где разноцветные стеклянные шары отражают всю улицу... Но только не розы, ради бога, никакие розы! Запахи согретой солнцем пыли, бензина... полуденный шум... Она отворяет калитку в дощатом заборе, ведущую в церковь. Исповедаться в который раз или причаститься?.. Следует поспешить, если вообще чем-нибудь еще можно помочь... Но то известное имя

не приходит ей на ум... Разве так уж необходимо исповедоваться в том, чего на самом деле и не было?.. Да и вообще, все это ведь только болельщи... Опять этот ужасный запах миртового кустарника... Только не это, пречестная дева Мария!.. Я же знаю сильное средство против мирта, — надо просто вымыть голову!.. И она уже сидит у Фюшарьера, rue Madame, 12, в тесной влажной кабине, вся в белом, открывший деревенский запах ромашки... крестьянки пришли на восточную мессу... Голова Жюльетты — в облаке ромашковой пены. Но вот волосы уже поредели, торчат, как у костлявой школьницы. Горячий воздух фена обдувает жидкие светлые волосы подростка и делают их жестовенно пышиыми. Чуткие пальцы принимаются за дело. Белая прохлада ложится на лоб, щеки, подбородок. Скоро тебе исполнится тридцать четыре года, и подчас хорошо видно, как поблекла кожа вокруг глаз, рта... Был бы всегда вечер, а вместо солнца — электическая лампа... Ах, если б дано было еще раз полюбить себя! Не жить ради других. Жить только заботой о своем ухоженном теле! При всем неверии восторгается его прелестями, как будто мужчина и не существуют на свете...

Несмотря на затененное сознание, Жюльетта порой случалось внимательно следить за происходящим вокруг... Даже в беспамьтстве она никогда не теряла стыда, опрятности, и сейчас она превосходно понимала, что Майрик Антарам старается ее выличить. Она прекрасно слышала, как жена доктора говорила с Искуи о том, чем, например, кормить больную. При всей приглуженности ее мысли она все же удивлялась, что в прозянтом ящике есть еще шоколад в банке Quaker Oats. Все эти вещи должны были давно кончиться. Стефан, например. Ради Стефана надо было предельно бережливой. Потом... Габриэл, Аванжи, Искуи, Томасины, Кристофор, Мисак, ребенок Осанни и... нет, этого имени она не могла припомнить! Сразу же все смешалось, зажуужало в голове. И считать она совсем не могла, и очень плохо обстояло дело с определенным временем... Что было раньше и что было после, что было только недавно, а что давным-давно... все-все перепуталось...

И если в эти дни возвращения пловцов Жюльетта все явное воспринимала как в тумане и если она столь многое позабыла, то зато все тайное она воспринимала особенно остро.

Она лежала одна. Майрик Антарам, сказав, что часа на два отлучится, ушла в лазарет. Входит Искуи, садится против кровати, на свое обычное место, спрятан, как всегда, свою больную руку под накинутый на плечи платок. И сквозь свои ставшие такими прозрачными веки Жюльетта замечает, что Искуи, уверившая в крепком себе больной, дает волю мыслям и выражению лица. Но Жюльетта знает и больше: Габриэла только что расстался с девушкой, потому-

то она и вошла в палатку... Да, и это знала Жюльетта: Искуи останется до тех пор, пока Габриэл не вернется! И еще Жюльетта поняла, что лицо Искуи, хотя оно и видится только как зыбкое светлое пятнышко, горько упрекает ее. Упрекает за то, что не воспользовалась Жюльетта такой благоприятной возможностью и не умерла... И эта ненавистная, эта хорошенькая тварь права! Ибо как долго еще будет разрешено Жюльетте пребывать в этом междуцарствии, где она ни за что не отвечает? Как долго еще разрешат ей молчать и спать, когда Габриэл сидит рядом... И Жюльетта чувствует этот укор, это порицание, эту вражду словно колючие лучи, исходящие от Искуи. И сидит здесь не просто враг, впившийся в нее глазами и безмолвно проклинаящий ее. Здесь сидит тот самый враг — великая отчужденность во плоти, то неодолимо армянское, чужей жертвой она, Жюльетта, пала! Ведь она думала, что тверда, а азиатская природа податлива, а теперь вся ее твердость растворилась в этой азиатской податливости...

И покинув она, казалось, спала, на нее нахлынуло откровение: как же это? Не она, Жюльетта, значит, имеет первое право на Габриэла? Нет, у Искуи более древнее право, и никто ее не упрекает, если она заберет свое... И Жюльетта содрогнулась от жалости к себе. Разве она не делала для этой азиатки все, чтобы завоевать ее любовь? Она, которая в тысячу раз ее выше! Не она разве одела эту бесполовую, неумелую девушку с ног до головы, украсила своими платьями, учила уходу за руками и лицом? И хоть у нее прелестная маленькая грудь, но кожа какая-то сероватая, темная и рука искалечена, — тут уж сам бог не поможет! Разве может такая понравиться столь изыскательному ценителю, как Габриэл?

Но как же тогда, страшно удивившись, подумала Жюльетта, ведь сколько она себя помнит с тех пор, как вновь пробудилась к жизни, эта ненавистная соперница кормила ее с ложечки, и это не глядя на большую руку... А ведь могла она в эту ложечку подсыпать яд?... Она должна была это сделать, это же ее долг!

Чуть приоткрыл глаза, Жюльетта взглянула на своего врага, и правда! Искуи поднялась, и как она всегда это делала, зажав термос под мышкой, правой рукой отвинчивала крышку-стакан. Потом поставила крышку на туалетный столик, осторожно навалила ее и подошла к больно... Значит, все-таки не напрасно Жюльетта подозревала! Вот она, убийца! Все ближе и ближе! И яд в руках! Жюльетта зажмурилась. Ей даже казалось, что убийца, готовясь к преступлению, тихо напевает своим стекляннным голоском или что-то мурмлет себе под нос. Будто комар жужит.

Она напряженно вслушивается. Вот Искуи наклонилась.  
— Уже пять часов прошло с тех пор, как ты плала, Жюльетта. Чай еще горячий.

Большая открыла глаза. Взгляд подкарауливающий. Но Искуи

ничего не замечает. Поставив стаканчик, она подкладывает Жюльетте подушку, чтобы голова была повыше. И только после этого подносит стакан к губам. Жюльетта выжидает, как бы враг не заполозрил чего! Делает вид, будто действительно хочет пить. И вдруг хорошо рассчитанным ударом выбивает стакан из рук врага. Чай заливал одеяло.

— Уходи! Уходи, я говорю! — хрипит Жюльетта, приподнявшись. Под вечер к кровати подошел Габриэл. Во сто крат увеличилась ее страдания! Скорей бежать, скорей укрыться в родном лабиринте! Но все ходы его, все уголки засыпаны. Все междуцарствие вдруг сосредоточилось на удивительно малой площадке.

Бережно, как всегда, Габриэл берет руку жены. Четкая, точный удар сердца, мысль пронизывает мозг Жюльетты: «Сейчас он заговорит! И я должна его слушать. Должна узнать все. И нельзя будет спрятаться...»

Она пытается дышать глубже и равномерней. Но в то же время сознает, что сейчас ее грезы на грани сна и яви не так уже чисты и оправданны, есть в них что-то нарочитое. Габриэл не говорит ни слова. Проходит некоторое время. Он зажигает свечи на маленьком столике — керосин уже кончился. Габриэл выходит. Жюльетта вздыхает свободно. Но минуты две спустя Габриэл возвращается вновь и кладет ей на одеяло большую фотографию Стефана — тот самый прошлогодний портрет, который обычно стоял на письменном столе и в Париже и в Игониолуке...

«Это не Стефан вовсе, — отмечает про себя Жюльетта, — это что-то другое. Может, это письмо, и мне его надо прочитать, когда я опять буду алорова? Но теперь я уже не могу жить этой жизнью. Плохо мне от нес. Я имею полное право уйти...»

Жюльетта ежится, натягивает одеяло до самых губ. Фотография падает. Портрет смотрит прямо на нее, свесившаяся с кровати. Отражаясь от зеркала, пламя свечи, сверкнув, останавливается на самой середине лица. Вот и конец. Отступать некуда. Это уже Стефан сам, не на картинке. Это вся суть его. Вот он стоит за спиной у изголовья. Еще задыхаясь, он забрался сюда, бросив ребят, Гайка. Или заглянул по дороге на позиции, а то и после какой-нибудь игры — только на минутку, чтобы с отвращением выпить стакан молока.

- Ты меня искала, мама?
- Не сейчас, не сегодня, Стефан, — молит Жюльетта, — не приходи сегодня. Я очень слаба. Приди завтра. Дай мне сегодня еще немного поболеть. Пойди лучше к папе!
- С папой я и так всегда...
- Да, я знаю, Стефан, ты не любишь меня...
- А ты меня?
- Когда ты хороший, люблю. Надень, пожалуйста, синий костюмчик. А то ты совсем как армянин...

Эти слова не нравятся Стефану. Ему вовсе не хочется одеваться как прежде. Его молчание говорит об этом. Но Жюльетта молит все горячей:

— Только не сегодня, Стефан! Приходи завтра утром... пораньше. А эту ночь оставь мне...

— Завтра утром, пораньше?

Но звучит это не как согласие и обещание, а как пустой повтор нетерпеливый вопрос, брошенный на ходу — Стефан уже не здесь, он весь там, среди товарищей.

Почувствовав, что мольба ее утолена, Жюльетта вдруг встретилась. Хрипло окликает:

— Стефан... останься... не убегай... остановись... Стефан!

Майрик Антарам как раз возвращалась из лазарета к Трех шабрам: надо было уложить больную на лачь. За ней — вдова Шушик. С тех пор как она узнала, что Гайк жив, вдовой овладела неудержимая тяга к людям, она стремилась им помочь. И кто же как не Майрик Антарам могла ей быть в этом лучшем наставнице?

Обе женщины увидели ханум шагах в двухстах от палатки: в ночной рубашке, подняв острове колени к подбородку, она сидела у куста. На лбу — кандал пота от пережитого смертельного страха. Широко открытые глаза смотрели вдаль тупым невидящим взглядом.

Звон топоров доносился сюда, к седловине, с северных высот Муса-дага. Турки валили скальный дуб. Что бы это значило? Стрел артиллерийские позиции? Или укрепленный лагерь? Чтобы после очередной атаки не спускаться в долину и не подвергать себя опасности ночного налета?

Разведать горный хребет на севере за седлом отгавляли четыре отличившихся юношей из разведгруппы. Они не вернулись. Огромное плато, простиравшееся от Сандерана до Рас-эль-Ханзира — всего несколько дней назад оно открывало свободный выход! — теперь было намертво перекрыто. Все потрясены. Послали на разведку Сато — непревзойденную шпионку. Чего ее жалеть? Она верулась. Однако толку от нее добиться не было никакой возможности: «много-много тысяч солдат». Понятия Сато о количестве были чрезвычайно распылчаты. Больше или меньше — вот и все. О деятельности этих тысяч она сообщила неопределенно: «катают бревна» или «варят». Само задание, должно быть, не имело для нее никакого интереса, зато для себя она захватила трофей: большую лепешку с хрустящей корочкой. Она крепко прижимала ее к споему плечу тельцу, все еще облаченному в какие-то джиксы, неопсуемые лохмотья того хорошенкого пышного платица, которое теперь почти совсем не прикрывало ее отталкивающую наготу. Лепешка была обрызгана зубками Сато, и не в двух-трех местах, как иногда делают, а в десяти или более, словно это поработала крыса. Не прошло

нескольких минут, как Сато, оставив Нурхана Эллеона и остальных дружинников, распрашивавших ее, убежала невесть куда.

Ни крошки она не отдаст от своего сокровища никому из всей шапки, и меньше всех — Исхун. К «маленькой ханум» Сато теперь отослалась почти так, как учитель Восканин к Жюльетте. Свою прежнюю «Кючук-ханум» она теперь охотней всего тоже обрызгал бы со всех сторон. Ядовитыми зубами! Что касается лепешки, то самой Сато удалось подакормиться только четвертой ее частью — Нурик ведь не обманешь, да и не спрешься с ней. Старуха все ждала и — того хуже — требовала своей доли, даже если не видела тебя! И хотела того Сато или нет, ей пришлось навесить убежище друзей, которое находилось несколько в стороне от большого лагеря. А беседующая старуха уже поджидала ее, стоя на ветру. Ветер трепал ее лохмотья, и она протягивала руки к Сато:

— Давай! Что принесла?

Произошло это на тридцать шестой день Муса-дага и на четвертый день сентября. Рано утром каждой семье была выдана предписанная порция ослиного мяса. И никто не был уверен — не последняя ли это выдача. И тут же все наблюдательные посты сообщили о необычайном оживлении в деревнях да и во всей долине. Причем было замечено не только передвижение солдат и залпиев, но и большого количества любопытных мусульманских крестьян. Причина такого большого стечения народа в долину обнаружилась очень скоро. Когда Самвел Авакян, вооружившись биноклем Багратяна, поднялся на вершину, чтобы самому выяснить, в чем же дело, ему навстречу выбежали наблюдатели — в большинстве своем деревенские жители, они ничего подобного никогда не видели! Какая-то штуковина остановилась на большой дороге между Антакье и Сузандей, перед въездом в деревушку Эдилье. Там эту штуковину поджидал небольшой наряд кавалерии. В бинокль Авакян рассмотрел маленький военный автомобиль, должно быть с риском для жизни преодолевший трисины и ушелье под Ян-эль-Эрабом. Из машины вышли три офицера и сели на приготовленных для них верховых лошадей. Группа сразу же тронулась в путь, свернув на дорогу, проходившую через все деревни. Впереди скакали офицеры, за ними рядовые кавалеристы — не пройдет и нескольких минут, и они достигнут Вакефа. Офицер, скакавший между двумя другими, держался полкрупна впереди. Оба сопровождающих офицера были в обычных меховых шапках, а генерал — в феске защитного цвета. Авакян хорошо разглядел красивые генеральские лампасы. Не задерживаясь группой миновала одну деревню за другой. До Погололука она держалась меньше чем за час. На церковной площади генерала и сопровождавших его лиц ожидали несколько господ. Вне всяких сомнений, среди них был и антиохийский каймакям, который затем вместе с

модиром и остальными чиновниками повел генерала-пашу с его свитой на виллу Багратянон.

Об этом чрезвычайном происшествии немедленно доложила командующему. На свою ответственность Авакия объявил общую тревогу. Габриэл одобрил эту меру. Более того, он усилил ее, приказав не отменять тревогу для всего лагеря, независимо от того, случится что или нет. Однако Авакия высказал убеждение, что турки еще далеко не готовы и ни сегодня ни завтра, да скорее всего и в ближайшие дни ничего не предпримут. Казалось, факты говорили в пользу этого предположения.

Проведя два часа на вилле Багратяна, презвие офицеры сели на лошадей и пустились в обратный путь более скорым аллюром, чем когда ехали из Эдиде. В общей сложности они и полдня не провели в районе военных действий и на своем маленьком таракшем автомобиле убрался в Антакье. Каймакам провожал их до своей резиденции.

В тот же день Габриэл Багратян преодолел боль от гибели сына, обрел былое мужество. Воинственная черта характера, обнаруженная им с вестью о депортации, вновь возобладавала. Правда, последнюю ночь он опять провел на позициях в северном секторе. Но так как женщины — из-за враждебного отношения к площади Трех шатров — нельзя было оставлять без охраны, он освободил Кристофора и Мисака от ночного дежурства, поручив им охранять палатки. К тому же Майрик Антарам привлекла Шушик к уходу за больной, и, таким образом, в ее распоряжении оказалась еще пара рук недюжинной силы.

Час за часом Габриэлу удавалось все успешнее выключать свою внутреннюю жизнь. Боль не оставляла его, но была приглушена, как боль от раны, которая притихла от инъекции. Он снова самозабвенно отдался работе. Теперь он был еще более подтянут, более непреклонен, чем прежде, как будто вдруг воспрянул. Только сейчас он понял, какую неоценимую помощь ему оказывал его адъютант, вернее, начальник его штаба. И впрямь, неутомимый Авакия, это удивительно бездельное «я», ни на минуту не претендовавший на роль руководителя, хотя по знаниям своим и интеллигентности намного превосходил остальных командиров, оказался поистине железным. Гораздо больше благодаря ему, чем Нурхану Эздему, до сих пор соблюдались как полевой устав, так и дисциплинарный. Кое-кто, правда, брюзжал по адресу «неуклюжего книжника» и «очкарика», ибо всюду, где люди носят оружие, берет верх пренебрежение к интеллекту; тем не менее, как только Авакия показывался на позициях, у дружинников возникало какое-то доброжелательное рвение — неоценимое свидетельство доверия к командиру. И происходило это оттого, что адъютант, даже в отсутствие командующего, словно светясь отраженным светом, был на

много выше своего окружения. Смерть Стефана лишила сна и его воспитателя. Авакия искренне страдал: мучило его и чувство вины. Четыре года он провел в доме Багратянов и полюбил Стефана, как младшего брата. Он стискивал зубы, кровь ударила ему в голову, — неужели нельзя было избежать этого? Неужели в тот ужасный день он не почувствовал, что происходит с мальчиком? Никогда себе этого не простит. Никогда? Но ведь это «никогда» означает не более двух-трех дней, а потому и легче все перенести.

Внешне Самвел Авакия ничем не выдавал себя и, встречаясь с Багратяном, не упоминал о Стефане. Но и отец не произносил имени сына. И все же, а быть может, именно поэтому Авакия всю свою энергию, все напряженные до предела силы отдавал служению Габриэлу. В последнее время он составил полный список личного состава дружин. Из этого списка и узнал Багратян, что число активных бойцов сократилось до семисот. Однако брешь, пробитая в их рядах, не означала большой потери боеспособности. Освободившиеся ружья были переданы резерву. Но что дальше? Правда, из-за лесного пожара линия обороны значительно сократилась. Дубовое ущелье представляло собой огромные колосники, усыпанные раскаленными углями. Жар их чувствовался даже в Городе. Как бы то ни было, а самый угрожаемый участок оказался теперь надежно и навсегда защищенным. Но не только наиболее слабое место в обороне Дамладжика было тем самым ликвидировано, — откосы, небольшие возвышения, впадины были усыпаны тлеющими бревнами, ветками, пнями, словно чья-то милосердная рука охраняла армянский лагерь и с этой стороны.

Багратян расформировал ставшие лишними команды и гарнизоны и создал отчет плотную цепь постов, которым и принадлежало прикрывать весь откос горы от неожиданных нападений и набегов турецких разведчиков. Согласно всем предположениям и данным разведки, намерения врага можно было охарактеризовать следующим образом: сосредоточив десятикратное превосходство сил, он нанесет главный удар по северному участку. Эта атака, возможно проводимая при поддержке артиллерии, и должна будет уничтожить сильно потрепанные дружины армян.

Непрерывный звон топоров доносился с турецкой стороны против северного участка. Впрочем, несмотря на эти явные приготовления в северном секторе, у Багратяна хватило предусмотрительности выслать группу разведчиков на Южный участок. Эти смелые парни дошли, правда уже ночью, до самой Суэдии. Они вернулись и донесли, что солдат там очень мало, залпцев в долине Оронта почти не видно. Все войска сосредоточены в семи армянских деревнях. Должно быть, Южный бастион и каменная ламина оставлены в памяти турок, в том числе и их генерала, незгладимый след.



Несмотря на все это, Багратян решил на следующий день произвести Южный бастион.

Вечером он сидит на месте своего ночлега и не сводит глаз с седловины, с рош и передесков, за которыми так недавно исчез Стефан, а он не сумел это предотвратить. Друзьяники все еще стоятся Багратяна. Стоит ему подойти, как они перестают разговаривать между собой, встают, прислушиваются. И все. Никто из них также не упоминает о Стефане. Но может быть, она просто не осмеливаются? Люди как-то странно смотрят на Багратяна — и печально и настороженно. Один Чауш Нурхан не отстает ни на шаг, будто хочет что-то сказать и только выжидает удобного случая. Сейчас он спит крепким заслуженным сном — никто из молодых не может сравниться с этим старым рубакой.

Вот уже двенадцать четыре часа Габриэл не видел ни Искупи, ни Жюльетты. Но так ему легче. Все свизн руется. Нет, не поддается он более приступам слабости! Хладнокровным и свободным должен быть он для последнего боя. Да, несмотря на безмерную скорбь, он чувствует себя и свободным и хладнокровным для этого последнего боя!

Здесь, на этой высоте, сентябрьские вечера были уже довольно прохладны. Да и переменчивый ветер не утих, хотя по временам совсем не ощущался. Где же те изумительные лунные ночи, когда чудовищное, сорокакратное убийство Стефана еще не терзало его сознания? Габриэл не сводит глаз с черной стены напротив. Порой в ветках повизгивает ветерок.

До чего же труслив противник! В такую ночь он мог бы вырыть у седловины целую систему окопов — и никто бы не сумел ему помешать. Но зачем, если есть пушки? Это же сразу все решит. А может быть, не надо ждать, может быть, надо опередить его? Что-нибудь придумать? Габриэлу Багратяну не раз приходили на ум спасительные идеи. Потому-то враг и не сломил мусадатцев до сих пор! Сначала общий план обороны, вся система ее, потом — волевые стрельки. Летучая гвардия, спасший лагерь лесной пожар... Да! Опередить! Но как? Каким образом? Голова пуста, ни одной мысли...

На следующий день Габриэл Багратян, как и задумал накануне, проводил инспекцию Южного бастиона. Но сначала он задержался у своих гаубиц. Стволы были направлены в противоположные стороны — один на северные высоты, другой на Сузлюю. Еще за несколько дней до смерти Стефана Габриэл рассчитал траектории, наметил на карте цели. Возможность задержать врага, помешать его наступлению была, безусловно, реальной. В зарядных ящиках лежали четыре шрапнели и пятнадцать гранат. Гаубами охраняла специальная команда, имелась и прислуга в составе восьми человек — их наскоро подготовил Нурхан Элеон, правда успев обу-

чить только простейшему: сбить с передка расставить сошки! поднести снаряды! оги!

Сопровождали Габриэла Чауш Нурхан, Авакия и несколько командиров участков. Первые впечатления от Южного бастиона ни у кого из всей группы не вызвали тревоги. Саркис Киликия, как только его освободили из-под ареста, многое сделал для усовершенствования штурмового тарана. Мощные щиты были удлинены стреловидными веслами. Сам удар щита захватывал теперь большую площадь стены. Да и щиты были усилены железными листами и скреплены дополнительно. Судя по виду, эти катапульты должны были метать каменные глыбы весом в несколько центнеров до самых развалин Селевкии. Казалось, Киликия ничем другим не интересуется, кроме этой злошей игрушки. Что-то детское было в упрямом рвении, с каким он вновь и вновь трудился над улучшением своей осадной машины. И рвение это находилось в кричащем противоречии со всем обликом дезертира. Багратяну же еще с первой встречи казалось, что в душе этой жертвы чудовищной жизни таится потребный обвалом розник.

Его отношение к Киликию было неясное и напряженное. Что-то от жителя столичного города, эlegantного буржуа, противилось в нем радикальному «ничто», олицетворенному в Киликии. Правда, столкновение у них было только раз, когда дезертир потерпел позорное поражение. Но и у победителя тогда вовсе не было хорошо на душе, да он и поныне не мог преодолеть странной неуверенности, всякий раз охватывавшей его, когда он встречался с этим человеком. То было какой-то слабостью Багратяна, которую не так-то легко было объяснить. Не мог он, например, избавиться от своеобразного уважения к Киликию, ничем не заслуженного — ни его достоинствами, ни особенностями, ни выдающимся успехом. Всякий раз, когда Киликия попадался Габриэлу на глаза, командующий приветливым словом или участливыми расспросами пытался расположить его к себе, но всякий раз эти усилия были до конфуза напрасны. Единственным человеком на Муса-даге, с которым Багратян не мог найти правильного тона, был Саркис Киликия. То он говорил с ним излишне снисходительно, то слишком на равных. А Киликия всегда находил способ отклонить настояния Габриэла. Вот и сейчас он продолжал спокойно лежать на спине, пока командующий расхваливал его катапульты. Такое повеление бойца было не просто наглостью, а грубым нарушением субординации, которое следовало бы немедленно пресечь. Габриэл же просто отвернулся, ища глазами учителя Восканяна. Но этот трус скрылся при одном приближении Багратяна. Не мог же он знать — ни Тер-Айказуи, ни доктор Петрос, ни Шатакия ничего не сообщали ему — о том отвратительном совещании, когда Восканяна наговорил столько ядовитых слов в ад-

рес Багратяна. Впрочем, после исключения его из совета, в голове тщеславного Коротышки царил полнейший хаос. По всей видимости, он намеревался сколотить «партию Восканина». Вот уже несколько дней, как он изливая фонтаны красноречия на ничего не подозревавших людей, которые посещали его здесь, на Южном бастионе. «Идея» же, как он называл это, обретала в его разгоряченному мозгу все более ясные очертания. Сия блистательная идея была почерпнута из одного блистательного же рассуждения мастера Гракора, который много лет тому назад во время одной из философических прогулок рассуждал о самоубийстве, взвешивая «за» и «против» двух положений: «долг жить» и «право умереть». При этом он цитировал никому не известных авторов. Правда, с весьма авторитетными именами.

В Южном бастионе инспекция не обнаружила никаких грубых нарушений. Вся служба велась по примеру дружин, посты были на своих местах, выдвинутое вперед боевое охранение расположилось на самом краю большой осыпи, оружие тоже содержалось в полном порядке. И все же в поведении этой команды, хотя на первый взгляд оно и не вызывало нареканий, было что-то неопределенное, распушенное, опасно подозрительное, что насторожило Чауша Нурхана. Всего здесь числилось одиннадцать дружин, примерно семьдесят дезертиров. И вовсе не все они были сомнительными субъектами. Напротив, большинство из них были люди безобидные, улаврившие от угрозы истязаний, бастонад или принудительных дорожных работ. Но какова бы ни была причина — нищета ли, распушенность, дурной пример, все они в той или иной степени подражали строптивой апатии Килкиана, словно некоему шкарпаню образу жизни, который так нравится мужчинам подобного типа. То было какое-то расхристанное шатание без всякой цели, издевательское подтрунивание друг над другом, нахальное пожевывание, лепивое потягивание, вызывающее гиканье, шканье, свист, — все это ве предвещало ничего хорошего. Нет, это была не боевая часть и не банда настоящих преступников, а какая-то шайка опустившихся упрямых бродяг. Но Габриэл Багратян, очевидно, не придавал этому никакого значения. Вель большинство этих ребят отлично показали себя в бою. И все же обращаться с ними следовало осторожней, чем с дружинниками.

Но разводить костры было уже чересчур! На запад от Южного бастиона, где Дамладжк поворачивает к морю, были набросаны три высоких бруствера для прикрытия флангов. Эти укрепления господствовали над крутой стороной горы, спадавшей покрытыми лесистыми зарослями террасами к Хабасте, они же делали невозможными никакие обходные движения врага. И здесь-то, в пятидесяти шагах ниже этой также защищенной каменной стеной по-

инция на открытом предполье пылал веселый костер — не иначе как радужное приглашение туркам!

Разводить открытый огонь без специального на то разрешения было строго-настроено запрещено. Мало того, что вокруг костра сидела прощелыга-дезертир, тут были еще и две бабенки, очевидно перерочевавшие сюда из Города. И эти женщины преспокойно жарили на длинных вертелках отличную козлятину. Нурхан и сопровождавшие его дружинники в бешенстве бросились на эту компанию. Багратян медленно подходил сзади. Одного из дезертиров Чауш схватил за грязную рубашку и рванул вверх. Это был какой-то длинноволосый, загорелый молодчик с маленькими бегавшими глазками, ничего общего не имевшими с армянскими. Длиннющие фельдфебельские усы Нурхана Эллеона дрожали от гнева.

— Ах вы, шившая банда! Откуда у вас козлятина?

Делая вид, что не знает Чауша, длинноволосый попытался выскользнуть.

— Тебе какое дело? Кто ты такой?

— Вот тебе! Чтобы ты знал, кто я такой!

Ударом кулака он свалил дезертира наземь, да так, что тот чуть не скатился в огонь.

С трудом поднявшись, он заговорил, но в голосе его уже слышалась подобострастные нотки:

— Чего дерешься? Чего я такого сделал? Козу мы ночью в Хабасте взяли.

— В Хабасте? Ах ты паршивец! Из лагеря вы ее увели, трусливая тварь! Люди с голоду погибли, а вы у них последнее отнимаете? Теперь-то нам понятно что к чему...

Длинноволосый, найдя взглядом Багратяна, который до сих пор держался в стороне, предоставив младшему командиру разбираться в этом неприятном деле, жалобно заскулил:

— Эфенди, мы что ж, не люди, что ли? Меньше других голодаем? Работать-то вы нас заставляете, сутками на посту стоим. Хуже, чем в казарме, живем...

Багратян не ответил ему, только знаком приказал своим людям погасить костер и реанинировать мясо. А Чауш Нурхан, пригрозив дезертирам поджаренной козьей ногой, крикнул:

— Вы у меня еще не так поголодаете! Друг друга пожирать будете!

Длинноволосый, сложив крестом руки на груди, подошел к Багратяну:

— Эфенди! Дайте патронов! У нас у каждого по одному магазину. Все у нас отяжело. Мы бы на охоту пошли — зайца или лису добыли. Какие ж это порядки? Людям не дают патронов! Ночью, того глядя, турки придут.

Ничего не ответив, Габриэл отвернулся и зашагал прочь.

По дороге в Город Нурхан Элеон — гнев его еще не остыл — требовал:

— Надо выгнать отсюда человек двадцать самых закоренелых. Очистить гарнизон Южного бастиона!

Но мысли Багратяна были уже далеко, занятые более важными делами.

— Нельзя, — рассеянно ответил он. — Не можем мы своих соплеменников-армии погнать на верную смерть.

— Какие же это соплеменники? Какие они армяне? — Чауш Нурхан брезгливо салюновал.

Габриэл вспомнил физиономию длинноволосого.

— Среди пяти тысяч человек наткнешься и на полцепа. И это всюду так.

Чауш Нурхан с удивлением посмотрел на него:

— Не годится нам спускаться такое...

Багратян остановился, выхватил у Элеона его карабин и с силой ударил прикладом по земле:

— Мы знаем только одно наказание, Чауш Нурхан. Вот это! Все остальное курам на смех. Это же смешно, что Килаякян заперл в каморку рядом с беднягой Григором! Если уж карать бандитов, так всех их перестрелять надо.

— И надо бы... Теперь, эфенди, мы все по-новому распределим... Багратян останавливался.

— Да, Чауш Нурхан. И это сделаю я. И будет это нечто совсем новое...

Он не договорил, ему самому это «новое» еще не было ясно.

Когда на следующее утро — это было уже шестое сентября — женщины пришли к раздаточным столам за мясом для семьи, то получила его — если кости и жиры можно назвать мясом — только несколько кусков. Отчаявшиеся хозяйки набросились на мухтаров, а те, отпрянув, с позеленевшими, как сама нечаястая соевость, лицами, бормотали что-то о распоряджении совета, что лучшие куски розданы бойцам на познаниях, дружинники должны, мол, набраться сил для предстоящего боя. А последних коз совет не разрешил забивать, так как самым маленьким детям нужно молоко, ну а четыре последних вьючных осла понадобятся во время сражения. В ближайшее время придется хозяйкам самим еду добывать. Есть же ягоды арбутуса, желуди, вишние и лесные ягоды, коренья и все такое прочее... Из них можно сварить похлебку, будет чем чернышка заморить... Давая столь неутешительные советы, мухтары старались спрятаться, зайти за стол, боясь, что бабы или чадушатих, или разорвут на куски. Случилось, однако, иное. Понурившись, женщины застали. Лихорадочный огонь в глазах погас, сейчас они выра-

жали такое же оцепенение, как тогда, когда, словно удар грома среди ясного дня, на деревни обрушился приказ о депортации.

Старосты облегченно вздохнули — бояться, значит, нечего. Тогда быстро редела. А собралось здесь несколько сотен женщин — старых и молодых, красивых и безобразных, и все в самом жалком состоянии — исхудалые и опустившиеся. И ту, что была всех статней, — ветерок опрокинул. Все они уже повернулись к раздаточным столам спиной и поледили сле волоча ноги, будто к ногам их, вернее, к битой обуви прилипла вся несчастная земля Дамладжика.

Постепенно толпа женщин растекалась по всему горному плато, между скал крутого морского берега, кое-кто отваживался даже пробраться и на склон, спускавшийся в долину, — ободрать те места, которые пощадил огонь. Маленькие дети вприпрыжку бегали вокруг родителей, то и дело попадая под ноги и мешая работать. Вот если бы, как раньше, можно было захватить за северную седловину, — там то еще было что собрать! А внутри кольца обороны все голо, обглодано и обсеяно, как кость, брошенная бродячей собаке. Некоторые женщины в сотый раз обыскивали ягодники и места, где рос арбутус, стараясь выдрать из зарослей их, что осталось от прошлых набегов; другие взбирались на скалы, где росла андийская смоква, ее крупные мясистые плоды были самой драгоценной добычей. Но разве этим можно было помочь, когда все кричало о муке, о кусочке бараньего сала или сыра! Что бы люди ни глотали сейчас — это хоть на минуту заглушало голод, но только не мысли о хлебе и масле. Кофе и сахар аги Рифаата, от которых всем понемножко досталось, кусочки жилистого, сухого ослонного мяса, полученные в последние дни, сахара, принесенные пловцами, не в счет, их было слишком мало — все это при угрозе полного голода было только лишним поводом для всплеска отчаяния.

Не везло и пастору Араму с рыбной ловлей. Не было подсобного материала. И никак не удавалось соорудить надежный плот, да и сети оказались никуда не годными. Птицеловы тоже не могли похвастать успехом, хотя их орудия лова — макы и накидные сетки — были в полном порядке. Птицы не было! Она еще не покинула своих гнездовий на севере. А перепела, вальдшнепы, дикие голуби на такие детские уловки не попадались. Ну а Нуник, Вартук, Манушак и вся эта кладбищенская братия? Эти-то уж испокон веков жили там, что удавалось подобрать на земле. Там, внизу, в долине, и здесь, наверху, на Дамладжике, вот уже традиция семь дней, как для них и отбросов не находилось. Нуник сжалился над несчастными. Вся ее гильдия ютилась где-то вне, за пределами людского жилья и к своему исключению из общины относилась как к чему-то само собой разумееющемуся. Плакальщицы, нищенки, слепые, ка-

леки, яродивые не должны обитать среди живых людей, в этом законе из них не сомневались, да они и не гневались на соплеменников, которые за свою светлую жизнь расплачивались тяжелым грузом. А плакающими, оплакивающие усопших и защищающие рожденица от злых духов, все равно чувствовали себя людьми нужными, людьми бесспорно ценными. Они же помогали целым поколениям увидеть свет, помогли им и покинуть его. Своими магическими обрядами они в некотором роде владели душеспасительными средствами, к которым на Тер-Айказуни, ни церкви прибегать не дозволялось. Но хлеба и жира даже Нуник не могла наколотовать. И все же она помогала голодающим женщинам тем, что показывала им свои тайники, где сама не раз добывала пишу.

Бесподобно это было зрелище, когда древняя старуха, в столетнем возрасте которой не сомневалась ни одна душа, ловко лазила по скалам. Ее тощие коричневые ноги уверенно искали опоры, словно опытный альпинист она перекидывала свое тело от выступа к выступу и в ковчеж концов исчезала в какой-нибудь расщелине. Лишь три девушки осмелились ползти за Нуник. Остальные только труди давались. Однако и молоденькие, сделав несколько шагов, затряслись от страха так, что мониста занесли. Правда, игра стоила свеч. В расщелине Нуник нашла, а может, и раньше знала о них, гнезда чаек и других морских птиц. Все вместе они набрали несколько корзинок маленьких птичьих яиц и отнесли их в шалаш. Но когда эту добычу разделяли на тысячу семей, то и такая добавка оказалась почти неощутимой добавкой к нулю.

Пока отчаявшиеся женщины рыскали по всей горе, совет upholочечных созвал заседание. Члены его и не подозревали, что в последний раз пришли в правительственный барак. От овра покойного Григора Погонолуцкого их по-прежнему отделяла никем не тронутая стена книг, которую антекярь воздвиг между собой и остальным миром. Казалось, книги тоже ушли в мир иной вслед за своим хозяином, такими окаменелыми они представлялись теперь людям. Но не только книги коснулись смерть — восковое лицо Тер-Айказуна тоже походило на маску, снятую посмертно. Он обвел юбравшихся своим отрешенным, непроницаемым взглядом паствы, пересчитал их. Налицо все, кроме умерших и Гранта Восканяна, который, очевидно, не осмелился нарушить запрет верховного главы народа. Но сидел тут тощей как жердь Асиян, друг Восканяна, давший праг и ненавистник вардавета. Великий молчун вплоть до начала заседания обратившись Асияна со всей свойственной ему проникновенностью, Асиян-де должен отомстить за него, пересорить всех upholочечных, не жалея сил направлять их друг на друга. Регент хора выказал готовность насолить как можно крепче своему старому мучителю в храме и в школе.

Последним на заседание явился доктор Петрос. Из своих стальных кривых ног он, перепаливаясь, подошел к книгам и долго смотрел на пустую койку. И уже только после этого обратился к собравшим:

— Помынем антекяр! Сумасшедший был человек, ей-богу, сумасшедший! Но такого, как Григор, больше не будет...

Уж очень грубо звучало это надгробное слово, но самого оратора оно проняло: внезапно глубоко вздохнув, он умолк.

Тер-Айказун сложил руки для молитвы:

— Прав доктор. Помынем нашего Григора. Не дождался он нашего конца. Да будет господь милостив к его душе.

Остальные тоже молитвенно сложили руки и углубились в себя. Для большинства это был формальный жест. Но Габриэл Багратян низко склонил голову, будто прятал лицо, правда некаженивое мыслью не о Григоре.

После этой краткой минуты поминования Тер-Айказуни сразу же предоставил слово пастору Араму. Заседание это и его неудачный конец были, пожалуй, predetermined напряженными отношениями между пастором Арамом и Багратяном. Пастор так и не собрался вызвать командующего на откровенный разговор. Наедине со своей совестью он находил множество оправданий подобной нерешительности. Вот уж который день проводил он на морском берегу в тщетном ожидании счастливого улова. Наверх поднялся лишь вардак, в основном когда его вызывал Тер-Айказуни, но это было лишь отговоркой для самого себя. К тому же доктор Петрос поручил своей жене, Майрик Антарам, весь уход за большой Жюльеттой, и это оградил Искуни от страшного позора. Да и Багратян теперь снова почивал на северных позициях, и молва гласила, что на площадку Трех шатров он вообще не приходит. Такого рода наблюдениями, число которых можно было бы умножить, пастор лишь слегка успокоил свою душу. На самом-то деле он превосходно отдавал себе отчет в своих чувствах. И все же какая-то непреодолимая робость не позволяла ему говорить с Багратяном. То были мучительные колебания между целомудрием, уважением и отращиванием. Да и как колебания между целомудрием, уважением и отращиванием. Да и как колебания, Арам ведь любил Искуни! И теперь, когда он избегал ее, когда Овсания беспрестанно проклинала его сестру, он любил ее вдвое сильнее. Все вновь и вновь ему слышалась ее слова: «Мне девятнадцать лет, и двадцать мне никогда не будет».

Томасяну не хотелось сейчас обострить конфликт. Он отлично знал, что Искуни готова на все, и на полный разрыв с семьей в том числе. Отцу она так прямо и сказала, когда он закричал ее покинуть площадку Трех шатров. «Зачем же еще и эти муки? — спрашивал себя Томасян. — День проходит за днем, и один из них будет последним». И еще: «Искуни никогда не гнала, и теперь она не гнала, когда говорила: «Между мной и Габриэлом Багратяном

ничего не было». А значит, самый большой грех не совершен. И может быть, господь укажет совсем иной, неожиданный путь, и все изменится». О ниспослании ему этого пути или выхода пастор Арам Товмасян ежедневно молился. Ему казалось, что еще немного, и путь этот откроется ему.

Первая встреча с Багратяном смутила и ожесточила Арама. Ни одного слова сочувствия он не выжал из себя, хотя и не видел Габриэла со дня смерти Стефана. Пусть люди обратят внимание на то, что он даже во время непосредственного разговора с командующим старается не смотреть ему в глаза.

Заседание началось с сообщения Товмасяна: — Все, что мы наметили, исполнено. Мы раздали последнее мясо. Только для дружки тайно припрятали немного. Не более чем на два дня. У женщин и детей — первый день полного поста, если не считать постом предшествующие дни.

Мухтар Товмас Кебусян поднял руку, правда предварительно удостоверившись, что из споривших на прошлом заседании сейчас присутствуют все.

— Я не понимаю, почему дружинникам раздают мясо, а женщин и детей заставляют поститься? Молодым, здоровым парням легче переносить голод.

Багратян тотчас же подал голос:

— Это проще простого, мухтар Кебусян: бойцам нужно сейчас больше сил, чем когда-либо.

Чтобы как-то поддержать командующего, Тер-Айказун решил отвлечь собравшихся:

— Может быть, Габриэл Багратян скажет нам, какова действительная боеспособность дружки?

Указав на Чауша Нурхана, Габриэл сказал:

— Дружинки сейчас не в худшем состоянии, чем перед нашим последним боем. Как это ни удивительно, но это так, Чауш Нурхан может подтвердить. К тому же позиции сейчас лучше укреплены и усилены. Возможности для атаки врага значительно сократились. Реальная угроза только с севера. Да и все подготовительные меры врага доказывают это. Южный бастион они не посмеют тронуть, сколько бы генералов к ним ни приставили. Это несомненно. Правда, гарнизон там составляет желать лучшего. Но я хочу послать туда Чауша Нурхана, надо же там когда-то навести порядок. Наступление врага на северный сектор будет мощнее, чем во всех предыдущих сражениях. Решает вопрос — есть ли у них пушки и сколько их. До сих пор мы этого не разведали. Все это так, если мы не прибегнем к новому средству... но об этом я буду говорить позднее...

Тер-Айказун, который по своему обыкновению слушал близко опустив голову и зябко поежился, неожиданно для себя спросил о самом главном:

— Ну хорошо, а дальше что?

Терзаемый жгучей жаждой скорейшего конца и освобождения, Багратян возвысил голос куда сильнее, чем это требовалось в маленьком помещении:

— Во всем мире сейчас миллионы мужчин, как и мы, в окопах! Как и мы, они ждут боя или уже бьются насмерть, обливаясь кровью. И это единственная мысль, которая успокаивает и утешает меня. Когда я думаю об этом, я равен каждому из этих миллионов, и все здесь тоже. Ибо мы сохраняем честь, человеческое достоинство. Сражались, мы не стали навозом, гниющим на берегах Евфрата. А потому у нас не должно быть иных желаний: драться и только драться!

Подобный героико-патетический взгляд на реальное положение вещей разделяли с Багратяном единицы. Вопрос вардапета «что же дальше?» быстро подхватили все присутствовавшие. Габриэл с удивлением оглядел уполномоченных:

— Что дальше? Я думаю, мы единодушны в этом! Что дальше? Будем надеяться, что ничего!

В эту минуту Асаюну представилась возможность услужить своему другу. Черный учитель ведь заклинал его использовать любой повод, чтобы вызвать недоверие к Габриэлу, а для этого указать на Гогаза Марса, как на предателя, и на таинственный визит старого ага. Реветт скромно откашлялся.

— Эфенди, героическая смерть не совсем бескорыстна. Например, себе я тоже ничего другого не желаю. Не смею судить вашу драгоценную суруру. Возможно, относительно нее вы договорились с турским пашой, тем самым, который недавно навещал вас. Но что будет с вашими женами, сестрами, дочерьми, позвольте вас спросить?

У Багратяна полностью отсутствовало умение быстро и находчиво отвечать на пущенные в него отравленные стрелы, главным образом потому, что обычно проходило некоторое время, прежде чем смысл их доходил до него. Так и сейчас — ничего не понимая, он уставился на Асаюна. Но Тер-Айказун, хорошо знавший Багратяна, энергично поспешил ему на помощь:

— Пешчий, придержи свой язык! Предостерегаю тебя! Но если ты хочешь знать, зачем ага Рифаат Берекет навещал эфенди, я скажу тебе. Габриэл Багратян мог бы давным-давно жить в тиши и мире в доме аги, есть хлеб и плов, ибо турок открыл ему путь к спасению. Но наш друг Габриэл Багратян предпочел хранить нам верность и выхолить свой великий долг до конца.

После этого заявления, которым Тер-Айказун по необходимости нарушил обещание, данное Габриэлу, наступила долгая и, как казалось, тягостная тишина. Ведь, кроме вардапета, об этом знал только

еще доктор Петрос. Они договорились представить народу посещение аги, как чисто дружеский визит.

Тишину никто не нарушил. Однако было бы неверно предположить, что в этом сказало уважение собравшихся к благородному постуку Габриэла. Мухтары, например, так не думали. Каждый из этих прожженных избранных народа спрашивал себя, как бы он сам отнесся к подобному искушению? И кое-кто, наверное, подумал: «Ох и дурак же этот приехавший из Европы вник старого хитрого Автисла!»

Первым нарушил тишину Арам Товмасян.

— Габриэл Багратян, — начал он, так и не глядя на противника, — воспринимает все как человек военный, как офицер. Да и меня самого, в конце концов, янко не упрекает в том, что, когда шло сражение, я стоял в стороне. Но я воспринимаю все не только как военный. Я иначе смотрю на вещи, мы все тут смотрим на вещи не как Багратян, — это уж бесспорно. Но какой тогда смысл истекать кровью в неравном бою только ради того, чтобы в лучшем случае через три дня умереть с голоду? И это еще если нам очень и очень повезет. Чего же мы этим добьемся?

До этой минуты то, что Арам Товмасян теперь назвал бы «выходом», было только смутной, мимоулетной догадкой и не имело реальных черт. Но неодолимое стремление противоречить Багратяну придало некоему замыслу определенные формы добросовестного, тщательно обдуманного решения.

— Тер-Исказун и все мужчины здесь должны согласиться со мной, что на Дамладже нам нечего делать и лучше уж убить всех наших женщины, а потом и себя, чем сидеть и ждть турок или голодной смерти. Потому я и предлагаю покинуть гору — завтра, послезавтра... чем скорей, тем лучше! Каким образом нам это сделать, об этом стоит посоветоваться. Я себе это так представляю: мы пойдем на север не по горам, конечно, да они и так все заняты турками, а вдоль морского берега. Первая наша цель — Рас-эль-Ханзир. Большая бухта там хорошо защищена со всех сторон, и рыбы в тех краях больше, чем у нашего берега, а плот нам там не понадобится — обойдемся одними сетями, можете мне поверить...

Это звучало совсем не так фантастично, как было на самом деле. Речь Арама содержала хотя и неопределенное, но заманчивое предложение, осуществление которого, быть может, позволило бы прорвать смертельное кольцо вокруг Дамладжа. Люди оживились. Застывшие было в одном положении фигуры наклонялись то в одну, то в другую сторону. Один Габриэл хранил спокойствие. Он поднял руку, прося слова:

— Неплохо придумано, пастор Арам. Признаться, и меня посещали подобные мысли. Но все это похоже на прекрасную мечту, а нам надо тщательно проверить, выполнима ли она. Как командую-

щий, я не имею на это право, однако все же рассмотрю сейчас наиболее благоприятный вариант. Предположим, что нам удастся ночью войти мимо турок незамеченными и достигнуть Рас-эль-Ханзира. Я настолько легкомыслен, что пойду дальше: ни заплыв, ни военные не заметят длинную рваную колонну в четыре, а то и пять тысяч человек, движущуюся по освещенному душой берегу — у нас вторая половина месяца. Отлично! Без потерь мы доберемся таким образом до мыса. Его нам предстоит обойти — бухта находится за ним... Не прерывайте меня, пастор, — рельеф берега у меня лес в голове... Скажите ли берега бухты, или там найдется место, где разбить лагерь, не знаю, однако я в этом пойду настречу Товмасяну и предложу самый счастливейший оборот дела: мы находим там достаточно места и турки так слепы, что им потребуются шесть или даже восемь дней, прежде чем они нас обнаружат. Но теперь я задам вам главный вопрос: что мы выиграем? Ответ: мы обменяем известное на неизвестное. Мы погоним изможденных, голодных женщин и детей в действительный поход по камням и скалам — вряд ли им это вообще под силу! Мы покинем обжитый лагерь. Нам надо строить новый, а где сяду! Мы возьмем силы и материал? Это же всем ясно. А так как нет у нас нам взять силы и материал, мы будем вынуждены оставить в Дамладже и вощных ослов, мы будем вынуждены оставить в Дамладже и вощных ослов, и одеяла, всю кухонную утварь и весь инструмент. А без всего этого как нам начинать новую жизнь? Даже если мы поведем в рай, где булки растут прямо на деревьях! Тут уж и сам пастор не может со мной не согласиться. Таким образом, получается, что мы бросаем прочную и надежную крепость, выдержавшую не один штурм и внушившую туркам немалый респект. В итоге мы меняем господствующую высоту на незащищенное место в низине. Врагу потребуется не более получаса, чтобы нас уничтожить. Товмасян! Одно преимущество, правда, у нас будет — там до моря ближе, не надо прыгать со скалы-террасы, как здесь. Под конец должен высказать опасение, что в бухте рыба от нас достанется больше корня, чем нам от нее.

Арам Товмасян без конца прерывал Багратяна резкими репликами. Голос разума, призывающий его не руководствоваться в этот решающий час чувствами, слабел с каждой минутой. Нападая на Багратяна с еле сдерживаемым раздражением, он по-прежнему не смотрел на него.

— Габриэл Багратян имеет привычку весьма самоуверенно защищать свою точку зрения. Может быть, он думает, что у нас нет голода на плечах? Мы, так сказать, жалкие крестьяне и ремесленники и ему не ровня? А он, мол, намного выше нас? Что ж, не будем спорить! Но раз он задал нам так много вопросов, то и я позволю себе задать ему несколько. Он, как офицер, превратил Дамладж в надежную крепость, — это верно. Но какой прок нам от этой крепости да и от всего Дамладжа ныне? Никакого! Напротив, он мешает



нам пойти по последнему пути—пути к спасению. Если у турок хватит ума, они и не пойдут на штурм—через несколько дней они без потерь добьются своего. Дойдет дело до сражения или нет, и в этом вопрос. Но где же тут новая идея, где путь спасения от верной гибели? Конечно, удобней принять смерть здесь, наверху, в такой приличной обстановке. Никаких усилий не понадобится. А я считаю позором подобное примирение, такую жалкую гибель! Но теперь я задам главный вопрос: какие предложения имеются у Габриэля Багратяна относительно того, как нам справиться с голодом? Ведь он только и знает, что издевается над моими усилиями наладить лов рыбы. Вот и все, что до сих пор сделано. А надо было помочь мне, поддержать меня, вместо того чтобы без конца гонять мужиков за учение... Мы бы тогда куда большего добились.

Сохранявший до сих пор внешне спокойствие, пастор вдруг вскочил и со свойственной ему страстностью выкрикнул:

— Тер-Айказун! Я делаю теперь очень важное предложение: надо нам забить песь скот, мясо зажарить и раздать. Завтра ночью, в крайнем случае послезавтра, мы снимемся в уходы. Лагерь разбиваем в одной из скалистых бухт. Там нам обеспечен богатый улов рыбы...

Столь быстро и решительно выдвинутое предложение сбивает тяжелодумов с толку. Мухтары заерзали на скамьях, как мусульмане на молитве. Старик Товмасян, отец Арама, испуганно моргал. А Кебусян утер пот с лысины и горестно молвил:

— Эх, лучше было нам в депортацию... живым или мертвым, все одно лучше было бы...

И тогда Тер-Айказун достал из рукава рясмы смятый листок. Сейчас представляется случай дать ответ не только на стенания Кебусяна, но и зачитать Дамладжак от пастора Арама. Тихо, почти без выражения враздвет прочитал:

«От Арутюна Нохудяна, священника Битнаса, вардапету побережья под Сузидей Тер-Айказуну Погомоулукскому, Мира и долгой жизни тебе, любезный брат мой во Христе Тер-Айказун... и всем любезным моему сердцу землякам на Муса-даге или где бы вы ни были! Надеюсь, что все вы еще там, наверху. Да будет господь милостив и письмо это дойдет до тебя. Я вручил его добросердечному турецкому офицеру. Наша пера по всевышнего подверглась жесточайшему испытанию, и я уверен, господь простил бы нас, если бы мы утратили ее. Покуда я пишу эти строки, бранные останки моей спутницы, доброго ангела моего, лежат рядом со мной, и я не могу предать их земле. Она, как ты, наверное, помнишь, всегда дрожала за мою жизнь и видку слабого моего здоровья никогда не позволяла мне утомлять себя, или выходить без шапки на улицу, или злоупотреблять напитками, в чем я грешил. А теперь все обернулось иначе. Молитва ее была услышана, она раньше меня покинула этот свет,

умерла с голоду, рассталась со мной, нехорошая! Последнее дело — в предассветный час в степи на ветру сняла свой платок, заставила меня повязать им шею. Да накажет меня бог, как Иова. Несчастный я, слабый, большой, задыхаюсь от кашля, но еще жив тысячекратно проклинаю себя. Заступница моя почилла, а я пережить ее не смог. Из паствы моей в Антакье отобрали всех молодых мужиков, и мы ничего не знаем об их судьбе. Остальные все умерли, осталось двадцать семь душ, и я боюсь, что умру последним, это зло, недостойный! В день нам выдают теперь немного хлеба и булья-то, — это потому, что приезжала комиссия, но это только продлит наши мучения. Может быть, сегодня приедут из Иншаат табури, закопают трупы. Тогда и спутницу мою отнимут у меня и еще благодарить заставят. Исписана странница, прощай, Тер-Айказун! Когда еще мы свидимся с тобой?»

Вардапет произнес последние слова сухо, как текст официального сообщения. И все же каждый слог этого письма, подобно часовой гире, тинил головы вша. Слово взял доктор Петрос. Голос его сжимал и сжиретал, как ржавый нож:

— Думаю, что Товмас Кебусян теперь уже не станет мечтать о благойной депортации. Мы прожили здесь тридцать восемь дней, и это была наша жизнь, тяжелая и трудная, но достойная — так я считаю. Жаль, разумеется, что ни у кого из нас не будет возможности с гордостью рассказать о ней впоследствии. Поэтому предлагаю: пусть Тер-Айказун прочтает народу письмо Нохудяна на Алтарной площадке.

Предложение одобрили, ибо в Городе уже давненько стон Кебусяна «уж лучше бы в депортацию» ходил по кругу. Габриэль Багратян все это время безучастно сидел, погруженный в свои мысли. Он же знал содержание письма маленького пастора Нохудяна. А думал он о той враждебности, которую только что так резко выкадумал он о той враждебности, которую только что так резко выкадумал пастор Арам. Габриэль прекрасно сознавал, что причина ее — Исхун. Однако он вовсе не намеревался отвечать Араму в таком же оскорбительном тоне. То, что он хотел предложить сейчас собранию, было так важно, так огромно, что говорить следовало по возможности припритворно и с максимальной мягкостью.

— Я ни в какой мере не думал издеваться над планами и делами пастора Арама. С самого начала я одобрял его план по организации лова рыбы. И если дело это не имело успеха, то виновата в этом не идея сама по себе, а дурное снаряжение. Что же касается плана создания нового лагеря, то я видел свой долг в том, чтобы доказать не только его невыполнимость, но и то, что он ускорит нашу гибель, а потому ее более мучительной. С другой стороны, Арам Товмасян с полным правом задал мне вопрос — что я намерен предпринять против голода. А теперь послушаем внимательно... Теперь я отвечу на все вопросы!



тебя в нерешительности. Ты попустительствуешь — пусть, мол, все идет как идет! Ни с кем не хочешь ссориться. Чудом надо считать, что вопреки, как бы это выразиться, твоей невозмутимости, мы вообще еще живы.

Этот выпад против высшего авторитета — первый и единственный в своем роде, так возмутил вольнодумца Алтуни, что он встал на защиту григорианского вардапета против протестантского пастора.

— Да как ты смеешь его обвинять, мальчишка! — крикнул он. — Этого нам еще не хватало! Ты и не знаешь ничего о нас, о нашей жизни — тебя еще младенцем отец в Мараш отправил. Помалкивай, пока тебя не спрыснут!

Поставленный на место, как глупый недоросль, да и переживая собственную бестактность, Арам верещал, уже не зная никакого удержу:

— Может быть, и верно, что я здесь чужой и не понимаю вас, хотя настоящих чужаков вы очень даже хорошо понимаете! Но я все равно настаиваю на своем предложении. Более того, что касается моей семьи и меня самого, то я оставляю за собой право действовать как найду нужным. Кстати, где это сказано, что все мы до самого конца должны оставаться вместе? Гораздо умнее, по-моему, распустили лагерь. Пусть каждая семья спасается как знает. Такое сплочение людей в одном месте только облегчает дело врагу. Если рассядутся по всему побережью, хоть кто-нибудь да останется жив. Лично я соберу свою семью, всю свою семью, и мы уж найдем выход. Я сказал всю семью, Габриэл Багратян...

Во время многих заседаний совета уполномоченных, порой весьма бурных, Тер-Айказун ни разу не выходил из себя. Даже когда он ровно шесть дней наизусть выставлял Гранта Восканяна из барака, он и это сделал величественно, не теряя самообладания. Так и сейчас он не выказал никакого волнения, когда встал, правда очень бледный, и несколько торжественно обратился к присутствующим:

— Довольно! Наши совещания потеряли всякий смысл! Народ избрал нас своими уполномоченными, и сегодня, на тридцать восьмой день, я объявляю полномочия эти утраченными силой, ибо совет не обладает более ни силой, ни единством для принятия решений. Если такой человек, как пастор Арам Товмасян, ответственный за порядок и дисциплину, сам намерен распустить наше сообщество, то уж ни от кого другого мы не имеем права требовать послушания и подчинения. С этой минуты вступает в силу то положение, которое существовало в деревнях до избрания совета уполномоченных. Как и прежде, мухтары возьмут на себя заботу о своих общинах, а я, как вардапет, руковожу всеми общинами. В качестве такового я требую от Габриэла Багратяна, чтобы он и впредь руководил обороной. В делах командования он независим. Решит ли он произвести вы-

лазку или примет другие меры обороны — это его дело, и никто не вправе вмешиваться. Исполняя свои обязанности как духовный глава, я начинаю торжественный молебен, о часе коего оповещу дополнительно. Я не вправе отвергать никаких путей, которые могут привести к спасению. А пастору Араму Товмасяну после молебствия будет предоставлена возможность повторить и обосновать свое предложение перед всем народом. Народ сам решит, поклясть ли ему гору или по-прежнему довериться храбрости и стойкости наших бойцов и планам нашего командующего. Однако, приняв такое решение, народ примет и другое — всякий, кто словом или делом воспротивится этому приказу, будет на месте расстрелян. Вот так! Есть еще желающие выступить?

— Согласны и еще раз согласны! Наконец-то эта никчемная болтовня кончится! — проворчал доктор Петрос, который давно уже стоял перед выморочным имуществом покойного Григора, валом книг, и с любопытством рассматривал цветные вкладки в томах старого Брокгауза.

Большинство уполномоченных было по душе решение Тер-Айказуна. А кое-кому его диктаторское выступление пришлось весьма кстати: в спокойные и благоприятные времена приятно тешить себя ролью руководителя, но когда ты на краю гибели, то предпочитаешь вырваться в толпу. Таким-то образом мухтары были вновь изведены до роли простых деревенских старост.

Без всяких протестов, тихо и мирно распался совет уполномоченных, утвержденный великим собором в парке виллы Багратянов. Тер-Айказун сделал мудрый ход, но и принес огромную жертву. Руководство народом было очищено от всех ненадежных элементов и возмутителей спокойствия. Но теперь ему в этот последний час предстоит повести свой народ через смерть ко всевышнему, ему одному.

Члены совета молча расходились.

Пастор же Арам Товмасян так и клокотал от ненависти к Тер-Айказуну и к Габриэлу Багратяну, и более чем к обоню — к самому себе. Не отвечая на тревожные вопросы отца, он корбит простился с ним. Страшные дни исхода из Зейтуна исколыхнули сейчас его разгневанную душу. Ведь и тогда он позорно преступил завет, данный ему как пастырю: уже на третий день бросил пастулу, вверенных ему смут. И разве не забвением долга было, когда он брата своего по служению Христу, Арутуна Нохудяна, истинного подьячника, который не дрогнул перед смертью, отпустил одного, старого и больного? С горечью признал Арам Товмасян, что всегда один и тот же соблазн заманивает человека в ловушку. А как гадко, как позорно и нелепо, самонадеянно вел он себя на сегодняшнем испытании! И провалился!

Некоторое время Арам Товмасян бесцельно бродил по Дамладж-ку, но затем спустился по крутой тропе к берегу, чтобы вновь





но и отлавляли новые пули. Очень уж хотелось дезертирам наполнить свои патронташи за счет общих запасов. Ради этого и стоило посетить правительственный барак, но вот когда и как — еще не было решено. При этом надо осмотреться и в Городе, может, и там можно что-нибудь прихватить. Жизнь на суровом Джебель-Акра невозможна без некоторых предметов первой необходимости, а людям на Дамладже они все равно ни к чему — их дни сочтены! Ну а раз дезертирам предстоит пошарить в Городе, то следует присмотреться и к некоторым нелюбимым личностям, к Тер-Айказуну например. Вардапет никогда не скрывал своей ненависти к дезертирам и, творя по патинцам суд, да и при других обстоятельствах, применяя по отношению к ним самые строгие меры. Так, однажды весь гарнизон Южного бастиона был осужден на пять дней поста. Мало того, Тер-Айказун не стеснялся то одного, то другого дезертира подвергать bastonade. Так что свести с ним счеты не помешает. В итоге парад с планом бегства возник и план путча — слово, которое весьма приблизительно характеризует всю затею. Был ли Саркис Киликия замешан в этом преступном деле — уже никогда не установить, так же как нельзя установить, участвовал ли он в покушении на князя Голицына.

Саркис все еще лежал на спине и, казалось, не интересовался ни прозрачными намеками длинноносового, ни учителем Восканяном. Когда бы смертному давно было загнать в душу Киликия, он бы не обнаружил там ничего, кроме *н е т е р я н и я*, нетерпения бегущих по небу облаков над его головой. Под личиной живого мертвеца угадывалась бешеная тоска — как бы вырваться! Вырваться из ового плена и повзвать в другой!

Учитель давно уже поднялся и стоял на своих жалких ножках. Выпятив выпяляющую грудь, он всецело старался показать, что он, воспеваящий самоубийство, не отступит и перед более дерзким святотатством. Однако подлинную отгапу он мог бы сейчас проинтв, ударив от дезертиров, и чем скорее, тем лучше. Но Восканян и не думал бежать. Выпятив губы, он покачивал головой. Киликия и компания вполне могли принять это за знаки восхищения. Мысль о том, чтобы предупредить лагерь, была в мозгу учителя словно птица, залетевшая в клетку. И все время ей противостоял тшессланный страх: Киликия и компания сочтут его трыпкой, а не, как хотелось ему, рубахой-парнем. И тут, помимо его воли, у него вырвалось неопределенное, но в высшей степени предательское замечание:

— На завтра после полудня Тер-Айказун назначил молебев. Дружинники останутся в окопах... — и он лакейски подмигнул дезертирам.

Да, это был не просто отаратительный, надменный шут, это был растерявшийся трус! Одни из приспешников Киликия достойно ответили на самоуничижение Восканяна:

— Чтоб ты не проболтался, учитель, ты сегодня и завтра отсюда ни шагу! — И дезертиры грубо подтолкнули правительственного комиссара, хотя в это не было никакой необходимости, и тот по-кушному засеменил рядом, как добровольный пленник, не помышляя о бегстве.

Однако с него и впрямь не спускали глаз. Он сидел на одном из наблюдательных пунктов и мрачно глядел на узкую полосу дороги, далеко внизу тянувшуюся из Антакье в Суэдию. Пламя ненависти к Габриэлу, Жюльетте и Тер-Айказуну теперь лишь мерцало слабым огоньком в его душе, обьятой страхом. Он страстно мечтал о нападении турок. А они, должно быть, и не намеревались лезть на рожон, в данном случае — на открытый склон горы. На дороге в долине Оронта наблюдалось обычное будничное оживление. Не видно было ни солдат, ни запряженных волов, и не намеревались плести на базар в Суэдию, как будто на Муса-даге не осталось в живых уже ни одного армянина. Внезапно неподалеку от Эандье у подножия горы поднялось облако пыли. Когда оно развеялось, можно было разглядеть маленькую военный автомобиль.

Вот он и настал, сороковой день Муса-дага, восьмой день сентября и третий — неумолимого голода.

Сегодня женщины не отправились на поиски никчемной зелени, из которой они готовили какое-то горькое варево. От прозрачной родниковой воды и то больше пользы. А если адабовок грызть сочной стельбей или очищенный корешок, то и жевать не разучишься.

Все, кто еще мог ходить, разместились у родников и ручейков: старки, кормищие матери, девушки, дети. Странное это было зрелище: изможденные люди, не терзаемые жаждой, вновь и вновь склоняются над водой и пьют из горсти, словно выполняют какую-то обязанность. К тому же — удивительная вещь — после стольких дней без дождя, при таком тысячечеротом потреблении эти источники не всеякли! Люди приползли к ним и черпали жизнь пригоршнями, ловили губами — никто не носил воду домой кувшинами и ведрами.

Не будем отрицать, что голодающие в этот третий день полного поста чувствовали себя лучше, чем в предыдущие дни. Судороги в кишечнике, давление на диафрагму сменялись какой-то бесчувственной легкостью. Растянувшись на земле и глубоко дыша, мусалатни были подобны пористому гипсу, застывающему на воздухе. Другие погружались в блаженную дремоту, и чудилось им, будто кожа их превращается в летучее одеяние и вот-вот они, окрыленные, совершат свой первый дневной полет. Кое-кто, внезапно охваченный каким-то своим первым дневным полетом, принимался рассказывать длинные истории из своей прежней жизни, скучные анекдоты о доме и ремесле, о пчелах и коконах, о дозе и дровах. Рассказчик при этом смеялся громче



всех. На лагерь как бы легла пелена ласковой медлительности: малыши крепко спали, дети постарше не очень шумели и даже подростки из юношеской когорты, которые не несли службы, были пугливо неподвижны.

В тот день до полудня умерли три старика и два грудных младенца. Матери истово прижимали их к своим пустым грудям, а они медленно холодели, пока не окоченели совсем.

Переменный штормовой ветер последних дней в конце концов выбрал себе одно направление: короткими порывами он налетал с юго-востока и несся над лагерем. Впереди себя он гнал тучу медкого песка, но лежавший в котловине Город был хорошо защищен. Порой казалось, что ветер стремится раздуть огромные поля пожара, покрывшие гряды Дамладжа. Все живое мучилось удушаем от убийственной жары. Листва дубов и буков давно засохла. Но и ярко-зеленые, словно кожаны, листочки кустарника и полузонных растений свертывались горсткой и напоминали сморщенный человеческий кулак. Люди в их безболезненном угасании уже не страдали от невогды, они даже не чувствовали, что небо, горькая и язык у них воспалены от укулов мельчайших кристалликов прибрежного песка.

В отличие от жителей лагеря дружинники в окопах обладали еще достаточным запасом воли и сил, хотя их и нельзя было назвать сытыми. Розданного мяса и консервов из дома Багратян оказалось недостаточно, чтобы утолить голод. Но самым странным образом лишения породили у защитников горы одно-единственное, но необычайно страстное желание: скорей бы наступило последнее и решающее сражение!

Габриэл Багратян, целиком отдавшись своему новому плану, мог теперь без волех готовить вылазку. Решение Тер-Айказуна распустить совет позволило ему не думать о том, решится народ покинуть Дамладж или нет. А на своих дружинников он вполне мог положиться. Да, сегодня ночью он нанесет врагу тяжелый удар! Все было тщательным образом подготовлено. Разведка работала отлично. Багратян ничего не упустил из виду: каждый боец знал свое место, каждая минута была учтена и рассчитана. Склонный к теории, Багратян не полагался на случай. Он придумывал все новые и новые варианты, разыгрывал бесконечное число вариантов. Отход главной ударной группы был обеспечен хитроумно расположенными секретами волевых стрелков, которым за три часа до начала налета надлежало занять свои места. Но этого было мало! Габриэл решил в течение всего дня тревожить турок отвлекающими ударами и незаметными огневыми налетами, с тем чтобы противник поднялся из долины как можно больше сил. Неожиданно турки пошли навстречу его тактическим планам. Их поведение заставляло безошибочно предположить, что все решится в ближайшие двадцать четыре часа.

На высотах по ту сторону седловины наблюдалась типичная картина готовящегося наступления в позиционной войне. В просветах между деревьями и кустарниками армяне выдвигали бивалы перебегавших пехотинцев. Они таскали толстые бревна и укладывали их наподобие бруствера. Багратян понял: это не что иное, как мобильное прикрытие, за которым пехота будет накапливаться перед броском.

Багратян и Нурхет обходили передовой окоп — от бояца к бойцу, проверяя правильность установки прицела. Как только на стороне противника показывался зазевавшийся солдат, они давали приказ открыть прицельный огонь. До полудня таким образом было выведено из строя несколько пражеских солдат. В ответ на это с той стороны открывали беспорядочную пальбу, но пули «ожигались» либо за ливней армянских окопов, либо попадали в бруствер. Защитники Муса-дага с гордостью сами убедились, насколько надежно оборудованы позиции, — только артиллерия могла их разрушить. А есть ли она у врага, или нет, так до сих пор установить и не удалось. Странное опьянение от голода было причиной и каких-то злых выходов. Бойцам хотелось во что бы то ни стало выманить турок. Они выскакивали из окопов, плыли на бруствере, выбегали навстречу врагу по наивногованному искусственными препятствиями предполью. Чауш Нурхан и младшие командиры с великим трудом удерживали дружинников от бессмысленного риска. К тому же турки так и не дали себя выманить. Но, должно быть, столь бесстрашное поведение тех, кого им рисовали как ходячих мертвецов, изумило турецких солдат. А когда одна из дружин на свой страх и риск покинула скальное прикрытие, перебрала турецкий патруль и беспрепятственно возвратилась на исходные позиции, согнанные сюда воюки из правительственных войск решили, что не иначе как сам нечистый подсобил проклятой расе.

В полдень к бойцам пришел Тер-Айказун. Габриэл Багратян попросил его прямо здесь, на позициях, отслужить молебен — дружинники ведь не будут присутствовать на большом богослужении. Вардапет так и поступил. Габриэл передал ему также, что участие дружинников во всеародном голосовании наличие: они дали знать через Чауша Нурхана, что всюду и всегда пойдут за своим командующим.

Тер-Айказун с удивлением смотрел на пылавшего жаждой деятельность Габриэла. Всего несколько дней назад Тер-Айказун думал, что душе этой недостает твердости, чтобы вынести ужас мученической смерти сына. Но когда вардапет сейчас возвращался в Город, он уже знал, что душа Багратяна преодолела только самое себя. Да и это, возможно, лишь на те несколько часов, которые будут длиться последнее сражение.

Генерал-майор Али Риза-бей был одним из самых молодых генералов оттоманской армии. Ему не исполнилось еще сорока, а он уже отличился как боевой офицер в Ливии и на Балканах и принадлежал к узкому кругу сотрудников Джемала, однако и внешне и внутренне был полной противоположностью шефа — живописного диктатора Сирии. Представитель самого, так сказать, современного, самого западного офицества, какой вообще мог существовать, сейчас расхаживал в селаманке пиджаки Багратянов, а притихшие офицеры следили за его дружескими шагами. Особенно эта разница бросалась в глаза, если взглянуть на раненого юзбашу, который все еще не снял повязку и в уставной стойке ожидал, когда же молодой генерал обратится к нему. По сравнению с генералом, а юзбаша с его желтыми от табака пальцами, испитым ливном было даже что-то мутное, чтобы не сказать грязное.

С досады Али Риза распахнул окно — закурили офицеры! Сам он не курил, не пил, не любил ни женщин, ни мальчиков, и о нем ходила молва, что из-за слабого желудка он пьет только парным козьим молоком — поистине это был воин-аскет! Тут вошел дежурный юзбаша и передал генералу служебную бумагу. Генерал бросил взгляд на сообщение и, поджав бледные тонкие губы, проговорил:

— Вылазка армия на северном участке стоила нам потерь... Я призыву к ответу командира роты, и основательно... Господи офицерам следует заручить себя... Я обещал его превосходительству, что мы за всю операцию не потеряем ни одного человека! Надо немедленно ликвидировать логово преступников! Любой другой оборот принесет нам необозримый позор. Достаточно позорно уже то, что есть.

Взгляд его остановился на адъютанте:

— Еще нет сведений о батареях?

— Никак нет, — ответил адъютант.

Вот уже два дня, как здесь с нетерпением ожидали прибытия горных орудий, выгруженных в Алеппо. Но так как их переправляли не через Антакье, а через Бейлан и горные перевалы, прибытие их сильно затягивалось. Генерал вынужден был отложить наступление на следующий день. Сейчас он остановился перед одним из младших офицеров.

— Сколько километров телефонного кабеля в ротах?

Поблудней, офицер что-то проямил. Али Риза не стал его слушать.

— Мне это все равно. Ровно за час до захода солнца в этом доме должен быть установлен телефонный аппарат и налажена связь с горой, как с южными, так и с северным участком. Как вы все это устроите — ваше дело. Вы — в ответе. О завтрашнем деле я потребую от юзбаша рапорта по телефону. Можете идти.

Несчастный, не имевший никакого представления о том, сколько катушек телефонного провода имеется в ротах, и решивший, что приказ этот он все равно не выполнит, в отчаянии бросился вниз. Генерал сухо обратился к юзбашам:

— Юзбаша... прошу...

Раненый юзбаша щелкнул каблуками. Оба офицера вышли в пустую приемную. Али Риза посмотрел на перевязанную руку офицера.

— Юзбаша... я даю вам сегодня возможность загладить ваше тяжелое поражение... Но только если вы не понесете потерь. Вы отвечаете мне за каждого раненого. Прошу действовать согласно этим указаниям... Что там с дезертирами? Выяснили?

Юзбаша приподнял раненую руку, как бы давая понять, что он свой долг выполнял сполна.

— Господи генерал! Я сам вчера инспектировал фланговые позиции под Хабастой. Там ни одного человека. Сброд удрал. Это было за час до захода солнца.

— Хорошо. А ваши четыре роты?

— Считаю, что ночное сосредоточение удалось вполне. Не горел ни один фонарь. Из Хабасты за весь день не вышел ни один солдат. Сейчас они залегли под горой. Хорошо скрыты от врага. Там три моих пулемета...

— После операции вечером вы сами подойдете к телефону, юзбаша. Возьмете высоту и остановитесь. Ни шагу дальше.

На этом беседа закончилась, и Али Риза повернулся, чтобы уйти. Голос юзбаша остановил его:

— Никак же прошу, господин генерал, разрешите два слова... Вчера вечером ко мне привели армянина, перешедшего в истинную веру. Адвокат, некто доктор Екмиян... Предлагает себя в качестве парламентаря... чтобы армяне очистили гору добровольно... Может быть, придется пойти на некоторые уступки, зато избежим лишнего кровопролития.

Генерал слушал его довольно спокойно. Но теперь резко оборвал:

— Исключено, юзбаша. Будут говорить, что мы справились с этими армянскими чертами исключительно благодаря предательству армянина. Вы только подумайте, какой вой поднимет вражеская пресса! И это не будет безразлично его высокопревосходительству. Да и пострадает доброе имя Четвертой армии.

В выставленном каменными плитами коридоре раздалась тяжелая шаг, вошел грузный каймакам, за ним — веснучатый мюдир. Каймакам небрежно приложил палец к феске:

— Наконец-то, господа! Ваши батареи, генерал, через три часа будут в Сандерапе. Однако порядочки у вас, почтнее наших... Вид аскетического лица Али Ризы, должно быть, возмутил

тучного, измученного недугами каймакама. Ему захотелось подышать воздухом.

— И, уже выходя, держась за ручку двери, он обернулся.

— Надеюсь, — сказал он высокомерно, — в четвертый раз наша армия не разочарует меня...

В четвертом часу пополудни женщина в большом шатре осталась совсем одна — Кристофор и Мисак охраняли площадку только ночью. Мать Гайка, ядова Шушик, ухаживала за Жюльеттой столь же трогательно, сколь неуклюже. Майрик Антарам вновь ведала лазаретом, сюда забегала лишь изредка, и помощь Шушик была весьма ската. Об Исхуя речь пойдет особо.

Жюльетта была на пути к выздоровлению, хотя и была пока невероятно худа и так слаба, что не могла сделать более одного шага. Цвет лица стал голубовато-белым, а подчас оно было совсем бесцветным, будто после перенесенной страшной болезни ей особенно не хотелось походить на окружающих ее смуглых людей. Она ежедневно уже на час, а то и на два вставала с постели. Уронила голову на руки, она неподвижно села за своим туалетным столиком. Иногда стояла на коленях возле кровати, как это случалось с ней в минуты отчаяния, прижимаясь лицом к маленькой, обшитой кружевами подушечке, как к последнему пристанищу. Но самым тревожным признаком душевного расстройства было, пожалуй, полное отсутствие прежнего желанья быть опрятной и красивой. В палатке стоял раскрытый чемодан с бельем. Но она не подходила к нему, да и не требовала, чтобы ей меняли белье, хотя рубашку, которую на нее надела Майрик Антарам в день кризиса, совсем смеялась. Жюльетта не заметила, как оборвалась бретелька этой тонкой батистовой рубашки, так что виднелась иссохшая грудь. В полном противоречии с ее видениями, она не прикасалась к пузырьку Eau de printemps, где остатки притирания все еще дожидались, чтобы ним оживили иссохшую кожу. Жюльетта не надевала даже домашних туфель, стоявших под кроватью, и босиком, пошатываясь, делала шаг-другой, сколько хватало сил. Глаза ее не выражали ни муки, ни страха, а лишь затасанную готовность дать отпор всякому, кто посмеет вернуть ее к жизни.

Вдова Шушик видела в Жюльетте только мать, которая лишилась рассудка из-за чудовищной смерти сына. Такая судьба грозила и ей, и лишь божественное чудо незаслуженно и непостижимо отвратило несчастье от Шушик. Гайк жил! Более того, жизни его теперь ничто не угрожало — ее сына оберегали мистер Джексон и Америя. Два этих слова обозначали в сердце Шушик некие неземные силы. Джексон — человек уже, а сам архангел с мечом огненным. Это господь одарил ее своей милостью, как ни одну мать на Муса-даре! А жизнь-то ее была полна греха и злобы, недаром святой отец всегда

предостерегал ее. И теперь ее долг дню и ночью служить, и трудиться, и благодарить. Кому же служить, кому возносить благодарность, как не другой матери, той, что проклита? Той, что была богачкой, из благородных, чужачкой. Между нею и Шушик — пропасть! И все же — и это хорошо чувствовала Шушик-великанша — путь от матери спасенной к матери, утраченной сыном, не так уж велик. Смаглая свой голос, за долгие годы молчания словно заржавевший, и стараясь придать ему ласковые нотки, она напевала слова утешения. Все ведь так просто! Такой уж этот мир, а в мире ином спаситель наш Иисус Христос столь мудро все устроил, что все опять будет вместе. И прежде всего матери встретится со своими детьми.

То, что говорила сейчас Шушик, она знала не от Нушик и не от других плаканицы, а от собственной матери, а та усмыслила от одного мудрого вардапета, жившего в монастыре на острове Халтарм, что на озере Ван. Там, на небесах, матери видят своих детей не взрослыми, с какими они расстались на земле, а маленькими, такими, какими они были от двух до пяти лет. На небесах добрым матерям дозволено носить своих малышей в руках...

Счастливая от одного такого ожидания, неотесанная баба подняла руки и принялась баюкать своего маленького невидимого Гайка. А глаза Жюльетты, покамест она слушала это, выражали все большой отпор и постепенно деленели. Думая, что чужачка не понимает ее, Шушик опустила на пол рядом с кроватью и стараясь услужить ханум, трогала ее холодные ноги, жалостливо прижимала их к груди, глядела своими грубыми крестьянскими руками, старалась согреть. Закрыв глаза, Жюльетта откинулась на подушки. Шушик сохреть. Закрыв глаза, Жюльетта откинулась на подушки. Шушик сохреть. И ей минуты не сомневалась, что несчастная ханум помешалась. И ей было понятно ее безумие, она сама была близка к этому, пока наконец спасительная весть не вернула ей рассудок. В своей простоте она не могла заподозрить, что безумие это не было подлимым безумием, а неким защитным валом, сложенным из ужаса, слабости, последствий жара, бегства в мир видений и страха перед правдой, злом, за которым ханум пряталась от знания правды. Впрочем, и доктор Петрос разделял мнение Шушик, считая состояние Жюльетты душевным заблуждением в результате перенесенного тифа. Неожиданное прощесствие утром сорокового дня во время его визита укрепил Алтун в этом мнении.

Старик сидел на краю кровати и на своем лучшем французском языке пытался внести в эту застывшую душу свет и надежду. Все теперь, говорил он, идет к лучшему. Еще несколько недель, и война кончится, настанет мир на земле. Малам, наконец, слышала о посещении агн из Антакье. Этот весьма влиятельный турок довольно прозрачно намекал, что Габриэлу Багратнию и малам будет разрешено возвратиться во Францию, и это в самое ближайшее время. Еще несколько дней, и для двух таких молодых и замечательных людей начнется новая, прекрасная жизнь...

Доброта превратила старого бродягу в чрезвычайно изобретательного рассказчика. Даже его скрипучий голос с присущей ему презрительной интонацией звучал сейчас трогательно и заботливо. И вот в то время как из его уст лилась эта нежная сказка, в проснен палатки показалась фигура Искуи. Жюльетта, слушавшая доктора с приветливо отсутствующим выражением, при появлении Искуи вздрогнула и, испуганно подтянув колени, закричала:

— Нет... нет... не хочу... пусть уйдет!.. Ничего не возьму у нее... Она хочет меня убить!

Удивительнее всего было, что Искуи во время этого приступа безумия не двигалась с места. Лицо ее стало похоже на маску безумия, еще немного — и она закричит. Доктор Петрос в ужасе переводил взгляд с одной женщины на другую. Ему пришли на ум самые страшные предположения. А Жюльетта, когда Искуи и след простыл, долго не могла успокоиться. Ее ослабевшее сердце бешено колотилось.

Что же случилось с Искуи?

Пять дней она не видела Габриэла. Два дня не притрагивалась к еде. Голодала она без всякой необходимости. Ведь Христофор отнес все консервы дружинникам, оставил для женщины несколько плиток шоколада и сухари... Но Искуи хотела голодать, и не только потому, что голодали все. Целых пять дней Искуи не видела Габриэла, а тем временем дважды перед палаткой появился брат Арам. Забывшись в дальний угол, она не открывала ему. И каждый из этих пяти дней тянулся бесконечно долго, часа походив на годы. Почему же Габриэл не шел? Искуи ждала его и днем и ночью, ждала каждую секунду. Но теперь, даже если бы у нее хватило сил, она не побежала бы за любимым на позицию. С каждым часом она убеждалась в этом все больше. Тяжело дыша, она лежала на крохатке в бывшей палатке Томасянова, какой-то гул в ушах, нараставший словно морской прибой, разламывал голову. И все же этот мощный гул не способен был заглушить голос правды. Как умирающей подсчитывает последние мгновения жизни, так Искуи считала минуты, проведенные с Габриэлом. И разве она не была права? Сколько минут жизни осталось им на Дамладике? Разве можно их терять так бесрасудно? Габриэл терял не только безвозвратные минуты, а целые дни их краткой любви...

Искуи беспощадно пересматривала все пережитое. Да, Габриэл был ласков с ней, то есть иногда позволял положить руку на свою обнаженную грудь и плакать вместе с ним. Но он-то плакал по Стефану! А когда он открывал ей свою душу, она выдвела там лишь горе и жалость к исперной жене. Жюльетта ведь его предала, а он же равно так крепко привязан к жувачке. И что с того, что он знал Искуи «сестричкой» и своей «кровинкой»? Слова эти уже не были лас-

кой для нее, они жгли, как рана от ожога. Непрестанно всплывал тоскливый вопрос-ловушка, который она задала Габриэлу еще до смерти Стефана: «Если бы мы встретились с тобой там, в большом мире, ты называл бы меня своей «сестричкой»?» Хорошо еще, что Габриэла была с ним тогда откровенен. Всем своим видом он дал ей понять: ты бедная, простая девочка и не будь этого чудовищного стечения обстоятельств, ты никогда не удостоилась бы даже взгляда моего. Благодарю тебя, маленькая моя сестричка, благодарю своими холодными руками, братскими своими посылками за то, что ты старшейши разделить мою боль. Но разве тебе, бедная армянская девочка из Погнолука, по силам это? Как бы там ни было и вопреки всему я принадлежу чужой, французке. И умру я не с Искуи, а с Жюльеттой. Хотя она и предала меня, перед Жюльеттой я преклонюсь. К Искуи же мне надо наклониться...

Но этих откровений было мало Искуи. Она еще настойчивей допытывалась правды. Габриэл дарил ее только нежным приятным ее служения, не больше. Искуи допытывалась далее. Но будь все иначе, неспирясь Жюльетта с болезнью, чего в глубине души считая раз страстно ждала Искуи, — что тогда? И поняла: нет! Габриэл раз любил бы Искуи еще меньше, чем теперь... Ах, до чего же тонко чувствует все это больная, даже самое сокровенное! Нет, Искуи больше не пойдет в палатку Жюльетты, никогда больше не увидит ее! И все же вина не на Жюльетте, а только на ней, Искуи. Но почему, почему же она недостойна любви? Потому что не европеянка, всего лишь дочь простого армянского плотника, деревенская пейка, всего лишь дочь простого армянского плотника, деревенская девочка из Погнолука. Но разве это может быть главной причиной? Габриэл сам разве европеец? Разве он не из той же армянской де- Лоренн? Вся разница в том, что она провела только два года в Лоренне, а он — двадцать три года в Париже. Нет, не могло это быть главной причиной. Он же называл ее красивой. Но постой-ка! Был ли он когда-нибудь в Париже? Почему он никогда так странно, как будто изда- лека, смотрит на нее? Что-то в ней мешает ему, делает его холо- дыми...

Преодолев слабость, Искуи подошла к маленькому зеркальцу, стоявшему на столике. Но ей незачем было смотреться в зеркало, она и так все поняла. Калека! Родилась здоровой, а превратили в калеку! За полгода после высылки из Зейтуна левая рука совсем высохла. Снимешь повязку — рука висит словно плеть. И как Искуи скрывала свой изъян, Габриэл не мог не замечать его. Это она хорошо знала. Как-то он чуть коснулся губами ее больной руки, но Искуи казалось, что и сейчас чувствует, сколько было жалости в этом поцелуе, сколько самоотвержения!

Искуи снова упала на кровать. Гул в ушах нарастал и теперь поглощал все. Искуи пыталась оправдать отсутствие Габриэла: должно быть, голод на позиции перевернул все вверх дном. Габриэлу

надо вновь организовать всю оборону. Даже здесь слышно, как там стреляют.

Но все эти разумные доводы никак не влияли на нее. Из глубины гула в ушах поднялся такой чужой ее собственный голос. Она вспомнила Chanson d'amour, которую она однажды пела по просьбе Жюльетты там, внизу, на вилле Багратянов. Стефан был тогда в Жюльеттиной комнате, потом зашел и Габриэль. Первые строки той старинной народной песни никак не выходят из головы — с ума можно сойти...

Вышла она из зала,  
Прижимая к своей груди  
Два крупных алмаз граната,  
Два мелких, сочных плода.  
Не взял к этим плодам...

На том песня оборвалась. И сразу же повторился тот ужас, которого давно уже не было! Этот образ, преследовавший ее по дороге в Мараш: бегущие калейдоскопом рожи заросшего щетиной убийцы! И вдруг страшная личина замерла, будто двигавший ее аппарат испортился. Потом кошмарный образ непонятно как стал лицом Габриэля, гораздо более враждебным и злодейским, чем черты злодея.

От ужаса и горя у Искуи перехватило дыхание.

— Арам! — молча молила она.

В ту минуту пастор Арам был как раз недалеко от палатки своей сестры. Он подошел вместе с Овсанией, которая несла на руках несчастное дитя. Но когда Арам грубо потребовал впустить его, никто в палатке не отозвался. Не мешкая, он выхватил нож и перерезал завязки, закрывавшие вход изнутри. Опустив войлочный мешок на землю. Жена с младенцем — почти безжизненным комочком на руках — стояла поодаль. Вид у этих сбитых с толку людей был такой, точно они действительно сей же час намерены покинуть Дамладжк, не дожидаясь, разумеется, ни молебна, ни общего стода. Очевидно, пастор Арам разыскивал Геворка-пласуна, чтобы потом сразу же со своими отправиться в путь... в безопасное никуда.

Если бы пастор Арам был сейчас самин собой — мягким, добрым, любящим христианном, сильным и бодрым братом, каким Искуи помяла его по Зейтуну, — возможно, что она, не долго колеблясь, пошла бы с ним. Да и зачем, собственно, ей оставаться в этой всеми покинутой палатке? Но она понимала, что далеко уйти не может, слишком слаба. Вот она тихо и угаснет здесь, и всему придет конец — и гулу в ушах, и Габриэлю, и ей самой... Но вместо злобного зейтунского брата в палатку ворвался какой-то озверевший человек, к тому же размахивавший палкой:

— Вставай! Собирайся! С нами пойдешь!

Каменными глыбами обрушивались эти слова на Искуи. Оцепе-

нев, она не отрывала глаз от этого чужого Арама. Нет, теперь уже ей не встать, даже если бы она хотела послушаться его приказа.

Товмасян перехватил палку покрепче:

— Не слышишь? Приказываю тебе, вставай и собирайся! Я, твой старший брат, твой духовный отец, приказываю! Поняла? Я вырву тебя из греха!

Пока Арам не произнес слово «грех», Искуи все еще была в оцепенении. Но слово «грех» пробудило в ней сотни источников гневного протеста. Слабость как рукой сняло. Искуи вскочила, спрятавшись за спинкой кровати и, зашнуровавшись, подняла маленький правый кулачок. Но тут в палатку заглянул другой враг — Овсание.

— Оставь ее, брось! Она прощая! Не подходи к ней близко, заразишься! Брось ее! Пойдет она с нами, господь нас еще больше накажет! Да и какой прок? Идем, пастор! Я-то давно поняла, какая она. Это ты все баловал ее. А она еще в зейтунской школе к молодым учителям приставала. Бешеная она до мужиков. Брось ее, Христос-богом прошу! Идем!

От ужаса глаза Искуи сделались еще больше. Она не видела Овсанию с того времени, как заболела Жюльетта, и не могла знать, что перед ней одержима. Молодая пасторша изменилась до неузнаваемости. Давы заслужить милость господню, она принесла жертву — коротко остригла свои прекрасные волосы. Голова ее теперь казалась маленькой, лицо злое, точно у ведьмы. Телом она исхудала, будто сохлась, только живот выпирал — болезненное последствие родов. Неопытисмым жестом обвинительницы Овсание протянула запеленатого младенца золовке и завизжала:

— Гляди! Это ты виновата во всем!

И только теперь из уст Искуи вырвался стон:

— Дева Мария!

Голова ее упала на грудь. Искуи вспомнила, как мучилась Овсание и как она тогда спяной подпирала роженницу... Чего эти сумасшедшие люди хотят от нее? Почему не оставляют ее в покое? В последние часы жизни...

Тем временем пастор Арам выдернул из кармана свои огромные серебряные часы-луковницу и, раскачивая их на цепочке, сказал:

— Даю тебе десять минут. Собирайся! — И, повернувшись к Овсание, добавил: — Придержи язык! Она пойдет с нами. Не оставляю я ее. Перед всевышним я за нее в ответе!

Боясь пошевеливаться, Искуи все еще стояла за кроватью. Арам не выждал названного срока и уже через три минуты вышел из палатки. Часы-луковница раскачивались у него в руке. Снаружи, с площади Трех шатров, доносился странный шум.

Между шейхским шатром и палаткой, в которой лежала Жюльетта, показались десертиры. Бесшумно, как кошки, пробрались

сюда эти двадцать три оборванца. Судя по виду, длинноволосый играл среди них роль вожака, и если эта сомнительная личность у нежданных пришельцев выступала в качестве командира, то Сато — двадцать четвертая в их группе, несомненно была наводчицей. Невинно утирая нос драпным рукавом, она прикидывалась, будто ее скромная особа и не подозревает о цели необъявленного предательства, ничегошеньки не понимает. Что приказано свыше, то они и делают. Впрочем, ни Киланкая, ни его мудрого комиссара не было.

Воцарилась какая-то напряженно коварная атмосфера, которая часто возникает перед тем, как совершиться преступление. В самом поведении дезертиров поначалу не было ничего необыкновенного, разве что некоторые из них прикрепили к ружьям трофейные турецкие штучки. Неподдалеку то и дело проходили строем дружинники, направляясь сменить бойцов в окопах или возвращаясь с позиций. Сегодня, когда с севера все время доносилась стрельба, не было ничего удивительного в появлении вооруженных дезертиров. Но когда пастор Арам вышел из палатки Искуи, они, должно быть, уже приступили к делу. А пастор довольно долго безучастно смотрел на них. В его смятенном мозгу мелькнула мысль: люди эти выполняют какой-то приказ Багратяна. А что ему за дело до всего этого, ему, уже оторвавшемуся от народа?

Вдова Шушик оказалась более догадливой. Встав у входа, она своим огромным телом загородила вход в палатку. Ей-то сразу стало ясно, что значат ужимки Сато и почему она все время указывает на палатку ханум.

Широко расставив ноги и разведя руки, Шушик собственным телом преградила путь злу. Вперед выступил длинноволосый:

— Нас прислали за провиантом. Вы его тут прячете.

— Никакого провианта не знаю...

— Знаешь! Серебряные коробочки с рыбой. В масле плавают.

И кувшины с вином. И овсяные хлопья...

— Ничего я не знаю ни про вино, ни про хлопья. Кто тебя сюда прислал?

— Тебе какое дело? Может, командующий.

— Пусть сам явится, твой командующий!

— А ну, давай отсюда! Последний раз тебе говорю, глупая ты баба! Хватит, нажрались, теперь нам дайте!

Не говоря ни слова, Шушик острым глазом борца следила за каждым движением длинноволосого, который, отбросив свое ружье, высматривал, как бы к ней подступиться. Когда же он снова бросился на нее, Шушик ловким движением перехватила шупленького дезертира за пояс, воддила и кинула навстречу остальным, да так, что он, падая, сбил с ног еще двоих. А она стояла спокойно, дышала ровной, эта великанша, готовая дать отпор следующему. Но смерть наступила матушку Шушик моментально, прежде чем она осознала,

кто умирает. Коварно нанесенный удар приковал провозима ей череп. Умерла она мгновенно, на вершине счастья, ибо даже в эти минуты борьбы ею владело одно радостное чувство: Гайк жив!

Падая, она загородила своим телом путь к менее счастливой матери — матери Стефана, которой не дано было испытать ее счастья. И только сейчас пастор Арам понял, что творится. Громко вскрикнув, он с поднятой палкой бросился на дезертиров. Они же при виде столь открыто совершенного убийства, отпрянули. Тут бы Товмасыну и пустить в ход свой авторитет. Он же священник, один из руководителей. Сказать бы ему два слова, коротко скомандовать, из ружоводителей. Сказать бы ему два слова, коротко скомандовать, послать с земли ружье длинноволосого... А дезертиры ждали, действует ли на остальных авторитет пастора? Но Арам давно уже потерял власть над собой, а потому сделал все наоборот. Размахивая своей смехотворной палкой, он бросился прямо в гущу бандитов. В ответ он получил удар штыком под правую лопатку.

«Что это? — подумал он. — И какое мне дело до этого сброда? Я слуга господен, словом его врачую, ничего более. Пусть эти чужие нам люди сами во всем разбираются...»

Палку он уже выронил, но все еще с сознанием своего духовного величия выпрямился во весь рост, повернулся и прямыми шагами пошел назад. Ага! Вон они, женщины! Решилась Искуи наконец? Почему она вся в белом? Мы опять заживем дружной семьей, как в Зейтуне... Овсянка утихомирится... Почему эта дорога до третьей палатки такая длинная?..

Пастор улыбнулся жене, широко открытыми от ужаса глазами она смотрела куда-то поверх его головы.

Арам устал, не дойдя до нее трех шагов. Кровь его окрасила сухую, пожелтевшую траву.

Рана была не тяжелой, но Арам потерял сознание. Растерянная, беспомощная Овсянка опустилась подле него на колени, не выпуская из рук ребенка.

Увидев кровь, Искуи вскрикнула и бросилась в палатку. Пришедла оттуда чистые тряпки, лоскуты и тоже опустилась на колени подле брата. Вдвоем с Овсянкой они разрезали сюртук Арама. Искуи изо всех сил прижала тряпку к ране. Правая ее рука была вся в крови брата, теперь непоправимо чужого.

Длинноволосый и Сато с кучкой дезертиров, перешагнув через тело Шушик, протиснулись в палатку ханум.

Жюльетта пробудилась от свиного-тяжелого сна, услышала чужие слова, возню за палаткой и подумала: «Это у меня от жара. Слава богу, у меня снова жар!» Даже когда порвались какие-то люди и вонь распространилась в палатке, ее апатия не сменялась страхом. «Если это жар, то я рада. Если это турки, то лучше сейчас — не по мне и не навью».

Но никто и не покушался на ханум. Дезертиры не обратили на



«...»

вее никакого внимания. Их интересовала только гастрономия, — недаром же столько легенд рассказывали о запасах провинции. Первым делом они выволокли из палатки два ковра и весь багаж. Там уже валялись другие вещи — все, что было в шатре: чемоданы, корзины, ящики. Но длинноволосый и Сато задержались у Жюльетты, она — в надежде найти что-нибудь ценное, она — из любопытства и по злобе. Но так как Сато не пришло в голову ничего более ценного, то она вдруг сорвала с Жюльетты одеяло, — пусть-ка мужчины увидят ее голую! Длинноволосый занялся большим черепячьим гребнем и решил взять его себе на память. Подумал, верно, что расческа понадобится для его липких волос. Любуясь этим нежданным трофеем, он вышел из палатки на тронув хануи. А там бандиты уже выпотрошили все чемоданы. Платя и белье Жюльетты тоже валялись всюду разбросанные, — так оно было, когда занятии впадалось в Боговолукский дом. И лаквоее, и атласные, и бронзовые туфельки. Разбросаны были не только платья и посуда, но и все, что с таким трудом было доставлено сюда, на Муса-даг. Однако трофей бандитов был ничтожен: две банки сардин, одна — с консервированным молоком, три плитки шоколада да жестяная коробка с крошками от печенья и бисквитными сухариками. Быть не может, чтобы это было все! Скорей к третьей палатке! Сато опять делает какие-то знаки.

И тут с Алтарной площади донесся звон маленького колокола, — он звал на молебен. Но было это и условным сигналом: приступать ко второму этапу дела, затеянного совместно с главной группой десертиров. Надо было потораться. Бандиты повтакали первое попавшееся под руку: кто ложку, кто нож, тарелку, а кто — графин, кто-то подцепил две дамские туфельки.

Искуи и Овсанне удалось остановить кровь, пастор Арам медленно приходил в себя. Бесконечное удаление изображилось на его лице. Постыж, какого заблудшего человека в нем только что убил, он, разумеется, был не в силах. Но теперь он останется со всеми! Теперь никакое упрество не заставит его вновь совершить величайший грех — отдалиться от народа. Пролита кровь! Она и есть та милость, которая избавила его от непосильного испытания.

Она смотрела на Овсану. Пучками трав она вытирала руки, чтобы не запачкать кровью пеленки младенца. Очень удивило Арама и то, что у него под головой было так много подушек и даже одеяло. Он сидел почти прямо. А Искуи все еще прижимала компресс к его ране. Несказанно впечатление искажало ее осунувшееся лицо. Арам отвернулся.

— Искуи, — сказал он, — Искуи, Искуи, — раз пять или шесть со вздохом: — Искуи!

«...»

Это имя сейчас звучало как нежное «прости».

Понюмарь как безумный бил в маленький колокол, раскочивавшийся на шести рядах с алтарем. Надобности в этом настоячивом трезвоне не было никакой — все старики, женщины, дети давно уже собрались на Алтарной площади. Звон колокола разносился далеко по округ, как будто о наступлении смертного часа христианского народа все страны и моря. В левой руке понюмарь держал каяло и яростно все страны и моря. В правой руке понюмарь держал каяло и яростно все страны и моря. В Дамладдже, где едя для людей совсем не оставил размахивал. На Дамладдже, где едя для людей совсем не оставил, дадена было так много, что его хватало бы на месяц.

Давно уже миновал час назначенного молебна, а юго-восточный ветер все же утихался. Порывы его, словно еретики и грешники, решившие сорвать обряд, доносились по площади, скрадывали звон колокола, ворча цеплялись за лиственные крими шалашей, расшатывали престол, покров которого по случаю молебна был прикреплен особу, лебно прочно. Спасенная из веток высокая четырехметровая стена, установленная за священным престолом, сотрелась, выхрем крустастая сухая листва, порой ветер падал на нее с такой свирепостью, что казалось, она вот-вот рухнет. Перед престолом на верхней ступени были прикреплены слезы и справа две вапки, соединенные шурупом, на котором на кольцах висела завеса, за ней по армянскому обычаю во время жертвоприношения скрывался священник. Тяжелая завеса то и дело хлопала по священному престолу. Пришлось ее подвзвять, чтобы она не смела всю церковную утварь. Несколько ее подвзвятих прихожан внимательно следили за этим, особенно за выскобными серебряными светильниками, в которых горели зашпиленные стеклом свечи. Между порывами ветра выступала вдруг даящая ташина. И тогда с седловыми доносились лямки отдельных выстрелов.

В своем шалаше недалеко от правительственного барака Тер-Айказун давно уже возложил на себя обличение. Снаружи его ждали певчие и ризничий, которые должны были ему прислуживать. Но какое-то глубокое опенение не позволяло ему сойти к алтарю.

«...»

Что же это такое? Сердце, никогда прежде не доставлявшее ему беспокойства, сейчас громко колотилось под ризой. Страхался ли от того неизвестного, что нависло над ним? Сомневался ли в правильности своего решения — призвать народ в час величайшей беды самому решать свою судьбу? А что, если в принадлежковарной слабости оя, пастырь, уклонился от решения и теперь предлгазет несмысленным задачу, с которой им не справиться? Ну что ж, дружинники все были за Габриэла Багратяна, и Тер-Айказун не думал, что пастор Арам Товмасян соберет хотя бы небольшое меньшинство. И все же разве исключена ованность, что сразу же после торжественного молебна о непослания милости божьей, когда станут обсуждать предложеение Товмасяна, в голодной толпе начнутся смятение, раздор и распад?

Быть может, Тер-Айказун ощутил всю сокрушительную тяжесть миссии, которой он был удостоен и которая была его проклятием! Несмотря на знойный ветер, его был озноб. Голова, казалось, делалась все больше, стенки ее все толще, как у воздушного шара, когда его наддувают. Два дня уже он ничего не ел. Сидел он сейчас за ипювке, на которой обычно спал. На коленях лежала раскрытая церковная книга. Все время после полудня он что-то записывал в нее, подводя итог этих сорока дней. Теперь книга жизни и смерти, поскольку это было в его власти, приведена в порядок, все подсчеты произведены. Он выполнил свой долг и может передать эту книгу. Но кому? Тер-Айказун покачал головой. И все же он испытывал глубокое удовлетворение от того, что души усопших и души живых поименно были занесены в книгу и что божественный и человеческий порядок до этого часа был им соблюден. Благодаря тому, что каждая ушедшая в вечность душа была здесь аккуратно записана — даты рождения, смерти, имя и происхождение родителей, — господу будет легче творить милость и души эти не будут бродить неприкаянными, как безымянные псы перед вратами ада. Тер-Айказун твердо верил в святость наречения именем. Ибо в записи имен находила свое продолжение святость таинства крещения. Его пожеланием палили еще раз перелести последние странички книги. Семнадцать детей крестил он на Муса-даге. Им противостояли четыреста тридцать две души, которые он благословил, наступая в мир иной. Число огромное! И все же разве это не чудо, что, невзирая на роты турецких солдат, невзирая на голод, в живых осталось свыше четырех с половиной тысяч человек?! И среди них более семисот хорошо обученных, отважных воинов, готовых вновь отбить атаку превосходящих сил врага. То божественное провидение послало Габриэла Багратяна в Погонюлак!

Свиноголово-тяжелые веки закрыли глаза Тер-Айказуна... Вот уж и нет в живых никого из четырех с половиной тысяч! Он видел себя одиноко стоящим в своих тяжелых ризах среди мертвых. Он ни разу не усомнился в том, что останется последним, как ни чудовищно это было. Сердце, видимо, успокоилось. Но сразу нахлынуло неопишемое ощущение близости смерти. Никогда он не испытывал ничего подобного, даже в самом пылу сражения. Не сознавая зачем, он начертил в церковной книге после последнего умершего толстым красным карандашом большой крест.

Один из двух помощников Тер-Айказуна то и дело заглядывал в шалаш: назначенное время давно миновало, возникла опасность, что народное собрание, которое должно было начаться сразу после молебна, затянется до глубокой ночи. Однако Тер-Айказун никак не мог собраться с духом. Ему казалось, что какая-то мутренняя сила не отпускает его и всячески стремится предотвратить богослужение. У него кружилась голова, приступы слабости были так сильными, что

он боялся упасть. Он был совсем болен, истощен от голода. Может быть, отменить службу? Послать заместителя?

Но вардапет понял: это не слабость, это боязнь не справиться с предстоящей задачей. И что-то еще неясное... Наконец он встал и водал знак. Служка взвалил на плечо большой деревянный крест, с которым он возглавит процессию. Тер-Айказун медленно следовал за певчими и дяконами, сложив на груди руки и опустив глаза. Но этот потупленный взор углубленного в себя духовного пастыря, казалось бы безучастно скользящий по расступавшейся толпе, как по придорожному кустарнику, с обостренной зоркостью следил за всем происходящим. Пройти до алтара надо было не более пятидесяти шагов. Но с каждым шагом душевное состояние толпы проявлялось вардапета, точно болезнетворное излучение.

Летаргия, в которой пребывал весь лагерь с самого утра, сияла дихорачочной светлостью. В этот час человеческая природа, должно быть, мобилизовала какие-то скрытые в ней резервы, а может, только видимость их. Особенно распустились малыши. Но зная никакого удержу, они ревели во все горло, топтали ножками, бросались наземь. Вероятно, их раздутые животы терзали годовые колики. А матери сердито трели и колотили их — ничего другого не оставалось.

Детский визг и брань взрослых все нарастали, и вполне можно было ожидать, что они будут все время мешать богослужению и не дадут молящимся сосредоточиться для молитвы. Но не только дети — и взрослые вели себя крайне беспокойно. Были среди них и старики из тех самых «мелких собственников», они громко переговаривались и не замолкли, даже когда мимо них шествовал вардапет. «Духовный распад шагает в ногу с голодом, — подумал Тер-Айказун. — Хорошо, что дружинников нет; вокуда они держатся, не все потеряно...» Мысль эта несколько успокоила его. Он поднял голову и застыл. Что это? Откуда взялись эти вооруженные люди? Они же нарушили его и Габриэла Багратяна особое распоряжение! Правда, их немного — одиночки и небольшие группки. Кто же снял этих людей с позиций и прислал сюда?

Толпа была очень пестрой — женщины нарядились в свои праздничные одежки, всюду виднелись разноцветные платки, полбескивали монаста. Должно быть, многим хотелось как-то принарядиться к торжественному богослужению. И в этой толпе вооруженные люди терялись. Однако в следующее же мгновение Тер-Айказун убедился, что на сей раз это были вовсе не отличившиеся в бою дружинники с близлежащих секторов обороны, а дезертиры с далекого Южного баствона, те безродные и отправленные в самый дальний край люди, которые не значились в церковной книге и, к счастью, редко бывали

в лагере, а уж на молебне — никогда. Не стали же они все варуд набезжими?

Тер-Айказун чуть повернул голову вправо, и в поле его зрения попал правительственный барак. Где же охрана? Ах да! Багратян всех — и даже часть резерва — отправил в окопы... «Вернись, — мелькнуло у него, — под каким-нибудь предлогом уйди отсюда! Перенеси молебен. Пошли за Багратяном. Позови мухтаров! Сделай все, чтобы обеспечить безопасность!»

Но несмотря на все эти разумные мысли, он шел дальше, правда неуверенно, маленькими шажками. Вблизи алтаря тесными рядами стояли старые, почтенные семейства: мухтары с женами и дочерьми, убежденные седины старцы — все в том же порядке, что и в церквах армянской долины. Членов совета почти не было видно. Доктор Петрос не мог отлучиться из лазарета, потому и не пришел; впрочем, свое волюводство он никогда на людях не выказывал. Тихоно Тер-Айказун искал глазами пастора Арама. Учитель Шатахян, как командир вестовых, тоже остался на позициях северного сектора. А Габриэл Багратян хоть и обещал прийти вовремя, но, видимо, непредвиденные обстоятельства его задержали. Когда деревенские старейшины расступились, чтобы открылся проход для процессии, Тер-Айказун получил еще одно предостережение: между Саркисом Киликяном и незнакомым десертником стоял, зажатый с обеих сторон, будто арестованный, Грант Восканян. Коротышка с черным, заросшим до самых глаз лицом, строил немые, сальные гримасы, отчаянно подмигивал священнику и хватал ртом воздух, будто рыба, выброшенная на сушу. И снова Тер-Айказун подумал: «Надо остановиться и напрямик спросить изгнанного: «Что случилось? Что ты хочешь мне сказать, учитель Восканян?»

Но Тер-Айказун прошел мимо не поднимая глаз, влекомый какой-то силой. А может, бессильем, впервые на Дамладжане поразившим его волю.

Уже ступив на первую ступень алтаря, он заметил, что забыл письмо Нохудяна у себя в шалаше. И это расстроило его превыше всякой меры, ибо он хотел после благословения прочесть письмо битнаских земляков и тем самым противодействовать помыслам о бегстве. Забытый листок и дурные приметы так потрясли его, что ему показалось, будто произошло необыкновенно много времени, пока он поднялся на вторую ступень. Должно быть, изряд за его спиной чуть подметил и рассеянность и бессилье вальдета — детский крик, суэта и назойливые разговоры становились все разнузданней. И в этих-то опустошенных душах нужно было пробудить внутреннее горение, дабы благодать господя сплосила на них!

Измученный Тер-Айказун обернулся. И в эту минуту, задыхаясь,

прибежал Габриэл Багратян и встал в первый ряд. На несколько секунд Тер-Айказуну стало легче. Хор певчих за его спиной запел гимн. Ему дана была передышка. Он закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Глухо звучали на площади голоса:

Ты, кто длани Творца простираешь до звезд,  
Придай силы нашим рукам,  
Дабы, протянутые, они достигли тебя!  
Вещном глазом своей утешай наш дух,  
Облеки чувства наши в орудья,  
В Азреново цветистое одеяние золоткиное,  
Подобно всем ангелам, воинству великолепному,  
Ты покрой нас ковроном божественной любви.  
Приобща к служению таинству священному...

Хор умолк. Тер-Айказун видел перед собой маленькую серебряную умышальную чашу, которую держал ризничий. Он опустил пальцы в воду и так долго не вынимал их, что ризничий, удивленно посмотрев на него, отнял чашу. И только тогда Тер-Айказун повернулся вполборота к востку и трижды осенил ее крестом. Затем, вновь повернувшись к престолу, он возвел руки горе, и в этот миг душа Тер-Айказуна как бы разделилась на две половины. Одна была священником, служившим эту необыкновенную литургию и не пропускаявшим ни одного антифона певчих. Другая половина состояла как бы из нескольких слов — это был смертельно усталый воин, которому нужно было обладать сверхъестественной силой, дабы священник мог выволнить свой долг. Сначала эта вторая часть души Тер-Айказуна вела борьбу с собственным телом. Но после каждого слова богослужения тело Тер-Айказуна кричало ему: «Хватит! Умолкни! Неужели ты не чувствуешь, что у меня уже нет ни капли крови в мозгу? Еще одна-две минуты, и я тебя опозорю — рухну на алтарь». С собственным телом воин легко бы справился. Но за алтарем скрывались куда более коварные враги. Один из них — фокусник, этот прямо на глазах у священника преобразовал всю церковную утварь: большие свестильники стали торчащими вверх штыками, из красиво напечатанных строк служебника высказывали имена усопших, значившиеся в церковной книге, и повсюду грозно вырастал огромный красный крест...

Когда время от времени свиста влетал порыв ветра, со стенок за алтарем осматривались дивта, подскакивая и подпрыгивая носилась листочки и без всякого стеснения укладывались в дарохранительницу и на Евангелие с золотым крестом на переплете. Повсюду валялись

эти пожухлые коричневые листья — по одному и кучками. Тер-Айказуи, совершая литургию, голосом, совсем будто отделившись от него, запел псалом:

«Суди меня, господи, по правде моей и по непорочности моей во мне!»

Дьякон отвечал вполголоса речитативом:

«Спаси меня от плоти неправедной, от греховного, коварного мужа!»

«Зачем ты забыл меня? Зачем печальный хожу я, когда враг мой мучает меня?»

Ибо хочу я подойти к престолу господнему, к господу, радуящему юность мою».

И в то время как Тер-Айказуи, ни разу не сбившись, довел до конца антифонное пение, глазам другого Тер-Айказуна представилось нечто непереносимое: опавшие листья, всюду валявшиеся, были вовсе не листья, а гниль, навоз, какое-то неопишуемое дерьмо, брошенное врагами господи, преступниками, на святой престол. Другого объяснения не было — с неба же не упадет грязь!

Тер-Айказуи вперил взор в служебник — только бы не видеть чудовищного осквернения святыни! Но разве народ не видел? И Тер-Айказуи впервые запнулся. Дьякон вел:

«Яви нам, господи, милость твою и спасение твое даруй нам».

Теперь должен был вступить священник. Тер-Айказуи молчал. Дьякон изумленно повернулся к певчим. Но так как голоса Тер-Айказуна все еще не было слышно, дьякон, шагнув к нему, решительно зашептал:

«В доме святости...»

Священник, казалось, не слышал. Дьякон в отчаянии повторил:

«В доме святости и в месте...»

Тер-Айказуи точно пробудился:

«В доме святости и в месте хваления пения, в жилище ангелов, в этом месте прощения человека мы падаем ниц перед господом в приятстве и светозарном знаменнии почитания и молим о...»

Он тяжело дышал, пот градом катился из-под митры по лбу и щеке, но он не смел его вытирать. За спиной раздавался тиусавый голос регента Асаия:

«Перед этим священным жертвенником храма собрались мы на службу».

Голос самонадеянного и тщеславного Асаия сейчас раздражал священника как никогда прежде. «Неужели я не могу избавиться от этого человека?» — думал он. И тут же почувствовал, что давление в висках немного ослабло. «Может, выдержу я все-таки. Спаситель, поддержи меня!»

Расширенными от страха глазами смотрел Тер-Айказуи на распятие, венчавшее алтарь. Голос одного из Тер-Айказунов предостерегал его: «Не поднимай головы!» Но как раз это предостережение заставило его вскинуть глаза на высокую стену, сплетенную из буковых веток, что высилась за священным престолом... Там же стоит кто-то! Стоит, прислонившись к раме, скрестил руки, в зубах сигарета... Неслыханная наглость! Но Тер-Айказуи подавил восклицание. Еще раз посмотрел туда же. Но этот Кто-то уже не был Саркисом Килкиняном, который вызывал такое отвращение. Ведь Айказуи велел его связать!

Потом этот Кто-то становился никем. И тогда стена высилась пустая. Но снова возникал Саркис и превращался во всевозможных людей, однажды даже обратился Григором, а под конец там, у стены, стоял знакомый священник в облачении.

Поняв, что Тер-Айказуи даже показалось смешным, что этот священнослужитель был он сам. Да и не был он им, не было на нем этой барашковой шапки, на нем же митра, шитая золотом.

«Хвала и слава богу-отцу, богу-сыну и святому духу...»

Дальше он не договорил. Между человеком и стеной звучал его собственный голос, он вшивался в него вопросом:

— Чего ты паясничаеть среди ясного дня? К чему затея мольбствие?..

Тер-Айказуи стал глазами искать говорившего в воспарившем облачке ладана. Но ни Кто-то, ни голос не отпускали его:

— Какой же сатана этот бог, что уготовил благочестивому своему армянскому народу сей страшный год!..

Согласно обряду, Тер-Айказуи запел вечернее песнопение: «Святой боже, святость твоя вечна, да смилуешься ты над нами. Спаси нас от искушения и всех его стрел».

И ответ пришел теперь не от Саркиса Килкиняна, а от него самого, от Тер-Айказуна:

— Ты не веришь, не веришь ты в чудо! Ты же знаешь, что завтра на землю Дамаладжа лягут четыре с половиной тысячи трупов!

Дьякон передал кадильцу Тер-Айказуи, чтобы тот в согласии с чашном осыял народ благовоением. Нестерпимая жажда мучила Тер-Айказуна. У стены уже не было никого. Но голос звучал совсем близко:

— Ты хочешь убить меня. Убей, если достанет мужества.

Кадильница выскользнула из рук пастыря и со звоном покатила по земле. В эту секунду возник совсем новый Тер-Айказуи. С диким криком он схватил тяжелый светильник и стал размахивать им над головой. Но бросился он не на поиски своего врага, не на призрака у стены из веток и листьев, а к людям, к пастве своей...

Не будь этой голодной галлюцинации, не случись этого с Тер-Айказуном, дело скорее всего не дошло бы до бунта. Ведь и дезертиры с Южного бастиона в большинстве своем были верующими армянами, исполненными трепета и почтения к священному месту. Однако длинноволосый собрал свое войско, готовое в любую минуту напасть, поблизости от правительственного барака. И когда началось суматоха у алтаря, он еще не сигналом. Десять его бандитов стали падать в воздух, чтобы усилить смутнение. Другие ломали дверь в правительственном бараке и через несколько минут, завладев щикомками с патронами, выволокли их наружу. Впрочем, то, что произошло перед ступенями алтаря, произошло с такой фантастической быстротой, что ни мухтары, ни Габриэла Багратян не успели осознать случившееся. Поразительнее всего была фантастичность происшедшего, а не быстрота. Все длилось не более двух минут. Правда, эти две минуты промчались где-то по неведомому отголосному пути истинного времени.

При виде размахивавшего светильником вардлапта толпа разбежалась. Габриэл заметил, как священник устремился к группе дезертиров. Но он так и не понял, кто позвал этих бродяг на литургию и большой сход. Казалось, Тер-Айказун ищет кого-то определенного. Но уже в следующее мгновение его зажали со всех сторон вооруженные бандиты. Они вырвали у него светильник и, громко крича, принялись его толкать, покамест не сбили с ног. Позади толпы затрещали выстрелы. Люди, обезумев от страха, бросались врассыпную. Мухтары и их жены звали на помощь.

Багратян с револьвером в руке протискивался к Тер-Айказуну. За ним — дезертир. Замахнувшись, он со всего маху ударил командующего прикладом по голове. Габриэл рухнул наземь. Если бы не уверял пробковый шлем, Багратянцу пришел бы конец. А так — шлем съехал вниз, защитил голову от смертельного удара. Багратянка даже не равнило, но, падая, он потерял сознание.

Другие дезертиры привязали Тер-Айказуна к угловой стойке алтаря крепкими пеньковыми веревками. Священник сопротивлялся молча, но с удивительной силой. Был бы у него с собой нож, который он обычно носил в будничной расе, то по меньшей мере один из преступников заплатил бы жизнью. В отдалении сгудились дрожание мухтары, истощенные от голода старики, которые Тер-Айказуну, разумеется, ничем уже помочь не могли. У них не было сил даже отстоять самих себя. Жены и дочери, визжа и ругаясь, пытались оттащить их в сторону. Толпа все еще не понимала, что происходит. Доведенная до безумия, она шарканулась к алтарю. Но в это время передние ряды хлынули назад, и все сместалось в какой-то невероятный клубок человеческих тел. Истощенные крики, визг, стрель-

ба... И вот уже несколько совсем проващих парней, многие месяцы не видевших женщин, подобно стервятникам бросились в свалку, хватая женщин, девушек. И прямо тут же срывали с них одежды, украшения. Другая группа, выказавшая большую трезвость, рванулась к шалашам и стала грабить беднейших из бедных. Все это было столь чудовищно, что душа человеческая не способна была бы подобно вынести, если не принять эту безмерную подлость за припадок бешенства, за конвульсии тела народа, которому расовый враг перерезал каждый нерв в отдельности. Новое слабое утешение можно было усмотреть лишь в том, что не вся дезертирская братия активно участвовала в этой гнусности — многие, и тиковых было большинство, являлись просто зрителями, зеваками, статистами.

Тем временем появились и первые признаки сопротивления. Кое-кто из лагеря, у кого еще не все силы иссякли, стал обрабатывать зажатого в сторонке дезертира. Другие быстро их обезоруживали, шмыряли наземь, давили ногами. Несколько решительных мусадатгев пробилась вперед, исполненные желанием освободить Тер-Айказуна. Еще две-три минуты, и могло бы произойти кровавое побоище, которое преступники учинили бы среди напиравшего на них народа, — они готовы были вот-вот открыть огонь. Но обезумевшая судьба еще раз превзошла самое себя. Как это часто случалось в последние дни, ветер резко переменял направление и вихрем понесся по площади. Алтарь уже никто не охранял, и ветер опрокинул два деревянных светильника и горшок с цветами, все это покатилося по святому престолу. Тер-Айказун молча рвался из своих вут, время от времени затихая и собираясь с силами. При каждом его рыжке столб, к которому он был привязан, содрогался. Глаза его, залитые кровью, искали ризничего, девчич, Асяяна... но все они исчезли или просто не осмеливались приблизиться к связанному — ведь его стерегли несколько дезертиров, должно быть ради того, чтобы похитители патронов могли беспрепятственно убраться во-своеси.

В этой группе у алтаря был и Саркис Киликия. Он с интересом следил за попытками Тер-Айказуна вырваться, как будто сам ни к кому и ни к чему не был причастен, а смотрит так, из чистого любопытства... Несколько позднее он покинула площадь. Весь его скучающий вид, небрежная походка говорили: «С меня хватит. Да и пора». Но как только он удалился, произошло невероятное. И только потому, что его исчезновение так непосредственно совпало с тем, что случилось, Тер-Айказун впоследствии заподозрил в поджоге Киликия. На самом деле Киликия прошел мимо алтаря и даже не задел ливневую стену, стоящую в трех шагах позади.

Поначалу в переплетении веток что-то потрескивало весьма

безошибочно и не тревожно. Но пламя, вдруг взмывшее вверх, поднялось в два-три раза выше самой стены. Ветер с моря согнул его тут же и повернул вправо. Легкокрылые языки его и маленькие вымпелы оторвались и запылали по крыше ближайшего барака. Это оказалось великолепное обиталище Томаса Кебусина, на котором все еще красовалась вывеска «Общинный дом». Однако здесь огонь словно бы еще стеснялся, едва лишь его еще мучили угрызения совести. Но минуто спустя, словно лишь крытая хворостом крыша вслед за резким хлопком ярко вспыхнула, огонь уже не знал удержу. Будто на бульваре большого города, сверкнув, зажигается сразу длинная вереница фонарей, так и здесь пламя помчалось вокруг площади, почти одновременно вспыхивая на всех шалашах. Возможно, что бандиты подожгли шалаша сразу в нескольких местах, чтобы удержать народ от преследования. Но вот яркий сполох поднялся над правительственным бараком. Очевидно было теперь только одно: в самом начале пожара злонамеренный набег десертиров залох, его участники, судя по всему, убралась из Города.

Как только стена за алтарем внезапно вспыхнула, толпа рассыпалась, будто взорвавшаяся граната. Никого уже не интересовали ни сами преступники, ни связанный варапет, ни, вероятно убитый, Багратян. С каким-то совсем необычным, странным криком, похожим на жалобное ржание, люди бросились к шалашам. Все пропало! Спасите пожар нечем. Да и некому заклинающим утормозить огонь. Спасайте кто что может спасти! Самое необходимое. Может быть, инструмент, какую-нибудь памятную вещь — все, все, что с таким трудом притащили сюда из долины, дабы оно сопутствовало тебе до самого гроба. И так влезла в людей, даже в этот страшный час, инстинкт жизни и собственности, что не нашлось ни одного человека, который не был бы подвластен ему. И никто ни разу не подумал: зачем стараться? Кому от этого легче, есть у меня какое-нибудь барахло или нет? Лучше сидеть тихо и смотреть на огонь.

Что до мухтаров и деревенских богачей, тех стариков, которых страх словно пригвоздил к месту, когда надо было помочь Тер-Айказуну, — теперь в них вдруг проснулось прутье. Как же? Как же? Мои деньги горят! Такие глиняные футонные бумажки, спрятанные в углах шалашей, под матрацами, — они ведь ждут не дождутся своего спасителя! Деньги есть деньги, эти добытые тяжким трудом священные деньги. Хоть и трудно предположить, что они когда-нибудь вондадутся здесь, на горе...

Подпрыгивая, чуть ли не бегом старинки с женами и детьми спешили к шалашам. Кебусин со всем своим семейством давно уже отважно сторожил горевший «Общинный дом». А как же Тер-Айказун? Да уж кто-нибудь, наверное, освободил его...

Еще одна бешеная попытка, и Тер-Айказун сдался. Грубые веревки через шелк ризы натерли руки, грудь. Холодный пот струился по спине.

Извиваясь и крутясь, горящие ветки одна за другой падали на священный престол. Кое-где он уже начал гореть. Языки пламени доставали привязанного. Волосы на голове и бороде в некоторых местах подпалились. Вдруг вспыхнула занеса, но тут же оборвался шнур, и она мощным костром продолжала гореть на ступенях. Что ж, пусть горит!

Площадь опустела. Где-то вдали слышны крики. Люди суетятся возле шалашей. Нет, не позовет он на помощь! Священнику, привязанному мученическую смерть, привязанному к алтарю, прощение всех грехов, безусловно, обеспечено. Слова мимо Тер-Айказуна выстрелом скользнул огненный язык. Лучше бы турки убили его! А так — сныи Армении, собственный народ. Псы! Бешеные псы! И в этии словами из уст Тер-Айказуна вырвался такой нечеловеческий вопль, что ему показалось, голова вот-вот расколется. С диким ревом он как можно шире расставил ноги и, как тягловая лошадь на подъеме вытягивает постромки, изо всех сил натянул веревки.

Возле шалашей продолжали кричать отчаявшиеся люди. Но когда до них донесся вопль Тер-Айказуна «псы! псы!», то одурманенные спасением собственности мусадатги опомнились и побежали к алтарю освобождать варапета. Но еще до того, как первый крестьянин подошел к нему, расшатанный столб поддался, помост рухнул, и яркое пламя взмыло вверх. Священник упал рядом. Подбежавшие люди водхватили его, перерезали веревки. Тер-Айказун встал, сделала два-три шага и опустился наземь.

А возле лежавшего в глубоком обмороке Габриэла Багратяна хлопотали какие-то старики и старухи. Подоспел доктор Петрос. Даже не проверив еще пульс, он понял, что Габриэл жив. Со стоном доктор сел позади командующего и положил его голову себе на колени. Осторожно снял пробковый шлем, который ударом приклада был глубоко надвинут. Габриэл очнулся. «Как от глубокого сна», — подумал он. Ведь все это разыгралось в невероятно короткий промежуток времени, так сказать во времени и вне времени. Лишь постепенно Габриэл начал ощущать тяжесть в голове. Доктор провел рукой по лбу, волосам — крови нет. Только большая шишка. Но может быть, удар вызвал внутреннее повреждение, может, дошла мозговой сосуд? Доктор Петрос ласково позвал Габриэла. Тот удивленно оглядел все вокруг и улыбнулся. Нет, он ничего не понимал. Горели шалаша, полыхало огромное пламя над правительственным бараком. Что ж, там было чему гореть — библиотека Григоря! Люди вокруг плачут, куда-то бегут, водоча за собой одеяла, простыни. Деревенские певчие и священники, все в облачении, бросились к



рухнувшему алтарю, надеясь спасти церковную утварь, Евангелие, книги. А Габриэл все лежал на коленях старого доктора, где ему не раз приходилось сидеть ребенком! И какое-то очень грустное чувство завладело им. Но что это? В нескольких шагах лежит Тер-Айказуи, и общинный писарь подает ему кружку с водой. Грудь вардапета обнажена, пожилая женщина обкладывает ее мокрыми тряпками. Габриэл с великим удивлением посмотрел на доктора:

— Что случилось?

Доктор Петрос усмехнулся:

— Кабы я это знал, сын мой...

И старик ласково приложил свои коричневые, сморщенные ладони к щекам Габриэла.

— С тобой, в этом я глубоко уверен, ничего не случилось.

Габриэл Багратян вскопил. Очень медленно, как бы нехотя, возвращалось воспоминание о происшедшем. Словно все еще в тяжелом дурмане, он спросил:

— Что с вылазкой?.. Мы предприняли ее?.. Иисус Христос... Южный бастион... Теперь все погибло...

Тер-Айказуи тоже приподнялся. И голос его звучал как будто из глубины сознания:

— Теперь уже нет...

Габриэл не услышал его. Гул и треск огня заглушали все. Шаг за шагом, от шалаша к шалашу продвигался пожар. Занялись и деревья, близко стоявшие к Городу. На Алтарной площади собралось все больше семей со спасенным скарбом. Они словно бы ожидали приказа: куда? как? Несколько женщин приволокли сюда швейные машины—подальше от огня! И все они глазами искали командующего. А его не было. И Тер-Айказуи, и Габриэл Багратян все еще не пришли в себя. Петрос в счет не шел. Не видно было ни одного учителя, ни одного мухтара — они тоже были заняты спасением своего имущества. Но в этот критический час помощь пришла с северного седла. Только когда поймешь, что все произошло в промежутке между тем, как упал Тер-Айказуи, и моментом, когда прибыл Авакия с шестью дружинами, то есть когда все уже было кончено, — только тогда станет ясно, с какой невероятной быстротой сменялись события. Услышав пальбу дезертиров, Чауш Нурхан немедленно прислал дружинников. Адъютант бросился к своему командующему:

— Вы ранены, господин Багратян?.. Иисус Христос, на кого вы похожи!.. Скажите хоть слово.

Но Багратян молчал. Быстрыми шагами он покинул площадь, миновал пылавший алтарь, пересек весь Город и уже бегом поднимался на пригорок. За ним бежал Авакия. Напряженно, весь устремившись

вперед, Габриэл вслушивался, стараясь что-нибудь разобрать в этом гуле пожара.

Какой-то прерывистый треск на юге... Похоже на пулеметную очередь... Вот снова... Может, это обман слуха?..

Громко стучала кровь в голове.

## Глава шестая

### ПИСЬМЕНА В ТУМАНЕ

Молодой офицер все же не ударил лицом в грязь: он проложил телефонный провод, конечно не до самого дома Багратянов (столько провода, вероятно, и во всей Четвертой Армии не нашлось бы), а вверх от Хабасты до позиций примерно в четырехстах футах ниже Южного бастиона. При тех трудностях, которые представляли скалистый горный рельеф и далеко не удовлетворительная выучка солдат, это было немалым достижением.

Генерал Али Риза-бей сразу после полудня переделал в штатское платье — необходимо было скрыть свое присутствие от наблюдателей мусадатгев — и самолично отправился в Хабасту. Солнце уже скрылось за горными вершинами, когда неуклюжий аппарат, стоявший перед ним на столике, вдруг зажужжал. Однако прежде чем он услышал слабый голос юзбаша на другом конце провода, прошло довольно много времени — следовало ведь решить несколько технических проблем. Но зато уже после того, как все было исправлено, голос юзбаша зазвучал громко и четко, и, несмотря на все технические погрешности, можно было расслышать в нем нотки гордого самодовольства:

— Господин генерал! Честь имею доложить — гора в наших руках.

Али Риза-бей с чистым лицом человека неспящего и некурящего, прижимая трубку к уху, откинулся на спинку складного стула.

— Какая гора, юзбаша? Вы имеете в виду ее южные высоты?

— Так точно, эфенди, южные высоты.

— Благодарю. Каковы потери?

— Потерь нет. Ни одного человека!

— Сколько пленных, юзбаша?

Снова какая-то техническая помеха. Генерал строго посмотрел

на офицера-связиста. Но вот в трубке, правда с перебойми, вновь послышался голос юзбаши:

— Пленных нет. Окопы неприятеля были пусты. Но мы на это и рассчитывали. Почти пусты. Человек десять, четверо из них мальчишка.

— И что с этими людьми?

— Мои ребята прикончили их на месте...

— Оказывали сопротивление?

— ...сопротивления не оказывали...

— Это значительно уменьшает ваш успех, юзбаши. Пленные облегчили бы нашу задачу.

Даже в аляповатой трубке полевого телефона можно было услышать раздражение в голосе юзбаши:

— Я солдатам такого приказа не отдавал.

Бесстрастный холодок в голосе генерала не изменился:

— А где дезертиры?

— Обнаружено только их тряпье, никаких других следов.

— Есть еще сообщения, юзбаши?

— Армяне подожгли лагерь. Далеко видно.

— А это как вы расцениваете, юзбаши? Какие могут быть причины?

Голос в трубке звучал злобно-мстительно:

— Не мне судить. Господни генерал лучше определяет причины.

Может быть, весь сброд уходит с горы... возможно, уже этой ночью...

Прежде чем сформулировать свое мнение, Али Риза-бей устремил вдалек взгляд своих бледно-голубых глаз.

— Может быть... но не исключено, что это какая-нибудь ловушка.

Их вожаки не разводили наших офицеров за нос... Может быть, они задумали вылазку...

После этих слов он обратился к присутствующим:

— Этой ночью усилить посты в долине...

Голос юзбаши звучал теперь требовательно и нетерпеливо:

— Нижайше прошу, господин генерал, отдать дальнейшие распоряжения.

— Как далеко продвинулись ваши роты?

— Третья рота и два пулеметных расчета окопались на ближайшей высоте, примерно в пятистах шагах от моего командного пункта.

— Здесь, внизу, слышны были пулеметные очереди. Что это значит?

— Небольшая демонстрация...

— Демонстрация в высшей степени излишняя и вредная... Войска остаются на позициях. Занять оборону на захваченных рубежах!

Голос на другом конце провода звучал уже коварно:  
— Войскам оставаться на позициях. Прошу письменно подтвердить приказ, эфенди... А завтра?

— За полчаса до восхода солнца на северном участке артиллерия начнет пристрелочный огонь. Сверьте ваши часы с моими, юзбаши... вот так... Сразу после восхода солнца поднимусь к вам и возьму командование на себя. Наступаем с юга. Все.

Там, наверху, юзбаши, скрежеща зубами, шмякнул трубку.

— К шапочному разбору прибыл этот генерал от козьего молока. А потом объявит себя победителем Муса-дага!

Габриэл Багратян молча вернулся на Алтарию площадь. Весь недолгий путь он судорожно сжимал руку Авакяна. Огонь уже полился над самыми дальними шалашинами. Солнце зашло совсем недавно. Но несмотря на огонь, бушевавший вокруг, сплетенная из веток стена все еще горела; внутри у Габриэла парил мрак. Какие-то иррационные и в то же время жалкие фигуры кружились в бессмысленной пляске, какие-то жалкие и в то же время иррационные голоса разносились по площади. Весы его жизни дрогнули. Разве не вправду он еще раз, и уже навсегда, ринуться в страну неведенин? Стефана нет в живых. Зачем же тогда начинать все сначала? И все же с каждой секундой его голова — этот болезненный сосуд! — наполнялась новыми и новыми и такими энергичными соображениями.

Тер-Айказун немного отдышался и встал. Прежде всего он аккуратно сложил разорванный стихарь, спитрахиль и все остальные предметы священнической службы. Наготу свою он прикрыл одеялом, которое кто-то ему дал. В бороде выжжен кусок, красный рубец от ожога пересекал щеку. Лицо его изменилось до неузнаваемости. Желтоватые впадины щеки, некогда имевшие цвет камней, горят лихорадочной краской гнева. Увидев Габриэла, он долго не мог вымолвить ни слова.

Тем временем, спохватившись, прибежали и мухтары. Удалось ли им спасти свои туго набитые кошельки, осталось, правда, неизвестно. Во всяком случае, все они во главе с Томасом Кебусяном решительно отрицали это. Даже в этот час, последний час перед неминуемой гибелью, мухтары голосили по утраченному добру. Постепенно к ним присоединилось все больше стариков, и общий плач усилился.

Народ уже отказался от борьбы с огнем. Сид доставало только на bestолковую суету, мало-помалу замирающую. Дружинники, присланные Чаушем Нурханом, ничего уже не могли спасти. Опустив руки, они смотрели на огонь, а огонь не облизывая шалаши снаружи, а вырывался изнутри, словно только и ждал возможности вырваться.

Потрескивавшие крыши пучились от внутреннего жара, ветер разносил какие-то ошметки горелого тряпья.

Прошло немного времени, и на большой площади уже сидели лежали впопалку женщины и дети, старики и старухи. Измученные голодом, люди уже не могли двигаться. На землястых лицах прыгали отсветы пламени, а запахи глаза словно бы уже и не воспринимали его. Всем своим видом они говорили: да не посмеет никто вождей потребовать от нас даже самого малого движения, да шаг одного, мы никуда отсюда не двинемся до самого конца! Должно быть, уже было достигнуто то состояние, которое можно назвать блаженством гибели.

Однако иссохшие тела и души еще раз были вырваны из этого благословенного согласия со смертью.

Дух Багратяна вновь обрел мощь. И произошло это почти против его воли. Сначала он даже пытался уйти от болезненного напряжения, которое вызывала такая предельная концентрация. А потом ему стало казаться, что в громявшей каменоломне его черепа говорит не он, Габриэл Багратян, а, независимо от него, — его долг, тот долг, который он взял на себя еще там, внизу, в долине, — держать оборону до последней возможности! И в то время как сознание своего собственного «я» почти полностью угасло, какая-то бескорыстная сила в нем говорила: «Разве последняя возможность уже исчерпана? Нет! Вероятно, турки заняли Южный бастион. У них пулеметы. Наш лагерь в огне. Чему же быть? Быть новой обороной! Любой ценой преградить путь врагу. А пока отправить весь народ на берег моря. Самому — скорее к гаубицам!»

Подождал Авакян. Багратян накинулся на него:

— Что вы здесь делаете? Немедленно к Нурхану! Чтобы из с места! Все дружины, которые я определил для участия в вылазке, сейчас же ко мне! Половина всех вестовых и разведчиков тоже. Надо без промедления создать новую линию обороны. И пусть окажутся, хотя бы на глубину штыка!

Авакян замешкался, хотел что-то спросить, но Габриэл оттолкнул его и повернулся к площади.

— Братья и сестры, не отчаивайтесь! Для этого нет оснований! У нас семсот отважных бойцов! У нас ружья! У нас две пушки! Вы можете быть спокойны! Но для обороны лучше, чтобы еще этой же ночью все спустились вниз, на берег. А резерв весь останется здесь, наверху!

Теперь и мухтары оживились. Тер-Айказун отдал им приказ собрать каждому свою общину и по крутой тропе организованно спуститься к берегу моря. Сам он пойдет впереди и выберет место для лагеря. Вардагет была лихорадка, должно быть, ему стоило огромных усилий вновь вернуться к исполнению долга. Лицо его с

обожженной бородой совсем почернело и как-то уменьшилось. Он обернулся к Габриэлу:

— Самое важное сейчас — наказать! Ты должен убить виновных, Багратян!

Габриэл молча смотрел на него и думал: «Киликяна мне сейчас не найти».

Смертельно измученные люди понемногу стали подниматься. Началась толкотня. Мухтары, деревенские священники, учителя собирали свои общины. А люди безропотно позволяли согнать себя. Доктор Петрос тайком удалился, решив спасти хотя бы тех больных, которые еще могли двигаться. Великая беда придала этому человеку развалины невиданные силы.

Ликвидацию лагеря Багратян предоставил Тер-Айказуну. Нельзя было терять ни минуты — никто не знал, как далеко в ночной темноте могли продвигаться турки. Они могли захватить и гаубицы, да и дезертирский сброд неизвестно что еще мог выкинуть...

Вперед! Не время анализировать и взвешивать! Действовать смело и решительно!

Габриэл собрал всех мужчин — и вооруженных и полувооруженных, и молодых и старых. Даже подростки должны были идти с ним.

Ветер утих. Острый дым прижимал людей к земле. В воздухе стояла вонь от горевших тряпок. Дышать было трудно, глаза слезились. Габриэл отдал приказ:

— Вперед!

Он и объявившийся тем временем Шатахян шагали впереди нового широкого фронта стрелков. За ними плелись усталые люди, всего его пятьдесят человек, из них треть — шестидесятилетние старики. И эта жалкая, едва державшаяся на ногах кучка людей должна была разгромить и отбросить четыре роты полного состава с пулеметами, коням командовали один майор, четыре капитана, восемь старших лейтенантов и шестнадцать лейтенантов? Хорошо еще, что Багратяну не были известны силы противника. Но голова его, казалось, все равно он не мог бы поступить иначе. Голова его, казалось, делалась все больше, все чувствительней к боли. А ноги, напротив, утрачивали всякую чувствительность. Порой ему представлялось, что он шагает рядом с самим собой.

По пути к высотке, на которой стояли гаубицы, они должны были проходить мимо погоста. Кладбищенский люд по старой привычке хранил свое добро у мертвых. Сейчас Нушак, Варгук и Манушак и все братья, собрав имущество, вваливали туго набитые старым мешки на спину. Сато помогала им. Нельзя сказать, чтобы переживание сильно встревожило этот народ. Две последние могилы были аптекаря Григора и сына Багратяна. Могила Григора, согласно его

последней воле, не была обозначена. На могильном холмике Стефан торчал грубо сколоченный деревянный крест. Отец прошел рядом с могилкой, даже не взглянув в ту сторону.

Была уже глубокая ночь, но ответ от пожара, словно красный свод, нависал над Дамладжком. Можно было подумать, что горит большой город, а не несколько десятков шалашей да несколько деревьев.

На полпути, там, где начинался подъем на проросшую травой высоту, на которой стояли гаубицы, случилось нечто вовсе неожиданное. Габриэл и Шагатах остановились. Плетившие за ними люди бросились наземь. С высоты, размахивая ружьями, бегом спускались цевочка каких-то фигур. Различить можно было только силуэты. Казалось, они подавали подходящим какие-то знаки. Турки? Большинство в этой темени бросилось искать хоть какое-нибудь прикрытие. Но резко выдвигавшиеся из фона зар-ша тени нерешительно приближались. Человек тридцать с фонарями. Габриэл различил: вперемешку они толкали связанного. Он сделал несколько шагов навстречу. Шагатах в пяти от себя он узнал в связанном Саркиса Киликяна.

Очевидно, это была какая-то отколовшаяся кучка дезертиров. Они бросились перед Багратяном на колени, они бились лбом о землю. Древняя поза покаяния и самоуничтожения. Что еще говорить? Как оправдываться? Все пути им были отрезаны. А ведь веревка, которыми связан Киликян, — неплохое доказательство, что они раскаиваются в чудовищности содеянного: вот, мол, они привели с собой козла отпущения и готовы принять любое наказание. Кто-то из этих дезертиров с какой-то почти детской поспешностью сваливал награбленное к ногам Багратяна. Среди украденных вещей можно было увидеть и магазины с патронами, и все, что было извлечено из Трех шатров. Но Габриэл видел только Киликяна.

Сами дезертиры заставили встать Киликяна на колени. Он откинул голову. В зыбком свете пожараща можно было хорошо различить черты его лица. Спокойные глаза так же мало выражали желание жить, как и желание умереть. Они следили за своим судьей безо всякого волнения. Багратян наклонился к этому чудовищно молчаливому лицу. И даже сейчас он не мог подавить в себе какую-то симпатию, смешанную с долей уважения, которую всегда испытывал, видя Киликяна.

А что, этот Киликян, этот призрак-зритель действительно был во всем виноват? Все равно! Не вынимая револьвера из кармана, Габриэл снял его с предохранителя. И вдруг резким движением поднес его ко лбу дезертира. Осечка! А Киликян даже не закрывал глаза. Только дрогнули губы и ноздри. Это было похоже на подавленную улыбку. Багратяну показалось — этот выстрел-осечку он направил

в самого себя. Когда он второй раз нажал курок, то почувствовала такую слабость, что вынужден был отвернуться.

Так умер Саркис Киликян. Он прожил непостижимую жизнь меж поремных стен. Еще малым ребенком он спасся от турецкой резни в от турецкого зала, а, став мужчиной, погиб от руки соплеменника.

Габриэл махнул дезертирам — идите, мол, за мной.

Двое из раскаявшихся дезертиров навязались разведать расположение турецких войск. В своем намерении они усугубили и без того горькую правду. Быть может, жалкое состояние этого отряда, к тому же ожидавшего кары, заставило преувеличить факты: возможно, они, преувеличивая вражеские силы, пытались уменьшить собственную вину. Да и как же несколькими десятками дезертиров устоять перед хитрым обходным маневром турецких регулярных войск?

Габриэл Багратян смотрел куда-то мимо разведчиков и так и не сказал ни слова. Он-то понимал, что большая доля вины лежит на нем самом. Это он пренебрег предостережениями и не произвел перегруппировку преступного гарнизона...

Самвел Авакян со своей ударной группой дружинников давно уже присоединился к Багратяну. Прошел примераю час, и через высоту и все иссеченные расщелинами плато до самого леса и вплоть до скал растаялись две неплотные линии дружинников — одна в тылок другой. Если даже молодые бойцы с северного сектора выдохлись, что же тут говорить о стариках резерва. Они валились, как гнилые бревна, там, где им приказано было залечь, — не засыпая и не бодрствуя. Приказ набросать из земли и камней нечто вроде бруствера, чтобы хотя бы прикрыть голову, почти никто не выполнил. А Габриэл, после того как обошел всю линию от бойца к бойцу и установил перед этим безнадежно длинным фронтом редкую цепь передовых постов, отправился к гаубицам. Весь рельеф Дамладжа, да и все расстояние и все ориентиры он держал в голове. Потому-то он и мог в своем блокпое сразу же отметить все прицельные данные для Южного бастиона.

После знойного, как в пустыне, дня наступила первая осенняя ночь, а с лею и неожиданный холод. Габриэл сидел один у орудий, прислугу которых он отправил спать. Авакян раздобыл ему одеяло, но он не закутался в него — все тело горело, казалось, вот-вот отлетит голова, уж очень она была легкой. Габриэл вытянулся и лежал не бодрствуя и не засыпая. Глаза его были устремлены в красное небо. Ответ пожара делался все шире, все глубже. В голове стучал

назойливый вопрос: как давно горит алтарь? Какое-то время он, должно быть, не осознавал себя, ибо вдруг что-то поблизости разбудило его. Впрочем, в самом мгновении пробуждения — сказочно бесконечном мгновении! — было так много узнавания, так много материнской благодати, что он и не желал полного пробуждения. А единение пробуждающегося с тем, кто находился рядом, было так велико, что появление реальной Искуи даже разочаровало его, ибо оно принесло с собой осознание неизбежности. При виде Искуи он прежде всего подумал о Жюльетте. Целую вечность он не видел жены, да и не думал о ней. Первый его тревожный вопрос был:

— А Жюльетта? Что с Жюльеттой?

Собрав последние силы, Искуи еле добрела сюда. Все происшедшее разворачивалось как в тумане. И только одно жгло ее непрерывно: почему он не приходит? Почему бросил меня? Почему не зовет в последний час? Однако все ее вопросы задохнулись, потонули в этом его вопросе о Жюльетте. В ответ она только молчала. Прошло довольно много времени, прежде чем она взяла себя в руки и откровенно поведала обо всем, что произошло на площадке Трех шатров: о налете десертиров, о смерти Шушик, о ранении Арама, рассказала и о том, как доктор Петрос тщетно уговаривал Жюльетту, чтобы она позволила Геворку снести ее на берег. Жюльетта подняла крик и все говорила, что не уйдет из своей палатки... А раненый Арам все еще лежит там...

Габриэля не сводил глаз с неблекущего огромного пятна на небе.

— Так даже лучше... До утра ничего не произойдет... Времени еще достаточно... Ночь под открытым небом могла бы убить Жюльетту...

Что-то в этих словах причинило боль Габриэлю. Он щелкнул карманным фонариком. Однако израсходованная батарея дала не больше света, чем дал бы свечечок. И ночь казалась еще темней, чем все предыдущие, несмотря на трагически красный небосвод и то и дело взлетающие над Котловиной города языки пламени. Габриэля едва различал Искуи рядом с собой. Он тихо дотронулся до нее и испугался — какие же деляные, какие истощенные были ее щеки и руки! Прилив нежности захлестнул его! Подняв одеяло, он укутал девушку.

— Как давно уже ты ничего не ела, Искуи?

— Майрик Антарам приносила нам поесть, — солгала она, — мне ничего не надо.

Габриэль прижал Искуи к себе, надеясь вернуть блаженный миг пробуждения, вызванный ее близостью.

— Так странно было и так хорошо, когда я только что проснулся и ты стояла рядом. Как давно ты не была со мной, Искуи, сест-

ричка моя!.. Я так счастлива, что ты пришла, Искуи... Я счастлива, Искуи...

Лишь ее медленно склонилось к нему, как будто она была слишком слаба, чтобы прямо держать голову.

— Ты же не пришел... Вот я и пришла сама... Уже настал последний час, правда?

Голос его звучал глухо, как во сне:

— Думаю, что настал...

В ответных словах Искуи звучало усталое и все же упрямое требование своего права:

— Ты же знаешь, о чем мы с тобой говорили... и что ты мне обещал, Габриэль.

— Может быть, у нас еще целый день впереди, — сказал он, и его слова возвратили ее из далекого одиночества. С глубоким вздохом она повторила их, как слова-подарок:

— ... целый день впереди...

Все теплей делалась рука, обнимавшая его.

— У меня большая просьба к тебе, Искуи... Мы же много говорили об этом... Жюльетта намного несчастнее, чем мы оба...

Она отвернулась. А Габриэль взял ее большую руку в свою и все гладил и целовал ее.

— Если ты меня любишь, Искуи... Жюльетта так бесконечно одинока... так бесчеловечно одинока...

— Она ненавидит меня... не выносит... Не хочу ее видеть...

Рука его почувствовала, как судорога содрала ее.

— Если ты любишь меня, Искуи... Прости тебя, остаюсь с Жюльеттой... Как только взойдет солнце, нам следует покинуть палатку. Я тогда буду спокойнее... Она безумна, а ты здорова... Мы снова увидимся, Искуи.

Голова ее упала на грудь. Искуи беззвучно рыдала. Вдруг он шепнул ей:

— Я люблю тебя, Искуи... Мы будем вместе...

Немного погодя она попыталась встать:

— Я пойду...

Он удержал ее:

— Подожди еще, Искуи. Побудь со мной... Ты так нужна мне...

Наступило долгое молчание. Он ощутил тяжелую неподвижность своего языка. Нарастала стучащая боль в голове. Череп его, до этого легкий как воздушный шар, превратился в громадную свиновую пулю. Габриэль сник, как будто его снова ударили прикладом... Глаза Саркиса Киликина, серьезные и апатичные, его тупой взгляд, устремленный на него, А где Киликин теперь? Разве он, Габриэль, не приказал унести труп? Все, что произошло за последние

часы, представлялось Габриэлу чуждым, как какой-то неслышанный шум...

Габриэл погружался в тягостное раздумье, все это время он ощущал себя центром чудовищной головной боли, волнами набегавшей на него... А когда он наконец испуганно очнулся, Искуни уже подышала. Он в ужасе нащупал часы.

— Который час?.. Иисус Христос!.. Нет, время, время! Зачем мне одеяло? Ты же дрожишь от холода. Нет, ты права, лучше тебе уйти сейчас, Искуни... Ты пойдешь к Жюльетте... У вас еще пять, даже шесть часов... Я пришлю вам Авакиана... Доброй ночи, Искуни... Возьми одеяло, прошу тебя, ради меня возьми!.. Мне оно не нужно...

Он еще раз обнял ее. Ему чудилось, что она ускользает, подобно невесомой тени. Он еще раз обещал:

— Это не прощание, Искуни. Мы будем вместе...

Когда Искуни уже ушла и он собрался снова лечь, у него вдруг сжалось сердце: она так слаба, что не способна идти! Руки и ноги у нее замерзли. Ее тело хрупко и немощно. Она же сама больная! А он отослал ее к Жюльетте!

Габриэл корил себя, что не прошел с Искуни хотя бы небольшую часть этого — такого мрачного и коварного — пути. Он вскопал и пробежал с высотки, крича:

— Искуни! Где ты? Подожди меня!

Никакого ответа. Она ушла уже далеко и не слышала его голоса.

Со стороны горевшего лагеря все еще доносились гул и треск. Бог знает откуда при подобной бедности огонь брал так много пищи: уже глубокая ночь, а он все такой же шумный и говорливый. Теперь уже горели все деревья и кустарники, росшие неподалеку от лагеря. Быть может, турок завтра встретит второй пожар горы?

Габриэл прошел несколько шагов в сторону площадки Трех шатров. Так и не нагнав Искуни, он повернул обратно и медленно побрел к орудию. Его часы — он заводил их регулярно, единственная привычка из того большого мира — не показывали еще и часа. Но заснуть ему уже не удалось.

Около трех часов после полуночи пожар в Городе стал затихать. Кое-где еще длели тлеющие ветки, и время от времени вспыхивали языки пламени, эти свидетели миновавшего. Деревья, правда, еще горели, но и здесь огонь уже шел на убыль. В себе же пламенело зарево: пожар пережил свою первопричину. Громадное красное пятно не исчезало. Должно быть, туман впитал в себя отсвет огня и удерживал его, будто нечто материальное...

Габриэл разбудил Авакиана. Студент спал прямо на земле, тут же возле гаубиц. И так крепко, что Багратяну пришлось долго тря-

сти его. Доброту человека определяют по тому, как он ведет себя, когда его будят. Авакиан кого-то оттолкнул и, ничего не понимая, приподнял голову. Но как только он понял, что перед ним сам шеф, вскопая и смущенно улыбулся в темноту, словно забывшись за столь крепкий сон. Его готовность исполнить приказ была гораздо большей, чем позволяло его полусонное состояние. Габриэл протянул ему бутылку, в которой еще оставалось немного коньяку:

— Выпейте, Авакиан... Смелей! Вы мне сейчас очень нужны. У вас не будет больше времени поговорить друг с другом...

Он сел спиной к Городу и так, чтобы наблюдать за постами вдоль новой оборонительной линии. Кое у кого из дружинников были затемненные фонари. Эти загадочные огоньки как-то вяло передвигались то в одну, то в другую сторону. Ветра по-прежнему не чувствовалось.

— А я не спал ни минуты, — признался Габриэл, — много думал, несмотря на эту шпашку, а она дает о себе знать, черт бы ее тробал.

— Жаль. Вам надо было поспать, господин Багратян.

— Зачем? День, который мы так успешно отодвигали, настал. Да, я хотел вам сказать, Авакиан: и вам должны быть благодарны люди. Мы с вами неплохо поработали вместе. Вы самый надежный человек, которого я когда-либо встречал. Простите за эти глупые слова, все это, конечно, гораздо больше...

Авакиан сделал смущенный жест. Но Габриэл положил ему руку на колено:

— Когда-нибудь ведь надо откровенно поговорить друг с другом... И когда же, как не сейчас.

— Эти псы, дезертиры, все уничтожили, — видимо, желая скрыть свое смущение, сказал студент, но Багратян как бы отодвинул все прошлое.

— Об этом нам незачем больше думать. Когда-нибудь это должно было случиться... А все ожидаемое на этом свете, как правило, наступает обычно самым неожиданным образом... Но не об этом я хотел говорить... Послушайте, Авакиан, у меня такое чувство, и, признаюсь, весьма определенное, что для вас все кончится благополучно. Почему — я и сам не знаю. Возможно, это и нелепо, но я разумею, вы туда попали, вернее, каким образом вы туда попадете...

В темноте тихо светился бледный лоб домашнего учителя.

— Но это нелепо, иванните, господин Багратян. Чем все это кончится для вас, тем оно кончится и для меня. Ничто другое и невозможно.

— Почему же?.. Конечно, трезво рассуждая, вы правы. Но пред-



положим, что эта нелепница сбудется и вам удастся каким-то образом уйти отсюда.

Габриэл прервал себя, напряженно всматриваясь в пустоту, как будто он там хорошо видел счастливое будущее Авакяна. Затем он достал бумажник и положил его рядом.

— Я совсем не собирался оставлять вас здесь, а хотел послать вновь в северный сектор. Когда вы с Нурхяном — я спокоен. Но все это теперь безразлично. Вы должны мне оказать гораздо большую услугу, Авакян. Я прошу вас остаться с женщинами. Я имею в виду мою жену и мадемуазель Товмасын. И это связано с тем предчувствием, которое я испытываю относительно вас. Возможно, что вы счастливицы и принесете счастье. Сделайте все, что можете! И особенно позаботьтесь о том, чтобы сразу после восхода солнца покинули палатки. Позаботьтесь и о том, чтобы мадам снесли с горы как можно бережнее. И пожалуйста, возьмите для этого кого-нибудь другого, не Геворка. Я не могу думать о его руках! Возьмите Кристофора и Мисака...

Самвел Авакян стал возражать. Претит последний бой, и он будет необходим, как никогда. Столько важных вопросов еще надо решить... Совестливый адъютант принялся перечислять сотни дел, которые он еще должен сделать. Но командующий нетерпеливо прервал его:

— Нет и нет! Ничего не надо больше делать. Оставьте это мне. Здесь вы мне больше не нужны. Ваша служба тем самым окончена, Авакян. Такова моя просьба и мое настоятельное желание.

И он вручил Авакяну запечатанный конверт:

— Я передаю вам свое завещание, друг мой. Оно останется у вас до тех пор, пока мадам не выздоровеет. Вы меня понимаете? Я рассчитываю на свое предчувствие относительно вас. Вот чек в Ливонский банк. Я ведь даже не знаю, за сколько месяцев я должен вам жалованье! Разумеется, вы вполне правы считать меня безумцем. В нашем положении подобные расчеты абсурдны. Но я педаю. Возможно, правда, что все это одно суеверие, а я немного колдун, понимаете? Да так оно и есть — немного-то я колдую!

Рассмеявшись, Габриэл вскочил. Теперь он производил впечатление свежее и уверенное.

— Если я вас переживу, ни завещание, ни чек не действительны. Итак, соберитесь с силами.

Смех его звучал нарочито. Авакян, держа бумаги подальше от себя, вновь запротестовал. Но Габриэл гневно оборвал его:

— Ступайте, прошу вас, мне так будет легче.

Последние часы перед рассветом тянулись бесконечно долго. Стиснув зубы, Багратян всматривался в редешую темноту. При

первой же возможности он установил прицел на Южный бастион. Густой утренний туман долго не рассеивался.

Совершенно неожиданно из него вдруг вырвалось расклеванное тевное солнце.

Габриэл встал по-уставному, справа от гаубиц, на одно колено, и со злостью дернул запальный шнур.

Удар! Рынок лафета назад! Огонь, дым, вой удаляющегося шара, скаты до твердости кристалла секунды ожидания — все вместе принесло освобождение. С выстрелом гаубицы разрадовалось и тяжкое, непереносимое напряжение в душе командующего.

По какой же причине столь осмотрительный военачальник Мусеада принялась транжирить невозможные снаряды еще до того, как турки перешли в наступление? Хотел ли он разбудить или напугать противника? Хотел ли поднять дух своих друзей? Надвигал ли одним выстрелом так опустошить ряды турок, что они не посмели бы подняться в атаку? Ничего подобного! Не было у Габриэла Багратяна тактических соображений, когда он дергал запальный шнур, — было только одно: он не мог больше ждать! То был крик трагического крика, ибо ночь смотрительный военачальник Мусеада обессилевшие, замерзшие люди, лежавшие каждый в своей ячейке, чувствовали себя точно так же. С искаженными лицами они прислушивались, ожидая ответа. Выдвинутые вперед посты поднимались на ближайшие высоты, во, сколько хватало глаз, все плато, весь Дамладжик лежал перед ними мертвым. Турки, по-видимому, еще не покинули своих исходных позиций, в том числе и на севере. Но ответ все же последовал. Правда, до этого прошло некоторое время и Габриэл Багратян успел сделать еще два выстрела! И тогда раздались невероятный громовой удар. Никто ничего не мог понять — что это, откуда? Что-то прощурнало высоко в небе, наполнив все каньоны от Амануса до Эль-Акра, а где-то вдали, должно быть в долине Оронта, послышался глухой разрыв. И этот великий гром ролдился на море.

Еще ночью армянские общины без всякого определенного порядка разместились на берегу вод крутой морской стеной Дамладжика. Тер-Айказун приказал мухтарам доставить учителя Гранта Восканяна живым или мертвым. Душа зарпанета была полна одним жгучим желанием — отомстить за поруганный закон, отомстить за чудовищное предательство. Для Тер-Айказуна учитель и «комиссар» был предателем в гораздо большей степени, чем Саркис Киликян. Тер-Айказун готов был собственными руками задуть черниного Коро-

тышку. Никогда еще никто не видел вардапета в таком состоянии. Он сидел среди йогонолукиев, которые расположились вдоль тропы, спускавшейся к морю, — там, где на небольшом клочке росла трава или редкий кустарник. Уронив голову на колени, Тер-Айказун никому не отвечал, порой только рывком выпрямлялся, размахивал кулаками и выкрикивал чудовищные проклятия; при этом слезы гнева катились по его лихорадочно красным щекам.

Товмас Кебусян устроился на спасенном от пожара одеяле и бессмысленно качал своей лысой головой. Рядом с ним сидела его половина и верещала фальцетом. Это, мол, он сам виноват во всем. Если бы он вовремя съездил в Антакие, в хюкюмет, конечно же, каймакам сделал бы исключение для такой богатой и уважаемой семьи, как Кебусяны. И теперь сидели бы они в мире и покое в уютном доме на обшитой плюшем деревянной веранде... Кебусян не обращал внимания ни на упреки жены, ни на приказ вардапета. Да и кого послать, чтобы взять под стражу учителя? Все, кто еще мог кое-как двигаться, остались с Багратяном.

А Грант Восканян тем временем прятался неподалеку от скалы-террасы. И не один — к нему присоединились приверженцы его религии самоубийства. В эти дни и месяцы среди армянской нации можно было найти не одного проповедника самоубийства. Все тело народное извивалось в мертвой хватке. Самоубийством кончали даже те, кто был в полной безопасности. Не только обреченные на поругание женщины топились в водах Евфрата — в европейских городах армяне в каком-то непостижимо едким порыве накладывали на себя руки. Но на самом Муса-даге до сих пор не было ни одного случая самоубийства. Достаточно удивительно, если учесть полностью развалившуюся жизнь в лагере, ежедневную смертельную опасность, сознание неизбежности чудовищного конца, медленную голодную смерть пяти тысяч человек! И даже в эту ночь за Восканяном последовали только четыре жалких его приверженца: один мужчина и три женщины. Мужчине, ткачу из Кедер-бега, было лет пятьдесят, но вид у него был что ни на есть немощного старца. Среди ремесленников армянский долины ткачи составляли как бы отдельное сословие: из-за слабого телосложения они не подходили ни для пополнения дружин, ни для тяжелых работ, которые выполнялись резервом. Как и все обделенные, они являлись благодатным объектом для всякой незелой агитации — как религиозной, так и политической.

Проповедь добровольной смерти наша горячий отклик в душе Маркоса Арируни — так звали ткача. Из женщин старшая была уже матроной, потерявшей всю свою семью, но две другие были еще молоды. У одной из них накануне от голода умер на руках ребенок.

Вторая — меланхоличная особа, немного не в своем уме, замужем не была и происходила из богатой йогонолуцкой семьи.

Гонимый страхом, Восканян еще во время мятежа бежал в это укромное место. Маркос Арируни, «апостол пророка», выследил его и привел к учителю трех женщин, жаждящих выполнить завет. На миру, как говорится, и смерть красна! Такая оказалась апостолом невозможным, из тех, которые не терпят, чтобы пророк отступал от учения хотя бы на йоту. Вот уже несколько дней он регулярно навещал учителя в его тайнике, дабы укрепить свою новую веру.

Все пятеро сидели под большим камнем, закрывавшим подступы к скале-террасе. Они мерзли и потому сидели, прижавшись друг к другу. Грант Восканян еще раз кратко изложил свои взгляды как на жизнь, так и на смерть. Но сегодня его слова звучали звучнее и фальшиво. Казалось, и пропитанный голод великого молчаливника звучал уже не так резко. Но иногда он сам расплывался от собственных слов, должно быть, ради того, чтобы не разочаровать своего «апостола». Восканян сидел рядом с меланхоличной девушкой, между прочим довольно милостивой, немало удивлялся тому, что за несколько минут до принятия самого возмущенного решения, на которое способен человек, податливая близость женского тела может действовать столь живоительно. Но как бы то ни было, он довольно уверенно отвечал матроне, которая доверчиво спросила учителя, чью века безусловно ученого: каковы последствия самоубийства для пребывания на том свете?

— Это ведь большой грех, учитель. Большой. И иду я на это, только чтобы встретиться со своими, и поскорей встретиться. А что, если мне вдруг не позволят их повидать и я навечно останусь в преисподней? Это ж, правда, очень большой грех?..

Восканян водил свой острый, слабо свевшившийся в темноте носик:

— Ты только вернись природе то, что природа дала тебе.

Эти многозначительные слова, очевидно, доставили ткачу Арируни немало удовольствия. Выпятив свою тощую щиплящую грудь, он прокаркал:

— Это он тебе хорошо выдал, старая... Хочешь со своими встретиться, можешь и до завтра подождать. Турки тебя не пропустят. А для гарема ты уже не годна. Я, к примеру, ждать не желаю. Сыт по горло...

Женщина, скрестив руки на груди, нагнулась вперед.

— Иисус Христос простит меня... Одному богу все известно...

Тем самым и учителю была подброшена великодушная релиquia.

— Одному богу все известно! — повторил он. — Если уж прощать его за то, что он сотворил этот мир, то только по одной причине —

ничего, ну нячегошеньки-то он не знал... Вышн мы для него, поняли? И без нас у него дел хватает.

А «апостол» Ариуни повторил с издевкой:

— Без нас у него дел хватает... Ясно тебе?.. Вышн мы для него... Наш же пророк, утомленный собственным остроумием, обратися к матроне, столь боившейся греха:

— Как ему заботится о тебе, когда он — это глупость в твоей башке.

Ткак несколько мгновений хлопал глазами, потом, вдруг громко вскрикнув от восторга, ударил себя по ляжкам и принялся раскачиваться, как молящийся мусульманин.

— Только в твоей башке вся эта глупость, старая... Поняла или как?.. Только в твоей башке... вот ты и выплюнь ее, выплюнь!

Богохульство и смех Ариуни вызвали у молодой матери страшное возбуждение. Она вспомнила, как из ее рук вывалил оконечный трушик. И тот, кто это сделал, один из санитаров, сразу убежал, должно быть, чтобы выкинуть ее трехлетнего сыночка. Многие часы потом она искала трушик, но его, вероятно сбросили в море. Хорошо бы! Вот мать и хотела теперь поскорее встретиться с сыном в том же море. Она вскочила, выкрикивая:

— Чего вы тут без конца говорите! Часами только и делаете, что говорите! Идите, наконец!

Учитель прикрикнул на нее:

— Очередь должна быть.

Минувала полночь, когда они принялись устанавливать очередь. Ариуни предложил бросать жребий. Но Восканян сказал, что первыми должны пойти женщины, так уж положено, сначала старшая, затем та, что помоложе, и под конец самая младшая. Решение свое он ничем не мотивировал, но так как никто из женщин не возражал, на том и порешили. Жребий же под конец он решил бросить только для себя и своего «апостола». Судьба решала против него, а, впрочем, если угодно, то и за него, ибо определяла ему место впереди ткача.

Все еще не чувствовалось ветра. Где-то далеко внизу ворчалось беспокойное море. Тень была такая, что казалось — ее можно потрогать. С предельной осторожностью, передвигаясь ощупью, учитель добрался до края скалы-террасы. Дрожкашей рукой установил фонарь. Сколько спокойствия было в этом маленьком пятнышке света, обозначившем границу между этим и тем миром! Восканян поспешил ретироваться. А затем, как опытный церемониймейстер пресподней, приглашающим жестом указал в направлении фонаря.

Матрона постояла несколько минут на коленях, без конца осеняя себя крестом. Потом, встав, мелкими шажками двинулась вперед и исчезла, даже не вскрикнув. Молодая мать сразу же последовала

за ней. Она даже взяла разбег и канула в темноту, не успев вскрикнуть... Меланхолическая дедушка долго колебалась. Под конец даже попросила учителя подтолкнуть ее. Но Восканян решительно воспротивился оказать ей эту услугу. Тогда дедушка на четвереньках поползла к краю. Там она снова задумалась. Потом вдруг схватила фонарь и опрокинула его. Фонарь покотился в никуда... Вместо того чтобы оставаться на месте или отволотиз, дедушка протянула руки за фонарем, наклонилась вперед, потеряла равновесие... Долго еще был слышен ее жуткий крик: несчастная зацепилась за какой-то выступ, прежде чем исчезнуть в глубине...

Восканян и Ариуни молча стояли в темноте. Так прошло довольно много времени. Предсмертный крик меланхолической дедушки еще терзал мозг учителя. Апостол напомнил:

— Учитель, твоя очередь!

Но Грант Восканян все думал. Затем не очень уверенно сказал: — Фонаря нет. А в темноте я не собираюсь этого делать. Подождем рассвета. Теперь уже немного осталось.

Ткак вполне справедливо заметил:

— Учитель, в темноте же легче!

— Может быть, тебе легче, но не мне, — гневно отрезал «пророк». — Мне нужен свет!

Должно быть, Маркос Ариуни удовлетворился этим несколько выспренным ответом. Он стоял совсем близко к Восканяну, и как только учитель делал хотя бы малое движение, хватал его за фалды. То были грязные и равные остатки некогда роскошного сюртука, который Восканян заказал себе надеясь переключить Гоизаго и возмиситься в глазах Жюльетты. Хватка, которой Ариуни шцепился в своего «пророка», свидетельствовала одновременно и о страхе, и о преданности, и о недоверии. Так-то Грант Восканян стал пленником своего собственного учения! Раз он даже сделал попытку вскопчить и убежать — зе тут-то было, ткак митом водворил его на место. Нет, не было у него никакой возможности избавиться от своего ученика.

Когда, казалось бы по прошествии целой вечности, в предрасветных сумерках обозначился край скалы, Ариуни встал и скинул куртку:

— Так вот что, учитель, тенья сгнула.

Восканян потягивался и зевал так, как будто он долго и крепко спал, потом, не торопясь, поднялся. Очень обстоятельно сморкался, прежде чем, сопровождаемый «апостолом», сделал несколько шагов вперед. Но, не дойдя до края, обернулся:

— Лучше будет, если ты первым пойдешь, ткак.

Жалкий Ариуни в грязной рубахе настороженно приблизился к Восканяну:

— Почему я, учитель? Мы бросили жребий — первому тебе досталось идти. Все три бабы ушли впереди нас.

Заросшая физиономия Восканяна побелела:

— Почему, спрашиваете? Потому что я хочу быть последним. Не желаю, чтобы ты потом удрал и посмеивался в кулачок!

Казалось, ткач обдумывает слова «пророка», но он вдруг набросился на учителя. Однако «пророк» разгадал намерения ученика и к тому же очень скоро понял, что, несмотря на свой малый рост, он сильнее иссохшего Ариуни. И все же фанатик обманутой в своей вере, мог стать опасным. Тогда Восканян позволил подтянуть себя немножко к краю скалы. Несомненно, сумасшедший хочет увлечь его за собой! Вдруг учитель упал, одной рукой вцепился в низкорослый кустарник, а другой схватил правую ногу ткача. Тот тоже упал. С бешеной силой учитель принялся толкать ногами своего ученика — в лицо, в живот — куда попало. Как это случилось, он сам не понял, но через некоторое время он почувствовал, что ноги его месят пустоту. Тело Ариуни, шелкоткача, перекатилось через край и рухнуло в туманную глубину.

Восканян замер. Потом тихо, сантиметр за сантиметром, все еще сидя, отодвинулся от края. И вдруг почувствовал — спасен! Но это длилось только несколько мгновений. Он тут же понял — и эта победа ему не поможет! Никогда ему не вернуться в общество порядочных и честных людей. Не может он и бежать...

Коротышка учитель вскопчил и, не сгибая колен, стал расхаживать взад-вперед. Как всегда в трудный час, когда ему приходилось утверждать свою особу, он выпитил шмылящую грудь. Но порой Восканян словно бы переламывался пополам и прыгал в тумане, будто птица со сломанным крылом. Внезапно сложившейся стихотворной строкой он пытался утешить себя и одновременно встрахнуться. Двадцать раз он повторял:

Пусть ярко светит солнце,  
Я в сумрак — не могу!

Так, бегая, он споткнулся о палку. Это оказался флагшток и полотнище с призывом о помощи «Христиане терпят бедствие!» Ветер опрокинул и закатил его сюда. Скалу-террасу давно уже покинули и наблюдатели и похоронная команда. Грант Восканян, не сознавая, что делает, поднял довольно тяжелый флагшток, азаллил его себе на плечо — странный знаменосец стал топтать взад и вперед. Как бы ему хотелось теперь зарыть солнце за Аманусовыми горами! Но оно взошло, взошло красное и гневное. Трепещущая и беспоиощная мысль овладела им: бежать скорей с этой проклятой скалы! Спрятаться! Лучше умереть голодной смертью...

Но Восканян уже не мог отступить. Он же сказал себе: пусть ярко светит солнце! И ведь ждали его там те три женщины и ткач... Еле переступая, неся вперед себя зная, он подходил все ближе и ближе к краю бездны. Внизу шевелились клочья тумана. Они то собирались в клубы, то расплывались, а то, переплетаясь, кружили друг возле друга, время от времени открывая кусок моря. А оно лежало гладкое и блеклое, как темно-серое полотно. В одном месте посреди этого полотна что-то поблескивало. Грант Восканян зажмурил глаза. Должно быть, и впрямь он с ума сошел, а ведь так всегда этого боялся. Он то открывал, то закрывал глаза, — и так без конца. Туман тем временем растворился, но поблескивавшее пятнышко не исчезло, а будто прилепилось к серому полотну. Да и не блестело оно совсем, а оказалось сизо-серым кораблем с четырьмя трубами; отсюда, сверху, он представлялся маленьким, совсем игрушечным. Порой на него напозлали клочья тумана, и он исчезал из виду. У Восканяна были зоркие глаза, и он без особых затруднений прочитал на носу корабля освещенные острыми утреними лучами большие черные буквы: «Г И Ш Е Н».

У Восканяна вырвался жалкий стон. Чудо свершилось. Но не для него. Всех спасут. Только не его. Он всю свою силу стал размахивать полотнищем с надписью «Христиане терпят бедствие!» Он махал все быстрее и быстрее, махал неустанно, махал долгие минуты.

Над капитанским мостиком в ответ подыяли французский сигнальный вымпел. Но Восканян не видел его. Он сам себя не сознавал в эти минуты, а только размахивал белым полотнищем из стороны в сторону, волил его над головой кругами. Даже постанывал от напряжения. Да, покуда у него хватало сил, ему можно было жить.

Где-то наверху прогремели гаубицы Багратяна. Все короче, все неравномернее были взмахи арийского флага... А вдруг ему удастся тайком пробраться на корабль? — подумал Восканян. И в это же мгновение, увлекимый скорей тяжестью флага, чем собственной волей, он дико вскрикнул от ужаса и сделал шаг в пустоту...

В этот же миг двадцатичетырехсантиметровое орудие «Гишена» пронзело свой первый выстрел. То был приказ туркам: «Ни шагу дальше!»

Для генерала, каймакама и юзбаша этот выстрел явился ударом грома среди ясного неба. Несколько минут тому назад эти господа собрались у юзбаша, а ведь для большого печеню толстого каймакама раннее вставание и подъем на гору были тяжким испытанием. Четыре командира рот стояли вокруг юзбаша, чтобы получить приказ о наступлении. Разведка накануне ночью хорошо пора-

ботала: все новые местоположения мусадатцев на морской стороне были засечены, стало известно также, что с юга Дамладжк защищен только двумя редкими цепями стрелков, к тому же плохо окопавшимися. Согласно приказу генерала Али Ризы только две роты с пулеметами должны были наступать на эти слабые цепи, как только на севере горная артиллерия начнет обрабатывать армянские окопы. И каймакам и юзбаша были уверены в том, что не более чем через час всякое сопротивление будет сломлено. Вслед за тем северная и южная группы соединятся, чтобы совместно ликвидировать лагерь на морском берегу. Никто не должен ускользнуть!

Первая граната из гаубицы Багрятяна разорвалась на осипи почти скальной башни, вторая пролетела еще дальше, во третья ударила довольно близко от группы офицеров. С воем разлетелся осколок. Два пехотинца лежали на земле, корчась от боли. Юзбаша с легкой закуривал сигарету.

— Первые потери, господин генерал.

Молодое, почти прозрачное лицо Али Ризы стало темно-красным. Губы сжаты еще плотнее, чем обычно.

— Приказываю, юзбаша, взять этого Багрятяна только живым и привести ко мне лично!

Не успев он договорить, как грянул гром: «Ни шагу дальше!» Господа бросились к завальным окопам, откуда хорошо просматривалось море.

Словно примерзший, «Гишен» со своими четырьмя трубами стоял в свинцовой воле. Над трубами висело облако черного дыма. Дымом у среза стволов уже рассеялся. Должно быть, капитан решил ограничиться одним предупредительным выстрелом по долине Оронта.

Дрожа от негодования, каймакам заговорил первым:

— Чтобы вы знали, генерал! Вам подведомственны военные дела. Но окончательное решение остается за мной.

Не отвечая и не опуская бинокля, Али Риза рассматривал «Гишен». Каймакам, в решительные минуты обычно занимавший сопоставительную позицию, на сей раз потерял контроль над собой:

— Требую от вас, генерал, чтобы вы отдали приказ о немедленном начале операции. Корабль на рейде не должен нас удерживать. Али Риза опустил бинокль и обратился к адъютанту:

— Свяжитесь с Хабастой. Мой приказ передать с наименьшей скоростью по цепи на северные позиции: «Огонь не открывать!»

— Огонь не открывать! — повторил адъютант и бросился прочь. Каймакам выпрямил свою рыхлую, но внушительную фигуру:

— Что означает этот приказ? Я требую разъяснений, эфенди! Генерал, не обратив на него никакого внимания, остановил взгляд своих серо-голубых глаз на юзбаша:

— Прикажете отступить назад все выдвинутое вперед части. Все подразделения оставляют гору и передислоцируются в долину. Начать отступление немедленно!

— Требую объяснений! — кричал каймакам вне себя. Мешки под глазами почернели. — Это трусость! Я отвечаю перед его превосходительством! Нет никаких оснований сворачивать операцию!

— Никаких оснований? — повторил генерал, смерив его долгим и холодным взглядом. — Вы хотите открыть побережье союзническому флоту? Морские дальновиднейшие орудия бьют до Антакье. Может быть, вы думаете, что этот крейсер один-единственный заблудился здесь? Может быть, вы хотите, чтобы англичане и французы высадились здесь и открыли новый фронт внутри никем не защищенной Сирий? Ну, что вы скажете, каймакам?

А каймакам, пожелтел, с пеной у рта кричал:

— Это все меня не касается! Я, как ответственное лицо, приказываю вам...

Дальше он не договорил. Приказ генерала об отмене артотия, разумеется, не мог за несколько минут дойти до турецких артиллерийских позиций. Первые турецкие гранаты разорвались в северном седле. И тут же длинные элегантные стволы судовых орудий вместе с бронированными башнями «Гишена» начали разворачиваться. Не прошло и нескольких секунд, как первые тяжелые гранаты разорвались в Суэдии, Эль Эскеле, Эндие. И сразу же по большой трубе виннокуренного завода поволоз вверх американский флаг. Минута-другая, и в поселках загорелись деревянные дома. Али Риза рывкнул на юзбаша:

— Свяжитесь по телефону! Прекратите огонь, дьявол вас побери! Завтрам эвакуировать население из деревни! Всем в долину!

Молчавший до сих пор модир из Салоник вдруг впал в истерику. Сложив руки трубой, он кричал, стараясь перекрыть грохот орудий «Гишена»:

— Это нарушение международного права... Здесь открытый берег... Вмешательство во внутренние дела страны...

Генерал-майор Али Риза, подняв свой стек, собрался уходить. Офицеры последовали его примеру. Еще раз обернувшись, он сказал:

— Что это вы раскричались, модир? Можете благодарить ваш Итхях!

— Мне душно! — стонал явно переоценивший свои силы каймакам. Его тяжелое тело съехало на землю. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. Из чернеющих губ вырывались одни и те же слова. — Это конец... это конец...

Модир приказал четырем запитям унести своего больного начальника в долину.

Следовало бы предположить, что и Габриэль Багратян, полностью осознавая ниспосланное чудо, должен был рухнуть наземь, слыша колоссально оно было. Однако этого не случилось. Чувства Габриэла были уже глухи и не способны на отклик. И как бы мы бережно ни подбирали слова правильно передать то, что происходило в его душе, невозможно. Нет, то не было разочарованием. Разочарование — слишком грубое понятие. Скорее это можно было бы назвать нежеланием сделать усилие, какое требовалось от смертельно усталого организма для того, чтобы начать новую жизнь. Так человеческий глаз, попав из темноты на яркий свет, защищается от внезапной перемены, несмотря на то что душа жаждала ее. Первая реакция Багратяна была — приказ! Он передал его по всей линии стрелков: — Никуда не уходите! Все остаются на своих местах!

Это был чрезвычайно важный приказ. Во-первых, Габриэлу были неизвестны намерения турок, к тому же он ведь не видел собственными глазами французский военный корабль. И вряд ли этот корабль способен взять на борт четыре с половиной тысячи человек.

Не менее удивительным было действие чуда на остальных защитников, на тех, что длинной цепью, будто парализованные, лежали в своих ямках после этой последней и такой бесконечной ночи — ночи ожидания смерти. Весть принес мальчишка: заикаясь и задыхаясь, он выпалил что-то и убежал. Никто даже не вскрикнул. Возникла долгая томительная пауза. И вдруг распалась весь порядок. Те, кто слышали весть о чуде, устремились наверх, туда, где стояли гаубицы, где был командующий. Однако не это было удивительным, нет, другое — внезапное изменение человеческих голосов: все вдруг заговорило фальцетом. Со всех сторон на Габриэла обрушились высокие и сдавленные голоса. Звучало это как искаженный бабьин визг, как вопль страха у сумасшедших. Чувство, рожденное спасением, прежде чем завладеть душами, вызвало судорогу голосовых связок.

Стрелки сразу же подчинились приказу Багратяна: они бросились наземь и выставили впереди себя ружья, как будто ничего потрясающего не произошло. И только учитель Авет Шатахян потребовал от командующего, чтобы тот послал его в качестве комиссара вина, к морю. Благодаря отменному владению французским и безупречному акценту, он, Шатахян, несомненно является лучшим кандидатом для ведения переговоров. Учитель так и саял. Габриэль Багратян, который больше всего хотел личным примером удержать дружинников на позициях до тех пор, пока не минует всякая опасность турецкого наступления, отпустил Шатахяна, поручив ему следующее: при любых обстоятельствах должна поддерживаться постоянная связь лагеря на берегу моря с защитниками горы здесь, наверху. Тер-Айказун и доктор Алтун должны вместе с Шатахяном отправиться на французский корабль. Капитану крейсера следует незамед-

лительно сообщить, что среди мусадатцев находится французенка, в очень тяжелом состоянии.

Начавшийся артобстрел северного седла подтвердил опасения Багратяна. Турки и не собирались выпускать из когтей такую верную добычу. Багратян в тот же час отправил к Чаушу Нурхану вестового:

— Северное седло держать до последнего человека! Без соответствующего приказа командующего стрелки ни под каким видом не должны покидать окопы и скальные баррикады, где им и надлежит искать укрытия от артогня.

Но очень скоро артиллерийский обстрел утих, а громадные корабельные орудия с равномерностью музыкальных тактов продолжали обрушивать свои бомбы на мусульманские селения. В долине Оропта, казалось, настал Страшный суд.

Когда Габриэль Багратян поднялся на наблюдательный пункт, Суадия, Эль Эскель, и Эльдые, и даже далекий Аян-Джеерб были охвачены огнем. На лошадях, на ослах, воловых упряжках и просто пешком население спешило в армянскую долину—

Чуть позже Габриэль вернулся к гаубицам. Позади сошкина, аккуратно сложенные, высились готовые к стрельбе снаряды. Габриэль собирался развернуть орудия на север и, когда начнется турецкая атака, накрыть ее огнем. Однако теперь он отказался от этого своего намерения, хотя и не считал опасность миновавшей. Он сел рядом с гаубицей и долго смотрел вперед. Но в то же время и внутри себя: «Может быть, через несколько недель я снова буду в Париже?. Мы въедем в квартиру на Авеню-Клебер, и опять начнется прежняя жизнь». Однако эта мысль — за час до этого она могла прийти в голову разве что сумасшедшему — ничего не изменила в удивительной пустоте в его груди. Он не ощущал никакого предостережения, никакой пустоты, горячей, молитвенной благодарности богу, что было ко восторгу, горячей, молитвенной благодарности богу, что было так естественно при таком сверхъестественном чуде. Нет, Габриэль не мечтал о Париже, о квартире, не тосковал по общению с культурными людьми, по комфорту, даже не думал о том, чтобы навести досыта, о чистой постели. Если он что-нибудь и ощущал, то только сверхъестественную потребность в одиночестве, которая усиливалась с каждой минутой. Но то должно было бы быть одиночеством, которого не существовало: мир без людей, планета без физических потребностей, без движения. Некая космическая пустынь, и он — единственное существо в ней, спокойно созерцающее, не зная ни прошлого, ни настоящего, ни будущего!

Люди на берегу разместились на довольно большом расстоянии друг от друга. Общины Йогонолука и Абибля пристроились сравнительно высоко, в то время как битнасы, айрып и те, что из Кебусе,



избрали себе место у самой воды, там, где скалы отступали вглубь, освободив несколько неровных, заросших колючим кустарником кусочков земли.

В то время как учитель Воскания размахивал повотинцем с призывом о помощи, здесь, внизу, все еще спали. Но то был не сон людей, а сон какой-то неживой материи. Они спали, как спит скала или земляной холм.

Грозовой удар корабельных орудий разорвал этот сон. Четыре тысячи женщин, детей, стариков в страхе раскрыли глаза, чтобы увидеть, как забрезжит свет четвертого голодного дня. Для тех, кто лежал прямо на берегу, сон, должно быть, все еще продолжался, а это сновидение неподвижно покоилось на водной глади. Кто-то пошатался приподняться — надо же спугнуть это наваждение! Другие так и оставались лежать на своем каменном ложе, на котором они стерли себе и без того истончавшую кожу. Даже на другой бок не повернулись. Но вдруг среди взрослых послышалось какое-то похурдывание, полукашель, похожий на лепет тяжелобольных детей, и звук этот быстро распространился вокруг. Теперь даже самые неподвижные тени встрепенулись. Мальчишки, что могли еще держаться на ногах, залезли на скалы повыше. Люди теснились у самого прибоя.

Крейсер «Гишен» бросил якорь примерно в полумиле от берега. Перед офицерами и матросами открылась потрясающая сцена: сотни голых, костявых рук тянулись к ним, как бы моля о подаании. А человеческие фигуры, к которым, должно быть, относились эти руки, не говоря уже о лицах людей, расплывались и исчезали даже в окулярах, словно призраки. Сопровождало это каким-то стрекотом, напоминавшим звуки, издаваемые насекомыми, но возникали они где-то гораздо дальше. При этом меж крутых, обрывающихся в море скал на берег пробиралось все большее и большее число человеческих являд, приумножая протянутые за подаанием руки.

Прежде чем капитан «Гишена» принял решение относительно этих изгнанников, с прибрежных рифов прыгнули две маленькие человеческие фигурки, должно быть мальчишки, и ввалив, пустились к кораблю. Они действительно подплыли метров на сто к борту крейсера, однок здесь их, должно быть, воскнули силы. Но к ним уже подходила спущенная на воду шлюпка, которая и подобрала обоих смельчаков. Еще одна шлюпка грелась к берегу. Она должна была взлететь на борт представителей этих странных «христиан, терпящих бедствие». Но очень скоро выяснилось, что, когда бог испосылает чудо, коварная действительность умеет тысячекратным образом приглушить его. Коварным оказался в нашем случае сам берег — прибой был так силен, что даже шлюпка со слаженной командой никак не могла пристать, что являлось весьма существенным оправданием неудачи рыболовного предприятия пастора Арама.

Целый час ушел на тщетные попытки высадиться, но в конце концов на борт шлюпки все же удалось взять Тер-Айказуна, доктора Алтуни и Алета Шатахию. За этот час «Гишен», раздраженный турешким артиллерийским огнем на Муса-даге, выпустил по мусульманской равнине сто двадцать тяжелых снарядов.

Капитан второго ранга Бриссон принял делегацию в офицерской кают-компании уже после того, как судовая артиллерия прекратила обстрел побережья. Бриссон невольно вздрогнул, когда к нему ввели трех мужчин в грязном тряпье, заросших бородами. Видны были только высокие лбы и огромные глаза. В самом ужасном виде предстал Тер-Айказун: полбороды спалено, на правой щеке большое красное пятно от ожога, а так как рана сгорела вместе с шалашом, то он все еще был обмотан одеялом. Капитан всем трем пожал руку.

— Священник?.. Учитель?.. — спросил он.

Шатахию не дал ему договорить; собрав все свои силы, он отвесил поклон и начал речь, которую разучивал, спускаясь по крутой каменной тропе с Дамладжика и сидя в шлюпке. Обращение его было самым неподобающим, а именно: «Мой генерал». Видно, так у него получилось от конфуза. Да разве мыслимо было требовать от армянского деревенского учителя, чтобы он безошибочно разбирался в знаках различия французского военно-морского флота, особенно если учесть, что покойный аптекарь Григор, так подражавший Сократу, не придавал никакого значения военным наукам. Поведая капитану в своей по-восточному пространной речи обо всем необходимом и о многом совсем неуважном, упоенный собственным красноречием оратор ожидал услышать хотя бы словечко похвалы из сиятельнейших уст — какой пронои! Но капитан, медленно переводя взгляд с одного на другого, неожиданно спросил, какова девица фамилия мадам Багратян. Алет Шатахию был весьма обрадован возможностью продемонстрировать свои познания и в этой области.

Но тут слово взял Тер-Айказун. Пораженный, учитель не мог прийти в себя от удивления, ибо вырвавшее бегло говорил по-французски, а ведь до сих пор никто ничего не знал об этом! Отец Айказун сказал, что народ обессилен от голода и мучений, и просил о немедленной помощи, в противном случае ближайшие часы не переживут еще несколько женщин и детей. Не успел Тер-Айказун договорить, как доктор Петрос уронил голову на грудь и чуть не свалился со стула. Бриссон приказал принести коньяк и кофе, а также подать делегатам обильное кушанье. Но тут выяснилось, что не только престарелый доктор, но и оба других делегата не в состоянии принимать пищу. Тем временем капитан Бриссон вызвал провинциальнейшего мастера и распорядился, чтобы без промедления на берег отправил шлюпки с грузом продовольствия. Приказ о высадке на берег был отдан также судовому врачу, санитарам и отряду вооруженных матросов.

Затем Бриссон объяснил армянам, что его тяжелый крейсер — самостоятельная боевая единица, а входит в авангард англо-французской эскадры, перед которой поставлена задача патрулировать вдоль азиатского побережья в северо-западном направлении. Накануне «Гишена», за три часа до основных сил, вышел из бухты Фамагуста на Кипре. Командующий флотилией контр-адмирал находится на флагманском линкоре «Жанна д'Арк». А посему следует дожидаться его приказа. Еще час назад ему по радио отправлен запрос. Впрочем, делегатам не следует тревожиться: нет никаких сомнений в том, что французский адмирал не оставит в беде столь храбрую армянскую общину, к тому же христиан, подвергнутой издевательствам.

Тер-Айказун склонил голову с опаленной бородой:

— Господни капитан, разрешите задать вопрос. Вы сказали, что не можете принимать самостоятельных решений, что подчиняетесь более высокой инстанции. Почему же вы все-таки не пошли на северо-запад, а бросили якорь у нашего берега?..

— Уверен, что вы давно уже лишены возможности курить. — Бриссон передал учителю большой пакет с сигаретами и повернул свою голову морского волка с задумчивыми глазами к Тер-Айказуну:

— Ваш вопрос представляет для меня определенный интерес, святой отец, ибо вы действительно нарушили приказ и резко изменили курс. Почему — спрашиваете? Около десяти часов мы миновали северную оконечность Кипра, и примерно в час после полуночи мне довелся: «Пожар на Сирийском побережье. Похоже, что горит город средней величины». Зарев освещало половину небосвода. Мы шли открытым морем не менее чем в тридцати милях от берега. А вы, как я только что узнал, подошли всего лишь несколько шалашей. Впрочем, туман действует порой как увеличительное стекло. Это бывает. Поистине полнеба было залито красным заревом. Из чистого любопытства — да, это следует определить как любопытство — я изменил курс.

Тер-Айказун поднялся со стула. Казалось, он намерен сделать важное заявление. Губы его шевелились. Но вдруг он неуверенными шагами приблизился к стене и прижался лицом к иллюминатору. Капитан Бриссон подумал, что со священником случится сейчас то же, что только что произошло со старым доктором. Но Тер-Айказун повернулся. Утреннее солнце заливало низкую кают-компанию. В его лучах черты лица вардавета казались вырезанными из амбрового дерева. Глаза его подернулись влагой, когда он по-армянски прошептал:

— ... И зло свершилось, дабы благодать господня восторжествовала!..

Он чуть поднял руки, как будто для него все выстраданное уже осмыслено и преодолено. Француз не мог его понять. Доктор Петрос спал, уронив голову на стол. А Апету Шатахяну было не до пожара в Городе, который начался богохульным сожжением алтаря и завершился всеобщим спасением.

По прошествии двух часов на горизонте показался мощный линкор «Жанна д'Арк», за ним английский крейсер и еще два французских военных корабля. К полудню к ним подошел большой транспортный пароход. Развернувшись красным строем, оставили за собой веняющийся след, приближались сине-серые корабли со своими массивными орудийными башнями. Командующий эскадрой передал ответную телеграмму капитану второго ранга Бриссону: он не намерен не только взять на борт армянских беженцев и ради этого прервать начатый поход, но желает и лично осмотреть места героической борьбы, где осколки преследуемой христианской нации сорок дней оказывали сопротивление превосходящим силам варваров. Контр-адмирал был известен своими религиозными взглядами ревностный католик, и борьба армян во имя веры искренне изволновала его.

После того как эскадра, соблюдая строгую симметрию, бросила якорь на светлом, как зеркало, море, началась преддесантная суета. Звук горноподхлестывали друг друга, стонали цепи якоря. Медленно спускались на воду большие лодки. Тем временем матросы «Гишена» в самом доступном месте, между рифами, соорудили нечто вроде причала, при этом им очень пришлось кстати плот пастора Арама, с которого тот все собирался ловить рыбу. А спасенные кто лежал, кто сидел на узких скальных площадках и смотрел отсутствующим взглядом на этот спектакль, как будто все это их вовсе не касалось. Главный врач «Гишена» вместе со своими помощниками и санитарями хлопотал возле больных и ослабевших от голода. Он с похвалой отзывался о докторе Алтуня за то, что доктор сумел изолировать больных и подозреваемых. Глубоко вздохнув, доктор Петрос сознался, что наверху, на Дамладже, осталось немало таких же несчастных — они предоставлены самим себе и медленно умирают, хотя большинство из них при хорошем уходе могло бы выжить. Главный врач состроил кислую мину. Тяжкая ответственность ляжет на того, кто решится взять на борт больных! Но что же делать? Немыслимо же отдавать христиан на растерзание туркам!

Главный врач был человеком гуманным и посоветовал своему армянскому коллеге:

— Не будем об этом говорить.  
Дело в том, что подошедший транспорт был совсем пустым и

оборудован большим числом хорошо оснащенных больничных палат. Главный врач подмигну доктору Алтуни — пусть, мол, не тревожится.

Среди здоровых мусадатцев, если в данном случае вообще можно было говорить о здоровых людях, уже успели распределить хлеб и консервы. Корабельные котки наварили в огромных котлах картофельный суп, а добродушные французские матросы предоставляли армянам свои вилки и ложки. Впрочем, армяне принимали все это как нечто невероятное, как некий хлеб во сне, как суп приснившийся, который не может насытить. Но как только люди, не разжевывая и не чувствуя вкуса, проглотили каждый свою порцию, ими овладело совсем иное душевное состояние. Как слабы они ни были, как ни были лишены жизненных сил, а сорок дней Муса-дага для них уже миновали и превратились в почти забытую легенду! Желудки еще противились непривычной, забытой пище (о, хлеб! Тысячу раз желанным хлебом!), но для души все снова стало чем-то само собой разумеющимся, как будто никогда и не было, и милость божья — не что иное, как естественный ход вещей.

Сопровождаемый большой свитой, контр-адмирал на баркасе пристал к зыбким мосткам. Вслед за его моторным баркасом причалили быстроходные катера. Для командующего эскадрой все корабли выделили отряды морской пехоты, вооруженные пулеметами, которые тоже высадились на берег. Пехотинцы быстро рассыпались по побережью, заняв все доступные места, отчего возникла немалая толчея. Взору адмирала повсюду представлялась одна лишь французская морская форма, но то, ради чего он сюда прибыл, почти не открывалось ему. Потребовал полного и подробного отчета о ходе всех боев, медленно шагая он между группками мусадатцев. И тут учителю Шатахяну во второй раз представилась возможность отличиться и на более высоком уровне удивить сына сиятельного француза. Контр-адмирал был маленький пожилой господин со строгим лицом, подтянутый и изящный одновременно. Лицо покрыто типично морским загаром. На верхней губе прилепился белоснежный щеточка усов. Голубые глаза выдавали даже некоторую жестокость, правда смягченную устремленностью вдали. Грациозная фигурка старика была облачена не в мундир, а в удобный полотнояный костюм, которому узкая орденская планка придавала несколько военных вид. Адмирал интересовался турками, их вооружением, количеством солдат, а затем, указав тонкой бамбуковой палочкой наверх, объявил свите о своем желании осмотреть места боев на горе. Один из сопровождавших его офицеров осмелился заметить, что адмиралу подъем на несколько сот метров будет затруднителен, к тому же они не успеют вернуться на борт к обеду. Смелчаку не было дано вообще никакого ответа. Адмирал приказал начать подъем. Адъютант последил передать морской пехоте приказ подняться по тропе на Дам-

ладж и занять там круговую оборону до того, как прибудет его превосходительство командующий. Подобная прогулка во вражеском расположении была несколько рискованным предприятием. Гора, возможно, окружена турецкими пушками и нацеливана их солдатами. Можно было ожидать самых непредвиденных неприятностей. Но характер командующего не терпел никаких возражений. Поэтому было решено держать турок на почтительном расстоянии, дав несколько залпов судовой артиллерии по прибрежным селениям. Адъютанту пришлось позаботиться и о завтраке — восхождение на такую гору означало для старого моряка немалое напряжение. Частоблюдиному же адмиралу не терпелось доказать молодым офицерам превосходство и своего сердца, и легких, и ног... Легким прыжками шагом он поднимался впереди всех по крутой тропе.

Сато исполняла роль проводника. Силы ее вовсе не иссякли от голода. Она забегала вперед, возвращалась и, как маленькая собачка, проделывала один и тот же путь трижды. Таких высокопоставленных господ зейтунская сирота никогда в жизни не видела! Ее жадные сорочки глазки пожирала мушкетеры, аксельбанты, ордена и медали, а пальцы тем временем выскребали остатки застывшего жира со дна консервной банки. По жилкам ее растекался пот, которой ее угостили матросы. Она назойливо вертела своим тощим задом, прикрытым обрывками бывшего платья-бабочки. Время от времени она протягивала офицерам свою черную грязную лапу и обычное в этих краях восклицание вырывалось из ее гортани:

— Бакиши!

Свита и весь штаб часто останавливались, любуясь красотой столь богатого лесами и родниками Муса-дага. Кое-кому из них приходило в голову то же сравнение, что и Гонзаго Марису: Ринаера! Но другие отдавали предпочтение дикой дичности горы и называли ее «Моисеевой». В конце свиты шли два молодых морских офицера. До сих пор они не проронили ни слова. Один из них, англичанин, остановился, но не обернулся к морю, а долго смотрел на землю под своими ногами.

— Послушайте, приятели! Эти армяне!.. Я не могу отделаться от впечатления, что видел не людей — один глаза!

Габриэл Багратян все еще не разрешал своим дружинникам покидать позицию. Хотя он уже получил донесение об отходе турок и на севере и на юге, он не верил в наступление мира. Быть может, это была чисто военная психология, не терпящая, чтобы бойцы покидали воле брани до того, как окончательно будет решена судьба народа. Слишком далеко прошел новый Габриэл по неизведанному пути, чтобы мог так быстро вернуться к старому Габриэлу.

Это сорок дней на Муса-даге, так преобразившие его, приковав его теперь к месту. Примерно то же происходило и с некоторыми другими, гораздо более грубыми людьми, чем Габриэл Багратян. Во всей цепи стрелков никто не ворчал и не восставал против такой выдержки Багратяна, и менее всех — отягченные виной дезертиры, которые составили в подобострастной услужливости.

Габриэл обратился к дружинникам с небольшой речью. Никто не имеет права думать о спасении, прежде чем всех женщин и детей не перевезут на корабль. И эта их выдержка должна доказать французам достоинство и честь армянской нации. Они покинут старую родину, как небожеженные воины, с оружием в руках, соблюдая порядок и дисциплину. Не бросит он и эти гаубицы, захватом которых народ обзавел его сына. Этот важный военный трофей он намерен передать французам.

Однако гораздо существенней, чем все слова, оказалось то, что Тер-Айказун прислал сюда, на гору — и в достаточном количестве, — хлеб, повидло, вино и консервы, не забывая и про табак. Бойцы лежали в своих ямках, погруженные в легкую дрему, находя, что этот бездумный вояк много приятней любого движения.

Покой этот прервался, когда на плато появилась морская пехота и развернутым строем направилась прямо на гаубичные позиции. Завидев их, дружинники повскачили с мест и с криком бросились навстречу французам, которые в своих чистеньких мундирах являли собой разительный контраст измотанным в боях, одетым в бессмысленно равные голодные мусадатгам. Только теперь бойцы смогли осознать величие и триумф своей стойкости.

А когда большая группа старших офицеров приблизилась к высоте, Габриэл медленно шагнул навстречу ей. Сделал он это даже несколько небрежно, словно стыдился всех этих воинских формальностей. Ружье он оставил на земле и был похож сейчас на охотника или археолога. Чуть приподняв памятный тропический шлем, Габриэл представился контр-адмиралу. Несколько секунд моряк смотрел на него пронизательным взглядом, затем протянул руку.

— Вы были здесь командиром?

Габриэл почему-то сразу показал на гаубицы, будто это было так важно — дать знать спасителям, что воевал он не с пустыми руками.

— Господин адмирал, я передаю вам, а тем самым и французской нации, эти два орудия. Мы отбили их у турок.

Контр-адмирал, знавший толк в торжественных церемониях, встал «смирно». Офицеры последовали его примеру.

— Благодарю вас от имени французской нации. Она принимает на хранение этот победоносный трофей сынов Армении. — Он еще раз пожал руку Багратяну. — Захват этих гаубиц ваша личная заслуга?

— Это заслуга моего сына. Он убит.

Наступило молчание. Отбросив бамбуковой палочкой камешек в сторону, контр-адмирал обратился к свите:

— Можно ли спустить эти орудия на берег, а затем погрузить на борт?

Офицер, призванный ответить на этот вопрос, усомнился. Если поднять сюда необходимое снаряжение, то с большими трудностями это возможно осуществить. Но для этого понадобится не менее суток.

После небольшого раздумья его превосходительство решил:

— Позаботьтесь о том, чтобы гаубицы были приведены в негодность. Самое надежное — взорвать их. Однако будьте при этом осмотрительны.

«Тем лучше, — подумал Багратян, — двумя пушками меньше на земле!»

И все же это решение он принял с болью. Стефан! Но адмирал поспешил утешить его:

— Вы оказали благому делу большую услугу, даже если теперь гаубицы будут уничтожены.

Этими словами был дан сигнал к переходу от торжественной части к деловой. Контр-адмирал попросил описать ему весь ход оборонительных боев, а также саму систему обороны. Габриэл в нескольких словах выполнил просьбу. Но при этом его охватило великое нетерпение. Эти чисто умытые, благоухающие господа в великом безупречных мундирах смотрят на разрывающую сердце реальность сорока дней со снисходительным интересом — для них это военная игра, разыгрываемая дилетантами! Три сражения! Разве это война самым важным! Да и что знают эти вылощенные господа об армянской судьбе? Что знают они о каждой отдельной судьбе, разбитой здесь, на Муса-даге?

Нетерпение его перешло в брезгливость. Не лучше ли ему повернуться и уйти? Он же теперь частное лицо, ему надо позаботиться о Жюльетте и об Иску. Надо их как следует устроить. Да нет, ради бога, нет! Французы — чудом посланные спасители и вполне справедливы могут претендовать на безоговорочную благодарность...

Следуя своей обычной основательности, контр-адмирал высказал пожелание осмотреть и главное поле сражения — северное седло. Поинизив голос, он приказал свите записывать все услышанное. Не Поинизив голос, он намеревался представить подробный отчет в военное морское министерство. Спасение семи армянских вбдиш, в конце концов, было делом не только важным, но и громким. Габриэлу Багратяну не оставалось ничего другого, как исполнить желание его превосходительства. Он тут же послал вестового к Чаушу Нурхану. Одновременно под командованием нескольких младших офицеров

в путь тронулась часть морской пехоты с одним пулеметом — следовало обеспечить безопасность командующего эскадрой.

Когда полчаса спустя Габриэл со всем штабом прибыл в район седловины, Чауш Нурхан уже кое-как построил своих дружинников, дабы должным образом, по-солдатски встретить французов. Габриэл, оставив адмирала, подошел к старому воину и обнял его:

— Вот и все кончилось, Чауш Нурхан! Благодарю тебя! Благодарю и каждого из вас!

И рухнул весь строй, и заросшие сыны Армении обступили Багратяна. Многие стремились поймать его руку, чтобы прижать к губам. И было в этой преданности своему командиру что-то от недоверия к блистательной свите адмирала. Ну а пораженные офицеры смотрели на эту совсем не уставную, но такую мужественную сцену с искренним волнением.

После краткого осмотра окопов и скал-баррикад адмирал сам своим долгом отличить Габриэла Багратяна и все его войско соответственной речью. И сделал он это с присущим французам красноречием, не забывая, однако, и о сдержанности, которая соответствовала как его должности, так и его вере.

— Героические поступки в наши дни совершаются во многих странах и на многих морях — во всем мире. Но тогда обычно противостоят друг другу обученные и обстрелянные солдаты. Здесь же, на Муса-даге, в вашем распоряжении находились простые мирные крестьяне и ремесленники. И тем не менее под вашим водительством, командир, эта группа плохо вооруженных селян не только отважно сражалась с превосходящими силами противника, но и героически выстояла в отчаянной схватке не на жизнь, а на смерть! Подобная отвага и мужество достойны того, чтобы их помнили века. И стало это возможно только с божьей помощью. А бог помогал вам потому, что сражались вы не только за себя, но и за его священный крест. Тем самым вы проявили высший героизм, подлинно христианский героизм, а он защищает нечто более возвышенное, нежели дом и очаг. Моими устами французская нация высказывает вам свою благодарность и горда своей помощью вам. А я лично рад, что могу всех вас без исключения взять на борт, и сообщаю, что моя эскадра переправит вас в один из египетских портов — Порт-Санд или Александрию...

В ответ на эту прочувствованную речь Габриэла Багратяна глубоко поклонился. Держа маленькую теплую руку его превосходительства в своей, он думал: «Порт-Санд, Александрия — и я? Что мне там надо? Сидеть в лагере? И почему я?»

В ясном и твердом взгляде старого адмирала мелькнул огонек симпатии, и он чуть не отеческим тоном сказал:

— Мосье Багратян, приглашаю вас быть моим гостем на «Жанне д'Арк»...

Он не стал ждать благодарности, а вытащил из маленького кожаного мешочка толстые, вполне штатские часы и посмотрел на них несколько озабоченно.

— А теперь я просил бы оказать мне честь и познакомиться с мадам Багратян. В свое время я был коротко знаком с ее отцом...

Ночью Жюльетта всеми ремешками и шнурками, какие ей только удалось найти, завязала вход в палатку. Для ее ослабевших рук это была трудная работа, и, завершив ее, она едва дотащила до кровати. Не из страха перед новым нападением бандитов она так тщательно закрывала свою палатку. Странным образом в ее душе гораздо более глубокий след, чем появление длиноволосого, чем то, что Сато сорвала с нее одеяло, оставила, казалось бы, безразличные явления наяву. Она замирала, чтобы никогда более не видеть света, чтобы никогда больше не наступал день, чтобы быть одной на своем ложе, подложить под голову свою любимую кружевную подушечку и никогда больше не подниматься. Она видела себя замурованной! И когда вокруг ее словно в коконе спрятанного «я» стало совсем темно и уютно и она почувствовала себя забко-хорошо, то не было уже Муса-дага, и сына она не потеряла, и турки не напирала, чтобы убить ее. Как по волшебству, вся внутренность палатки препратилась во внутренний мир ее самое, за пределами которого только понаслышке знали о каком-то опасном внешнем мире. И в то время как о рассудке ее никак нельзя было сказать, что он в себе, о ней самой, о существе ее, о самой сути можно было утверждать, что она в высшей степени «в себе».

Близке к утру задремал маленький гонг, висевший у входа в палатку. Жюльетта не шевельнулась. Даже когда она узнала требовательно просивший голос Авакяна, она не отделила. Прогрели выстрелы гаубиц и предупредительный выстрел «Гишена», а у Жюльетты еще еще была ночь и она спряталась подглубже под одеяло — только бы ничто не нарушило ее могильного покоя! Страх за сохранность своего темного, замурованного склепа была сильнее всех инстинктов. Ее больная память тут же забыла грозный грохот пушек. Жюльетта все глубже уходила в себя, только бы не слышать голосов! Но они были настойчивы. А вот зашатались и стены палатки, кто-то тряс ее изо всех сил. Турки? К голосу Авакяна присоединился голос Кристофора:

— Мадам, откройте! Немедленно откройте, мадам!

Стенки, потолок палатки ходили ходуном. Но Жюльетта даже не подняла головы. Теперь она узнала голос Майрик Антарам:

— Душа моя, дай ответ! Ради Христа, дай ответ! Счастье пришло! Великое счастье пришло!..

Жюльетта повернулась на бок... Что эти армяне называют счастьем? Пусть даже Габриэль сам придет сюда, меня никто отсюда не выманит! Кстати, а кто он, этот Габриэль Багратян? Неужели я тоже Багратян?

В конце концов кто-то снаружи разрезал все шнурки и завязки и стремительно раскрыв шаткий скелет. Но Жюльетта повернулась спиной к вошедшим — надо им показать: стоит ей захотеть и она будет одна в своем собственном мире! Какими-то чужими, чуть не визгливыми голосами Авакии и Майрик Антарам говорили что-то о французском военном корабле «Гишен»... А Жюльетта, продолжая разыгрывать обмороч, очень внимательно вслушивалась. Охлащенная подозрительностью умалишенной, она сразу решила: лопуха! Еще вчера вечером доктор Алтуни хотел заставить ее покинуть любимую палатку, одной ей принадлежащее такое дорогое жилье, и переселиться ко всем остальным; к этим животным, от одного вида которых ее бросало в дрожь; да и они ненавидели ее! Эту грубую уловку придумали Габриэль и Искуа. А рассказ о французях должен усилить ее бдительность, чтобы потом она оказалась совсем без всякой защиты. Нет, Жюльетту не обманешь, врагам не вытаскать ее из такого доброго, такого блаженного футляра, в которой ей не надо знать правды! Нет, не вырвать им ее из этого сладчайшего футляра! И пусть Авакии, Майрик Антарам и Кристофор просят, пусть умоляют — она просто будет лежать тут без сознания...

Увидев, что все попытки напрасны, Майрик Антарам махнула рукой: оставьте ее, время у нас еще есть.

Авакии и Кристофор выволокли весь багаж, над которым так глумились десертиры, на площадку и быстро принялись улаживать и складывать все, что осталось неразбитого и неразорванного. Впрочем, едва они связали один-два узла, их вызвал к себе Габриэль.

Еще в первой половине дня кто-то снова откинул полог палатки — с Майрик Антарам вошли двое незнакомых. Это были совсем молодые матросы в синей форме с ярко начищенными пуговицами и повязками Красного Креста на левой руке.

Неподвижно лежа на спине, Жюльетта вдруг увидела два молочво-розовых лица с ясными веселыми глазами. Словно испуг перед чем-то несказанно родным пронизал ее. Меньший из двух отдал ей честь, и его братский голос пронесся над Жюльеттой, как из далекого утраченного мира!

— Просим извинить, мадам! Мы — помощники санитаров на «Гишене». Главный врач приказал и вас, мадам, свести на берег. Мы вырешим немного погодя. Мадам будут так добры приготовить.

Матрос выткнулся в струнку, коснулся рукой шапочки, в то время как второй, неловко ступая талдылыми матросскими башмаками, сделал несколько шагов в глубь палатки и поставил на туалетный столик термос, банку с маслом и две белые будочки.

— По приказанию главного врача — чай, хлеб и масло для мадам.

Сказал он это тоном военного донесения, шелкву каблукими и повернул при этом свой курносый детский профиль в сторону кровати, не глядя на женщину. Конфузливо-трогательная поза неостесненного мужлана!

Жюльетта тихо застонала, а оба санитары, испугавшись, что помешали больной, неуказанно, на щипочках покинули палатку.

Вслед за Майрик Антарам они прошли в лазарет, оставившись же тронутым пожаром. Там уже собралась вся санитарная команда крейсера, готовя равных и больных для отправки на берег. А Жюльетта тоскливо протгивала руки вслед ушедшим землякам, потом вдруг откинула одеяло и села. Темного «кокона» как не бывало! Прижимая ладони к лицу, она ощущивала свои растрепанные волосы, в ужасе шепча:

— Французы! Французы! В каком я виде! Французы!

И вдруг в ее высохшем теле вспыхнула пламя энергии. Она присела к туалетному столику. Ее окостеневшие, неуверенные пальцы перепутались, сместили все, что стояло там косметического. Она нащупала красный крем на щеки, но не растерла его, отчего ее лицо стало еще болезненнее и старше. Схватила шетку, гребень и принялась за волосы, без конца нащепывая:

— Какой же у меня вид!

Впрочем, сил для того, чтобы привести в порядок строптивые волосы, у нее не хватило. Уронив голову на руки, она зарыдала. Но как всегда, жалость к себе самой была так ласково приятна, что она тут же забыла о волосах, и так и оставила их свисать по обеим сторонам лица. И опять она вздрогнула и прошептала:

— Французы! Французы! Что мне делать?..

Она стала искать чемоданы, свой багаж. Нет ничего! Пусто! В страхе она бегала по палатке, почему-то воображая, что ей придется босой, в одной ночной сорочке явиться в общество...

После долгих мучительных поисков Жюльетта пугливо выглядывает наружу. Золотой сентябрьский день заставляет ее отпрянуть. Но уже в следующее мгновение она падает на колени перед большой чемоданом. Но кто же эту подлость сделал? Все перерито, рванно, смято! Это Искуа! Ни одного целого платья! Ей ничего, зорваво, смято! Это Искуа! Ни одного целого платья! Ей ничего, абсолютно ничего надеть! А надо быть красивой. Пришла француз!

Майрик Антарам застала Жюльетту сидящей на земле, в куче рубашек, чулок, платьев, туфель. Изнемогая, она уже не могла тронуться с места и только без конца повторяла:

— Французы пришли! Французы! Что мне надеть?..

Майрик Антарам не могла поверить своим ушам. Как эта женщина, едва избежав смерти, не пронесется еще ни слова, всеми силами противясь знанию правды, могла думать о платьях? Но постепенно



Майрик Антарам начала понимать, что происходит с Жюльеттой. То не было тщеславием. Ведь пришли ее братья, Французы! Она стыдится, она хочет быть достойной своих братьев.

Антарам опустила глаза с Жюльеттой и вместе с ней стала копаться в куче вещей. Но что бы она ни предлагала мадам Багряти, все вызывало только гнев. После длительного времени, в течение которого Майрик Антарам все раз доказала свое ангельское терпение, одно из платьев удостоилось снисхождения. То было простое балльное платье, вырез которого был отделан кружевами. И покуда старая женщина, отнюдь не проявлявшая лояльности в этом деле, помогала надеть платье почти одеревеневшей Жюльетте, та все жаловалась:

— Нет, не подходит...

Но какое платье подошло бы, чтобы принять братьев-спасителей, которым все равно никогда не спасти ее разбитую жизнь?..

Габриэл расстался с контр-адмиралом и поспешно предупредил жену о предстоящем визите француза. Когда он вошел в палатку, Жюльетта сидела на краю кровати. Майрик Антарам, держа чашку в руке, уговаривала ее как непослушного ребенка:

— Хочешь быть красивой, душа моя, когда придут твои французы, — подкрепись немного, а то ведь никакие платья не помогут.

Жюльетта перемогла поднялась, как будто вошедший был незваным человеком, за которым ей следовало куда-то идти. Майрик Антарам, посмотрев на супругов, покинула палатку. Одну из булочек она прихватила с собой: она и сама была близка к голодному обмороку.

С какой-то особой отчетливостью Габриэл вдруг увидел свою прежнюю жизнь, увидел и непродолимо пропал между собой и этой старой своей жизнью. А эта старая жизнь была одета в вечернее платье из тафты, при каждом движении застывающее шуршать все пережитое. Но шею, вся фигура этой прежней жизни потеряла и полноту и краски, Жюльетта еле держалась на ногах и вызвала жалость. Габриэлу славилло горло. Как близка была ему Жюльетта еще в дни своей болезни! Но теперь, когда он увидел ее в балльном шелку, ему открылось, как далеко развели их эти сорок дней! И он вынужден был сделать над собою усилие и сказать:

— Теперь ты такая же, как прежде, chérie. И слава богу...

Он спросил, достанет ли у нее сил сделать несколько шагов навстречу адмиралу. Ведь не захочет же она принять его здесь, в этой темной палатке?

А Жюльетта все оглядывалась вокруг себя — только несколько часов назад эта палатка была ее могилой! Протянув с тоской руки,

она устремилась к маленькой подушке... Габриэл взял ее за руку: — Вечером все вещи будут с тобой, Жюльетта. Ничего не за-будем...

Несмотря на эти утешительные слова, Жюльетта, покидая палатку, еще раз обернулась в темноту, как Эвридика в Аид.

Показался контр-адмирал в сопровождении адъютанта и одного из младших офицеров. Его предупредили, что приближаться к выдвинутой не следует. Эпидемия на Муса-даге весьма опасного свойства. Но командующий эскадрой был отважным человеком, у которого предостережения обычно вызывали противоположную реакцию. Четким шагом, как бы подчеркивающим его молодцеватость, он приблизился к Жюльетте и поцеловал ей руку.

— И ваша доля, мадам, как французенки, как иностранки, в страданиях и деяниях на этой горе велика. Позвольте мне поздравить вас с благополучным окончанием всех бед.

Исхудалое лицо Жюльетты стало томным.

— А Франция, мосье?

— Франция переживает тяжчайшие времена, однако надеется на милость господню.

Состояние Жюльетты, должно быть, тронуло старого моряка. Он взял ее исхудалую руку в обе свои:

— Знаете, дитя мое, вполне возможно, что я не впервые вижу вас... Но тогда вы были еще совсем крохотным существом, а я гостил у ваших родителей, тогда еще молодоженов... Хотя я и не состоял с вашим батюшкой в тесной дружбе, но мы с ним в наши юные годы входили, так сказать, в один и тот же круг...

Жюльетта чуть не зарыдала, но вместо плача получилось какое-то беспомощное бормотание:

— ... Разумеется... дом после папиной смерти продали... мама... мама живет теперь там... Ах, как же эта удница называется?... Вам ничего о ней не известно?... Но моего свояка вы ведь должны знать... он служит в министерстве морского флота... в высокой должности... Как же его зовут?... Голова моя... Коломб, ну конечно же, Жак Коломб! Вы, конечно, знаете его... С сестрами я вижу редко... Но как только я опять буду в Париже, я, конечно, повидала всех друзей и подруг, как вы считаете?... Вы меня отпознаете в Париже?..

Жюльетта покачнулася. Адмирал поддержал ее. Габриэл бросился в палатку и вынес складной стул. Большую усадили. Однако, несмотря на приступ слабости, болтливость ее не утихла. Возможно, она чувствовала себя обязанной поддерживать разговор. Но болтовня делалась все более вымученной, в ней появилось что-то полугаеоб-разное. Она называла все новые имена, как ей казалось, каких-то общих знакомых. Речь ее перескакивала с одного на другое без всякого связи. Контр-адмиралу стало явно не по себе. В конце концов он подозвал младшего офицера:

— Вы позаботитесь обо всем, мой друг... и будете сопровождать мадам... «Жанна д'Арк» корабль военный, а на военном корабле вы не найдете должного комфорта. Но мы предпримем все необходимые меры, чтобы путешествие было вам приятно, дитя мое...

И даже после того, как удался контр-адмирал, которого Габриэль немного проводил, болезненная болтливость Жюльетты не прекратилась. Молодой офицер, которого высокое начальство оставило в качестве кавалера, защитника и почетного телохранителя, с недоумением взирал на побелевшие губы несчастной женщины, из которых непрерывным потоком вырывались вопросы, на которые он не знал ответа. При этом в душе больной, должно быть, происходило что-то ужасное: дышала она быстро, пульс на шее трепетал. Да и тени под глазами делались все глубже и темней. Офицер обрадовался возвращению Габриэля Багратяна; несколько позднее явился и матросы-санитары с носилками. Поначалу Жюльетта противилась отправке:

— Нет, я не лягу на это... Нет, это позор... Нет, я лучше пойду пешком...

— Тебе это не под силу, — сказал Габриэль, глядя ее руки. — Будь умницей, яг и вытнись. Можешь мне поперить, я бы охотно согласился, чтобы меня свесли вниз...

Обе молочко-розовые физиономии расплылись в улыбке. Матросы подбадривали больную:

— Не беспокойтесь, мадам, мы свесим вас, как хрустальную вазу, вы ничего и не почувствуете.

Жюльетта сдалась и даже притихла, как только легла на носилки. Габриэль принес плед, подложил ей под голову льбящую подушечку и вручил ее сумочку сопровождавшему офицеру. Еще раз поглядев жену по полюсам, он сказал:

— Успокойся... мы ничего важного здесь не забудем... — и сам же оборвал себя. Офицер вопросительно взглянул на него. Носилки подыали носилки и сделали несколько шагов. В стороне, очень волнуясь, их поджидала Сато: уж очень ей хотелось возглавить процессию.

— Я сейчас догону вас, — крикнул Багратян жене.

Но Жюльетта так резко повернулась, что носилочки опустя свою ношу на землю. Ее истерзанное, отмеченное безумием лицо обратилось к Габриэлю, раздался голос, которого он никогда раньше не слышал:

— Ты слышишь? Стефан... Непременно позаботься о Стефане!

Но и в спасении мера страданий еще не была исчерпана.

Из палатки Товмасьонов кто-то крикнул:

— Багратян, подойдите сюда!

Габриэль думал, что Искуи находится у своего раненого брата. Но она не показывалась. Габриэль вошел в палатку Арама. Все произошедшее стало бессмысленным и безразличным. Пастора он застал в крайне лихорадочном, возбужденном состоянии.

— Где Искуи, Габриэль Багратян? Скажите во имя спасителя, где вы оставили Искуи?

— Искуи? После полуночи она несколько минут была у меня на висоте, где стоят гаубицы. Затем я просил ее пойти к моей жене.

— В том-то и дело! — выкрикнул пастор. — Еще утром я был твердо убежден, что она находится у вас на позициях... Но она не вернулась... она пропала... Я послал людей искать ее. Они ищут ее уже несколько часов... Матросы-французы давно уже хотели свести меня вниз. Но я без Искуи отсюда не уйду... Нет, нет, я не покину гору!..

Он вцепился в руку Габриэля и, несмотря на ранение, приподнялся.

— Это я во всем виноват, Багратян... я все сейчас объясню... и виноват... И если бог, после того как всех одарил своей милостью, покарает меня через сына моего и сестру, то это будет только справедливо... И жена моя испослала мне во испытание...

— А где же ваша жена? — спросил Габриэль очень спокойно.

— Она побежала вниз. И младенца с собой взяла. Кто-то сказал, что там выдают молоко. Тут уж удержать ее не было никакой возможности.

От волнения раненый не мог больше говорить. Он попытался встать, но тут же снова лег.

— Проклятье! Ничего не могу! Пошевелиться не могу... Сделайте что-нибудь, Багратян! Вы тоже виноваты перед Искуи... Вы тоже...

— Подождите здесь, пастор. Я вернусь...

Прозвнес это Габриэль еле слышно. Он двинулся через площадь Трех штаров, медленно пересек ее, но далеко не ушел, а просто сел и стал смотреть вперед. Одна мысль тревожила его усталый, слабый дух: «И это спасение?» Он старался вспомнить свой ночной разговор с Искуи. Но в душе не сохранилось ни одной подробности, а лишь осадок разочарования. Она приходила, чтобы напомнить ему об обещании быть с ним в последний час. А он отверг ее, отослал к Жюльетте. И это было так естественно! Потому что даже после вчерашней катастрофы он не терял надежды на спасение. Искуи должна была быть в безопасности. Разве не об этом он думал ночью? А Искуи все время стремилась к чему-то, чего он ей дать не мог, — к гибели, к упительной вере в гибель. И он должен был разочаровать ее в этой мужественной вере. Однако где же она сейчас? Габриэль не мог объяснить почему, но был уверен, что Искуи уже нет в живых...

Искун еще ночью искала смерти, Искун нет на Дамладдже, и сколько бы ее ни искали — все напрасно...

Но Габриэла стужила с себя эту сковывающую безнадежность и отдала необходимые распоряжения.

И все же Габриэл ошибался. Искун была жива. Когда он приложил к губам свисток, чтобы вызвать людей и отправить их на поиски, Геворк-паясу уже вышла ее, Праада, еще немного, и он опоздал бы. Ночью Искун сбилась с протеренной тропы и упала в небольшую заросшую расщелину. Расселина эта находилась в стороне от общих дорог, неподалеку от скалы-террасы. Что Искун понемногу делала здесь между полуднем и рассветом — этого никто не мог сказать. Отделалась она несколькими седнями на руках и ногах. Никаких ран, перелома костей, сотрясения мозга, даже никакого растяжения у нее не было. И все же смертельная усталость, против которой Искун боролась уже несколько дней и в которую она, как в нечто желанное, погружалась все больше, целиком завладела ею.

Когда Геворк принес ее на своих могучих руках, привыкших и к иным тягостям, она была еще в полном сознании. Огромные, чуть ли не веселые глаза были широко раскрыты, но говорить она не могла. К счастью, среди матросов, которые перенесли последних больных, вышел один молодой медик с «Гниена». Он дал Искун сильноедействующее сердечное лекарство, однако настоял на немедленной отправке Искун на борт корабля, а то как бы не случилось беды. Тут же матросы положили Товмасына и Искун на носилах. Габриэл поручил Кристофору, как только будет вынесен багаж, сжечь все три шатра со всем содержимым.

Спускался Габриэл держась как можно ближе к Искун, впрочем тропы редко позволяла это делать, а носильщикам стоило большого труда сохранять равновесие и не сорваться — спрыгнула низвергалась голый отвесный обрыв. Впереди шли матросы с Товмасыном, затем следовали носилки с Искун, неподалеку от которой держался и молодой врач-практикант. Но это была еще не конец — позади несли еще трех раненных в ноги в сражении двадцать третьего августа и одну роженку. Замыкали вереницу задержавшиеся на пожарище дружинники — они надеялись найти среди угляй что-нибудь из своего домашнего скарба. Три-четыре раза в тех местах, где тропа была пошире, носильщики останавливались отдохнуть. И тогда Габриэл склонялся к Искун. Но и здесь он почти не мог говорить: в двух шагах от них стояли носилки с настояром Арамом. Да и врач подходил каждые две минуты, чтобы дать Искун молоко или провострить пульс. Тихим голосом Габриэл произносил какие-то обрывки фраз:

— Куда ты хотела бежать, Искун?.. Что у тебя было на уме?..

Гам?..

Отвечали только ее глаза.

Зачем ты спрашиваешь о том, чего я сама не знаю... Я как будто

бы парила... У нас так мало остается времени... еще меньше, чем ночью...»

Он опустился на колени рядом с носилками, подложил свою руку ей под голову, как бы стараясь помочь ей заговорить. При этом его собственными словами были едва слышны:

— Тебе больно?

Глаза ее поняли и тут же ответили:

«Нет. Я не чувствую себя совсем. Но я так страдаю оттого, что все так получилось. Разве без этих кораблей не было бы все гораздо лучше? Вот и настал конец, Габриэл. Но он не наш...»

Глаза Габриэла не умели ни так хорошо говорить, ни так хорошо читать по губам, как глаза Искун. И он сказал что-то совсем невпопад:

— Это только небольшой коллапс, Искун... это от голода.

Обратившись к молодому врачу, он продолжал по-французски:

— Доктор тоже так считает. Через три дня, когда мы прибудем в Порт-Санд, ты уже сможешь ходить... Ты же так молода, Искун. Так молода...

Глаза ее помрачнели и строго ответили:

«Какже пошлое слова, Габриэл! В эту минуту незачем было их говорить. Умру ли я, или буду жить — мне все равно. Но ты ошибаешься, думая, что я хочу смерти. Может быть, я и буду жить. Но разве ты не знаешь, что все будет по-другому, когда нас перенесут на корабль... И ты и я — мы будем совсем другими... Мы принадлежим друг другу только здесь, пока у нас под ногами земля Мусадага. Ты — моя любовь, а я — твоя сестра».

Не все, но многое, казалось, понял Габриэл. И будто отражение ее слов, сказанных глазами, у него тихо вырвалось:

— Да, где мы будем... я и ты... сестра?

Впервые разомкнулись ее губы и исторгли два страстных слова, которые противоречили всему предлаушему:

— С тобой...

Носильщики подыали носилки — дальше дорога была нетрудной. Сюда уже доносились голоса снизу. А там, на самом берегу, на узких скалистых площадках сделалась опасная для жизни толкотня, ее еще больше усугубили матросы, под разными предлогами отприснившиеся на берег. Полным ходом шла погрузка. Крик, неразбериха! На Габриэла Багратяна со всех сторон сыпалась вопросы, просьбы, пожелания, требования. Каким-то таинственным образом соплеменники связывали чудо спасения с ним самим, без каких бы то ни было разумных объяснений. Это же он, родственник великой Франции, и был тем самым богом посланным человеком, призванным помогать своим землякам на Мусадаге да и в предстоящей эмиграции. Все

его противники в большом совете — старосты, Томас Кебуси и его супруга с быстрыми мышинными глазами — изощрились в подобию страсти. Целый поток просьб составить протекцию обрушился на него. А когда он, в конце концов, пробился к причальным мосткам, шляпка с Искуи и Арамом уже отчалила. По приказу офинера, руководившего погрузкой, больных и немощных отправляли в первую очередь. Жюльетту уже давно перевезли в моторном баркасе контр-адмирала на «Жанну д'Арк».

Солнце заливало все море слепящими осколками, шляпки скользили по ним к кораблям и обратно на берег. Искуи лежала в своей шляпке невидимая. Габриэл узнал только застывшую фигуру Овсанки, недвижимо державшую на руках перворожденного мусадагца.

Погрузка шла чрезвычайно медленно: столько надо было преодолеть при этом труднейшей! Большую часть населения деревень можно было легко разместить на транспорте, но этому весьма удобному плану воспротивились врачи. При таком скоплении людей рядом с заразными больными следовало опасаться самого худшего. На транспорт необходимо было погрузить только больных и изможденных, отделив их таким образом от команд боевых кораблей и от здоровой части деревенских жителей. Так пароход превратился в сплошное несчастье, страдание, беды. Комиссия, состоявшая из офицеров и врачей, проверяла каждого армянина — здоров ли, свободен ли от насекомых, прежде чем определить, на какой корабль его отправят. При этом соблюдались очень строгие правила. При малейшем подозрении человека отправляли на транспорт. Из руководителей мусадагцев в комиссию входил один только Тер-Айказун. Сидя доктора Петроса совсем асыкали, и главный врач переправил его на «Гишен». Учитель Апет Шатахи тоже болтался на крейсере, блаженствуя в непривычном комфорте западной цивилизации. Мухтаря на берегу, очевидно, позабыли о своих обязанностях старост и в основном действовали как озабоченные отцы семейства. То же самое происходило и с женатыми сельскими священниками и учителями. Во всяком случае Тер-Айказун в одиночестве пекся о нуждах народа, то есть уговаривал офицеров и врачей, чтобы они без необходимости не разъединяли семьи и чтобы на транспорт отправляли только тех, кому там и место.

Габриэл Багратян подошел к отборочной комиссии, работавшей неподалеку от причального мостика, и положил обе руки на плечи Тер-Айказуна. Вардапет обернулся — лицо спокойное, восковое, о последних событиях на Дамладже говорили только рубец от раны и сожженная борода. Свой краткий и все же строгий взгляд он устремил Габриэлу прямо в глаза, что в последнее время случалось редко.

— Хорошо, что я вижу вас, Габриэл Багратян... У меня к вам вопрос. — Тер-Айказун говорил тихо, хотя французы и не могли его

понимать — он говорил по-армянски. — Главные подстрекатели — Восканян и Кидякян, исчезая, и с ними еще кое-кто...

— Кидякян мертв, — сказал Багратян, ничего при этом не испытывая.

В глазах Тер-Айказуна мелькнуло что-то — как будто он понял. Затем, указав на узкую полосу скалистого берега, где толпились, ожидая погрузки, дезертиры, сказал:

— Я хотел спросить вас: заслужили ли эти бродяги право быть спасенными?.. Не лучше ли их прогнать?..

Ни секунды не колебавшись, Габриэл ответил:

— А мы сами заслужили право быть спасенными? И разве мы — спасители? Во всяком случае мы, как спасенные, не имеем права исключать кого бы то ни было...

Тер-Айказун чуть-чуть улыбнулся:

— Хорошо, я только хотел получить у вас подтверждение...

У вардапета уже не было такого жалкого вида, как утром. Кто-то из военных священников дал ему сюртук. Его старая привычка прятать руки в рукава ряссы заставляла его теперь засовывать их каким-то неловким движением в карманы сюртука.

— Я рад, Габриэл Багратян, что мы и теперь с вами одного мнения. Собственно говоря, у вас с нами это бывало всегда...

И впервые в его улыбке появилось что-то похожее на стыдливую нежность.

Габриэл некоторое время следил, как провернут людей. Но поскольку он совершенно не мог сосредоточиться, он видел только какую-то бессмысленную беготню. Прошло немного времени, и Тер-Айказун удивленно спросил:

— Вы все еще здесь, Багратян? Вам подходит моторный баркас с «Жанной д'Арк». Видите? Здесь мне ваша помощь не нужна. Вы выполнили свой долг. Да будет он благословен. Я свой — еще нет. Ступайте с богом, отдохните. Я буду на «Гишене».

Какое-то внутреннее сопротивление не позволяло Габриэлу окончательно проститься...

— Может быть, я еще застану вас здесь, Тер-Айказун...

Противостоявший сквозь толпу ожидавших погрузки, он сделал несколько шагов в сторону горной тропы. Навстречу вышел Авакян, за ним Кристофор, Мисак и Геворк тащили весь еще сохранившийся багаж Багратянов. Верный Авакян спас все, что только можно было спустить по тропе. Лишь кровати и домашняя утварь были сожжены. Габриэл улыбнулся:

— Алло, Авакян... Зачем это вы стараетесь? У вас такой вид, как будто мы намереемся совершить увлекательное путешествие в Египет...

Сквозь очки в никелированной оправе студент посмотрел на своего шефа осуждающе. При этом у него был вид бедного человека,

который лучше способен оценивать вещи, чем ничего не понимающий богач. Габриэль взял его под руку и отвел в сторону:

— Мне еще раз понадобится ваша помощь, Авакия, друг мой... Я все время думаю, как бы мне это устроить... Я очень нуждаюсь в покое... Однако в ближайшие дни я буду лишен его. Контр-адмирал пригласил меня к своему столу. И мне придется часами вести беседу с безразличными мне людьми, либо хвастать, либо разыгрывать скромность — и то и другое в одинаковой степени неприятно. Новый плен во всяком случае! Мне этого не хочется. Вы понимаете меня, Авакия? Мне не хочется! Эти три дня я хочу быть один, совсем один! Поэтому я не поднимусь на борт «Жанны д'Арк». Я перейду на транспорт. Там офицеров мало. Койку мне выделают, — вот я и обрету желанный покой...

На лице Самuela Авакияна изобразился ужас.

— Но на транспорте надо будет проходить карантин, эфенди!

— Карантин меня не пугает.

— Это может оказаться пленом, который продлится больше сорока дней.

— Если я захочу, меня уж как-нибудь выпустят.

— Вы оскорбляете контр-адмирала. Он же наш ангел-спаситель!

— В том-то и дело... И тут я нуждаюсь в вашей помощи, Авакия.

Прошу вас немедленно отмениться под моим именем и сказать, что по такой-то причине я не могу явиться лично. Скажите, что на транспорт попали наши самые ненадежные люди. За такой короткий срок нам не удалось наладить соответствующий контроль. Кто-то должен там навести порядок. И я взяла это на себя...

Должно быть, Авакияна это не убедило. Но Габриэль настоял на своем:

— Такая мотивировка вполне убедительна. Можете быть спокойны. Старый солдат и морской волк поймет подобную предусмотрительность. Да никто на это и не обратит внимания. Итак, Авакия, желаю вам успеха...

Студент все еще колебался:

— Тогда мы несколько дней не увидимся...

Слова эти прозвучали тревожно. Габриэль указал на причал:

— Вам пора, Авакия. Моторный баркас с «Жанны д'Арк», вероятно, больше не придет. Пусть бумаги пока останутся при вас.

С баркаса доносились нетерпеливые сигналы, призывавшие к отплытию. Авакия едва успел пожать Габриэлю руку. А Габриэль, задумавшись, долго смотрел ему вслед. Затем спросил одного из офицеров, когда отчаливают шлюпки, идущие на транспорт. «Большинство больных уже перевезены, — ответили ему, — и самими последними отправят отобранных».

«Это может продолжаться еще многие часы», — подумал Габриэль, глядя на толпу, осаждавшую комиссию у причала. Но это его новсе

не огорчило — он был рад, что ему удалось улизнуть от адмирала да и вообще от пребывания на «Жанне д'Арк».

Медленными шагами он направился к тропе, поднимавшейся в гору; у него ведь было так много времени! И как приятно уйти от бабьего крика внизу, да и укрыться от жгучего сентябрьского солнца в тенистой прохладе...

Габриэлю пришлось миновать сборный пункт, где ждали все отобранные — их отделили, чтобы они не смешались с теми, кого направляли на боевые корабли. Многие, и прежде всего кладбищенская братия, спасались здесь от проверки на насекомых. Вот Багратян и увидел своих будущих спутников. Умыляясь, бежала рядом Сато, протягивала к нему руки, словно нищенка. В Погонолуке она никогда этого не делала. Несколько мрачных фигур поднялись с земли — дезертиры! От этих трудно будет отжаться! Нулик и остальные плакательным сидели на мешках, в которых надеялись переправить свои прожитые сокровища в другую часть света. В левой руке каждая из них держала посох, правую же они прикладывали к груди, губам и лбу, приветствуя так господина Габриэля Багратяна, последнего сына Месропа, внука Аветиса Багратяна, великого благодетеля. А Нуник, жившая уже вне времени, приветствовала в его лице того младенца, при рождении которого она, спрятавшись от змеи Петроса, своим зисом рисовала кресты на дверях и стенах, дабы изгнать демонов. Слепые старцы с головами пророков, тихо напевая, сидели прямо на земле. Жирных мух, прилипающих к глазницам, никто не спугивал. Не тревожились прошлым, не заботились о будущем, тихо пели старцы. Они не спрашивали о том, что было, они не терли родины, они слушали только внутренний гул и позволяли Нуник, Вартук, Манушак и поводирям вести себя, куда тем заблагорассудится... И довольно и жалобно звучало их тонкое жужжание, изредка переходя в дискантовые трели.

Но как раз от этого жужжания и защемило сердце у Габриэля. Оно вызвало Стефана... Габриэль ускорила шаг. Он поднимался все выше по горной тропе — только бы не слышать слепцов! Но очень скоро вместо них в ушах затараторила, как поугай, Жюльетта, и тут же он услышал ее крик: «Непременно позаботься о Стефане!»

Он шагал все быстрее, погруженный в мысли, которых сам не понимал, и вдруг, удивленный, остановился: как высоко он уже поднялся! Но как здесь хорошо! Скала, прикрытая, как наесом, арбутусом и миртами, со сплнкой, поросшей мхом, приглашала прилесть. В этом укромном месте Габриэль и опустился на землю. Отсюда хорошо была видна вся суета там, внизу, у причального мостика, и пять сизо-серых кораблей, застывших в расплавленном серебре. Дальше всех — транспорт. Ближе — «Гишес» с Иску. От рыбацкого плота пастора Арама, крепко притянутого морскими канатами к рифам, веревкнуты узкие мостки. Спасенные один за другим балансировали

по доскам к шлюпкам. Порой все это сооружение раскачивалось, взлетала брызги, раздавался женский визг... И эта картина сгустила у Габриэла все остальное. Суета на берегу так и не прекращалась.

«У меня еще много времени!» — думал Габриэл. Но ему не следовало так думать. Более того, в этом прекрасном уголке ему не следовало оставаться, как не следует сидеть на снегу замерзающему человеку. Вся картина погрузилась однообразно покачивалась перед ним. И тогда бог низложил Габриэлу Багратяну глубочайший сон. Сон этот был соткан из всего пережитого, из всех бессонных ночей Сорока дней. Против этого сна были бессильны и воля и дух.

По вечерам мать говорит своему ребенку, когда у того сплюнуты глаза: «Сон тебя сморил!» И Габриэла Багратяна сморил сон — нет, не сон, его сморила смерть.

## Глава седьмая

### НЕПОСТИЖИМОМУ В НАС И НАД НАМИ

Пять сирен взывают разом. Нестройно, отрывисто, угрожающе, сильно.

Габриэл спокойно открывает глаза. Ищет взглядом зыбкую картинку, которую, мнитса ему, лишь только что видел. Набежавший прибой заливал опустелые скалы. Плот размывает, и бревна подолзутся врознь. «Гишен» лег и дрейф. Нос его, обращенный к юго-западу, глубоко прорезался в морскую синь. Другие суда эскадры идут впереди. Словно танцоры, пытаются они с тяжеловатым изяществом образовать законченную фигуру. «Жанна д'Арк» медленно маневрирует в центре этой фигуры.

Габриэл внимательно наблюдает за происходящим. Потом спохватывается: «А как же Айказуи? Ничего не заметил? Да нет же! Он ведь думает, что я на «Жанне д'Арк»»

Габриэл вскакивает, зовет, машет руками. Но звук голоса расценивается в пространстве, а жесты не похожи на призыв отчаявшегося. В предрассветный час солнце достигает выступа Рас-эль-Хангера, и скальные откосы Муса-дага погружаются в густую тень.

Будь у Багратяна хоть малость рассудка, он сбегал бы вниз, на эти скалы, избрался бы на самую высокую и постарался любым способом привлечь внимание. Палуба «Гишена» запружена армянами, они сгрудились у поручней, прощаются с горой жизни: таким стал для них Муса-даг, хоть он грозно сунится, глядя им вслед, точно разочарованный убийца, упустивший намеченную жертву. Как ни шумно дышит море и грохочет судовой винт, на палубе или на наблюдательном посту уж верно бы заметили Габриэла Багратяна. Но он, злосчастный, не только не покидает свой тенистый уголок, но

перестает кричать и махать руками, словно бы наскучил бессмысленной формальностью. Габриэл и сам изумлен охватившим его глубочайшим спокойствием. Человек в этом положении должен бы взывать, как безумный, о помощи, должен бы кинуться в воду, поплыть за кораблями, спастись либо погибнуть — что-нибудь одно!

Корабли движутся так медленно. Есть еще время. Габриэл недоумевает: откуда в нем это спокойствие? Может, кровь его еще скована сном? Подле него, там, где ему так удобно сидится, лежит флаг, которую француз наполнил черным кофе и коньяком. Он хочет пробудить свое услащенное отчаяние, поэтому пьет большими глотками. Но жгительный напиток оказывает обратное действие. Кровь, правда, течет быстрее, мускулы наливаются силой, но спокойствие нимало не сменяется страхом смерти, воплем о помощи. Оно только принимает более действительную форму. Преображается в расточную примиренность. Земной, плотский человек сперва стыдится этого.

«Взберись на открытое высокое место и сделай из куртки сигнальный флаг». Такая попытка практически ничего не даст. Самообман, театр для себя. Это просто поднимает дух, мешая впасть в уныние.

Затем он, разумеется, спрашивает себя:

— А средства к существованию?

Он шарит в карманах плавки. Три булочки и две плитки шоколада. Это все. В карманах куртки — ничего, только карта Дамладжака, два-три старых письма, какие-то заметки, пустая коробка от сигарет да еще монета агн Рифаата с греческой надписью.

Габриэл держит на ладони круглый золотой кружок. Вспоминает вдруг, что во время великого исхода ходил за этой забытой монетой на виллу. Не ходил бы лучше! Сейчас ему кажется, что надо бы все-таки выбросить этот недобрый амулет. Однако не делает этого, прячет монету обратно, памятуя о надписи.

Даже в первые дни Сопротивления не чувствовал себя Багратяна таким здоровым, таким сильным, как сейчас. Ни следа усталости, ноги не болят, колени легко сгибаются, сердце бьется ровно, и не успеваешь он опомниться, как ноги выносят его на открытое место, расположенное высоко над морем. Он становится на выступ скалы, кругообразно размахивает над головой плащом. Но, едва начав, опускает руки. И в тот же миг впервые осознает с ослепительной ясностью, что *вовсе не хочет, чтобы на эскадре его увидели*, что оказался он в этом положении *вовсе не по несчастной случайности*, а согласно сокровенному волеизъявлению не только бога, но и своему.

Как же это так? Он не замечает в себе ни малейшего признака смияения духа или смятения чувств. Ум его столь же ясен, сколь покойна душа. Ему даже кажется, что лишь сейчас он высвобождается из вельны долгого душевого мороза. Всей сутью своей, всей еще не изведанной силой разума жаждет он обрести прозрение.



Он покидает высоту, с которой открывался обзор моря. Размашистым шагом преодолевает крутую тропу — сейчас ему легко нести свое тело, — а тропа эта не что иное, как вытоптаный, отмеченный веками, камнями и колыями зигзаг между скалистыми откосами, водоотводными канавами и расщелинами. Но ясность, обретенная Габриэлом, одарила и его телесную оболочку, так что ему незачем помнить о вехах и опасностях на своем пути. Он знает, что при этом жизненном ощущении не может ни забрести на неприступную кручу, ни сорваться в пропасть. Равномерно, под такт пульсы, работает его мысль. И тут, на этом отрезке пути, в Габриэле заговорила гордость. Так вот почему, когда с моря громом грянуло чудо, он был почти разочарован. Вот почему сообщение его превосходительства, что народ Муса-дага, а с ним и Габриэла выселят в Александрию или Порт-Саяде, вызвало у него необъяснимое чувство недовольства! В этом недовольстве зрело уже великое волненье этой минуты. Тотчас же, едва пришло всеобщее спасение, Габриэла будто озарило: нет для него возврата к этой жизни уже хотя бы потому, что истинный Габриэл Багратян, каким он стал за эти сорок дней, должен быть *востановлен* спасен.

Очутиться в Александрии или Порт-Саяде? В каком-нибудь лагере армянских беженцев? Променять Муса-даг на другой загон — пониже и потеснее? С высоты решающей схватки унизиться до рабства, в ожидании новой милости? Зачем? В ушах звучит старая поговорка экима Алтуни: «Быть армянином невозможно». Совершенно верно! Но со всякими невозможностями счесть поковчен. Габриэл полон несказанной уверенности в одном единственно возможном. Он разделял судьбу людей одной с ним крови. Возглавил борьбу народа своего отечества. Но разве в новом Габриэле говорят только кровь? Разве новый Габриэл только армянин? Прежде он мнил себя — и не по праву! — «абстрактным человеком», человеком в себе. Но чтобы востановить себя, Габриэлу пришлось сперва пройти здесь через этот загон всеобщности. Вот он и стал человеком в себе, отсюда и это ощущение безграничной свободы. Космическая пустыня. По которой томилась душа вначале утром. Теперь он обрекает ее, такую, какая и не силится смертному. С каждым вздохом вливает он пьянящую радость независимости.

Корабли уплывают, а Багратян остается на этом скалистом склоне Муса-дага, что от края до края лует первоизданию. Кругом ни души, только двое: бог и Габриэл Багратян. И Габриэл Багратян высклал мастью божьей, он действительней всех людей и народов!

Но в этом упоении сладой и гордостью Габриэлу становится вдруг не по себе. Женщины! Там, где есть женщины, непременно есть и мужская вина.

Сейчас Габриэл у того уступа, где сделали привала санитары и глаза Искуи сказали «прощай». Но перед ним возникает не образ

Искуи, он видит Жюльетту в тафтяном платье. Что же будет с Жюльеттой?

Габриэл останавливается и окидывает взглядом море. Корабан идут так медленно. Они не достигли еще середины высоко вздымающейся морской синевы. Если он будет махать над головой плащом, его, может статься, заметят вахтенные. Но его осеняет мысль: Жюльетта станет свободной и ей легко будет восстановиться во французском подданстве. Если окажется, что он пропал без вести, то адмирал, да и весь мир, примет в ней живейшее участие. Это очевидное соображение подкрепляет его право на свободу.

Теперь он идет осторожней, опустив голову, вдоль скалистого обрыва, пока тропа не терется в ассу и зарослях. Габриэл миновал еще два поворота дороги, как вдруг в ужасе замер. Возможно ли? Неужели Искуи взаправду где-то в последнюю минуту спряталась, чтобы остаться с ним? Несколько секунд он думает: «Бред, фантазия разыгралась».

Но внутренне он верит. Он ведь слышит шаги Искуи за собой. Различает четкую дробь ее каблучков.

Где-то мы будем, сестра, ты да я?

А она возьми да и сдержи свое слово: «С тобой».

Он не оглядывается, проходит еще немалый кусок дороги, потом останавливается. Ровные, легкие шаги Искуи непереставно слышатся сзади. Все отчетливей раздаются эти женские шаги, все аверх, в гору. Шуршит под ними тропинка, скрипит песок, оскакивают камни. Габриэл ждал. Искуи должна была бы уже его догнать. Но шаги все постукивают — так да этак, так да этак — то поблизи, то адалеке. Наконец Габриэл соображает, что раздаются они не извне, а изнутри.

Рука скользнула вдоль бедра, лопит на месте преступления карман-ные часы. Когда он их вынимает, тиканье становится оглушительным, напоминает уже не женские шаги, а удары молотка по камню. Пустынная местность усиливает звук. Или это отпущенное Габриэлу время ускоряет свой бег заодно с током его крови?

Он все еще держит в руке часы, когда последняя тень сомнения исчезает. Давешний сон его был не простой. Сон этот был предуготован, чтобы помочь преодолеть слабость и осуществить свое предназначение. Габриэла без него не устоял бы. Но бог предназначил его для чего-то другого.

Когда же это было? Примерщилось ему это или и правда он сказал эти слова: «С некоторых пор во мне живет несокрушимая уверенность, что бог меня для чего-то предназначил...» Теперь Габриэл постиг свое предназначение во всей полноте. И его переполняет другое чувство, не военное свободой и радостной уверенностью. Нет, душу обуревают иное, новое чувство: восторг надмирной связи, духовное озарение: «Жизнь моя управляема свыше, следовательно спасена...»

Раскинув руки, бредет он дальше, не чуя под ногами дороги. Перед ним открывается новая расщелина в скале. Все выше становится горизонт моря. Эскадра, построившись треугольником, словно косяк аистов, уходит в дальнюю даль.

Но Габриэл перестает следить за кораблями. Он глядит в закатное небо, лазурь которого мало-помалу заливает темное золото. Теперь он знает — так бывало с ним только в детстве, — что Отец всеялен. Чаша окоема делается все глубже и глубже, выгибается куполом, перестает быть холодным, астрономическим, мировым пространством, становится местом благостного приобщения.

Дорога обрывается на последнем подъеме. Габриэл этого не чувствует. Он по-прежнему идет, раскинув руки, и глядит в застланное тенью небо. Каждый шаг Габриэла — самоотдача. Но и высь не безответна. И там навстречу ему близится жертвенная чаша.

Он пересекает полосу миртов и рододендронов. Не пора ли ему подумать о надежном убежище, о том, куда укрыться через несколько часов, к ночи? Ибо ни один смертный человек, живи он, как живет сейчас Габриэл, не выжил бы после сумерек. Но ему все ни почем. Ноги ведут его по привычной дороге. Площадка Трех шатров. Палатки сделаны не только из водонепроницаемой, но и огнестойкой ткани, поэтому устояли перед пожаром. Огонь ничего не повредил внутри: кровати стоят как были, в полной сохранности.

Габриэл проходит мимо Жюльеттиной палатки. У Котловниной города в нерешительности останавливается. Его тинет из север, к главной позиции, к делу своих рук. Потом, однако, идет в другом направлении, к Вершинке гаубиц. Должно быть, ему любовию узнать, удалось ли морским пехотинцам взорвать орудия.

Между Котловниной города и Вершинной гаубиц лежит большое кладбище. Под тонким слоем этой земли нашлось все же место для четырехсот могил. На более ранних установлены неотшлифованные известняковые глыбы и могильные плиты с черными надписями. Более поздние могилы отмечены просто деревянными крестами.

Габриэл идет к Стефану. Земля на могилке еще довольно свежая. Когда же они его сюда принесли? На тридцатый день, а нынче сорся первый. А когда это было, давно ли? Он застал меня спящим, здесь же, на горе. Теперь опять мой черед подслушивать его сон. И мы опять одни на Муса-даге.

Габриэл замер, но думает не только о Стефане, а о несчастных событиях дней Сопроталения. Ничто не нарушает наступившего в нем великого покоя. Едва ли он замечает, что солнце садится.

Когда же вдруг сразу стемнело и похолодало, Габриэл опомнился. Что это? Пять сирен завывают на разные лады, угрожающе, протяжно, но так бесконечно далеко. Габриэл хватается с земли плащ. «Теперь они обнаружили мое отсутствие. Теперь зовут меня. Скорей на склад-террасу! Разжечь костер! Еще можно, можно!» В нем бушует

воспрянувшая жизнь. Но при первом же шаге он отшатывается. Что-то ползет полукругом по земле. Дикие собаки? Но не сверкают в сумраке звериные глаза.

В десяти шагах от него ползучее полукружие застывает. Габриэл делает вид, будто ничего не заметил, смотрит вверх, отступает на шаг, укрывается за Стефановым могильным холмиком.

Но сбоку сверкнул огонь — один, второй, третий.

Габриэлу Багратяну посчастливилось. Вторая турецкая пуля пробила ему висок. Падая, он ухватился за деревянный крест и увлек его за собой. И крест сына лег ему на грудь.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

*Этот труд задуман автором в марте 1929 года во время пребывания в Дамаске. Горестное зрелище, которое представляли собой работавшие на ковровой фабрике дети беженцев, изувеченные, изголодавшиеся, послужило окончательным толчком к решению вывести на свет из царства мертвых, где покоится все, что однажды свершилось, неистижимую судьбу армянского народа.*

*Роман написан между июлем 1932 и мартом 1933.*

*В ноябре 1932 года автор, выступая с циклом лекций в различных немецких городах, включил в него пятую главу первой книги романа и прочел ее в том же варианте, в каком она публикуется здесь, — в варианте, основанном на традиционной исторической версии беседы Энгери-паши с пастором Иоганнесом Лепсиусом.*

Ф. В.

Брайтенштайн, весна 1933 г.

## О ФРАНЦЕ ВЕРФЕЛЕ И ЕГО РОМАНЕ

Среди выдающихся австрийских писателей второй половины XX века видное место принадлежит Францу Верфелю. Родился он в 1890 году в Праге в семье фабриканта.

Население Праги в конце прошлого столетия составляло около полумиллиона человек, и для тридцати тысяч ее жителей немецкий язык был родным. Этот этнический островок в первое десятилетие XX века дал таких выдающихся немецких писателей, как Райнер Марк Раппе, Франц Кафка, Эгон Эрнст Кипп, Луи Фюрриберг, Карл Франц Вайскопф и, наконец, Франц Верфель.

Отца Верфеля хотел, чтобы единственный сын (в семье были еще две дочери) стал продолжателем его дела. Разногласие между отцом и сыном обнаружилось рано. О своей семье, о детстве Верфель почти не вспоминал, придерживаясь одного с Джузеппе Верди принципа: «Стирать следы своей жизни».

И все же некоторые его произведения проливают свет на атмосферу, господствовавшую в отчем доме Верфеля. В родительских домах, описанных им, царят пустота, безрадость, жестокосердие («Еще убийца, в убитый виновник», «Человек из зеркала», «Друг для друга»); с любовью говорил он только о своей маме (бабу). По свидетельству биографа Верфеля Рихарда Шнехта, уже в ранней юности он испытывал стизами бухгалтерские книги отца.

Современник Верфеля писатель Макс Брод так описывал его: «Блондин, среднего роста... застенчивый, он сейчас же преображался, как только начинал декламировать. Все свои стихи он знал наизусть, читал их без записки, из памяти,

зажигательно, то громко, то ликующее, но всегда гомозем, богатым модуляциями. Я был покорен. Подобного я никогда не слышал».

Спустя много лет о нем писал Томас Манн: «Как типичен был для него детский витуализм! Я всегда любил Франца Верфеля, восхищаясь им как лириком, часто влюбленнейшим, и высоко ценя его неизменно интересную прозу».

Любимым местом Верфеля в Праге было кафе «Арго», где он с друзьями проводил долгие часы в беседах и спорах.

Прага, расположенная на рубеже между Западом и Востоком, испытывала на себе влияние двух миров. С нежной любовью и титой тоской Верфель вспоминает в своих произведениях этот древний город, страну Богомю. «О страна крошечная, которая в течение тысячи лет провалилась трижды с несмеханным количеством жертв!»

Столкновения с отцом привели к тому, что двадцатилетний Франц Верфель покидает отчий дом. Он пытается восполнить свое образование в университетах Праги, Лейпцига, Гамбурга. В 1912 году, отбывая воинскую повинность в австрийской армии, он был арестован за резкие выступления против милитаризма, царившего в стране.

К этому времени относится его знакомство с Куртом Вольфом, издателем писателей, представлявших новое литературно-художественное направление — экспрессионизм. Он устроил Верфеля на работу у себя в издательстве и помог ему стать материально независимым. Их дружба продолжалась до последних дней жизни писателя.

Своими идейно-творческими предшественниками немецкие экспрессионисты считали Федора Достоевского, Льюиса Толстого, Уолта Уитмена, Артура Рембо. Местом о возрождении человечества в тесном единении духовного начала Востока и материальным началом Запада, экспрессионисты веровали, что «ущербность человека Запада должна восполниться самоуглубленностью человека Востока».

Верфель потянул за собой к Вольфу и в кружок экспрессионистов своих друзей, начинающих писателей Вальди Хааса и Вальтера Хазенклевера. Так формировалось ядро оппозиционно настроенной буржуазному миру художественной интеллигенции.

Свое творчество Верфель начинает с поэзии — своеобразного дневника автора. Первый сборник стихов, «Друг мира», вышел в свет в 1911 г., второй — сборник «Мы существуем», — в 1913 г., третий, «Друг для друга», — в 1915 г.

В 1914 г. Верфель — солдат первой мировой войны, позднее — свидетель падения Габсбургской монархии.

По возвращении с фронта в 1917 году в Виле он знакомится с Альмой Малер — дочерью известного австро-венгерского художника Эмиля Шинлера, которая стала

<sup>1</sup> *Expressionismus. Aufzeichnungen u. Erinnerungen der Zeitgenossen*, S. 53, herausgegeben von Paul Raabe.

<sup>2</sup> *Werner Brause: mal. Fr. Werfel. Dichtung u. Dichtung*. Ernst Müller Verlag, Wupperfal, 1969, 99.

женой композитора Густава Малера, крупнейшего представителя экспрессионизма в музыке. Слова отца и мужа, ее недвоякий ум и красота способствовали тому, что самые интересные люди времени охотно посещали салон Альмы Малер. Среди них был и Верфель.

Музыка прочно входит в круг его духовных интересов. В эти же годы другой венский композитор, Рихард Штраус, становится одним из его друзей.

Типичная тема творчества драматургов и композиторов послевоенного десятилетия — страх перед наступлением всеразрушающих сил. Образы опустошения, насилия, смерти, гигантской схватки с силами реакции господствуют в произведениях музыкантов-экспрессионистов.

Влияние современных композиторов на Верфеля — как пишут исследователи его творчества — вне сомнения. Однако и писатель оказывал на них сильное влияние. Не случайно он отводил большое место музыкальному сопровождению своих драм. Он писал: «Если бы было возможно, я бы сочинил оперы, текстом которых были бы возгласы лютования, издох, стоны боли, звуки радости и крики мщения. К чему многословные предложения, которых никто не понимает, когда их несет музыка? У музыкальной речи другая логика, отличная от логики слова».

В послевоенные годы происходит эволюция и в политическом воззрении Верфеля. Он участвует в революционных событиях 1918 года, становится одним из создателей антимилитаристского тайного союза и с помощью Эгона Эрвина Кизея приближается к марксистским идеям. Другим писателем, и среди них Франц Кафка, считали Верфеля пророком своего поколения — поколения экспрессионистов. Но, как писал Томас Манн, «он был слишком богато одарен и слишком большой личностью, чтобы связать себе руки одной школой, и вышел далеко за пределы экспрессионизма»<sup>1</sup>.

В 1929 году Верфель путешествует по Сирии. Здесь впервые родился замысел романа «Сорок дней Муса-дига». После Сирии Верфель посетил Палестину и Египет.

В 1930 году Верфель женится на овдовевшей Альме Малер. Дом супругов Верфель становится местом встречи известных музыкантов, художников, писателей, драматургов и поэтов.

Угроза надвигающегося фашистского террора вызвала тревогу в сердцах передовых людей не только Европы, но и Америки.

В 1930 г. Эрнст Хемингуэй при редактировании сборника «В наше время» включает в него рассказ «В порту Смирны». Тревогой за судьбы человечества проникнуто в него произведение. «Трудно забыть набережную Смирны. Что только не плавало в ее водах. Впервые в жизни я дошел до того, что такое случилось мне по ночам. Рожавшие женщины — это было не так страшно, как женщины с мертвыми детьми... Невозможно было уговорить женщин отдать своих мертвых детей! Иногда они держали их на руках по шесть дней, а за что же не отдавали...»<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *Franz Werfel. Menschenblick. Ausgewählte Gedichte. Aufbau-Verlag*. Berlin u. Weimar, 1967, S. 128.

<sup>2</sup> Эрнст Хемингуэй. *Избр. проза*, в 2-х томах. Москва, ГИИЛ, 1959 г., I, стр. 47.

Если Хемингуэй обращается к изображению жертв турецкого нашествия, то Верфель из армянской трагедии 1915 г. берет страницу героической самопожертвования, утверждая тем самым идею активной борьбы против насилия.

Во времена выступления гитлеровцев в Австрию Верфель с женой уехал в Рим; некоторое время они жили на острове Капри. После Капри была Франция.

На французской Ривьере встретились давние друзья — Хаас, Халемковер, Верфель — все трое изгнанники родины. Встретились, чтобы расстаться навсегда.

Два года Верфель с женой прожили в Париже. Здесь он вступал в Международную ассоциацию писателей в защиту культуры.

На одно из выступлений Гитлера в 1938 году Верфель откликнулся острым политическим памфлетом. Фашистский террор описан им в «Пражской балладе». Это стихотворение, так же как и «Город мечты эмигранта», пронизано чувством тоски по родине. Верфель клеймит позором гитлеровских палачей, разоблачает захватническую политику германского милитаризма. Большой интерес представляет его выступление на страницах газеты «Ce soir», где он предупреждает народ Франции о надвигающейся угрозе фашистской оккупации: «Гитлер хочет надеть рукой на жененную артерию народа с целью осуществить через определенный срок задушить и отнять своей программой: отомстить Франции, уничтожить Францию и, торжествуя, погосвет французский ум. Когда Богемия будет расперезана, а чехословацкий народ обращен в рабство, тогда осуществление его самой фантастической мечты окажется вопросом недалекого времени. Первые два шага к этой цели — оккупацию Рейнской области и аннексию Австрии — национал-социализму удалось совершить, не получив никакого отпора. Причем у беззащитного врага не было никаких козырей, если не считать трусости других стран».

Известно же, что лучшим поощрением для новых преступлений являются выгоды и безнаказанность.

Пророчества Верфеля сбылись. В 1940 году Париж капитулировал. Писатели с женой теперь скрываются на западе Франции — в городе Лурде, которому он посвящает роман «Песня о Бервалдте».

В 1940 г. Верфель с женой, с Генрихом Манном, его женой и сыном Томас Манна совершает опасный переход из Франции через Пиренеи в Испанию, затем в Португалию. Отсюда они едут в Соединенные Штаты Америки. Биверли-Хиллз — городок в Калифорнии — стал последним пристанищем Франца Верфеля. Здесь же обоживались Томас и Генрих Манны, Лео Фейтшвайгер, Альфред Нобман, Бруно Франк, Арнольд Шенберг и другие изгнанники — замечательные антифашисты и выдающиеся деятели немецкой культуры.

В 1944 г. Томас Манн получал письмо от Верфеля, продиктованное им во время болезни, а возможно, и в предчувствии смерти. В письме Верфель назвал «Буддасброню» «бессмертным шедевром». Письмо его глубоко взволновало Томаса Манна, ибо он считал Верфеля «художником до мозга костей».

Тоска по родине сквозит во всех произведениях Верфеля периода эмиграции. «... Все слова и πράξεις в невозможном городе, и везде — чужой», — писал он. Вернуться на родину писателю так и не удалось!.

Под вечер 26-го августа 1945 года у себя в кабинете, просмотрев корректуру

последнего издания стихов, Верфель ушел на пути от письменного стола к двери. Не выдержало сердце! Это было уделом многих представителей эмиграции.

Паника состоялась 19 августа в часовой городской Библиотеке-Хиллз. Было огромное количество цветов, на многолюдное траурное собрание пришли писатели, журналисты, музыканты, художники...

Смерть в похороны Верфеля описаны у Томаса Манна. «У меня разрывалась грудь, когда я стоял у гроба. В маленьком зале часовня зела Лотта Леман под аккомпанемент Вальтера Зокала. С надгробной речью выступил друг верфельского дома аббат Мениус, который вместо Библии читировал Данте...»

Один из друзей Верфеля, автор послесловия последнего его поэтического сборника, писал: «Германия 1945 года, спустя три месяца после вынужденной капитуляции, с трудом верит в мир и уже в плену физики, которая превратила испускаемые города в огненные шары! Кто обратил тогда внимание на сообщение, что в Калифорнии от сердечного удара скончался немецкоязычный писатель? А из тех, кто в скудных газетях тех дней нашел это сообщение, кто вспомнил о нем?»

Помню немецкого гуманиста, глубоко скорбел о нем армянский народ. «У гроба покойного Верфеля мне почудилось, что души погибших на Мус-даге звали его, чтобы унести в армянский пантеон», — писал известный армянский историк Грант Армен.

Спустя годы армяне, проживавшие в Австрии и Америке, отдавая дань уважения памяти писателя, вопреки всем запретам и трудностям тех лет переехали останки Верфеля из Калифорнии в любимую им Вену, где состоялось второе погребение. В траурной церемонии участвовала вся Вена.

Несмотря общественно-исторические и идеологические предпосылки творческого пути Франца Верфеля, следует особо остановиться на пражской немецкой литературе, и в частности — эмиграционна.

Пражская немецкая литература — одно из крупнейших германоязычных литературных явлений XX в. С приходом Райнера Мариа Рильке, Франца Кафки, Франца Верфеля и других писателей эта школа стала отражать важные жизненные проблемы эпохи.

Возникновение пражской немецкой литературы совпало с рождением в Германии нового литературного течения — экспрессионизма, одного из наиболее противоречивых и интересных направлений в западно-европейском искусстве XX в.

В конце XIX и в первые годы XX столетия все активнее начинают прославлять глубинные противоречия капиталистической системы. Экономические кризисы с неминуемой последовательностью сотрясают немецкую экономику. Нищета сотен тысяч трудящихся контрастирует с богатством верхих общества.

В творчестве молодых немецких писателей и поэтов находят отражение противоречия эпохи — старые ценности уже несостоятельны, а новые еще не определены, все ошутимое назревает кризис, вслух и в шепот.

Антимилитаристски настроенная демократическая молодежь, объединившись с некоторыми писателями старшего поколения, сгруппировалась вокруг журнала «Акцион», основанного в 1910 г. Их называют «акционистами»; они хотят, чтобы их слово было действительным и участвовало в политической борьбе. Помимо «Акциона»,

были и другие экспрессионистские журналы, среди них и «Арарат», издававшийся в Мюнхене (1919).

У экспрессионистов нет четкой программы, но их объединяет незыримая ненависть к шовинизму и милитаризму, они отвергают буржуазное искусство, с тем чтобы их искусство воссоздало «новый облик индустриализованного мира». А вместе с тем экспрессионисты хотят, чтобы современное искусство отражало мучительные социальные и нравственные контрасты: роскошь и нищету, ложь и правду.

«Всюду вокруг мерзнут дети, а Ниобея\* — из камня и помочь не может», — пишет Верфель в эти годы. Как справедливо отмечает советский литературовед Н. Павлова, это постоянное страстное желание помочь, чувство трагической беспомощности, если помочь невозможно, сопутствует экспрессионизму.

Пражские немецкие писатели, жившие в отчужденной, обособленной среде, обостренно воспринимают противоречия времени. Отсюда взрывы израненного, протестующего гуманизма, отсюда сомнения и ступение.

Художники-экспрессионисты были весьма определены в своих политических симпатиях. Не случайно, по свидетельству А. В. Луначарского, «... очень большое количество экспрессионистов стало на явно антиимпериалистическую, антибуржуазную точку зрения. Высшие классы были признаки виновниками бедствия. Но очень немногие нашли путь к подлинной революции, выход из ужасного мира, который одарил их войной. Поэтому... мы имеем большую группу буржуазных поэтов, неопределенных протестантов, а за ними пацифистов, провозвещения которых исполнены прежде всего жалостью к страдающему человечеству»<sup>1</sup>.

К числу таких пацифистов относится Франц Верфель в начале своего творческого пути.

В дни революционных боев 1918—1919 годов Верфель воплотил в своем творчестве надежды, мечты и трагические противоречия, характерные для большинства экспрессионистов, — стремление к социальной справедливости, с одной стороны, и неприятие любого вида насилия — с другой. Вот почему титлеровым, пришед к власти, уничтожила книги и картины экспрессионистов, а экспрессионистское искусство было объявлено «чуждым германской расе», что еще раз подтверждает ненависть фашизма к искусству свободного духовного поиска.

В числе народов древнего Востока Армения и богато ее культурное наследие вызвала большой интерес у экспрессионистов. Как уже говорилось, после первой мировой войны в Мюнхене издавался журнал «Арарат». Другой экспрессионистский журнал, «Восток», выходил под редакцией Армина Вегнера, известного немецкого писателя-экспрессиониста, которого также глубоко волновала судьба армянского народа. Будучи офицером санитарной службы немецкой армии в Турции, он оказался очевидцем событий 1915 г., ознаменовавших начало фашизма и первого в XX веке геноцида. Вегнер написал открытое письмо президенту США Вудро Вильсону, полное возмущения и протеста.

<sup>1</sup> А. В. Луначарский. Предисловие к сборнику «Современная революционная поэзия Запада». М., 1930, изд-во «Огонек».

Автору этих строк посчастливилось встретиться с Армином Вегнером во время его вторичного пребывания в Армении, куда он приехал в 1968 г. уже в восьмидесятилетнем возрасте.

Вспоминая мучительные истязания жертв турецкого насилия, он сравнил их с действиями обезумевшего преступника. Однако, как и Анатолий Франс, он всегда верил, что Армения возродится.

«Та небольшая доля крови, — говорил А. Франс в 1916 г., — которую она еще сохранила, — драгоценная кровь, из которой родится героическое потомство». Предсказание его сбылось... А. Вегнер же приехал еще раз в Армению, чтобы увидеть «не побежденный поражением народ».

Уже в первом сборнике стихов, «Друг мира», Верфель определял свое литературное credo, выражающее общественно-этические идеи экспрессиониста: веру в добро, а человека, желанье служить людям, мечту объединения их под знаменем братства. В понимании Верфеля человек может быть счастливым, только делая людям добро: «Нет, я больше не одинок, так как я совершил доброе дело» — восклицает его лирический герой.

Второй поэтический сборник — «Мы существуем» свидетельствует, что за прошедшие два года Верфель многое в своем взгляде подверг переосмыслению, убедившись, как глубоко внутренне противоречив в сфере социальных отношений буржуазное общество. Чувство внутренней опустошенности, сознание одиночества толкают поэта к мистике и богоискательству. Природа здесь уже теряет светлые краски, описывается в темных серых или резко контрастирующих черно-белых тонах.

Впоследствии Верфель оценивает этот период бессмысленности в стихотворении «Так ничего и не познав».

Два года спустя Верфель издал новую поэтическую книгу — «Друг для друга». Она открывается программным стихотворением «Смех, дыхание, шаг».

Пафос третьего сборника выражен в словах: «Не от солнца льется свет, лишь улыбка на лице человека рождает свет».

Верфель и здесь остается верен своему чувству безграничной любви к человеку. Он горючо призывает людей покончить с убийствами. Протест против войны приводит его в 1917 г. к созданию известного стихотворения «Революционный призыв». Впервые Верфель отходит от поэзии непринятия насилия в любой форме. Пройдут десятилетия, прежде чем он придет к осознанию того, что только в вооруженной борьбе с насилием возможно завоевание свободы и независимости. Лишь в канун надвигающегося фашизма абстрактный гуманизм уступит место призыву к активной борьбе.

Вскоре после выхода в свет первого сборника стихов Верфель начинает заниматься и драматургией.

В драматургии, как и в поэзии, наблюдается увлечение Верфеля античной.

<sup>2</sup> «Геноцид армян в Османской империи». Сборник документов и материалов. 2-ое дополненное издание. Составители М. Г. Норсисян и Р. Г. Сагжян. Ер., Адастан, 1982, стр. 445.



Так, в своей первой одноактной пьесе «Посещение из загробного мира. Пьеса написана атмосферой мистицизма, столь характерной для писателя в тот период.

В предисловии к следующей пьесе — «Троишка», написанной в 1914 и поставленной в 1915 году, Верфель писал: «Человечество должно было в своем кругообороте опять прийти к той точке, с которой предстояло родиться драме, сложной с трагедией Барнинда...» Сближая современность с веком Барнинда, Верфель как бы давал современникам урок воли к жизни. Немецкий же зритель, переполнявший в те дни театральные залы, в троишечной войне мог усмотреть отголоски собственных страданий.

В пьесе Верфеля на фоне всеобщего горя троишечки для трагической образ Гекубы\*, которая потеряла все — близких, родных, родину, но отказывается умирать. Драматург не дает умереть Гекубе там, где было столько смертей, чтобы утвердить власть Жизни над человеческим страданием.

Наиболее значительной драмой Верфеля считается «Человек из зеркала» (1920), о которой театральный критик А. Берестов справедливо писал: «Постановка «Человек из зеркала» для русского театра, проникновение в сущность этой трагедии было бы проникновением в нутро Толстого и Достоевского, оравновнявших немую мысль в искусство»<sup>1</sup>.

В начале века тема борьбы поколений, разрыва традиций, непримиримых противоречий между ними становится одной из главных в экспрессионистской литературе. Во вражде «отцов и детей» многие видели не только источник основных общественных конфликтов эпохи империализма, но и проявление вечного трагизма, присущего развитию человечества.

Эта тема — бунт молодых против старших, находит свое отражение и в написанной в 1920 году комедии Верфеля «Не убийца, а убитый виноват». Иронический подтекст заглавия уже говорит за себя. Устами юного героя писатель выносит суровый приговор поколению «отцов-милитаристов», развязавших мировую войну. В финале писатель возвращается к излюбленной теме братства всех людей, хорошо знакомой по его поэзии. Смысл обращения — призыв к народам, поднявшим в трагическом заблуждении оружие друг против друга.

В романе «Однокашники» (1928), написанном в сурово реалистическом плане, Верфель предстает перед читателем в поисках человеческого начала в бесчеловечном мире, в мире социального неравенства. Выход он видит в нравственном очищении человека, в любви к нему.

Для понимания творчества Верфеля многое дает рассмотрение его прозы, в частности романа «Вердья», — важной ступени на пути к роману «Сорок дней Муса-дага».

В предисловии к нему автор приводит выдержку из письма великого итальянского композитора: «Отражать правду, может быть, и хорошо, но лучше, куда лучше правду создавать».

В создании этой правды Верфель видел воплощение его эстетических идеалов. Основной конфликт романа «Вердья» составляет предельно обостренное противопоставление творческих индивидуальностей двух великих западно-европейских композиторов XIX века — Верди и Вагнера. Верфель воссоздает врожденный демократизм Верди, высокую требовательность к себе, заставившую уничтожить партитуру оперы «Король Лир», которую он вынашивал в течение тридцати лет. Беспокойный гений великого итальянца восстал против всего, что шло наперекор внутренней правде, вело к пересечению собственной значимости; Вагнер же, наоборот, умевший славою, легко отменял свои сомнения. Верфель признавал, что произведения Вагнера «являются многогранным поэтико-музыкальным слогом», и подчеркивал, что автор этих произведений, витая в межпланетных пространствах, подчинил всё законам собственного «я».

Верфель не случайно обратился к Верди, которого называли голосом и душой современной Италии, «возмозженной поэтической бурнии Италии, смелой в пылке до неистовства» (А. Серов).

Роман «Вердья» — внутренний спор с экспрессионизмом на пути к реализму, к народности. «Надо жить! — это значит убивать химеры, все ближе подходить к реальности. Великий Вагнер!» — пишет Верфель.

От гимна человеку-творцу Верфель приходит к гимну народу-творцу, от темы великой личности — к героической теме Муса-дага.

Поводом для написания романа «Сорок дней Муса-дага», по свидетельству самого Верфеля, послужила следующий эпизод.

В 1929 году, путешествуя во Восток, писатель посетил в Дамаске коньяккую фабрику. Здесь он увидел работающих армянских детей, в чьи глаза застыли ужас рени, свидетелими и жертвами которой они были. О некоторых подробностях армянской рени Верфель знал раньше из газет, но запущенный вид искалеченных детей подействовал на него с такой силой, что Верфель решил написать об этом.

В одном интервью он говорил: «Идея написать об армяках возникла у меня во время первой мировой войны, когда, читая европейские газеты, я ознакомился с трагедией армянского народа. Я восторженно был потрясен... что решил представить все это человечеству историческим романом. В Сирии я увидел армянских детей, кишошей, несчастные осколки гонимого народа, в глазах которых отпечатались слезы и ужасы прошлого»<sup>1</sup>.

В Вене, в конгрегации ученых-милитаристов\*, Верфель приступил к изучению почти трехтысячелетней истории Армении, ее обычая, культуры. Как известно, конгрегация армян-милитаристов в Венеци (на острове св. Лазара) и в Вене являются крупнейшими просветительскими очагами.

В 1717 г. остров святого Лазара, служивший некогда убежищем для прокляженных, был передан в дар армянскому зинку Милитару Себастьян и его ученикам, прибывшим в Венецию из греческого города Ментона, где они подвергались гоне-

<sup>1</sup> А. Берестов. *Экспрессионизм в немецкой драме. «Театр и музыка»*, 1922, № 12, стр. 313.

<sup>1</sup> Газ. «Дрейвер». Нью-Йорк, 1965, 13 ноября (на арм. яз.).

ниям со стороны турецких завоевателей. Дар этот был подкреплен декретом сената Венецианской республики. В 1773 г. часть мхитаристов отделилась и основала свою обитель сначала в Тресте, а затем в 1811 г. переселилась в Вену. Ежегодно только венецианских мхитаристов посещает 35—40 тысяч туристов. Большой интерес представляет богатое собрание рукописей на армянском и других языках, а также картинная галерея, где экспонируются работы итальянских мастеров Джорджоне, Тинторетто, армянских художников Эд. Шама, Айвазовского, Г. Башинджагяна и др. У мхитаристов свои типографии, где печатаются книги на 36 языках. Мхитаристов называют примерными тружениками науки. Они спускали себе уважение всего ученого мира. Известно также, что еще Наполеон I, разгромивший венецианские монастыри, оставал неприкосновенным армянский монастырь на острове святого Лазаря, принимая во внимание академическую направленность занятий братства мхитаристов.

Три года работал Верфель у венских мхитаристов. Он узнал, что как и Чезари, находясь на перекрестке путей Запада и Востока и занимая выгодные стратегические и торговые позиции, Армяная долина века являлась ареной кровопролитных войн. Она переживала периоды стремительных взлетов и трагических падений: ее города и села то бурно расцветали, то превращались в дымчатые руины. Однако душойная жизнь народа не угасала даже в годы самых тяжелых испытаний. Потерявшие государственную независимость, разбросанные по миру, армяне повсюду становились активной интеллектуальной силой и для своих новых отечеств.

Находясь под игом азиатских деспотов, армяне всегда оставались воспитателями и поборниками цивилизации. Совместно с другими народами, в частности с греками, они развивали в Турции промышленность, земледелие, торговлю, архитектуру, театр. Ткани, вышивки, серебряные изделия, которыми до сих пор восхищаются в Европе, выдвигались почти исключительно армянами. Чудесная мечеть Сулеймание — творение архитектора армянина Синана. В Стамбуле жила и творила династия архитекторов армян Балянов, выстроивших в османской столице дворцы Бейлербея, Чагкая, Доламабиче. О последнем французский писатель и критик Теофиль Готье писал, что его можно принять «за венецианское palazzo, но более роскошное, обширнее, более тщательно ограниченное, более изысканное, перенесение с Большого Канала на берега Босфора»<sup>1</sup>.

Самый трудолюбивый ученик мхитаристов мог позавидовать усердию Верфеля! Богатая библиотека конгрегации, предоставленная в его распоряжение, была тщательно им изучена. Одному из журналистов Верфель сказал: «Для того чтобы написать этот роман, я прочел у венских мхитаристов сотни томов и восемь месяцев работал день и ночь. Один раз переработал и отредактировал роман в тридцать его переписок».

В свое время Байрон с немалым усердием изучал у венецианских мхитаристов армянский язык и историю. «Какова бы ни была судьба армян, — писал Байрон, — (а она была печальна), что бы ни ожидало их в будущем, — страна их всегда остается одной из самых интересных на всем земном шаре».

Верфель изучал армянскую историю не только как необходимый рабочий мате-

риал для романа. Исполнять он приходит к восстановлению политического, философского проблем, ставших актуальными именно в те дни. «Когда читаешь армянскую историю, неизбежно задается вопросом: зачем нужно было отнимать право на жизнь у народа миролюбивого, наделенного большим талантом, мыслью, душой?»<sup>2</sup>

Ответом на вопрос Верфеля могут быть слова из речи Долгос Франса, произнесенной в Париже 9 апреля 1916 г.: «Мы поняли, что Атаатюрк вернул борьбу турка-угнетателя и армянина — это борьба деспотизма, борьба варварства против духа справедливости и свободы. И когда мы увидели эту жертву Турции с образами справедливости и свободы, в которых мелькнула луч надежды, мы поняли немцами на нас угасшими глазами, в которых мелькнула луч надежды, мы поняли наконец, что это наша сестра умирает на Востоке, и умирает именно за то, что она наша сестра, чье преступление заключается в том, что она разделяла наши чувства, любила то, что любим мы, думала так, как думаем мы, верала в то, во что верим мы, и, подобно нам, ценила мудрость, справедливость, поэзию, искусство. Таково было ее некупное преступление.»<sup>3</sup>

Роман «Сорок дней Муса-дига», как и все творчество Верфеля, отливает глубокую человечность. «Там, где возможно, я ищу человечность, которая противопоставит варварству: я верю, что место сегодняшнего национализма займет завтра волята высокого национализма».

В романе Верфель показывает судьбу горстки армян, оторванных от всего мира, которые защищают свою жизнь, честь и свободу верноподданнически от младотурецких варваров, уносящих геноцид армян в Османской империи.

Весною 1915 года, в дни свирепых репрессий, в ряде армянских валаев жителей оказали вооруженное сопротивление турецким жандармам и регулярным войскам. Широкою известность получала самооборона города Ван, длившаяся более месяца. Заменительно, что во время ожесточенных боев один из школьных оркестров города не переставая играл «Марсельезу» и другие революционные марши. Командующий турецкими войсками Джемалет-бей, выведенный из себя, закричал: «Они меня доведут до бедности своей музыкой!»

Такое же упорное сопротивление турецким войскам было оказано армянами в соседнем Мушском валаеве, в Сасуне — на горном плато, где жили армяны и где создавался армянский героический эпос «Давид Сасунский».

Тридцатитысячное население горной области Сасун, жившее среди неприступных скал, всегда отличалось свободолюбием. Узнав о гибели армян в других районах Западной Армении, сасуны сплотились в единый воодушенный лагерь и поклялись веряться до последнего. Регулярные турецкие войска, насчитывавшие свыше тридцати тысяч человек, не могли в течение нескольких месяцев проникнуть в стан сасунов. Только отсутствие боеприпасов и продуктов помогло палачам занять область.

«Когда турецкие войска начали свой последний штурм, у защитников Сасуна уже не было патронов, иссякни запасы пороха. По существу, турецкие багды гонувались не в лагерь, а в огромное кладбище и больницу. Немногие оставшиеся в

<sup>1</sup> «Лабера», Нью-Йорк, 1965, 13 ноября (№ 26).

<sup>2</sup> «Геноцид армян в Османской империи», стр. 444—445.

живых были вырезаны... Так трагично закончилось героическое сопротивление сасунских армян», — писал Остендэн.

Легендарной была самооборона армии на Муса-даге. Муса-дагом, или горой Моисей, называется одна из вершин горной цепи Аманус. Эта возвышенность находится на расстоянии двухсот километров к северу-западу от Антиохии, которая включает в себя юго-западную окраину Александретской области. Район, населенный армянами, называется Джебел-Муса, или Суадам. Здесь известны армянские деревни Поговалук, Хелер-бег, Кебусе, Вагиф, Хаджа-Хабибал, Биткас и Касаб. Деревня Кебусе расположена у самого подножия горы Муса, на берегу Средиземного моря.

Вот краткая история событий, которые проходили на берегах Антиохийского залива и легли в основу романа Верфель.

13 июля 1915 года в шести армянских селениях этого края на стенах домов были расклеены объявления с предписанием быть готовыми отправиться через восемь дней в изгнание в Месопотамию, в пустыню Дебр-эль-Зор, куда якобы должно было переселиться немусульманское население. Подчиниться этому приказу означало пойти на явную гибель. В ответ на приказ турецкого правительства властный житель Муса-дага заявил: «Я родился здесь, здесь и умру! Не стану я рабом по приказу врага! Не стану беженцем, имея в руках оружие!» Нужно отметить, что армяне жили на этой земле более двух тысяч лет.

Это были восемь долгих дней и ночей тревог, решений, сомнений и надежд. Население шести деревень решило организовать оборону на вершине горы Муса. Был разбит лагерь, начаты работы по его укреплению. Мужчины и женщинам, старикам и детям, оставив свои дома, поднялись на гору. С собой они взяли ружья, пороха, патроны, продовольственные запасы, домашних животных.

Уверенные в победу, турки решили переждать ночь в лесу, чтобы наутро закончить с восставшими, оборонявшимися на вершине горы. Самоуверенность стоила прагу 200 убитых, армянами же принесла пополнение вооружения и боеприпасов. Разрушительное поражение, турецкое командование пришло под оружие все мусульманское население близлежащих сел. Турки в конце концов решили взять восставших измором, отрезав их от внешнего мира со стороны суши. С другой стороны был обрыв в море.

Дни шли, положение осажденных становилось совершенно отчаянным. Тогда армяне стали искать спасения со стороны моря. Было составлено письмо в трех экземплярах, в котором восставшие призывали спасти их и увести на свободную от террора землю. Выбрали трех лучших пловцов и каждому из них вручили по письму.

Только в утро воскресенья 12 сентября 1915 года показался французский военный корабль «Гиневр». К нему подплыли несколько мусадатгцев. Капитан передал командиру эскадры просьбу армян о помощи. Вскоре к берегу подошло военное судно «Жанна д'Арк» в сопровождении эскорта других кораблей. Под прикрытием огня с моря все защитники Муса-дага с их семьями, всего 4053 человек, были вывезены на борт и спасены.

14 сентября герои-мусадатгцев высадили в Порт-Санде. Здесь они и обосновались, создав армянскую колонию.

В 1947 году часть славных защитников горы Муса репатрировалась в Советскую Армению. В числе репатриантов был один из руководителей обороны — Есая Ягубян. Умер он в 1957 году в Ереване. В настоящее время в живых остались лишь несколько десятков непосредственных участников героической обороны.

Франц Верфель построил свой роман на документальном материале. Кроме уже упомянутых, он использовал сборник сообщений очевидцев событий армянской революции, подготовленный видным немецким гуманистом, председателем Германско-армянского общества Иоганнесом Левкусом, — «Сообщение о положении армянского народа в Турции» (1916)<sup>1</sup>. В романе представлен и сам Иоганнес Левкус, таким образом он был в действительности. Моральные концепции гуманизма Левкуса совпадают с концепциями Франца Верфеля, и именно поэтому этот герой становится выразителем ведущей идеи и авторского отношения к происходившим событиям. Его разговор с одним из главарей тогдашнего турецкого правительства, Эвером-Пашой, передан в романе с исторической достоверностью. Полны глубокого смысла и сцены встречи Левкуса с чиновником министерства иностранных дел Германии, и сцены встречи министерства, препятствующей встрече Левкуса с министром, и Тайный советник министерства, препятствующий встрече Левкуса с министром. Тайный фразе выразил смысл армянской трагедии: Армяне стали жертвой своего географического положения. Так не лучше ли, чтобы национальное меньшинство исчезло? В подкрепление своей мысли он сослался на афоризм Ницше: «Падающего подтолкнуть».

Герои романа «Сорок дней Муса-дага» имели в других реальных прототипах: это Тигран Андreasян, со слов которого дается описание событий, Петрос Диматян и др. Рассказ Тиграна Андreasяна о героическом сопротивлении мусадатгцев и об их спасении был напечатан в 1915 году в ноябрьском номере журнала «Образ», выходившего в Лондоне на английском языке. Он был помещен в сборнике «Армяне» выходившего в Лондоне на английском языке, а позднее был издан отдельной брошюрой в французском языке. В 1935 году вышли в свет воспоминания Тиграна Андreasяна, где дано более подробное описание героической самообороны армии на горе Муса.

Обращение к прошлому характерно для писателей-импрессионистов, которые решали на историческом материале живучие проблемы современности. И не случайно велел за жизнь в 1932 г. Томас Манн говорить: «Страдания и превращения, через которые прошло человечество в Европе, пробудили новый необычайный интерес к проблеме человека... к его прошлому, к его будущему».

Гневно осуждая геноцид армян, Верфель предупреждал мир о кровавых последствиях националистической политики милитаристских кругов Германии. А главное, на примере героической борьбы мусадатгцев он учил людей самоотверженной борьбе за свободу и независимость.

Накануне вторжения в Польшу, обосновывая «право» на уничтожение слепя и отдавая приказ безжалостно убивать мужчин, женщин, детей польской интел-

<sup>1</sup> Сборник вышел в свет на немецком, французском, армянском и других языках.

кальности, Гитлер осмелился на безнаказанность вандализма младотурок в 1916 — 1916 годах: «Кто же сегодня еще говорит об истреблении армян!»

Циничная фраза об армянах, жертвах первого геноцида XX в., не оставила никаких сомнений касчет целей нацизма в отношении других народов.

В своем труде «Итоги дискуссии» В. И. Ленин указал на справедливый характер борьбы армян: «Во всяком случае, отрицать то, что аннексированная Бельгия, Сербия, Галиция, Армения назовут свое «восстание» против аннексировавшего «завоевателя отечества», и назовут правильно, едва ли кто решится».

Франц Верфель в отборе, осмыслении и изображении событий руководствовался своими основными идейно-художественными принципами. Отбросив окончательные христианские постулаты пассивного невротизма, Верфель становится на позиции активного, действенного, героического сопротивления злу. Главная идея романа «Сорок дней Муса-дага» — лишь в вооруженной борьбе с насильем народы могут обрести освобождение.

При пристальном рассмотрении оценки, данной Верфелем деятельности партии младотурок и проводимой ими политики, особый интерес вызывает два аспекта этой проблемы: политика геноцида младотурок в отношении армян; казнь Германна — вдохновителя кровавой программы младотурок и ее активная помощница.

В 1914 г. Закавказье стало ареной военных действий. Шла война между Россией и Турцией, которая примкнула к германо-австрийской коалиции. Кавказу с его нефтяными богатствами отводилось важное место. От Черного моря до границ Ирана протянулся Кавказский фронт, охватив пограничные с Турцией районы Грузии и Армении. Действуя заодно с германскими империалистами, реакционная клика младотурок превратила Турцию в вассала и военно-политического союзника Германии. «Наше участие в мировой войне, — заявлял главарь младотурок, — оправдывается нашим национальным идеалом. Идеал нашей нации... ведет нас к уничтожению нашего московского врага, для того чтобы благодаря этому установить естественные границы нашей империи, которые включают в себя и объединяют все ветви нашей расы».

Подтверждение этой мысли мы находим и у Эрнста Вернера в работе, где автор приводит слова писателя Зия Гёкальпа, занимавшего после первой Балканской войны руководящее место в младотурецкой партии и ставшего «героидом» туркизма. Гёкальп писал: «Отечеством турок является не Турция и не Туркестан, это — далекая вечная страна — «Турава!» Эрнст Вернер пишет, что для Гёкальпа Туран был отечеством великих турок. «Он должен был протянуться от Стамбула до Средней Азии и навсегда увенчать русское господство».

1 Цитата по книге «Геноцид армян в Османской империи», стр. 10.

2 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 25.

3 В. В. Готлиб. Тайная дипломатия во время первой мировой войны: (Пер. с англ.), 1960, стр. 85.

4 Э. Вернер. Пантюркизм и некоторые тенденции современной турецкой историографии. Вестник общественных наук АН Арм. ССР, 1956, № 6, стр. 44.

Напомним слова Верфеля: «Гитлер хочет падавить своей рукой... отомстить Франции, уничтожить Францию и, торжествуя, возвестить французский узи-шассал он в газете «Се воге». За образом младотурок читался не менее жестокий образ современной истории — немецких фашистов.

Младотурки действовали по аналогичной программе в отношении армян. Смерть угрожала всей нации: исчезнут с лица земли замечательные завоевания ее тысячелетней культуры, ее древней цивилизации, плоды ее труда, облагоухившие города и села отечества и всех тех стран, где ей давали приют. Исчезнуть должны слезы «Арменки» и «армяне». Так решили младотурки.

Человека можно физически уничтожить, но высокие творения ума и рук человека — бессмертны. Известно, однако, что у армян за их многовековую историю таких творений и на родине и за ее пределами более чем достаточно, чтобы не забылись такие слова, как «Арменка» и «армяне».

Почему же уроки истории так мало поучительны перед лицом агрессии!

В романе «Сорок дней Муса-дага» Верфель создал богатую и многообразную галерею характеров; тонкий психологический рисунок отличает образы почти всех героев романа, глубоко народных и созданных с пластичным мастерством.

Габрэил Багратян — главное действующее лицо романа. Щедро одаренный, одухотворенная натура. Его как бы дополняет другой персонаж — Тер-Абкази, в котором Верфель раскрывает характер армянского народа, его духовное богатство. Образ народа был бы неполным без типичного представителя интеллигенции, которая жила, страдала и гибла со своим народом. Когда Багратян обращается к народу и призывает организовать оборону: «Нас пять тысяч человек, мы не можем ждать малости», — простые люди поддерживают его. Багратян испытывает огромное воодушевление, решив связать свою судьбу с судьбой своего народа. Народ доверяет Багратяну военное руководство обороной гора.

Другой персонаж, антагонист Гракор, одно из самых значительных лиц Погонолука, обладатель наиболее богатой библиотеки в Сарни, становится, однако, преданным самозабвению только потому, что не может вырваться из узких рамок внутреннего духовного мира и вместе со своим народом встать на борьбу. В этом мы видим глубокий смысл созданного Верфелем образа. Верфель в этом сложном, противоречивом образе, а также образом Саркиса Килыкяна, на глазах которого вырастал всю его семью, убеждает читателя в том, что никакие страдания, никакие личные переживания не должны делать человека безучастным к судьбе своего народа. Мераю истинного достоинства человека является сила его любви и верности родне.

В романе «Сорок дней Муса-дага» Верфель до конца раскрывает характер армянской женщины, готовой бороться паране с мужчинами. В образах Некуи и Майрик Антарам дан обобщенный образ армянок, готовой бороться за честь и свободу родного народа. Некуи является бесценным даром своего народа — из мучебоду вырваться к жизни, сохранить человечность и чувство собственного достоинства.

«Муса-даг» Верфель дает и образы детей. «Из Востока, — пишет он, — отныне дети живут в гармонии, и дети там рождаются, чтобы продолжать и умножать славу своих отцов». В романе будущее Армении олицетворяют юные герои Гайк и Стефан. Четырнадцать лет парижской жизни Стефана забылись, но остался некий след. Попадая на родину своих отцов, он ощутил себя глубоко с ней связанным. Вместо беззаботного детства детям мусадатиев была уготована другая судьба. С большой силой Верфель рисует не только искалеченных детей, Аюпа и других, на которых режиз оставила свой след, но и тех, которые, мстя за миллионы жертв своего народа, взяли в руки оружие, стараясь быть достойными своих отцов.

Жена Верфеля в своих воспоминаниях, возвращаясь к посещению им Дамаска, подчеркивала: «Куда бы он ни ездил, его преследовал образ увиденных в Дамаске детей армянских беженцев, которые потрясли его сознание и не переставали терзать его душу».

Для художественно-стилистического своеобразия романа характерно сочетание различных элементов: и черты эпического повествования об исторических событиях, и лирический пафос в описании переживаний героев, и широко философско-эпические обобщения.

Как в романе исторического жанра, здесь художественно осмыслен исторический материал, что в свою очередь помогает полнее раскрыть суть и смысл реальных, исторических событий. Основой сюжетного развития романа являются не столько личные судьбы героев, сколько сам исторический факт самоотверженной борьбы народа против угнетателей и палачей.

О большом интересе к роману Верфеля свидетельствуют многочисленные его переиздания и переводы. Со времени написания роман издавался на более чем 30 языках мира. В письме к автору этих строк Анна Зегере справедливо отмечала: «Книга «Сорок дней Муса-дага» была действительно грандиозной работой Франца Верфеля. Она оставила неизгладимое впечатление на людей, которые вообще ничего не знали о событиях...»<sup>1</sup>

В Америке роман впервые появился на английском языке в ноябре 1934 года (издательство «Виндиг пресс», тираж 200 тысяч экземпляров). Более 30 лет эта книга в разных странах переиздавалась в числе классических романов в серии библиотек современного романа. Книга стала настолько популярна, что в 1965 году тираж ее превысил один миллион экземпляров, а в 1979, 1980, 1981 гг. роман в Австрии выходил в свет карманным изданием, большим тиражом.

Исследования и толкования, посвященные творчеству Верфеля в целом, создали литературу, в которой скрестились различные мнения, суждения. Однако роман «Сорок дней Муса-дага», являющийся вершиной творчества Верфеля, всегда вызывал всеобщее восхищение.

Верфель выступает в нем как художник-летописец, воздвигающий величественный памятник героям и мученикам прошлого, и как художник-пророк, предостерегающий человечество от величайших угроз, от новых народоубийств.

В этом непреодолимое значение романа. Это художественное свидетельство страданий и героизма и вместе с тем воплощение самых высоких нравственных ценностей — благородного патриотизма, непримиримости в борьбе с насильем и варварством. Это актуальное и долгие предостережение — напоминающее об опасностях, все еще грозящих человечеству.

МЕДЖИ ПИРУМОВА

<sup>1</sup> Из переписки Анны Зегере с автором этих строк. Письмо от 12 декабря 1956 г.

## ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 8. Леонид — спартанский царь, живший в VI—V вв. до н. э. Сражался против персидского царя Ксеркса, погиб в знаменитом сражении у Фермопид, прикрывая с малым отрядом спартанцев отступление греческих войск. В древней литературе Леонид олицетворяет собой любовь к родине, бесстрашие и воинскую доблесть.

К стр. 10. Иоанн Богослов — согласно христианским легендам, один из апостолов, ученик Иисуса Христа. По одним версиям, убит в 60-х годах I века, по другим — дожил до рубежа I—II вв. Церковь приписывает ему ряд сочинений Нового завета — 4-е евангелие, три послания и Апокалипсис.

К стр. 12. Дашнакцутун (бука. союз, союзничество) — армянская буржуазно-националистическая партия, создана в 1890 году. На первых порах тесно близкий к русскому народничеству, дашнакцутун ставил перед собой задачу путем вооруженного восстания и террористических акций добиться самоуправления Западной Армении в составе Османской империи. В 1907 г. вошел в состав II Интернационала, в годы первой мировой войны участвовал в организации армянских добровольческих отрядов в составе русской армии. В созданной в 1918 году Армянской буржуазной республике (1918—1920) правящей партией был дашнакцутун. Однако

дашнакам, членам этой партии, не удалось восстановить разрушенную последствиями войн и геноцида экономику Армении. Положение в стране еще более ухудшилось, когда Турция начала войну против буржуазной Армении. Дашнакское правительство отказалось от посредничества Советской России и 2 декабря 1920 г. заключило невыгодный для армянского народа Александровский договор. Ныне за границей дашнакцутун сотрудничает с реакционными силами в борьбе против СССР.

К стр. 14. Антиохия (по-турецки Антакье или Антакья) — город в Турции. Основан Селевком I Никатором в 301 году до н. э. Крупнейший центр эллинистической культуры; по величине и значению Антиохию сравнивали с Римом. Город особенно расцвел во времена римских императоров. Армянский царь Тигран II, покорила Ассирию, превратил Антиохию в I веке до н. э. в свой южный столичный город, где печатались монеты с его изображением. В Антиохии постоянно проживало многочисленное армянское население и было армянское епископство, а в XI веке мэривы города были армяне. В дальнейшем город подвергся нашествию крестоносцев и в XIII веке был полностью разрушен египетским султаном Бейбарсом. До 1939 г. входил в состав подмандатной Франции Сирий.

К стр. 16. Селевкиды — царская династия, правившая в Селевкии, крупнейшем эллинистическом государстве (IV в. до н. э.), т. е. ряде городов, основанных царем Селевком I Никатором. Города эти — Селевкия на Тигре и Селевкия в Понте — разрушены в результате персидских (VI в.) и арабских (VII в.) завоеваний.

К стр. 17. Иттихат (İttihat ve terakki — единство и прогресс) — националистическая турецкая буржуазно-помещичья националистическая партия. Младотурки — члены этой партии. Организован Иттихат в 1889 г. в ряде городов, основанных младотурки сохранили монархию — султана — и продолжали политику отуречивания народов Османской империи. В годы первой мировой войны, воюя на стороне Германии, главарь этой партии проводил явственную политику пантюркизма и панисламизма, которая вылилась в геноцид армянского народа. Позже правящий триумvirат этой партии — Энвер-паша, Талаат-паша, Джемаль-паша и прочие преступники под давлением общественного мнения в 1919 году были заочно (ибо они бежали) приговорены турецкими военными трибуналами в Стамбуле к смертной казни. В числе прочих младотурецких деятелей Талаат и Джемаль были убиты армянскими мстителями.

Григорианская церковь, или армяно-григорианская церковь, — название армянской церкви «григорианская» — условное, вошло в обиход лишь с 1836 года. После присоединения Восточной Армении к России царские власти, не удовлетворенные одним только этнографическим названием армянской церкви — «Армянская»



ская, являл сообщать и второе название, которое отражало бы исповедуемую церковью философию (как, например, Русская православная церковь, Римская католическая и т. д.). Не совсем разобравшись в существе вопроса, Эчмиадзин представил Имперскому совету по церковным делам название «Просветительская церковь», по имени организатора армянской официальной церкви Григора Просветителя (см. Григорий Просветитель). В опубликованном «Положении» о церковных делах Армянская церковь была названа «Григорианской» по-русски и «Просветительской» — по-армянски. Это название вводило в заблуждение, ибо создавало впечатление, что Армянская церковь берет начало с Григория Просветителя, жившего в IV веке. Между тем Григорий Просветитель был не значителем Армянской церкви (ниги был, по преданию, апостол Фаддей и Варфоломей), а скорее ее реформатором, организатором. Название «Армяно-григорианская церковь» в научном обиходе не будет, на его искусственность указывал еще Н. Я. Марр, и постепенно выходит из употребления. Подлинное название Армянской церкви — **Армянская Апостольская церковь**.

К стр. 33. Католикос Сиса, или католикос Малой Армении. Католикосат Киликии, или Сиса, — вторичный по духовной роли и церковно-административному охвату по сравнению с католикосатом всех армян в Эчмиадзине. Основная католикосат в 1446 г. в гор. Сис Киликийской Армении, бывшей резиденции католикоса всех армян. Основал его Карает I Евдокья, который первоначально претендовал на роль католикоса всех армян и боролся против Эчмиадзина. Однако борьба эта постепенно ослабла, а при его преемниках и вовсе прекратилась. В XVI в. султан Сулейман I захватил Киликию со столицей Сис и превратил ее в провинцию Османской империи. После большого пожара в Адаме в 1909 г. (см.) и голода 1915 г. резиденция католикоса Киликии перенесена в село Антимас близ Бефрута (Ливан).

Кони — город на юге Турнии, административный центр одноименного валахета.

К стр. 37. Карма (на санскрите — действие, возмездие) — одно из основных понятий индийской философии, часть учения о перевоплощении. Согласно карма, после смерти человека душа его переселяется в другое тело. Поступки человека при его жизни определяют характер этого переселения, или перевоплощения души: если поступки его были благородны и справедливы, душа человека после его смерти переселяется в более возвышенное и благородное тело, а если она была неблаготворна, — в тело низших существ, в тела животных. От таких понятий, как «судьба» или «рок», карма существенно отличается своей этической окрашенностью. Если рок или судьба — это действие каких-то внедуальных человеку сил, божественных или космических, то действие кармы как бы находится в руках самого

человека, ибо, согласно карма, настоящим или будущим человеком — это возмездие за совершенные им поступки.

Сура (араб.) — глава Корана. Всего в Коране 114 сур.

К стр. 41. «... Мусадатскому округу достались последние рай... Они именно здесь, на Сарийском побережье, а не ниже, в «Стране меж четырех рек», куда склонны помещать сад Эдема географы, комментаторы Библии. Один комментатор Библии «распалгалал» библейский рай на север Индии, другие в Ассирии, но большинство толкователей размещают его в долине Тигра и Евфрата, на Армянском нагорье. (Осиода бытующие среди армян выражения «Армения — рай земной», «Армения — страна райская».) Мнение о том, что рай находился на территории Армении, было очень распространено в Европе и в средние века. В средневековой «Легенде о докторе Фаусте» об этом читаем: «Кавказ, что между Надней и Скандия, — это самый высокий остров с его горами и вершинами. Доктор Фауст... был убежден, что оттуда сумеет наконец увидеть рай. Находясь на той вершине острова Кавказа, увидел он... издаля в вышине далекий свет... ослепительный просторство величавой с маленькой остров. И еще увидел он, что у той долины бегут по земле четыре большие реки, одна в Индию, другая в Египет, третья в Армению и четвертая туда же. И захотелось ему тогда узнать причину и основание того, что он увидел, и потому решился он... спросить своего духа, что это такое. Дух же дал ему добрый совет и сказал: «Это рай, расположенный на востоке солнца... в та вода, что разделяется на четыре части, течет из райского источника, и образует она реки, которые зовутся — Гинг, или Фисон, Гигон, или Нил, Тигр и Евфрат» («Легенда о докторе Фаусте», изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 97—98). Из новых известных интересна изложена эта версия у Томаса Манна в романе «Иосиф и его братья»: «Где же находился рай, «сад на Востоке» — место покоя и счастья, родина человека?.. Юный Иосиф знал это не хуже, чем историю потопа, и из тех же источников. Он только улыбался, когда жители пустыни из Сарии объявляли раем большой оазис Дамаск... Не пожимал он из вежливости плечами, во внутренне пожимал ими и тогда, когда жители Мидии заявляли, что сад этот находится, само собой разумеется, в Египте, ибо середина и душ вселенной — Египет, Курчавобородые сансарии тоже считали, что... Вавилон... это священная середина вселенной... Дошедшее до нас описание рай в одном отношении точно. Из Эдема... выходящая река для орошения райа и потом разделялась на четыре реки: Фисон, Галгон, Евфрат и Хидекель. Фисон, как добавляет толкователи, зовется также Гингом; Галгон — это Нил... Что же касается Хидекеля, то это Тигр, протекающий перед Ассирией. Последнее ни у кого не вызывает возражений. Возражения, и притом весьма, вызывает отождествление Фисона и Галгона с Гангом и Индом. Полагают, что река идет от Аракса, впадая в Каспийское, и о Галгисе, впадающем в Черное море, и что рай, следовательно, хоть и был в поле зрения вавилонян, находился на самом деле не в Вавилонии, а в горной области Армении, севернее

Месопотамской равнины, где соседствуют истоки упомянутых четырех рек.

Это мнение представляется вполне разумным. Ведь если, как то утверждает достовернейший источник, «Фрат», или «Ефрат», выходит из рая, то никак нельзя допустить, что рай находится где-то близ Евфрата. Но, признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-нашего сделаем шаг к следующей правде...» (Томас Мавн, «Иосиф и его братья», изд. «Художественная литература», Москва, 1968).

К стр. 42. Бергсон Анри (1859—1941) — один из крупнейших западных мыслителей конца XIX и первой половины XX века, философ-идеалист, представитель так называемого «интуитивизма» в философии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1927 г.

К стр. 53. Левантинцы — от французского слова Levant — Восток. Так называли вообще страны восточной части Средиземного моря — Сирию, Ливан, Египет, Грецию, Кипр, а чаще — Сирию и Ливан. Левантинцы — потомки европейских колонистов, переселившихся в Сирию и Ливан в начале крестовых походов в смешавшихся с местным населением. Говорят в основном по-арабски.

К стр. 54. «... мы были первой нацией, которая приняла христианство и сделала его своей государственной религией намного раньше, чем Рим». Христианство в Армении начало распространяться с I века, во II и III вв. в стране уже были христианские церкви, однако государственной религией христианство в Армении было провозглашено в 301 году царем Трдатом III, который и сам принял христианство. Римская империя приняла христианство в 313 году Миланским эдиктом о юридическом признании христианской церкви. В 321 г. римский император Константин Великий (ок. 285—337) предоставил христианской церкви полное право юридического лица, а сам принял христианство под конец жизни, в 337 году, от своего будущего биографа, епископа Евсевия.

Лазарь Парбечи — известный армянский историк V века. Его «История Армении» начинается с 387 года и доходит до 485 года. В центре ее — события освободительной борьбы армянского народа против Персии, возглавляемой Ваном Мананкином.

Мовсес Хоренаци — выдающийся армянский историк V века, прозванный «отцом армянской истории», «отцом армянской словесности», «армянским Геродотом». Его главный труд «История Армении» написан в 480—483 гг. Хоренаци первый изложил армянскую историю с доисторических времен до 440 года.

Его «История» представляет огромную научную и литературную ценность. Она содержит образцы эпической поэзии древности и эпическую армянскую мифологию.

К стр. 55. Митра — в древних восточных религиях — один из главных идолических богов, воплощающий добродетельную по отношению к человеку сторону божественной сущности. Митра — бог дневного света, повелитель жизни, бог договора.

К стр. 57. Рафаэл Патканян (псевдоним — Гамар-Катина, 1830—1902) — известный армянский писатель. В своей поэзии, обращенной к героическим страницам прошлого, Патканян стремился пробудить национальное самосознание армянского народа, призывал к освободительной борьбе. Патканян дал высокие образцы гражданской поэзии.

К стр. 65. «... после большого погрома в Адане... Адана — город в равнинной Киликии, административный центр одноименного вилаяета в Турции. Когда-то величественный культурный город, он в XII—XIV вв. входил в состав Киликийского армянского царства. В 1909 году, едва младотурки пришли к власти, они организовали в Адане и вилаете большую резню, убили с 1 по 4 апреля и с 12 по 14 апреля в Аданском и Аленском вилаетах свыше 30 000 армян.

К стр. 105. «... о Григории Просветителе, о Халкидонском соборе, преимущественно в некоторых восточных странах наказание людей палочными ударами по пяткам и спине.

К стр. 105. «... о Григории Просветителе, о Халкидонском соборе, преимущественно в монофизитском учении перед католицизмом». Григорий Просветитель, или Григор Партец (ок. 239—325 (326)), — религиозно-политический деятель, армянский католикос с 302 года. По дошедшим до нас источникам, детство и юность провел в Каппадокии, в г. Кесария, где был крещен и получил образование. В 287 г. с проповеднической целью вернулся в Великую Армению и стал служить при дворе армянского царя Трдата III. Подобно римскому императору Диоклетиану, с помощью которого он взлез на престол, Трдат III продолжал гонения на христиан; не избежал их и Григорий Просветитель. Однако, разочаровавшись в Диоклетиане как союзнике, Трдат III прекратил гонения на христиан, предприняв использовать эту силу в своих интересах. Христианские общины существовали в стране с I в. II вв., но уже в III веке христианство перестало быть в Армении религией угнетенных, а в 301 году оно утвердилось в стране как государственная религия. Но

Григорий Просветителю предстояло еще многое сделать. В 302 году с 16 напарниками, владетельными князьями, и с царским указом в руках он поехал в Кесарию, где был рукоположен армянским патриархом. После этого, имея в своем распоряжении большое войско, он стал уничтожать в стране капища и основывать церкви. В Антигате он разрушил один из древнейших центров язычества и основал соборную церковь. В Вагаршапате (ныне Эчмиадзин) он на месте капища основал кафедральную церковь. С его именем связано строительство церкви св. Рипсиме, св. Гаяне и св. Шогакат. Многие древние языческие праздники он заменял христианскими, владения капищ передавал церквам, основывал новые школы, где обучение велось на официальном языке христианской религии — на сирийском и греческом.

**Монотейство** — религиозно-политическое учение, основанное в V в. и отстаивавшее теорию, согласно которой Иисусу Христу была присуща одна — божественная природа, то есть Христос не богочеловек, а бог. На Халкидонском вселенском соборе 451 г. монотейство было осуждено. Однако армяне на Двинском соборе 563 года отвергли формулу Халкидонского собора о двух естественных Христа, признав у Христа божественное и человеческое начало в единстве, в одной природе. Таким образом они отделились от православной церкви, чтобы противостоять агрессии Византии, и образовали свою самостоятельную, монотейскую по содержанию церковь.

К стр. 115. **Герри Моргентгау** (1856—1946) — американский дипломат, в 1913—1916 гг. — посол США в Турции. Известен мемуарами, в которых изложены его беседы с Энвером, Талаатом и другими младотурецкими главарями. «Воспоминания посла Моргентгау» издали также в переводе на французский в армянской версии. В 1918 году напечатана на французском языке другая его книга — «Самые страшные происшествия в истории», излагающая кратко историю геноцида армянского народа в Турции.

К стр. 125. **Янчары** (тур. yancılar — бунт, новое войско) — регулярная турецкая пехота, выполнявшая в стране жандармские функции и являвшаяся оплотом трона. Создана в XIV веке. Первоначально вербовалась из военнопленных, а позже — из мальчиков христианского населения, которых насильственно отбирали у родителей и приучали к военному делу. Упразднена в XIX веке.

«Янчарская музыка» — исполнялась оркестром, состоявшим преимущественно из ударных инструментов. Отличалась очень шумным характером.

К стр. 130. **Бисмарк Отто Эдуард Леопольд фон Шенкау** (1815—1896) — немецкий государственный деятель, осуществивший воссоединение Германии «сверху».

**Сара Бернар** (1844—1923) — известная французская актриса, работала в театрах «Комеди Франсез», «Жинназ», «Одеон» и др. В 1893 году приобрела театр «Ренессанс», в 1896 г. — театр на площади Шатле в Париже, который получила название «Театра Сары Бернар». Много гастролировала, выступала и в России.

К стр. 132. **Чете, или четинки**, — в XV—XIX вв. так назывались участники (преимущественно гаулки) параванских отрядов на Балканском полуострове, боровшихся против османского ига. В XX веке название «четинки» присваивали себе члены разных реакционных организаций.

К стр. 144. **Ноин Златоуст** (ок. 345—407) — византийский церковный деятель, оратор, за что и получила прозвище «Златоуст». Известен выступлениями против расточительства аристократии и церковной лерлушки. Одно время был патриархом Константинополя, затем сослан в Калкино. Автор множества проповедей, алеггорикон (два из которых воспевают Григорий Просветителю), толкований Библии. В его трудах содержится много ценных сведений об армянах, проживавших в Калкинии. Труды его переводились на армянский еще в I в. века.

К стр. 152. **Хачатур Абовян** (1805—1848) — выдающийся армянский писатель, просветитель-демократ, основоположник новой армянской литературы, горный поборник присоединения Армении к России.

**Раффи** (настоящее имя Аюм Мелик-Аюпья, 1845—1886) — великий армянский писатель, публицист, общественный деятель. Крупный представитель армянского романтизма. В его многогранном творчестве особую ценность представляют исторические романы, а также исследование «Меликста Хама», посвященное армянским меликам Карабах. Романы Раффи «Самвел», «Хент» многократно издавались на русском языке.

**Симанто** (лит. псевдоним Атома Ярджянца), (1878—1915) — поэт, классик армянской поэзии. Родился в г. Агге в Западной Армении. Учился в Швейцарии, затем в Сербии. Его поэзия полна тревоги за судьбу армянского народа. Симанто воспевал первую русскую революцию, верил в ее победу. Поэзия его, тремывающая к символизму лишь во поэзии, характеризует трагическая судьба-жизнь и большой эмоциональный накал. Стихи его пронизаны богатой ритмикой, метафоричность. Актриса Исакья назвала Симанто «уникумом в мировой поэзии». Зверски убит турками во время геноцида в 1915 году.

К стр. 153. **Катюль Мендес** (1841—1909) — второстепенный французский писатель, писал стихи в традиционной манере парнасцев, повелли его к романам изображают главным образом патологические явления личности.

Пьер Лоти (1850—1923) — французский писатель, автор дешеских, так называемых «колониальных романов», овеянных восточной экзотикой. Играл туркофию, и фальсификатор армяно-турецких отношений.

К стр. 154. Текст «Песни о приходе и уходе» принадлежит известному армянскому поэту Дживаню (1846—1909). Называется она «Дни неудач». Песня эта и до сих пор очень популярна в народе. Верфель лишь слегка изменил текст песни и дал ей другое название. Впервые на русском языке стихи Дживаня были опубликованы в антологии «Поэзия Армении», М., 1916. Приводим стихи Дживаня в переводе В. Я. Брюсова:

Как два зимы, два неудачи недолго тут: придут—уйдут.  
Всему есть свой конец, не плачь! Что бег минут: придут—уйдут.  
Тоска потерь пусть мучит нас; но верь, что беды лишь на час:  
Как сонм гостей, за разом ряд, они сиюют: придут—уйдут.

Обман, гонение, борьба и притеснение племен,  
Как караванам, что под зван в степи идут: придут—уйдут.  
Мир—сад, и люди в нем—цветы! во много в нем увидишь ты  
Фаллак, бальзамов, роз, что день цветут: придут—уйдут.

Итак, ты, сильный, не гордись! итак, ты, слабый, не грусти!  
События должам идти, твою свой суд: придут—уйдут!  
Смотри: для солнца страха нет скрыть в тучах свой алмаз свет,  
И тучи, на восток спеша, плавают, бегут: придут—уйдут.

Земля ласкает, словно мать, ученого, добра, нежна;  
Но диких бродят племена, они живут: придут—уйдут..  
Весь мир — гостиница, Дживань! А люди — зыбкий караван!  
И все идет своей чередой, — любовь и труд: придут—уйдут!

К стр. 157. Карл Линней (1707—1778) — шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира.

К стр. 220. Вардавар — древнейший армянский языческий праздник в честь божин любви и красоты Астхик, которой предлаживали цветы, чаще розы (по армянски роза — арад). Позже приспособлен армянской церковью к празднику Преображения Иисуса Христа.

К стр. 247. Григорий Назизиан, или Григорий Вогослов (ок. 330 — ок. 390) — греческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель, один из «отцов церкви». Автор более 45 речей, 250 посланий и множества поэтических произведений, среди которых известны поэмы «О моей судьбе», «О страданиях моей души» и др. Начиная с V в. почти все его произведения переводились на армянский язык.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160—после 220) — христианский теолог и писатель, один из основателей христианского богословия. Родился в Карфагене, образование получал в Риме. Отрицательно относился к античной науке. Тертуллиан утверждал, что «светский разум» находится в противоречии с мистическим, религиозным. Мысль эта выражена в приписываемой ему классической формуле: «Это истинно, ибо абсурдно».

К стр. 288. Гуржия — условное название народностей, населяющих центральные и юго-западные районы Непала. В XIX—XX вв. из гуржий вербовалось много солдат в английскую колониальную армию.

К стр. 307. Коклен — семья французских актеров: Бенуа Кокстен (Коклен-старший, 1841—1909); Эрнест Александр Онопере (Коклен-младший, 1848—1909); Жан (сын Коклена-старшего, 1865—1944); Жак-Поль (сын Жана, род. в 1924 г.). Наиболее известным из Кокленов был Бенуа Кокстен, то есть Коклен-старший, долгое годы игравший в «Комеди Франсез» и создавший блестящие образы в пьесах Мольера.

К стр. 314. Давид Варужан (псевдоним Давида Чухуриана, 1884—1915) — поэт, классик армянской поэзии. Родился в селе Брик близ г. Себастан в Западной Армении. Учился в Везеланском Мурат-Рафаэлиновском училище (см. Мантаристы), затем в университете г. Гента в Бельгии. По поэтике примыкал к символизму. Варужан — живописец в поэзии, создает выуклые и пластичные образы. Воспевая древность, язычество (знаменитая поэма «Наложница»), Варужан осуждает слабость и бездействие угнетенных в мире насилия. Замоучен и убит турками во время геноцида в 1915 году.

К стр. 316. Карен Неппе — общественная деятельница, всю жизнь посвятившая детям, оставшимся сиротами после геноцида; работала в тюрьме.

К стр. 338. Релиф (турецк.) — завесные войска, а также резервист.

К стр. 341. Агасфер, или Вечный Жид, — герой многоочисленных средневековых сказаний, ерей-скиталец, осужденный богом на вечные скитания за то, что

не дал Иисусу Христу, несшему тяжелейший крест, отдохнуть на пути к месту распятия, на Голгофу.

К стр. 344. **Парки** — богини судьбы в римской мифологии.

К стр. 348. **Сибиллы** (символы) — в греческой мифологии прорицательницы, в экстазе предсказывавшие будущее, чаще всего бедствия.

К стр. 374. **Шарль Луи Филлиг** (1874—1980) — французский писатель-реалист, одна из предтеч новой демократической литературы Франции XX века, «социалист теоретически и преданный друг трудящегося люда» (Луначарский).

К стр. 439. **Кассандра** — в греческой мифологии дочь Приама и Гекубы. Домогавшись ее любви Аполлон наделил Кассандру даром предвидения, но Кассандра отказалась ответить ему взаимностью, и Аполлон в отместку ей сделал так, что ее слова перестали принимать всерьез и предсказаниям ее никто не стал верить. Трагический образ Кассандры, вещающей в пророческом экстазе страшные видения будущего, нередко использовался в произведениях трагиков и в более поздней литературе.

К стр. 472. **Шейх-уль-ислам** (араб., букв. — старшина ислама). В странах ислама почтенный титул видных богословов (улемов). В Турции с середины XVI века по 1924 год — верховный глава суниитского мусульманского духовенства в шариатских судах, назначавшийся султаном.

К стр. 506. **Агафангел**, или **Агатангелос**, — выдающийся армянский историк V века, автор «История Армениа», в которой излагается подробно история армян в христианство. Существуют старинные переводы и версии его «История» на греческом, арабском, эфиопском языках, в XVIII веке «История» Агатангелоса была переведена из латинский язык, в XIX — на итальянский, шведский и французский, в XX веке — на португальский и русский языки.

К стр. 577. **Кавас** — мусульманские стражи, облеченные полнейшей властью, которые в Турции для безопасности представляются к дипломатическим работникам и высшим турецким сановникам.

К стр. 671. «...как Эвридика в Аид...» — согласно греческой мифологии, жену певца Орфея Эвридику во время прогулки ужалала змея, и она умерла. Чтобы

вернуть любимую жену, Орфей спустился за ней в Аид — царство мертвых. Там он растрогал своей игрой на лире и песней владыку царства мертвых Аиду, и он разрешил вывести Эвридику наверх, на землю, однако при условии, что Орфей не взглянет на жену прежде, чем придет в дом. Орфей нарушил это условие, и Эвридика вновь сошла в Аид.

К стр. 692. **Нюбес** (Нюба) — в греческой мифологии жена финикийского царя Амфиона. У Нюбес было многодетное потомство — двенадцать детей, и она похвасталась ими перед Лето (Латоной), у которой было всего двое детей — Аполлон и Артемид. Оскорбленная Лето подговорила Аполлона и Артемиду, и они стрелами уничтожили детей Нюбес. Нюбес от горя и тоски по погибшим детям оказалась. К сюжету о «страданиях Нюбес», восшедших в психологию, обращались многие авторы.

К стр. 694. **Завизум** (то же, что и Елсейское поле) — загробный мир для праведников, обитель блаженных.

**Гекуба** — жена троянского царя Приама, мать девятнадцати детей, среди которых были Гектор, Парис, Кассандра, Поликсена и др. В Троянской войне она потеряла мужа, увидела смерть и угон в плен своих детей и сама стала пленницей Одиссея. В мировой литературе Гекуба стала олицетворением крайней скорби и отчаяния.

К стр. 695. **Мхитаристы**, точнее, Конгрегация мхитаристов — армянская религиозная и научная организация. Основана в 1701 году видным ученым и общественным деятелем, монахом Мхитаром Себастьян (1676—1749) в Константинополе. С 1717 г. конгрегация утвердилась в Венеции, на острове св. Лазаря, а с 1811 года действует в Вене ее отделение. Со дня основания и по настоящее время конгрегация армянских католиков ведет огромную научную, учебно-образовательную и культурно-просветительскую деятельность. Члены конгрегации, ученые и деятели, разрабатывала проблемы арменоведения, име написаны капитальные труды по истории, литературе, географии Армении, составлены ценнейшие словари. Конгрегация издает в Венеции и в Вене историко-филологические журналы. В 1717 году при монастыре Мхитар Себастьян открыл семинарию (духовную академию), которая в свое время была известным учебным центром. Там учились армянскому языку и много видные деятели европейской культуры, среди них Байрон, Шлегель. В 1833 г. в Падуе было открыто училище Муратия, а в 1836 г. в Венеции — Рафаэлиновское училище. В 1873 г. они объединились, получив название Мурат-Рафаэлиновское училище. В 1846 г. в Париже открылось училище, которое стало называться Парижское Муратяновское училище. Заведены эти действуют в настоящее

Мхитаристами основаны армянские школы и во многих других странах, где проживают армяне.

К стр. 699. Джеймс Брайс (1838—1922) — английский государственный деятель, юрист и историк, член английской Палаты лордов. Основал англо-армянское общество. Вышедшая под его редакцией книга «Третирование армии в Османской империи» — ценный сборник, содержащий документы об армянском геноциде 1915 года. Сборник был издан в 1916 г. на английском и французском языках.

## СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Дудин. *С вершины мужества* . . . . . 5

### Книга первая

#### ГРЯДУЩЕЕ

Перевод Н. Гладыной

|   |     |
|---|-----|
| Глава первая. Тескере . . . . .                   | 10  |
| Глава вторая. Конак, Хамам, Селамлик . . . . .    | 25  |
| Глава третья. Имятые люди Йогополука . . . . .    | 40  |
| Глава четвертая. Первое «присоединение» . . . . . | 61  |
| Глава пятая. Божественная интермедия . . . . .    | 100 |
| Глава шестая. Великий сход . . . . .              | 138 |
| Глава седьмая. Позорные колокола . . . . .        | 200 |

### Книга вторая

#### БИТВЫ СЛАВНЫХ

Перевод Вв. Розанова

|  |     |
|--|-----|
| Глава первая. Жилище наше — горная вершина . . . . . | 249 |
| Глава вторая. Дела мальчишеские . . . . .            | 280 |
| Глава третья. Шестые огни . . . . .                  | 343 |
| Глава четвертая. Пути Сато . . . . .                 | 413 |



## ГИБЕЛЬ, СПАСЕНИЕ, ГИБЕЛЬ

|   |     |
|---|-----|
| Глава первая. Божественная интермедия. Перевод <i>Н. Гнединой</i> . . . . .         | 448 |
| Глава вторая. Уход и возвращение Стефана. Перевод <i>Н. Гнединой</i> . . . . .      | 476 |
| Глава третья. Боль. Перевод <i>Н. Гнединой</i> . . . . .                            | 512 |
| Глава четвертая. Распад и искушение. Перевод <i>Вс. Розанова</i> . . . . .          | 532 |
| Глава пятая. Пламя алтаря. Перевод <i>Вс. Розанова</i> . . . . .                    | 569 |
| Глава шестая. Пыльлена в тумане. Перевод <i>Вс. Розанова</i> . . . . .              | 635 |
| Глава седьмая. Непостоянному в нас и над нами. Перевод <i>Н. Гнединой</i> . . . . . | 680 |
| Послесловие автора. Перевод <i>Н. Гнединой</i> . . . . .                            | 685 |
| <br>  |     |
| Меджи Пирумова. <i>О Франце Верфеле и его романе</i> . . . . .                      | 687 |
| <br>  |     |
| Примечания <i>И. Карум</i> . . . . .  | 704 |

Литературно-художественное издание

Франц Верфель  
СОРОК ДНЕЙ МУСА-ДАГА  
(Р о м а н)

Зав. редакцией *Г. Агран*  
Редактор *Ж. Шахназарян*  
Художник *А. Цатурян*  
Худ. редактор *Д. Гаспарян*  
Техн. редактор *М. Чагчаланян*  
Контрольный корректор *И. Маргарян*

ИБ 6271

Сдано в набор 18.02.88. Подписано к печати 16.05.88. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 41,85 усл. печ. л. 42,07, усл. кр. отт. 50,8, ут.-изд. л. Тираж 150000. Заказ 3792 (1 завод 1—40000). Цена 5р. 40 коп.

Издательство «Советская гора», Ереван-9, ул. Теряна, 91.

Типография № 1 Госкомитета Арм. ССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Ереван-10, ул. Алавердяна, 65.